Юлиан Кавалец

ИЗБРАННОЕ





ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

БИБЛИОТЕКА

ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



МОСКВА • РАДУГА • 1986

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ

ИЗБРАННОЕ

•

Перевод с польского

•



МОСКВА • РАДУГА • 1986

ББК 84.4П
К12

Предисловие В. ОСКОЦКОГО
Редактор Л. ЕРМИЛОВА

Кавалец Ю.
К12 Избранное./ Пер. с польск.; Предисл. В. Оскоцкого.— М.: Радуга, 1986.— 432 с.

В «Избранном» представлены два крупных произведения и рассказы мастера польской прозы Юлиана Кавальца, известного своим пристальным вниманием к сложным и острым проблемам послевоенной польской действительности, к судьбам своих современников — активных созидателей новой жизни. Роман «Переплывешь реку» — о преодолении мелкособственнической психологии в сознании простого деревенского парня, о формировании личности в трудных условиях строительства комбината. «Серый нимб» — повесть о первых годах становления народной власти, о трагической гибели героя.

К $\frac{4703000000-146}{030(05)-86}$ 17-86

ББК 84.4П
И(Пол)

ГОРОД, ДЕРЕВНЯ, ЗЕМЛЯ

(К творческому портрету Юлиана Кавальца)

1

Термины не возникают вдруг, на пустом месте. И если приживаются в повседневном литературно-критическом обиходе, значит, пусть даже частично, охватывают какое-то содержание, требующее понятийных определений и обобщений. Не так ли и «деревенская проза» — определение, к которому вопреки нередким сетованиям на недостаточность то и дело прибегают не только литературоведы и критики, но и писатели и читатели? Вряд ли за неимением лучшего. Скорее всего, потому, что и в нем, конечно же неполном, невсеобъемлющем, есть нужда, в силу которой оно удержалось, укоренилось в сознании, охватив хотя бы отдельные стороны, некоторые грани современного литературного процесса.

В этом красноречиво убеждает идейно-художественный опыт как нашей советской, так и других социалистических литератур. Раньше и прежде всего — польской, где понятием «деревенская проза» обозначается одно из ведущих направлений творческих исканий. Об интенсивности их в 70-е годы размышлял литературовед и критик, главный редактор журнала «Пшеглёнд хуманистычны» Януш Рогозиньский. «Деревенская проза» для него — художественная реальность, имеющая свою и эстетическую, и социальную родословную. «Сменой вахты», не знающей исторического прецедента, назвал авторитетный исследователь возросшее, усилившееся внимание литературы к глубинным корням народной жизни и национальной культуры. Эти корни, подчеркивал он, прорастают ныне «не только новой тематикой, новым героем, но и новым отношением к нравственным ценностям». Важным компонентом такого процесса выступают «миграция сельского населения в город, столкновение его с культурой и бытовым укладом города, а также сопутствующие этому явления психологической и социальной адаптации в новой среде, которые зачастую чреваты острыми нравственными и идейными конфликтами. Такой социологический и психологический аспект находит свое отражение в литературе, прежде всего в творчестве...». Далее следуют имена, перечень которых открывает Юлиан Кавалец, автор широко признанных и у себя на родине, и в нашей стране романов и повестей: «К земле приписанный» (1962), «На солнце» (1963), «Танцующий ястреб» (1964), «Зов» (1968), «Ищу дом» (1968),

«Призвание» (1968), «Переплывешь реку» (1973), «Серый нимб» (1973), «Чертополох» (1977), «Украсть брата» (1982).

К «деревенской прозе» относит свое творчество и сам Юлиан Кавалец, объясняя приверженность к ней собственным жизненным опытом. «Если писатель,— обращался он к советским читателям в статье «Служить жизни» (1975),— родом из деревни, соломенной и бревенчатой, и его биография перерезана войной на две примерно равные части, если он знает старую деревню и видит современную, ему не надо искать тем. Такой писатель, по сути дела, не выбирает тему — тема выбирает его, она на него обрушивается, подчиняя себе. Материал для работы крепко сидит в памяти у такого писателя, и он чувствует, что обязан его использовать».

Итак, «деревенская проза». Как и другим ее современным мастерам — Юзефу Мортону, Яну Болеславу Ожугу, Веславу Мысливскому, представляющим разные писательские поколения,— Юлиану Кавальцу было от чего отталкиваться и на что опираться в творческом поиске. Четырехтомный роман Владислава Реймонта «Мужики» еще в начале века стал одним из вершинных явлений не только польской, но и мировой классики. Классическую традицию реализма в эпическом воссоздании путей и судеб деревни литература Народной Польши обогатила таким значительным произведением, как повесть Марии Домбровской «На деревне свадьба» (1955). В послевоенную сельскую новь, ее проблемы и конфликты погружен роман Вильгельма Маха «Дом Явора» (1954).

По дате рождения — 1916 — Юлиан Кавалец — ровесник Вильгельма Маха. Но так уж сложилась его писательская биография, что в литературу он пришел десятилетием позже. Выходец из многодетной крестьянской семьи, он получил сначала среднее, а затем высшее образование. Однако произошло это уже после второй мировой войны, прервавшей учебу на филологическом факультете Ягеллонского университета в Кракове. Участник антифашистского патриотического подполья, Юлиан Кавалец встретил освобождение Польши в родной деревне под Краковом. В 1944 году ушел на фронт корреспондентом агентства печати. Послевоенные 40-е годы посвятил журналистской работе на краковском радио. Как писатель дебютировал лишь в 1957 году сборником новелл, поэтически образное название которого — «Тропинки среди улиц» — звучало программно, как бы предвосхищая на десятилетия вперед неизменную приверженность писателя к деревенской теме.

Относительно поздний приход в литературу поставил Юлиана Кавальца в ряд не столько сверстников, сколько молодых прозаиков, выступивших на рубеже 50—60-х годов, однако и выделил среди них основательным, биографически выстраданным знанием не только нынешнего, но и вчерашнего дня польской деревни. Это знание привнесло в его прозу отличительные особенности, сказалось на своеобразии постоянных тематических мотивов, в освещении которых проявился последовательно историчный взгляд писателя на судьбу крестьянина, органично вобравший в себя неослабную память о прошлом. «Мы,—

размышлял Юлиан Кавалец,— свидетели подъема деревни и социального выдвижения ее жителей. Однако надо проанализировать журналистский термин «выдвижение», или «аванс», ведь под ним подразумевается не просто радостный марш вперед... Обычно забывают, что в жизни этот марш происходит не налегке, а с тяжелым грузом». Грузом минувшего, который по плечу далеко не каждому. Одних он, как показывает жизнь, сгибает и надламывает в пути, в сознании других переплавляется в новый социальный и духовный опыт, обретаемый личностью на гребне стремительных и бурных перемен. Вот почему, убежден Юлиан Кавалец, «писатель, родившийся, как говорится, под соломенной стрехой», лучше других знает, что «истина частенько одета в дерюгу, что с виду она сплошь и рядом угловата, неказиста. Он знает также, что путь, ведущий вверх, нелегок, что в прогресс надо вкладывать силы, что переход от низшей формы к высшей не всегда совершается с веселой песней — часто ему сопутствует трагедия, и порой человек разрывается на кусочки, какую-то часть своей души оставляя возле старого, истертого ногами многих поколений порога, и к лучшей жизни идет, остро ощущая свою потерю. И можно ли осуждать человека, вступающего в новую жизнь не только с надеждой, но и с некоторой робостью? Социальные перемены, как известно, всегда ведь связаны с ломкой веками складывавшихся духовных и психологических стереотипов...».

Соотнесем же раздумья писателя с его творческим миром — сквозными идеями и образами, постоянными темами и мотивами, излюбленными сюжетными коллизиями романов, повестей, рассказов, как вошедших в настоящую книгу избранного, так и оставшихся за ее пределами.

2

...Пусть негодяй, пусть ничтожество — пошляк и циник, пьяница и насильник. Но чинить кровавый самосуд, но так рассудительно вынашивать расправу, так хладнокровно рассчитывать месть!.. Неужто настолько обесценена человеческая жизнь, что и здесь, на «неистовой», «одержимой», «ошеломляюще громадной стройке», она не стоит и гроша? И можно запросто прервать ее ударом ножа, чтобы потом «резать им хлеб и колбасу, и чтобы концом его в случае необходимости выскребывать глину из-под ногтей, и чтобы можно было делать все это со спокойной душой»?.. Не может же быть того, чтобы со спокойной душой!.. И тем самым ножом, который занесен сейчас над распластанным телом человека, беспечно уснувшего «непробудным сном мертвецки пьяных»!..

Позднее он не раз вспомнит эту минуту, что «как ни на есть лучше подходила» для сведения счетов. Вспомнит и колокольный перезвон, удержавший от преступления. И в сердцах проклянет даже эти свои воображаемые колокола, зазвучавшие так некстати. Еще бы: его недруга Румяного никакие колокола никогда бы не остановили, да и не

услышал бы он их, а если бы вдруг и услышал, так не внял бы, как не внял потом, на дне глубокого рва, когда его нож «оказался сильнее, его удар попал в цель», едва не оборвав жизнь героя-повествователя, едва не отняв у него любовь и навсегда лишив — так уж совпало — сына, родившегося как раз в этот день и вскоре потерянного в круговерти больших и малых событий...

Именно в этом эпизоде герой романа «Переплывешь реку» стал личностью и впервые осознал себя как личность. Ведь он еще не был ею тогда, когда, отправляясь «на большую стройку», покидал отчий кров, ступал в «неведомый мир за пределами деревни». Казалось бы, выбор, а разве не умение выбирать предполагает в человеке личность?

Но в том-то и дело, что, «один как перст» выбираясь в дальнюю дорогу, герой романа поступал «как положено»: слепо повиновался неумолимой логике житейских обстоятельств, вызванных жестокой «властью земли». Ибо «если земли пять моргов, отец, мать еще нестарые и в добром здравии, а сестра привела мужа в дом и если ты живешь при родителях, то в двадцать лет отчий кров обязан покинуть». Обязан... И вот он идет в последний раз «по полю, увязая в рыхлой земле, чавкающей под ногами», но родная земля, даже отторгнув, цепко держит на привязи его «жестокую и упрямую душу», и он, зная это, готов «многим пожертвовать ради осуществления своих планов». Лишь бы сбылось это самовнушение, это заклятие, повторяемое как молитва: «Ты вернешься в деревню, вернешься преображенный, переплывешь свою реку и снова переплывешь ее на обратном пути...»

Образный строй прозы Юлиана Кавальца тяготеет к сложной, многоразветвленной фразе, густо насыщенной смысловыми и ритмическими повторами. «Мой ритм является подражанием ритму земли... Я старался передать тональность причитаний и запев, свойственный крестьянской речи и песне» — так объяснял однажды писатель свои стилевые пристрастия. В природе их — неоднократное возвращение и к образу реки как некоего пограничья между старым и новым, прошлым и настоящим в судьбе героя, а иной раз и роковой черты между жизнью и смертью. В буйный речной разлив разворачивается драматически напряженное действие рассказа «Хозяйство бабки Ядвиги». Через «большую жестокую и ласковую реку» пролегает последний путь отца в повести «Серый нимб»: как ни хорошо знал он «тайны ее глубин, ее омуты, обманчивые течения, поверхностные и глубинные», река не стала его спасением и надеждой — об этом заранее побеспокоились каратели-бандиты, держа связанную по рукам жертву под дулом револьвера. В романе «Переплывешь реку» заглавный образ реки повторяется наиболее часто, и не только в расширительном, но и в изначальном метафорическом значении. Переплыть реку — значит покинуть деревню, где родился и вырос, обрезать пуповину, вырвать корни, связующие с землей предков, с родительским кровом. Переплыть реку снова, обратно — значит вернуться назад, чтобы больше не чувствовать себя отрезанным ломтем, изгоем, прийти победителем, преуспевшим в жизни, удачливым, «человеком самостоятельным, при деньгах, довольным и принаряженным».

Мечты явно неромантические. Но не будем укорять героя-повествователя, памятуя о пяти моргах земли, которых оказалось слишком мало для того, чтобы занять его молодые, сильные руки, дать работу и хлеб в родном доме. И почему бы в самом деле не помечтать о костюме из чистой шерсти, если замызганная телогрейка хоть и к лицу ему, да пока единственная его одежда, или о городской комфортабельной квартире, если он спит на нарах в бараке общежития, где крысы прогрызли стену, а горячая вода, чтобы отмыть грязь, бывает всего раз в неделю. Не удивительно, что будущий город, который «только еще затевался, едва вылезая из трясины», представляется герою романа райскими кущами, а безмятежное счастье посреди них видится достойным венцом одержимого стремления «пробиться локтями к обеспеченности». Но и то верно, что одно такое стремление не создает личности и нельзя стать ею, будучи «внутренне разорванным», словно судьба запустила в душу «два крюка, и тянула их в разные стороны, и раздирала на две половинки».

Герой прав: «что-то от хлебоеда и похлебочника», как полупрезрительно именует он то темное и косное, что идет от мертвящей «власти земли», если понимать под нею власть собственничества, крепко сидит в нем. Вчерашний крестьянин, мечтающий переплыть реку обратно, истово рвется «к работе, словно к золотой жиле», но он не прошел еще свой «тернистый путь от ...тягловой силы до человека».

Тем и примечателен приведенный ночной эпизод, что в нем герой романа преодолевает разлад между разумом и сердцем и осознанно совершает свободный, бескорыстный выбор, не подчиненный «отчужденной» силе внешних обстоятельств. И даже бросает вызов этим обстоятельствам, потому что неотвязная тень мстительного врага отныне будет всегда рядом, пойдет след в след. Выбор и вызов — вот главное, с чего начинается личность, о чем возвестил колокольный звон, мажорно прозвучавший в душе, донесший напряженные трудовые ритмы стройки.

В труде, который перестает быть просто работой, шаг за шагом становится творчеством, и совершается становление его личности, воспитание характера. Зная истинную цену трудностям, вынесенным на собственном, что называется, горбу, герой-повествователь нарочито выделяет буднично привычную, обыденную сторону своей жизни. И вдоволь потешается над бравурными лозунгами, парадными рапортами, не иначе как в пику им благословляя однажды «исступленную брань», «зверские, страшные проклятья», которые «тоже созидали» город, помогали строителям «трудиться и выстоять».

Здесь, впрочем, стоит оговориться. Целиком соглашаясь с Юлианом Кавальцем, писавшим о том, что «настоящий патриот не тот, кто кидается лозунгами и ежечасно кричит: «Да здравствует!», и не тот, чьи ладони вспухли от аплодисментов», не рискнем столь же безусловно поддерживать его героя в том переборе по части жаргона, который он порой допускает, в натуралистическом пережиме в иных описаниях. Такого рода излишества подчас досадно очевидны. Равным образом, даже разделяя нескрываемую полемику, которую, как бы сливаясь

вместе, ведут автор и герой, обличающие неких «назойливых людей с блокнотами», по всему судя — просто плохих журналистов, падких на «правду прикрашенную, рассчитанную на посторонний глаз», согласимся, что все-таки слишком жестка предложенная в романе регламентация «двух правд» — показной для других и истинной для собственного потребления. И хотя потом, не без противоречия себе, герой романа признает, что обе эти правды «были настоящие», вторая утверждается как «самая что ни на есть настоящая». А между тем и она не так уж обытовлена, как хочется порой ему представить, и она объективно включает в себя немало одухотворенного и вдохновенного. Потому-то не иначе как священным временем называет герой романа часы единения в труде и не замечает, что сам при этом сбивается на «красивые слова», которые отнюдь не воспринимает красивыми, ибо в них правда. Единая, нераздельная правда для всех...

Как и главный герой, ведущий повествование, большинство других персонажей в романе также безымянны. Просто Молоденький — невысокий, тщедушный, белобрысый парнишка... Он первым «рвался к большим делам, к большой технике» и лучше всех умел «видеть самого себя, преображенного в городе, который... предстояло воздвигнуть». Или Партиец — один из руководителей, организаторов стройки... Рабочие признают в нем своего, верят ему, видя, как в самые трудные дни и ночи он с лопатой в руках становится рядом и личным примером добивается того, что не под силу ни одному «толкачу»: человеческие сердца открываются навстречу, уважение и доверие окрыляют людей, в то время как неуважение и недоверие способны уподобить «печальным машинам с выстуженным нутром». Или, наконец, Мать — фигура, поднятая до символа, мастерски выписанная в единстве условно-обобщенных и конкретно-реалистических деталей... «Словно добрый приходский пастырь, добрый исповедник четвертого участка земляных работ», она врачует смятенные души, наставляет заблудшие умы на жизнь честную и праведную, освященную трудом и трудовой народной моралью. Безымянна и стройка, на огромном пространстве которой вырастают заводские корпуса и городские кварталы. Однако такая ориентация писателя на бóльшую обобщенность повествования не мешает разглядеть в нем те конкретные реалии места и времени, в которых угадывается многотрудная история строительства одного из первенцев социалистической индустрии Народной Польши — металлургического комбината и города Нова Гута, воздвигнутых вблизи древнего Кракова.

Расшифровав это место действия романа «Переплывешь реку», невольно испытываешь соблазн сопоставить его с теми произведениями нашей советской литературы, которые вели нас когда-то на строительные площадки Комсомольска-на-Амуре (Вера Кетлинская, «Мужество») или Магнитогорска (Николай Воронов, «Юность в Железнодольске»). Судьба героя-повествователя, его просветленные воспоминания о трудовой юности, которая кажется тем прекраснее, чем больше лет отделяет ее ото дня нынешнего, поэтизация рабочих будней, выписанных с тщательной реалистической достоверностью, пафосные описания ударных вахт, штурмовых дней и авральных ночей «бешеной стройки» —

все это дает объективные поводы для такого сопоставления, подсказывает немало аналогий.

История, однако, не повторяется и в своем поступательном развитии не признает безусловных копий. Все, что происходит в романе Юлиана Кавальца, зримо несет на себе печать конкретно-исторического своеобразия первого послевоенного десятилетия Народной Польши, и его черты далеко не всегда совпадают с тем, что и как закрепили в нашей читательской памяти романы и повести о трудовой страде довоенных пятилеток. Общее преломляется в особенном, социально-типическое — в неповторимо-индивидуальном. Роман «Переплывешь реку», погруженный в особенное и неповторимое,— явление современной польской литературы, и его важнее всего рассмотреть как в ее общем русле, так и в индивидуальном контексте писательского пути. И, не довольствуясь верхним срезом, перейти к глубинным пластам, сокрытым в содержании и форме повествования.

Здесь, очевидно, самое время вернуться ненадолго к термину «деревенская проза», уточнив его содержание, сопредельное, но не адекватное в советской и польской литературах. Для нас это чаще и больше проза именно о деревне — ее настоящем и прошлом, социальном и духовном опыте, нравственных традициях, корнях и истоках трудовой народной морали. Роман «Люди из захолустья» Александра Малышкина, например, мы не отнесем к «деревенской прозе» даже ретроспективно, хотя его герои в большинстве своем выходцы из деревни. Не то «деревенская проза» в польской литературе. «Переплывешь реку» Юлиана Кавальца принадлежит ей, правомочно представляет ее при всем том, что действие романа разворачивается на крупнейшем промышленном строительстве и непосредственно с деревней прямыми сюжетными линиями даже не связано.

Терминологическая неточность? С точки зрения формальной логики — вполне возможно. Но не по букве, а по сути дела в ней, мнимой неточности, заключен большой смысл. Это хорошо обосновал Юлиан Кавалец, размышляя на страницах «Вопросов литературы» о том, что польская «деревенская проза» не есть проза, привязанная только к деревне. Ее «болевой нерв» — новая судьба, социальная и духовная переделка крестьянских поколений, становление их современного миропонимания и мироощущения, гражданского самосознания. Необратимый, но трудный, драматически противоречивый процесс, определяемый понятием, к которому всегда охотно прибегает Юлиан Кавалец,— «сложный оптимизм истории». Потому сложный, что, как свидетельствуют, в частности, включенные в настоящий сборник рассказы «Большой розыгрыш», «Пусть умрет гладя собаку», «Свадебный марш», история торит себе путь не по асфальту прямых как стрела магистралей, а по булыжным мостовым или вовсе глухим проселкам. На этом пути социального и духовного прогресса народа, нации то и дело возникают колдобины и рытвины, оставленные прошлым. Порубежная черта между старым и новым не обязательно разводит людей в разные стороны, но нередко пролегает и через психологию, мораль одного человека. Стародавние пережитки проникают в день нынешний родимыми пятна-

ми прошлого, которое отнюдь не нейтрально, вовсе не пассивно отложилось в закромах памяти. Агрессивно наступательное, оно и сегодня продолжает иногда калечить духовно, отравляет жизнь горьким сознанием «запоздалости» происходящих перемен. тех лучших возможностей и условий, которые создаются для дальнейшего развития деревни, труда и быта крестьян. Такая «обида» на судьбу, ее неизжитые удары и драмы оборачивается подчас то злобой и ненавистью, то отчаянием и страхом. Ослепление ими мешает воспринимать настоящее во всей его многомерной полноте, многотрудной правде.

Так происходит в рассказе «Свадебный марш» со Степенной Анной, чья старость отравлена неотвязным воспоминанием о том, как деревенский органист, которому не смогли вовремя заплатить денег, не сыграл при ее венчании свадебный марш. Несыгранный марш стал для Анны незаживающей, кровоточащей раной. Неким знаком, напоминающим об уготованных с молодых лет несчастьях и муках. И что с того, если они ее все еще не настигли? Значит, неотвратимо обступят впереди как порождение векового зла, которое своим недреманным оком подстерегает каждый шаг, коварно дожидается часа своего мстительного торжества. «Вот так одна мысль сменяла другую:

Мой старший сын стал инженером.
Не было у тебя свадебного марша.
Мой старший сын хорошо зарабатывает.
Зло притаилось и выжидает.
Мой младший сын стал учителем.
Зло не торопится...»

Отчаянным вызовом этому затаившемуся до поры до времени злу, самоослепленным бунтом против него, обрекающего на извечный ужас перед будущим, становятся в драматическом финале рассказа сполохи пожара, которыми по воле Анны занимаются однажды под утро дом органиста и костел. Но им ли снять наваждение, принести успокоение оцепеневшей душе?

Если повествовательные плацдармы рассказов чаще всего ограничены у Юлиана Кавальца жесткими пределами отдельно взятого эпизода, исключительного по внутреннему драматизму случая, то на эпическом пространстве повести или романа перед писателем открывается куда менее стесненный простор для изображения и постижения жизни в ее полноводном, со множеством встречных струй и потоков течении. Тем и интересен, и значителен роман «Переплывешь реку», что новая судьба его героя прослежена от самых глубинных истоков до решающего перелома и увидена в социальной типичности послевоенного пути молодых крестьянских поколений. В одном из предыдущих романов — «Танцующий ястреб» — об этом говорится открыто публицистическим текстом: «Города, окруженные доселе неприступным валом мещанского воздуха, прочной стеной мещанских мыслей и чувств, были вынуждены теперь распахнуть двери своих домов, фабрик и школ перед приблудшими, которые стекались со всех сторон в кепчонках, с ивовыми корзинками, деревянными сундучками, с учащенно бьющимися

сердцами и с удивлением и страхом во взоре, сменявшимися затем выражением надежды и упрямства...»

Такое противопоставление деревни, разворошенной социальными бурями, хлынувшей в город, и самого этого города как обиталища мещан в романе «Переплывешь реку» дается уже не публицистическими, а образными средствами. Наибольшего пафоса оно достигает в сцене праздничной демонстрации: «Собственно говоря,— вспоминает герой,— это была не демонстрация, а скорее столкновение загорелых, исхлестанных непогодой лиц с бледными физиономиями мещан; не праздник, а смотрины, два лица надвигались друг на друга и пристально друг к другу приглядывались».

Куда как легко, отметив ригоризм юности, наставительно напомнить, что древний Краков — город не столько мещан, сколько памятных классовых битв польского пролетариата, великих революционных традиций народа, что праздничная демонстрация, в рядах которой уверенно шагает герой романа, на самом деле символизировала трудовую мощь Народной Польши, одержавшей в социалистическом строительстве первые внушительные победы. Важней и справедливее будет, однако, отделив автора от героя, увидеть, как в настороженности последнего проявляется пусть остаточное, но все-таки недоверие к городу, предпосылки которого задавались отчасти самой действительностью. Не забудем, что он современник эпохи, когда буржуазные умонастроения, уходившие корнями в довоенные годы «санации», не были преодолены, изжиты до конца.

Олицетворением буржуазности старого мира, хитроумно пытавшейся во всеоружии своей социальной и нравственной мимикрии приспособиться к условиям Народной Польши, и выступают в романе «белолицые горожане» и «худосочные мещане» древнего города. Но не старая деревня противостоит им, а новый, социалистический город. «Они построили стотысячный город, и, строя его, они строили самых себя — свои знания и культуру»,— писал Юлиан Кавалец в одной из публицистических статей о строителях Новой Гуты, среди которых искал и находил жизненные прототипы своих героев.

Что же до старой деревни, то насчет ее устойчивой якобы патриархальности, исконной чистоты нравственных начал и истоков, незамутненных родников духовности писатель никогда не питал никаких иллюзий. О том, как плохо была она приспособлена для человеческого счастья, рассказывает его ранняя повесть «К земле приписанный» — о драматической судьбе крестьянина, который, как и жертва его первого преступления, «не мог освободиться от коварно и насильно навязанной ему временем власти маленького клочка земли, не мог избавиться от языческого почитания земли». Темная, отчужденная «власть земли» — социальное «прошлое всех деревень» — была долей многих крестьянских поколений, и эта суровая доля неотвратимо готовила героя повести «к двум преступлениям, и он покорно приближался к тем дням, когда совершил первое и второе убийства».

Возможно, в таком представлении о фатальной запрограммированности злодейства Войцеха Трепы сказывается несколько огрубленное

превращение человека в неодушевленную «функцию» исторических условий. Вольно или невольно такой взгляд прорывается у прокурора Анджея Табора, крестьянского сына, угадывающего в деле обвиняемого и свою возможную судьбу. Но не станем оспаривать права писателя на полемическое заострение мысли, призванной углубить в герое чувство исторической памяти, которое помогает ему полнее и лучше понять новое время.

Обостренное чувство исторической памяти, включая память о буржуазном прошлом деревни, пронизывает и сюжетные коллизии повести «Призвание». Трагической повести о гибели таланта из народа, искусного мастера-умельца, который становится жертвой темных инстинктов собственничества, жестоких предрассудков старины. Оказывается, они проникают и в нынешний быт деревни. Неудивительно: материальная обеспеченность жизни достижима и быстрее и легче, чем духовное совершенство, и психологическое наследие прошлого в сознании людей бывает, как уже отмечалось, не просто достаточно жизнестойким, но и агрессивно-наступательным.

Так проявляется социальная зоркость писательского взгляда на деревню, ее вчерашнюю и сегодняшнюю судьбу. С этой точки зрения, если искать какие-либо аналогии между «деревенской прозой» в польской и многонациональной советской литературах, романам, повестям и доброму десятку новеллистических сборников Юлиана Кавальца («Шрамы», «Поваленный вяз», «Черный свет», «Свадебный марш», «Большой праздник» и др.) ближе всего будут, пожалуй, своим социальным драматизмом, психологическим напряжением такие различные явления нашего современного романа, как «Земля и народ» Рудольфа Сирге или «Глухие бубенцы» Эмэ Бээкман, дилогия Иона Друцэ «Бремя нашей доброты» или «Лестница в небо», «Чужие страсти» Миколаса Слуцкиса, «Жаждущая земля» и «Цветение несеянной ржи» Витаутаса Бубниса. И, конечно же, «Потерянный кров» Йонаса Авижюса с трагедийной судьбой одного из героев, прекраснодушно пригрезившего себе обетованный уголок мира в идеализированном образе деревни, идиллического труда и быта крестьянина, с его будто бы извечным и неизменным христианским человеколюбием.

Иные тематические стыки с современной советской прозой — например, с давней «Памятью земли» Владимира Фоменко или относительно недавним «Прощанием с Матерой» Валентина Распутина — обнаруживают произведения Юлиана Кавальца, если их рассматривать в философском, социальном и нравственном контексте проблемы город — деревня и деревня — город. Уместно сослаться также на рассказы Василия Шукшина — о героях-«чудиках», которых писатель уподобил как-то человеку, стоящему одной ногой в лодке, а другой на берегу: уже оторвавшись от деревни, он еще не прирос к городу, не нашел в нем себя... И вторжение деревни в город, и наступление города на деревню для Юлиана Кавальца — процесс объективный и необратимый. Потому ведь и невозможным становится задуманное героем повести «Ищу дом» возвращение в милую по лирическим воспоминаниям юности деревню, что она попросту не существует. Да и не существовала в

прошлом как та райская обитель, какой выглядит со стороны — с расстояния лет и десятилетий, разнеживших, размягчивших память. Жизнь уходит вперед и в ускоренном своем беге не очень-то считается с идиллическими грезами.

Хорошо это или плохо? К добру или худу?

Прав старик из повести «На солнце», укоряющий проектировщиков нового города и завода за снос деревни, за равнодушное отношение к плодородной земле, отданной под строительство. Но прав и молодой герой романа «Переплывешь реку», мечтая, «каким прекрасным будет город», который он строит, и как «высокие дома с балконами подымутся» в благодатной долине, на месте нынешнего разлива хлебов. Крестьянский сын, он, однако, не раз пожалеет «пшеницу, которая здесь до того хороша, что перед жатвой поле... кажется точно по мерке сработанным из чистого золота». И не он один пожалеет...

«Деревня исчезала постепенно, можно сказать, это делалось методично: сначала тяжелые ножи бульдозеров срезали с полей всю растительность; когда прекратился наконец надсадный, всепроникающий, немного глуховатый, как дребезжание треснувшего колокола, грохот этих машин, дома и окружающие их деревья оказались как бы на берегу плоской бурой пустыни, прикрытой только воздухом, которая с каждым днем становилась все более безжизненной» — такой апокалипсической картиной начинает Юлиан Кавалец рассказ «Большой праздник на стройке», выдержанный в условной манере философской притчи, которая предостерегает людей от роковых экологических последствий небережливого, нерачительного, нехозяйского отношения к земле и природе. Машины, вышедшие из повиновения человека, опустошают плодородную ниву, отрывая от зеленого кольца стройки все новые куски, чтобы придавить их железом и камнем, «то есть выдержать три... этапа обращения с землей: сначала содрать с нее кожу, потом плодородие заменить бесплодием и наконец до смерти забить ее каменьями». Горька писательская ирония над неразумием сиюминутной пользы, одномоментной выгоды, которые сопутствуют деляческому прагматизму, чреватому невосполнимыми потерями — насилием над естеством природы, изничтожением ее красок и звуков. Искусственной ли птице, посаженной на искусственное дерево, заменить их? Как ни фантастична эта финальная аллегория, она принимает на себя отсвет тех доподлинных проблем, действительных противоречий времени, которые получили в философской и социологической литературе определение глобальных...

Всем идейно-нравственным пафосом романов, повестей и рассказов отвергая идеализированные представления о деревне как исконной хранительнице не порушенных «городской» цивилизацией патриархальных устоев, Юлиан Кавалец, верный последовательной диалектичности своего взгляда, далек вместе с тем и от того, чтобы изображать крестьянский мир в одноплановых измерениях социального зла. «Когда я пишу,— признается он,— когда тружусь над книгой, я при этом как бы пользуюсь случаем отблагодарить деревню, стараясь в меру своих возможностей извлечь ее правду и красоту из-за плетня на широкий

всенародный тракт». Духовные и нравственные ценности, закрепленные трудовой моралью народа, прошедшие через жизнь многих крестьянских поколений, являются тем достоянием деревни, которое действенно влияет на формирование ее нового облика, активно участвует в становлении и воспитании нового человека.

Не случайно поэтому так часто в прозе Юлиана Кавальца — как, скажем, у нас в прозе Иона Друцэ — присутствуют образы деревенских старцев, носителей вековой мудрости, превыше всего ставящих умение человека «шагать неторопливо по плодородной ниве и рассевать зерно». Это и отец из рассказа «Поваленный вяз», которого ничто не могло ни удивить, ни испугать в жизни: «все, что ему суждено было пережить, он уже пережил», «испил свою чашу сполна и доподлинно знал, что и как». Это и старики из рассказа «Прощание с горой», чье мысленное восхождение по крутому склону за деревней воспринимается не чудачеством немощи, а выражением неистребимого жизнелюбия, которое сродни душевной стойкости человека, достойно и честно прошедшего земной путь. Не о том ли и в романе «Переплывешь реку»? Из деревни вынесла Мать благоговейное отношение к труду, который почитала «святым делом, доску и ту несла, точно святыню». Из родительского дома и герой-повествователь принес на стройку свои сноровку и хватку, готовность и привычность к самой тяжелой, изнуряющей, «суматошной работе»...

Так снимается заявленная было антитеза деревня — город или город — деревня, не выдерживая перепроверки реальной действительностью. И деревня и город сами по себе одинаково ни при чем в той нравственной деградации, моральном вырождении личности, которые подстерегли героя романа «Танцующий ястреб». В печальном своем крушении — «высоко забрался, да плохо кончил» — виноват сам Михал Топорный, который не ушел из деревни в город, а, «словно вор после ночного промысла», трусливо бежал из нее навсегда в суетной погоне за слепой удачей. Давнее крестьянское заклинание «Прикупи земли» — «рефрен столетий», как говорит об этом писатель в повести «Призвание», молитва, исстари рожденная собственническим укладом,— уступило в его сознании место честолюбивой страсти «добиваться все более высоких постов», и в основе этих обоих вожделений лежало одно и то же «тупое упорство», фанатичное стремление пробиться и выбиться любой ценой. Оно определило как деревенскую, так и городскую «половину» биографии героя, который только тогда, когда достиг заветных высот служебной карьеры, но потерпел полное поражение в жизни личной, семейной, вдруг увидел себя блудным сыном, нуждающимся в прощении.

Тем и дорог писателю молодой герой романа «Переплывешь реку», что, уйдя из деревни, да так и не вернувшись больше под отчий кров, он и сбросил с себя вериги «хлебоеда» и «похлебочника», и сберег все лучшее, нравственно цельное, воспитанное трудом, все, чем родная земля одарила его, крестьянского сына. И не просто сберег, но приумножил, обогатил новыми духовными ценностями, которые открыла ему стройка.

Разумеется, и этот процесс совершался не сам собой. Первые послевоенные годы, когда разворачивается действие романа, знали не только могучую волну строительства, созидания жизни на новых социалистических началах, но и пену на волне, ту мутную накипь, которая поднялась со дна разбуженной, переворошенной стихии и выплеснулась на поверхность множеством пережитков, гнездившихся как в повседневном быту людей, так и в их обыденной психологии. Не удивительно: на крутых своих поворотах, переломных рубежах народная история не знает простых и легких развязок всех тех тугих узлов, что крепко стянуты уходящим прошлым. Не создает оно, учил В. И. Ленин, идеальных людей для социализма. Тем выше по-ленински понятые двуединые задачи идейно-нравственного воспитания, которые берет на себя социалистическое общество: строя новую жизнь, формировать нового человека и, формируя нового человека, строить новую жизнь.

В многотрудном процессе такого формирования и видим мы героя романа. Недаром так сурово казнит он себя то за тайный шинок с выпивкой, то за любовь в Глухой канаве, ставшей его «пристанищем и супружеским ложем». И так наивно верит в свое «настоящее преображение», которое придет вместе с квартирой в новом доме, двуспальной тахтой и высокомудрыми размышлениями «об окружающем мире». Думая таким образом, он пока еще не знает, что можно быть пошляком на модерной тахте и целомудренным в копне сена, но в самом этом незнании заключен тот нравственный максимализм, без которого нет и не может быть духовного развития. Ведь нравственность всегда выше плоской бытовой морали. Можно искренне верить, что и собственных детей принес тебе аист, и к зеленому змию проявлять полнейшее равнодушие, но по натуре своей оставаться воплощением безнравственного себялюбия и эгоизма.

Вспоминая о днях минувших из дней нынешних, герой романа словно бы замыкает на себе нерасторжимую связь времен. И тем самым включает в повествование еще один важный для писателя мотив — преемственности поколений. Представляя ныне «отцов», он не всегда умеет удержаться от укоров «детям». И даже склонен допустить иногда, будто и впрямь приспела пора тревожно вопрошать «самого себя и всех вокруг: много ли встретишь теперь таких ребят», как те, с которыми он штурмовал рекорд, «не поразило ли бесплодие матерей, не сглазил ли кто те постели, ту солому и те холщовые простыни, на которых рожали таких ребят, и не случилось ли чего с теми люльками на полозьях или подвешенными к потолку, в которых таких ребят укачивали?..»

Ничего не поделаешь: другие юноши поют другие песни... Всегда так было и всегда будет. Но это вовсе не значит, будто вопрос «Где же вы, ребята прежних лет?..», готовый сорваться у «пожилого гражданина» посреди шумной улицы, которая по-прежнему видится ему вся в строительных лесах, не вызовет ответа. И если непосредственно в воспоминаниях героя он остается действительно без ответа, то на него отвечает повесть Юлиана Кавальца «Серый нимб».

Как и роман «Переплывешь реку», она выдержана в ключе

развернутого внутреннего монолога. Им передано мироощущение сына, который воскрешает в памяти образ отца, погибшего в апрельскую ночь 1945 года от рук бандитов. Сельский коммунист, отец «одним из первых ступил... на господскую землю, чтобы поделить ее и дать трудящимся крестьянам», и, не в пример другим односельчанам, не дрогнул затем ни перед угрозами, ни под «ударами тех, кто запрещал вступить на эту огромную землю без межей». Казалось, «он даже гордился этими угрозами, выстрелами, этим пожаром», что походило со стороны на ребячество, а на самом деле было упорством и твердостью, которые даются силой убеждения в своей непререкаемой исторической правоте. Как убежденный человек идеи, ее подвижник, он встретил и геройскую смерть, о которой теперь, спустя десятилетия, рассказывает том «актов следствия и показаний обвиняемых и свидетелей». Над этим извлеченным из судебного архива томом склоняется ныне сын, укрепляясь в своем решении «воссоздать завещание отца и выполнить его». Говоря иначе, ровесник социалистической Польши осознает свою кровную причастность к ее судьбе, личную ответственность за нее. Из этой ответственности и вырастает новое мироощущение героя, мироощущение зрелого человека, сумевшего через юношеские метания, сумбурный угар юношеских вечеринок, где на все лады трактовалась недавняя «военная» история деревни, пронести крепнущее чувство гражданственности. К этому обязывают «и постаментик из торфяных брикетов, и ветка дерева, принявшего... свой тяжелый плод, и серый нимб» — веревочная петля, оборвавшая отцовскую жизнь. Так в звеньях памяти, обозначенных сюжетом повести, проступает связь поколений, которая цементирует связь времен в движении народной жизни. Дети принимают эстафету отцов, и в этом наследовании революционных традиций прошлого также заключен «сложный оптимизм истории», ставший своего рода формулой писательского творчества.

3

В заключение — несколько выдержек из путевого блокнота, одной из «польских тетрадей» 1979 года, где зафиксирована встреча автора настоящей статьи с Юлианом Кавальцем в Кракове и беседа с ним как о собственной его работе писателя, так и об общих проблемах современной литературы. Сто́ит, наверное, привести эти выдержки, чтобы прямой речью собеседника донести его суждения, оценки, взгляды.

— Вчера и сегодня деревни,— начал Юлиан Кавалец наш разговор,— моя неизменная тема... Я родился в деревне, вырос в многолюдной семье. Этот опыт жизни моей, моего отца, деда, моей среды я переношу в свои книги. Конечно же, меня занимают не деревенский пейзаж, который можно ведь и придумать, не внешние атрибуты крестьянского труда, которые поддаются стороннему наблюдению, а глубокие внутренние процессы. Литература должна глубже проникать в то, что недоступно первому взгляду, стороннему наблюдению. Воображение, интуиция помогают писателю дойти «до корня», увидеть,

образно говоря, течение подземной реки. Не уверен, что мне это всегда удается, но таково мое стремление.

— Чем объясняете вы жизнестойкость «деревенской прозы», одинаково укоренившейся и в современной советской, и в современной польской литературах?

— Бурными, стремительными переменами — социальными, экономическими, психологическими, захватывающим движением деревни вперед. Этот процесс мало засвидетельствовать, его надо разобрать, разложить на составные части, исследовать во всех противоречивых слагаемых. Без противоречий не обходятся ни выход деревни в город, ни вторжение города в деревню... Порывать со старыми традициями, со сложившимся укладом труда и быта, к которому человек был привязан на протяжении жизни многих поколений, не легко и не просто. Психологически это всегда драма, и мы платим драмами за каждый рывок вперед. Ускоренный бег деревни к современной цивилизации чреват тем, что мы неразумно отбрасываем прежние ценности крестьянской жизни. Не все старое плохо. Нельзя забывать морального «капитала» крестьянина, его трудолюбия, в плоть и кровь вошедшей привычки судить соседа по делам, а не по словам, не обольщаться внешним блеском, если он не обеспечен нравственно. Крестьянская философия проникнута беспредельным уважением к труду, к земле, к хлебу. Хлеб свят. Не поднять корку, упавшую на пол, — кощунство. Обмануть землю — значит обмануть себя. У труженика земли самый короткий и прямой путь от слова к делу.

Уровень и размах современной цивилизации внушают не только радость, но и тревогу. Тем, кто, подобно герою моего романа «Переплывешь реку», строил Нову Гуту, конечно же, жаль полей пшеницы, на месте которых выросли заводские корпуса. Но оно не сразу пришло к ним, это чувство, не по горячим следам строительства... Бурные ритмы и темпы жизни не часто дают возможность остановиться, оглянуться на то, что сделано. Как бы не получилось так, что культ мертвой материи завладеет нами. Вот почему важно беречь деревню, которая дает жизнь всему живому. Люди техники нередко бывают слишком самонадеянными, но им как раз и надлежит помнить, что будущее нашей планеты зависит от того, сохраним ли мы мир природы, наши реки, поля и леса. Деревня в этом смысле предостерегает нас, хранит нашу мудрость. Будем же учиться у нее любви к природе, умению наслаждаться шелестом листьев, запахом трав, будем преодолевать свое потребительское отношение к тому, что нам дарит земля. И не сочтем это сентиментальной слабостью...

— Можно ли заключить из ваших слов, что «деревенская проза» критична по отношению к городу и тем переменам, которые он несет в жизнь деревни?

— Ничего подобного. Важно видеть, из каких намерений вытекает критика. Литература должна предостерегать от ошибок. Так, как в вашей прозе делают это Чингиз Айтматов или Валентин Распутин. Что до меня, то мой «критицизм» продиктован особым интересом к герою, чья жизнь словно бы рассечена пополам. Сыновья деревни не всегда

шли надежным путем. Рванувшись к знаниям, культуре, они что-то и потеряли в дороге, внешний блеск подчас предпочли внутреннему содержанию. Свою задачу писателя я вижу в том, чтобы бороться с высокомерием, которое иные из нас обрели тем легче, чем стремительнее их общественное продвижение опережало культурное развитие, чем сильнее мутилось у них в голове от успехов. Прочность духовных основ, высота нравственного потенциала — вот что заботит меня больше всего.

Если же говорить о писательском отношении к изменениям в жизни деревни, в сознании сельского жителя, то ведь вся наша «деревенская проза» вышла из них. Для нее всегда было важно уловить пульс этих изменений. Они действительно огромны, ни с чем не сопоставимы. Как ни с чем не сопоставима и ломка в психологии вчерашнего мужика, который сегодня становится интеллигентом. Надо следить за ним, не допустить, чтобы он превратился в искусственное создание, потерял себя. Пусть он будет интеллигентом, но не обрубает при этом своих народных корней, не забывает своей крестьянской родословной, несет и хранит в себе духовные ценности деревни, отбросив все то, что в прошлом служило причиной эксплуатации. Так понимаю я пафос «деревенской прозы»...

— Как соотносятся, по вашему мнению, в современной польской прозе, посвященной деревне, очерк, публицистика и повесть, роман? Какое место занимает в ней конкретный, деловой анализ актуальных социально-экономических проблем?

— Рассказ, повесть, роман — конечно же, не статья публициста. У каждого свои цели. Но из романа или повести читатель также может вынести представление о проблемах экономики. Поистине великий урок завещал нам в этом отношении Лев Толстой. Разве, проникаясь заботами Левина в «Анне Карениной», мы не познаем экономическую жизнь тогдашней России?..

Никто не спорит: художественное произведение пишется не для практического разрешения текущих задач, но и не в отрыве от реальной жизни. Главное дело писателя — глубокое постижение человека. Но человек раскрывается в труде, в том, как он понимает и как выполняет свой долг перед обществом. Вот почему нет творчества в обход общественных проблем современности...

Сказано о литературе в целом. Но с тем большим убеждением, что Юлиана Кавальца укрепляет в нем его собственный писательский опыт.

В. Оскоцкий

ПЕРЕПЛЫВЕШЬ РЕКУ

роман

PRZEPŁYNIESZ RZEKĘ

1973

ПЕРЕВОД М. ИГНАТОВА (гл. I—XVII) и К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ (гл. XVIII—XXVIII)

ГЛАВА I

Если земли пять моргов, отец, мать еще нестарые и в добром здравии, а сестра привела мужа в дом и если ты живешь при родителях, то в двадцать лет отчий кров обязан покинуть. Хоть страшит тебя неведомый мир за пределами деревни, хоть и не хочется покидать ее, уходить надо. Никто тебя не гонит, никто не повышает голоса, все с тобой ласковы, однако ты уйти должен. Родня и виду не подает, но ты об этом сам догадываешься, поскольку так уж повелось на свете. В каждом доме наступает минута, когда кто-то вдруг оказывается лишним и должен убраться подобру-поздорову, ибо каждый дом вмещает лишь определенное число обитателей.

Я сказал, что еду на большую стройку. Домашние удивились и пригорюнились, однако все понимали, что я должен ехать. Отец, услыхав о моем решении, даже встал со стула, у матери блеснули слезы, сестру словно током ударило, а зять испытующе взглянул на меня. Все повели себя так, словно стряслось что-то необыкновенное, а дело было вполне житейское, и родня прекрасно понимала, что, уходя, я поступаю как положено.

Дядюшка, ездивший на заработки во Францию, дал мне французский чемодан, похожий на кузнечные мехи или гармошку. Размеры его можно было изменять с помощью двух черных ремней. Набитый до отказа, чемодан раздувался, а если поклажа была невелика, его стягивали ремнями, и он сплющивался.

Когда я наклонился, чтобы уложить вещички, мать надела мне на шею петлю из суровой нитки с образком, на котором был вытиснен лик бога-отца.

Тогда я был глубоко потрясен вручением образка, но теперь смотрю на это иначе, ибо в том мире, куда мне пришлось уйти, я то ли огрубел, то ли переменился к лучшему, кто его знает... Ныне могу сказать, что это был крестьянский бог, дробимый по мере надобности на

миллионы богов, то и дело поминаемый всуе; крестьянский бог, изнуренный чужими молитвами, самый отходчивый из богов, дозволяющий в щедром своем всепрощении грешить сколько влезет. Можешь хоть глотку кому перерезать, а потом, смиренно воздевши очи, уставиться на деревянный лик — и получай прощение; либо можешь содрать с кого-нибудь шкуру, а потом, выронив нож, сложить ручки как паинька и со вздохом обратиться к милостивому, скорбному лику — и прощение готово.

Родня проводила меня до ворот и остановилась, а я с тяжелым французским чемоданом на плече побрел по полю, увязая в пашне, но, к счастью, до станции было недалеко: чуток полем, потом кустами, потом на лодке через реку, опять кустами, и за насыпью — станция.

Помнится, уже вечерело, когда я вышел за ворота, возле которых стояли они, то есть отец, мать, сестра, зять и дедушка. Я забыл упомянуть о нем вначале, а ведь и он жил в нашем доме. Присутствие дедушки тоже подталкивало меня в путь-дорогу, ибо каждому дому определено свое число обитателей. Нас набралось шестеро, а должно быть только пять душ.

Я шагал по полю, увязая в рыхлой земле, чавкавшей под ногами. В сердце закипала злоба, я не оглядывался, неведомый мир казался страшным, и это злило. Впервые я выбирался в дальнюю дорогу один как перст, не зная, что ждет впереди, за широкой рекой. Шел я прямо к багряному зареву, которое, если на него смотреть неотрывно, принимало очертания обезумевших огненных коней, что мчат вдогонку за солнцем.

В душе нарастали страх и злоба; злобу и страх я отгонял своими планами на будущее. Я приеду к ним, то есть в отчий дом, то есть к отцу с матерью, может, еще и к деду, если доживет — пусть бы еще малость протянул,— вернусь к сестре, зятю и замарашке племяннику, если его произведут на свет и выходят. Приеду к ним не в том барахле, что захватил с собой, а в новом костюме из чистой шерсти, при галстуке, в полуботинках, в шляпе, одетый по последней моде, как пан; и это будет мне наградой за то, что вынужден сейчас уйти, и боюсь, чертовски боюсь того, что будет в том новом мире, куда держу путь.

Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы все они: мать, отец, зять, дед — только бы дожил,— даже тот карапуз, которому предстояло родиться,— чтобы все они просто обомлели, увидав меня, расфранченного, чтобы их прямо-таки сразили мой наряд и осанка.

И так хотелось наладить свою жизнь, что я даже об этом молился.

Когда выпрыгнул на другом берегу из лодки, сердце вдруг затосковало, но я стиснул кулаки. «Ты вернешься сюда, вернешься преображенный,— думал я,— ты молодой и сильный, в таких нуждаются на больших стройках, таким, как ты, говорят красивые слова и пишут: приезжайте к нам на работу, гарантируем высокие заработки и благосостояние. А благосостояние — это значит хороший харч, удобное жилье, свободные деньги на одежду, мебель и все, что требуется человеку. Благосостояние — это возможность жениться, обзавестись семьей, посидеть вечерком с семейством на кухне; благосостояние — это значит не бояться завтрашнего дня.

Ты вернешься преображенный, переплывешь свою реку, и снова переплывешь ее, ибо в деревне все-таки не останешься».

Так размышлял я, и мне становилось легче, но трудно было избавиться от тоски; особенно сожалел я об одном укромном местечке — вымоине в обрыве над болотом. Там сухо и можно посидеть погожим днем. Перед тобой зеленая впадина, птицы камнем ныряют в камыши. Заберешься туда и чувствуешь себя, словно восседаешь на троне. Не столько с отцом-матерью и прочей родней было жаль мне расставаться, сколько с этой вымоиной над зарослями камыша. Теперь за мной как бы захлопывались ворота деревни, надо было идти вперед.

Впервые я отправлялся так далеко. Прежде почти носа не высовывал за околицу. Разве что изредка в уездный городишко съездишь, продать что-нибудь или купить. Дом, поля, прибрежные заросли да река — вот и весь мой мир, знакомый и нестрашный; а того, что было за полями и рекой, я побаивался. Этот новый мир притягивал и вместе с тем пугал.

Я шагал узкой тропой через кустарник, прутья хлестали по лицу. Потом кусты разомкнулись, и впереди выросла насыпь.

Неподалеку, за насыпью, был полустанок: дощатая будка — и больше ничего. Я купил билет и забрался со своим чемоданом в вагон. Это был, как говорили, вагон для скота, переделанный в пассажирский; но мне он понравился — просторный, похожий на горницу, доски гладкие, хорошо пригнанные, дверь на роликах что ворота, скобы и засовы надежные, ни единой щелочки, сработано на славу, такой вагон долго послужит. Вдоль стен — лавки, народу полно, сидячих мест на всех не хватило, многим пришлось стоять, мне тоже.

Я присматривался к людям, разные они были. Одни от усталости совсем осоловели и то ли дремлют, то ли нет. Другим неймется — до того охота побыстрее прибыть на

место, что прямо дрожат от нетерпения, словно внутри у них пружины. Многие едут на стройки. Эти из деревни, сразу видно, хоть и не говорят. Запросто узнаю деревенских, которые покидают родные края, чтобы подработать деньжат, прибарахлиться, ряшку наесть и вообще жизнь свою наладить.

Есть и один пьяный. Лицо круглое, бескровное, глубоко запавшие глазенки, кепка съехала на затылок. Почти еще мальчишка. Так нализался, что потерял всякий стыд и плачет посреди вагона, огромного телятника, переделанного на пассажирский, распустил нюни как младенец, да еще причитает, на лихую судьбину жалуется: мол, все деньги пропил и куда ему теперь податься. Хнычет тоненьким, писклявым голоском, будто поет, и то и дело вспоминает мать родную, которая снарядила его в путь-дорогу: «Мамонька дорогая, мамонька...» Причитает словно над покойницей, а мамаша жива и здорова. Причитает и дышит на всех винным перегаром.

В этом огромном телятнике ехала также женщина с узким, изможденным лицом и маленькими ввалившимися глазами. Губы сжаты, волосы будто прилизаны — темные волосы с проседью, она уже в годах. Одета кое-как.

Когда Молоденький спьяну расхныкался, распустил нюни, как малое дитя, женщина протолкалась к нему, погладила по голове и сказала: «Не плачь». Тот сразу же стих и уставился на утешительницу. С превеликим терпением она втолковывала ему, что деньги, пропитые с дружками, он вернет, если возьмется за работу, и что не в деньгах счастье. А он забормотал в ответ, что не убивался бы из-за денег, если б не были они материнские и мать не вытаскивала их иссохшими, натруженными пальцами из узелочка. Казалось, он теперь воочию видит, как мать копается в своем узелке, выуживает одну за другой бумажки и отдает ему. Это воспоминание разбередило Молоденькому душу, и женщине трудно было утешить его, залившегося слезами. Потом он побелел пуще прежнего и схватился за голову; тут его вывернуло наизнанку, и тяжкий дух растекся по вагону. Люди от него шарахнулись, утешительница тоже, и очутился он посреди пустого круга. Рослый румяный мужчина с черными усиками потребовал навести порядок и вышвырнуть пьянчугу на следующей же станции, но пожилая женщина взяла парнишку под защиту и принялась спокойно убеждать румяного усача и других пассажиров, возмущенных случившимся, что ему стало худо, но он неплохой человек, если так говорит о своей матери, а на выпивку его наверняка подбили дружки-приятели. Молоденький заслонял лицо руками, чтобы унять рвоту, но это не

помогло, только весь перепачкался; потом рухнул на колени и уронил голову, воротник куртки оттопырился, и на его шее обнаружилась засаленная суровая нитка — значит, он, отправляясь в путь-дорогу, получил от матери бога-отца, или бога-сына, или богородицу.

Голова его падала все ниже, наконец он растянулся на полу.

А поезд катил все дальше и дальше. Люди бывалые, изрядно поездившие на своем веку утверждали, что он едва ползет, а мне казалось — мчится. На каждой станции кто-нибудь подсаживался, и делалось все теснее. Некоторые пассажиры так притомились, что дремали стоя. В вагоне воняло, где-то в углу разразилась перепалка, я едва стоял, балансируя на одной ноге, а другую то держал на весу, то осторожно ставил на что-то мягкое, вероятно мешок.

Смрад сгущался, нечем было дышать, кто-то жаловался, что душа с телом расстается.

А я думал о будущем своем житье. «Ты вернешься в деревню, вернешься преображенный, переплывешь реку, и снова переплывешь ее».

В большой город мы прибыли перед рассветом, высыпали на платформу. Люди с трудом переставляли затекшие ноги. Я вышел на привокзальную площадь, окинул взглядом город, который видел впервые; холодный воздух был пропитан запахом дыма и мазута.

Начиналось движение, хоть еще не рассвело, мимо сновали какие-то сгорбленные фигуры, громыхая проехал трамвай, мерцали редкие фонари. Никого я здесь не знал, народу прибавлялось, а все чужие, я один среди чужих: если какая беда стрясется, кто поможет?.. Хоть и становилось все многолюдней и все чаще скрежетало железо, мне казалось, что вокруг пустота, такая же, как в лесу, незнакомом лесу.

Я вернулся в огромный зал ожидания и присел на низкую широкую лавку. Здесь сидели какие-то люди, в том числе и некоторые мои попутчики. Молоденький, теперь уже умытый и почистившийся, но грустный. Румяный усач, который пробирал его в вагоне. И та немолодая, измотанная жизнью женщина, что защищала пьяного. От тепла меня сморило, и все четыре стены высокого зала внезапно сошлись, тяжело навалились, смяли и стерли меня в порошок, однако тут же я и воскрес, ибо это был сон глубокий, но мимолетный.

Свисток локомотива впился в мозг и разбудил меня. Когда его эхо выветрилось из головы, послышался стук дождя по железной кровле.

ГЛАВА II

В автобусе, который вез меня на большую стройку, давка была почище, чем в вагоне, народу набилось столько, что машину перекосило на один бок. Я стоял у дверей и глядел на поля, раскинувшиеся за городом, немного похожие на наши — плоские, верб много,— но цвет у земли другой, наша темнее, а эта с рыжинкой, наша лоснится, а тут ни блесточки, ни искорки, но простор такой же, как у нас, и так же курится туман в низинах над лугами. Деревенские дома вроде наших, под соломой, трубы довольно высокие, а бревенчатые стены кое-где для фасону оштукатурены и выкрашены в голубой цвет.

Дождь лил без устали, за стеклом все расплывалось, из-под колес автобуса хлестала грязь. Где же стройка? Вдруг замелькали какие-то механизмы, бульдозеры, канавы, люди, штабеля досок, машины, множество рокочущих грузовиков. И все заляпано грязью, а люди в ватниках или широких дождевиках. И у всех поголовно резиновые сапоги с длинными голенищами, иначе здесь нельзя, и я, наверное, получу такие.

Мне уже выдали ордер на койку в общежитии — бараке, сколоченном из досок, между которыми засыпаны опилки. Называли его «дикий запад», поскольку здесь случались драки между ребятами и якобы даже кого-то пырнули ножом.

В моей комнатке гладкий деревянный пол, две двухэтажные койки и четыре шкафчика.

Место мое на верхотуре, слева от дверей, а внизу спит старик, который в сторожах при складе стройматериалов; койки справа — ребят-бетонщиков, помоложе меня, родом они из Келецкого воеводства. Все четыре шкафчика, стоящие рядком у двери, запираются, у каждого свой ключ.

Мне нравится и барак, и койка — железная она, крепкая, удобная и уютная. Сплю как в люльке, сладко сплю под двумя шерстяными одеялами.

Я уже получил спецодежду: на зиму ватник, который называют тут фуфайкой, и ватные брюки, на сырую погоду дождевик да резиновые сапоги на круглый год. И очень обрадовался, особенно резиновым сапогам, ведь грязь на стройке никогда не просыхает, только круче замешивается колесами грузовиков и нашими ногами. Мощеных дорог мало — как на селе,— а встанет здесь город. Наша бригада копает глубокие рвы под фундамент

и крепит откосы, чтобы земля не осыпалась. В рвы заливается жидкий бетон. На этих фундаментах подымутся дома, которые назовут жилыми корпусами. Ненастные дни сменились холодноватыми, но настоящего мороза еще нет, потому на работу хожу в фуфайке, а ватных штанов пока не надеваю. Резиновые сапоги обуваю ежедневно.

У меня фуфайка зеленая, но попадаются и синие. Некоторые гонялись за ними, думали, что они лучше, хотя, собственно, нет никакой разницы. Теперь наряд этот вышел из моды, редко встретишь человека в фуфайке.

Были еще фуфайки из темно-синего блестящего материала, целиком простеганные в клеточку. Эти действительно добротные и легче наших. Носили их инженеры и другие начальники, даже девчонки из управления, машинистки, курьеры и буфетчицы любили в них щеголять. Такие ватники облегали фигуру — верно, шились по мерке. А в наших, мешковатых, все выглядели одинаково, бабу не отличишь от мужика, худого — от тучного. Все казались толстыми и нескладными.

В нашей бригаде было человек пятнадцать, случайно попали в нее и мои попутчики — молоденький парнишка, что оскандалился по пьяному делу, пожилая болезненная женщина и румяный с черными усиками.

Бригадиром у нас — знаток земляных и плотницких работ, больше плотницких, поскольку сам из плотников, невысокий, крепкий, на стройке с первого дня.

В бригаде две женщины. Кроме пожилой утешительницы, еще молодая — худенькая, хрупкая, волосы светлые, волнистые. Обе женщины и Молоденький временно определены в подсобники — доски подносят, пересчитывают, топоры, молотки и заступы чистят, убирают строительную площадку. Они вечно суетятся, поскольку на подхвате у землекопов всяких мелких хлопот не оберешься.

Участок у этой троицы вроде бы второстепенный, но, по существу, играет важную роль, и без нее застопорилась бы основная работа — тут ведь все одно с другим связано и производственные задания надо выполнять быстро.

Как бы в стороне эта троица и от той свирепой ругани и крика, которых больше всего на самом тяжелом, главном направлении. Брань и всяческие возгласы прокатывались вдоль траншеи, висели в воздухе, въедались в эту голую землю, в бревна и облепленные грязью доски. Стоило сказать намертво приколоченному горбылю: ах, гад! — тот с перепугу подавался, скрежеща и повизгивая. А неподатливому бревну достаточно было крикнуть: чер-

тово семя! — и оно покорялось; и земле, что трескалась, собираясь обвалиться, прежде чем ее обошьют досками, кричали: куда, стерва? — и земля, услыхав это, терпеливо ждала, пока ребята не возведут опалубку.

Самыми могучими и грозными, такими, что горы своротят и любого проймут, я лично считаю — другие-то, возможно, со мной не согласятся — слова «крестная сила». Но чтоб они брали за живое, их следует произносить так, будто глотку свело судорогой и слова с натугой прорываются сквозь узкую щелочку. Слова эти прозвучат грозно, если, выкрикивая их, ты весь дрожишь точно в лихорадке: кр-р-рестная сила! Рявкнет этак осатанелый человек, и на минуту весь участок затихает, а тот, кто его услышит, так и замрет с инструментом в руках, словно околдованный. И кажется, вот-вот случится нечто ужасное, гром грянет с ясного неба или земля разверзнется. Ничего подобного, конечно, не происходит, а тишина и зачарованность — просто дань уважения яростно кричащему человеку, которого допекла какая-то забота. Стыдно признаться, но крик этот приносил пользу, ободрял слабого и на какое-то мгновенье заставлял почувствовать себя сильным и смелым.

Проникновеннее, на мой взгляд, возгласы «матерь божья!» и «пресвятая дева!», но это все же не то, что «крестная сила». Тут не ярость слышится, а великая печаль.

О многих других выражениях послабее, как, например: «пропади оно пропадом», «гори огнем», «раззява», «холера», а то и вовсе детских: «остолоп», «болван», «чтоб ты сдох» и тому подобных, распространяться не стану, их на стройке было хоть отбавляй, точно мухи жужжали над котлованом.

Не буду также говорить об уйме похабных выражений, которые не страшны, а омерзительны, пользуется ими всякая шваль, и лишены они той пугающей ярости, что «крестная сила», и той великой печали, что «матерь божья» или «пресвятая дева», и не обнаруживают в человеке глубоких переживаний.

Тут все бранятся — женщины и мужчины, рабочие, бригадиры, мастера, инженеры, только одни позабористей, другие попроще.

Кто побывал в эту пору на стройках, знает, что без крепкого слова не ладилась настоящая работа. Мы должны были себя подбадривать, вот и крыли. В деревне нет нужды ругаться так часто; здесь же приходилось, ибо здесь попадал ты в толпу, как на базаре.

А в толпе надо ругаться, чтобы люди понимали, что ты не лыком шит, и уважали; вдобавок прут на тебя со

всех сторон доски, гвозди, инструменты, сыплются на голову глыбы и комья глины, одолевает пыль земная да бурое тесто грязи — только успевай во всем разобраться. Вот и защищаешься от всего этого руганью.

И если уж говорить правду, то наш нынешний город, его огромные дома, широкие улицы, магазины и розы на газонах, его стремительные дни и сияющие огнями ночи — все это воздвигнуто не только нашими руками и сердцами, как говорят иные ораторы, но и нашей бранью, исступленной, помогавшей нам трудиться и выстоять под бесконечным мелким дождиком, в стужу и снегопад. Пусть же будут благословенны и наши руки, и наши зверские, страшные проклятья, ибо они тоже созидали этот город.

Не будь этих проклятий, не стоял бы он здесь, а если б и стоял, то — кособокий.

Нашу бригаду сформировали недавно, были в ней и пожилые, и молодежь. Были в ней специалисты, землекопы и строители, которые могли представить себе, что будет здесь через неделю, месяц и даже через несколько лет, но мы, молодые ребята, видели впереди лишь метр-другой рва и в будущее заглядывать не умели.

Поэтому бригадир однажды выстроил нас всех в грязи по щиколотку и показал, куда пойдет ров, а потом сказал, что со сдачей первого участка надо уложиться в срок, чтобы не тормозить бетонные и последующие работы.

Затем он очертил в воздухе широкую дугу — провел своей тяжелой волосатой лапой с запада на восток и с востока на запад, охватывая долину, подернутую туманом. Но мы все же разглядели сквозь сизую дымку поля бревенчатые избы, крытые почерневшей соломой, яблони в садах и прочие деревенские деревья — вербы, осокори, ольхи. Справа возвышался зеленый вал над рекой, слева — гряда холмов.

Бригадир сказал, что на равнине раскинется город, подымутся высокие жилые корпуса, разбегутся вымощенные булыжником и асфальтированные улицы, а рядом с городом выстроят завод. Потом добавил, что все это делается ради подъема благосостояния тех, кто до сих пор бедствовал в перенаселенных деревнях и перебивался с хлеба на квас.

Последние слова особенно мне понравились, я хотел заработать деньжат, чтобы приодеться, обзавестись всем необходимым и вообще выглядеть человеком удачливым, ибо по-прежнему звучал во мне немолчный голос, точно

ангел или дьявол нашептывал: «Ты вернешься в деревню, вернешься преображенный, переплывешь свою реку, и снова переплывешь ее на обратном пути». Бог-отец, привязанный грязной ниткой к моей шее, был тому порукой.

Бригадир закончил свою речь, а мы еще молча постояли с минуту на краю траншеи. Впереди меня, немного правее,— девушка-подсобница, а рядом с ней — румяный усач. Я уже заметил, что он на нее заглядывается, верно, и она в долгу не остается.

После выступления бригадира там, на краю рва, а по-нынешнему — на мостовой, тротуаре или газоне, впервые я подумал: «Ох, Румяный-Румяный, уж лучше бы ты поехал дальше, не вылезал вместе со мной из телятника, и лучше бы определили тебя в другую бригаду...»

И опять отозвалась моя настырная шарманка: «Ты вернешься в свою деревню преображенный, переплывешь свою реку, и снова переплывешь ее...»

Но перебила эту музыку новая мелодия: «Ох, Румяный-Румяный, почему ты со мной в одной бригаде?..»

И снова мысли о Румяном потеснила старая песня: «Ты должен переплыть свою реку нарядный, счастливый, должен переплыть ее с хорошей специальностью в руках и туго набитым бумажником».

ГЛАВА III

Сулят нам златые горы, призывают учиться.

Однажды бригадир опять созвал нас, выстроил на краю котлована и обратился к нам с речью: кто, мол, читать-писать не умеет, обязан ликвидировать свою неграмотность на курсах; кому надо кончать семь классов, может заниматься в вечерней школе; а кому желательно приобрести специальность — пожалуйста, существует профессиональное обучение. Чем выше квалификация, тем больше платят... А теперь — за работу, а то бетонщики догоняют.

Так сказал он, и грязь снова захлюпала под ногами. Мы разбежались по своим местам — копать землю и крепить откосы. Главное, как говорил бригадир, в том, чтобы постоянно отрываться от бетонщиков, опережать их. А они в свою очередь старались наступать нам на пятки. Бетонщик был наш враг, но враг добрый, поскольку заставлял нас работать в темпе и тем самым как бы вынуждал больше зарабатывать.

Кто же в нашей бригаде неграмотные?

Во-первых, Мать; Матерью мы называли ту пожилую

болезненную женщину-подсобницу, которая утешала в поезде Молоденького. Мать не умеет читать и писать. Сама призналась смело и прямо: «Некогда было учиться, трудилась сызмальства. Школа у нас в соседнем селе; походила немного, да отец запретил от дома отлучаться».

Румяный? Не знаю, помалкивает. Хоть бы он по крайней мере оказался неграмотным...

Есть у нас в бригаде пожилые мужики. Двое сказали, что когда-то с грехом пополам выводили каракули, а теперь разучились. Третий, по фамилии Корбас, Леон Корбас, ничего не говорит. Он неграмотен, но скрывает это, стесняется. Как-то подходит ко мне после работы и спрашивает:

— Умеешь писать?

— Умею.

— Тогда научи меня. Неохота ходить на курсы для неграмотных, совестно. В детстве обучался у органиста, но давно это было, и теперь уже ничего не помню.

Леон Корбас родом с Жешовщины — невысокий чернявый мужик, обросший щетиной, в кармане у него горсть гвоздей, которыми приколачивают доски; отошли мы в сторону, я утоптал и выровнял сырую землю и гвоздем нацарапал: «Леон Корбас». Потом вложил этот гвоздь в руку Корбасу, точно карандаш, и сказал:

— Теперь вы пишите.

Тут он пал на колени, словно в костеле, склонился как при выносе святых даров и принялся вычерчивать букву за буквой. Позанимались мы еще несколько раз после работы, а потом он спрашивает: как пишется Катажина. Катажина Корбас, а еще через два дня: как пишется Анеля Корбас и Юзеф Корбас. Но на курсы все-таки записался.

Румяный на курсы для неграмотных не пошел, говорят, кто-то его учит...

Мы с Молоденьким решили поступить в вечернюю школу, седьмой класс заканчивать. Об этом он заговорил со мной однажды, когда моросил мелкий, но настырный дождик, самый вредный из дождей. Кто рыл траншеи и обшивал их досками, тот лучше всех знает, какие бывают на свете дожди и какой из них наивреднейший. Нет хуже мелкого, как туман, — всюду заберется, насквозь промочит. Поработаешь под таким дождичком час-другой, и он тебя проймет дальше некуда, даже брезентовым плащом от него не спасешься. Вроде бы и не пробить этому дождю-туману брезента, ан нет, просачивается, словно окутывает все тело тонким-претонким влажным покровом, и ты набухаешь как губка.

Лицо Молоденького было мокрое, хоть и под капюшо-

ном. Присел он передо мной на корточки — я как раз наклонился, — дождевик вздыбился у него на спине, и выглянул он из-под него, словно цыпленок из-под наседки. «Пойдем в школу, — сказал, вернее, спросил Молоденький, — седьмой класс заканчивать...» А я на это: «Пойдем». А он, точно не доверяя мне, сказал еще: «Раз уж мы сюда приехали, надо чему-нибудь научиться. — И, немного помолчав, добавил: — Раз уж мы здесь, надо кем-нибудь стать».

Затем он еще больше высунул свою головенку, взмокшую от пота и дождя, из-под наседки, то есть плаща, — так, что наши головы, прикрытые капюшонами, сблизились, и этот осклизлый куренок, приехавший сюда из захолустья, тихо запыхтел мне прямо в лицо, словно то, о чем шла речь, было великой тайной: «Потом можно будет записаться на курсы мастеров, техников... если уж мы здесь, надо чего-то достигнуть».

А было в тот день грязи по колено, больше, чем когда-либо, из-за этого мелкого дождичка. Ступишь — земля булькает, охает, бормочет; руки в грязи, и доски, и бревна, и до лица грязь добирается, даже порой прямо в глаз угодит увесистая лепешка.

Но обращать на это внимание было некогда — бетонщики наступали на пятки; впрочем, и без того приходилось спешить, поскольку в связи с приближением знаменательной даты мы взяли обязательство сдать участок досрочно. Как обычно, когда наклевывалось что-то важное, собрали нас всех на краю котлована, и мастер сказал, что необходимо взять обязательство о досрочном окончании земляных работ на нашем участке; и сказал еще, что временно придают нашей бригаде несколько человек, так как мы отстаем с выполнением плана. А потом зычным голосом прокричал: «Согласны работать без перерыва, пока не закончим?» Несколько голосов отозвалось: «Согласны», а кое-кто поморщился, ведь мы уже отработали почти восемь часов и вскоре должны были расходиться по домам.

Потом пришел на наш участок незнакомый человек, тоже в резиновых сапогах и дождевике с капюшоном. Стал на бруствере, то есть над нами, и обратился к нам, находившимся в траншее, — дескать, надеемся на вас, верим, что бетонщикам за вами не угнаться и что вы с честью выполните взятое обязательство.

Сказал еще что-то и пошел своей дорогой. Тогда люди принялись ругаться и ворчать, подумаешь, мол, великое дело разгуливать эдак по строительству с готовой речью, с шарманкой, твердящей одно и то же: надеемся на вас, надеемся; выполните, выполните, выпол-

ните; с честью, с честью, с честью... Пусть бы пришел сюда, спустился в яму и поработал, тогда бы узнал, чем это пахнет; пусть бы попробовал оторваться от бетонщиков, этих яростных, одержимых людей, которые закладывают фундамент за фундаментом и постоянно как бы поддают нам под зад коленом, ибо идут следом, и брюзжат, и понукают — быстрее, быстрее, быстрее...

Проклятый мелкий дождичек, самый вредный из всех дождей, еще моросил; и после обеда, вечером и ночью не унимался. Когда наступила ночь и над стройкой вспыхнули огни, незнакомец, который днем говорил нам: «Надеемся на вас, верим, что вы с честью выполните взятое обязательство», снова явился на наш участок, уже в спецовке. Попросил лопату, принялся вместе с нами рыть землю, и все убедились, что он знает толк в работе. Братва удивилась, даже рты поразевала от удивления, ведь никто этого не ожидал; кто бы мог подумать, что придет к нам и возьмется за лопату эдакий гастролер, который по всей стройке разбрасывал слова: «Надеемся на вас, убеждены, что выполните обязательство, верим, надеемся, с честью...»

А он пришел ненастной ночью, в дождь, и этим завоевал нас; то, что он взялся за лопату, провел с нами всю ночь в траншее и мы видели, как он вкалывает, то, что под утро молчком, не хвалясь, пошел восвояси, значило гораздо больше, чем если б он месяц напролет перед нами ораторствовал. Одними речами людей не проймешь; люди не любят тех, кто умеет только красиво говорить; а сколько таких, от кого прямо за версту разит красивыми словами. Но подобных краснобаев братва узнает с первого взгляда.

ГЛАВА IV

Ранним утром дождь прекратился, показалось солнце: едва мы кое-как отряхнулись после работы, Корбас предложил скинуться, пустив шапку по кругу, а потом сбегал за вином; у кого-то нашлась селедка и колбаса, и мы отправились в сторожку.

Было нас семеро — большинство пошло спать, остались пожилая изможденная женщина, прозванная нами Матерью, Корбас, Молоденький, Румяный, Хелена — молодая блондинка-подсобница, сторож и я.

Мы застелили стол старой газетой, поставили на газету две бутылки, принесенные Корбасом, рядом с бутылками положили селедку, колбасу и хлеб, сели на чем придется и подняли кружки. Из женщин только Мать

основательно прикладывалась, как и мы, Хелена пила мало. Молоденький остерегался перебирать, наученный горьким опытом. Особенно усердствовал Корбас, Румяный также не сидел сложа руки. Вино с устатку подействовало быстро. За выпивкой, как водится, любой скажет то, о чем промолчит на трезвую голову. Поэтому каждый в сторожке высказывался, чего ради приехал на эту стройку.

Мать не ужилась с родной дочерью и зятем. Землю на них переписала, а они ее держали в черном теле, и то словно из милости; не могла она этого стерпеть, захотелось ей самой себя обеспечивать, а пуще всего — молодых оконфузить, взяла да и уехала и очутилась тут.

Корбас поехал на стройку, услыхав, что здесь плотники прилично зарабатывают.

Молоденький хотел подработать и стать на ноги — явно ради того, чтобы порадовать этим свою матушку, «сердешную», которая, собирая его в путь-дорогу, вытаскивала из заветного узелка одну бумажку за другой.

Хелю собирались выдать за старого деревенского плута и делягу, а она не покорилась воле родительской. Поругалась с отцом-матерью и сбежала.

Когда девушка рассказывала это со слезами на глазах и словно бы малость побледнев, волосы ее рассыпались и точно атласной шалью обрамляли лицо.

Фуфайка не шла Хелене. Не всякому она идет. Иные люди как бы созданы для фуфайки, и она для них самый лучший наряд, а другим к лицу что-либо поделикатнее.

Корбасу шла фуфайка; голова у него большая, лицо красное, лоб низкий, густые черные с проседью волосы. К фуфайке подходят низкий лоб и густые, не слишком длинные волосы. Тем же, у кого лоб высокий и вдобавок покатый, она не годится; лысому тоже; очки не вяжутся с ней, и длинный тонкий нос, и белые руки с длинными пальцами, а вот широкие ладони, короткие, потрескавшиеся пальцы — в самый раз.

Как не любая голова и не любые руки, так и не всякий голос и не всякие слова подходят к фуфайке. Тонкий голос не идет, а басовитый, хриплый очень подходит. «Целую ручки», «мое почтение», «низкий поклон», «припадаю к стопам» ни под каким видом не годятся. Не подходят также — хотя на худой конец могут сойти — «добрый день», «добрый вечер», «спокойной ночи». Словечки «привет», «бывай», «давай», «бери», «получай», «проваливай» годятся. «Слезы», «люблю» — нет; «жалею» — да. «Мамочка», «папочка» — нет; «мать», «отец» — да. Матери — той, которая со стройки,— хорошо в ватнике. К ее желтоватому, морщинистому лицу фуфай-

ка подходит. А Молоденькому не очень-то идет. На нем, белоголовом, фуфайка сидит как с чужого плеча или нечто временное. Румяному, пожалуй, тоже не к лицу, уж больно он румяный; и эти усики, эдакие подстриженные усики, не вяжутся с фуфайкой.

Румяный не сказал, почему сюда пожаловал. Видимо, совесть нечиста, таких здесь хватает. Он сидел рядом с Хелей. Меня разбирало любопытство, нравится ли он девушке. А как я мог это узнать? По чистым ее глазам, побледневшему лицу, грустному или улыбающемуся, ничего еще не узнаешь. Интересовало меня также, что она думает обо мне.

Мне в фуфайке, пожалуй, неплохо. Лицо у меня смуглое, молодецкий чуб падает на глаза. Я довольно высокий, широк в плечах, силой не обижен. Цену себе знаю, поскольку смотрюсь в зеркальце и створку стеклянных дверей в коридоре нашего барака. Смотрюсь чаще, чем прежде,— ведь на нашей стройке работает Хеля. Хочу знать, каков я собой, ведь Хелю перебросили в нашу бригаду.

Но замечаю я в себе нечто необычное, словно бы тревогу или страх. Отмахиваюсь от этого страха и говорю себе: чего боишься, глупец? Ты молодой, здоровый и сильный, тебе двадцать лет, ты умеешь трудиться, можешь заработать кучу денег — и тогда снова переплывешь свою реку и явишься в деревню. Но легче выкопать огромный ров, нежели избавиться от этой странной тревоги.

Очень внимательно приглядываюсь я к Румяному. Ох, Румяный-Румяный, ты и не представляешь, как я к тебе приглядываюсь. Знаю, какая у тебя осанка, какие плечи, загривок; знаю, что ты высок, чуть повыше меня, что нос у тебя прямой, аккуратный, а под ним черные как сажа усики, которые тебя красят, и знаю, что ты сильный — видел, как ворочаешь бревна и набираешь полный заступ земли.

Я отмахиваюсь от своего страха и гоню его прочь, как могу, а он неизменно возвращается.

У Румяного длинные ноги, и шагает он — любо поглядеть. У меня тоже легкая походка, но ведь и у него не хуже. Страх этот невелик, едва заметный, да никак от него не избавишься; кажется, схватил бы и расшиб об землю, а он не дается в руки, зыбкий, точно воздух, туман или тьма неуловимая, разве поймаешь то, что бесплотно. Ох, если бы до этого страха можно было добраться...

По ночам просыпаюсь с этим страхом в груди, провожу рукой по шее, пальцы скользят вдоль шнурка к жестяно-

му богу-отцу, сжимаю в кулаке бляшку, полученную от матери на дорогу, этого бога, которого легче всего подарить... Но страх меня не покидает.

Вытягиваюсь на койке, ощущаю всю свою силу — саданул бы ногами в стену, напрочь бы вышиб.

За выпивкой и я выложил, почему попал на стройку. Собеседники мои узнали, что вроде бы никто и не заставлял, а я все-таки вынужден был уехать, хотя принуждение никогда не выражалось словами: «Нас, мол, много, а работенки маловато; другие едут, а ты — нет; теснимся тут, как пчелы в улье». Ничего подобного не говорилось вслух, однако что-то вынуждало уехать; во всем чувствовалась эта необходимость, отовсюду меня подстегивала, даже копошившиеся в грязи куры-глупышки и оставленная на развод гусыня и те обязывали.

Покончив с выпивкой, селедкой и колбасой, мы вышли из сторожки. Подморозило, светило солнце, спать не хотелось. Все мы были под хмельком, однако на ногах держались крепко.

Хеля с Молоденьким едва пригубили, но вино и на них подействовало. Я, Корбас и Мать шли впереди. Молоденький, чуть поотстав и забирая куда-то в сторону, ступал так осторожно, словно ощупывал землю из опасения, что она разверзнется у него под ногами и он рухнет в бездну. Казалось, он боялся земли, по которой ходит, но это, конечно, был не страх, а просто походка такая.

Последними шли Румяный с Хелей. Корбас неразборчиво бормотал что-то и время от времени выкрикивал: «За мной, за мной, братья и сестры!» А Мать снова взялась за свою старую проповедь. То и дело останавливала нас на строительной площадке, загроможденной штабелями теса, экскаваторами, бульдозерами, всевозможными железяками, и поучала: «Детки мои, детки мои дорогие, помните — вино, пиво, хлеб, исподнее и все остальное покупайте всегда только за свои собственные деньги; всегда, до конца жизни, до последнего часа,— за свои кровные».

Говоря это, она становилась суровой, как ксендз; а на чей-то вопрос: «Как выкрутишься, если, к примеру, нет ни денег, ни сил заработать их» — отвечала: «Если выбьешься из сил и не сможешь зарабатывать, ищи другой способ, а есть способы, разные способы, чтобы не протягивать руки за милостыней; никогда не протягивайте руку за милостыней».

Потом мы отправились дальше. Румяный придерживал Хелю, желая с ней от нас отколоться, но она рвалась к нам и громко возражала, что хочет, мол, быть со всей

компанией; и то, что она хотела быть с нами, обрадовало меня. Разгоряченный Румяный старался силой остановить ее и даже затеял с ней возню, однако Хеля от него вырвалась и прибежала к нам, а он обиделся и пошел в другую сторону.

Подбежав к нам, Хеля сказала: «Почему вы не подождали меня, почему не помогли мне?» Она обращалась ко всем, но главным образом, пожалуй, ко мне. Это означало, что она была бы довольна, если б я, когда она боролась с Румяным, подошел к ним и оттолкнул его; это означало, что она рассчитывала на мою помощь. Что же, что же еще это означало?.. А то, что, случись в другой раз нечто подобное, я должен буду стать между ними, чтобы Румяный не давал волю рукам, и если он не уймется, полезет к ней нахрапом — оттолкнуть его... Но к чему это приведет, к чему?

И вдруг в хмельной голове моей заиграла, загудела давнишняя моя музыка: «Ты должен переплыть свою реку преображенный, довольный, нарядный и при деньгах»; а потом, не переставая лицезреть самого себя, плывущего по широкой реке к родимому берегу, под музыку, от которой разламывалась голова, я увидал, как бросаюсь к Румяному и отталкиваю его...

Теперь нас пятеро, а мне представляется, что я один как перст, зажатый между широкой рекой и Румяным.

Мы уже выбрались со стройплощадки, шли теперь чистым полем, справа виднелись башенные краны и разные машины, слева — деревенские хаты под соломой. Хмельной Корбас рвался вперед и покрикивал: «За мной, братья и сестры, за мной!» — и мы следовали за ним. Наконец окольными путями — неизвестно, почему он так петлял,— Корбас привел всю ораву к автобусной остановке; видно, черт нас попутал спьяну, ибо мы, неумытые и небритые, в заляпанных грязью спецовках и сапогах — хоть и был праздничный день,— отправились в большой город, километров за десять от нашего строительства. Приехав же туда, пошли не на какую-нибудь безлюдную и тихую улочку, а прямым ходом поперли в парк, где прогуливаются господа и дамы под зонтиками, с макинтошами на руке и с маленькими собачками. Мы расселись на скамейке, вытянув перед собой ноги, а гуляющие смотрели на нас. Глазели на хамов — к неотесанным, грязным, небритым, нетрезвым хамам приглядывались. Если из захолустья, вроде нашей деревни, попадешь в большой город, то уж непременно сразу начинаешь определять по глазам и выражениям лиц горожан, что у них на уме; вот и мы определили, что они думают: ишь, мол, расселась рвань деревенская; откуда взялись эти

чурбаны, в неведомо какой глуши рожденные и взращенные; забрели сюда, чтобы осквернить наш древний град...

А прозрев эти тайные мысли горожан, мы назло им еще более по-хамски развалились на скамейке, еще дальше выставили ноги, выше задрали носы и независимо взирали на толстобрюхих господ с тросточками, расфуфыренных дебелых дам, на их детей и выхоленных собачонок.

Однако хмель испарялся, и, по мере того как мы трезвели, просыпался стыд, все почувствовали себя точно голыми среди одетых и начали понимать, что зря пришли в парк и словно напоказ выставили наше хамство, дикость, наши усталые чумазые лица, грязные спецовки и сапоги, что напрасно хвалились своей неопрятностью, ибо следовало хвалиться совсем другим — тем, что умеем вкалывать и вкалываем с охотой и хоть приехали на стройку в телятнике — по существу, слетелись как птицы, чтобы честно зарабатывать, стать на ноги, вообще наладить свою жизнь и честным трудом выйти в люди, чтоб по одежде и осанке быть под стать тем господам, которые обходили нашу компанию стороной, издали поглядывали исподлобья, поскольку боялись, как бы кто-нибудь из наших не вскочил с лавки и не дал тумака праздношатающемуся франту. Ведь мы приехали на стройку, чтобы сравняться с этими фланерами, то есть знать столько же, сколько и они, однако им не уподобиться; чтобы, кроме привычки к чистой одежде и бритью, нажить побольше ума-разума уже в первом поколении, а по крайности — во втором или третьем.

Протрезвев, мы смиренно встали со своей лавки, бочком, как виноватые, прошмыгнули к трамвайной остановке и возвратились к себе, к нашей грязи, к нашим баракам, рвам и раскиданным по всей долине железякам. Корбас, Мать и Молоденький пошли вместе, а я проводил Хелену до женского барака и один-одинешенек, вернее, только с богом-отцом, болтавшимся на шее, и с думой об этой девушке вернулся в свой барак и залез на койку, чтобы отоспаться. Но, прежде чем уснуть, малость пометался в мыслях между этой широкой долиной, где шла стройка, и той широкой долиной, где осталась моя деревня; между траншеей, которую мы копали и обшивали досками, и нашей привольной рекой; в сущности же, мысль моя металась из-за девушки, а это означало, что мысленно был я с Хеленой, следовательно, был и с Румяным, дылдой и силачом Румяным, но ведь и я довольно высок и силой не обижен. Это значило, что, если он опять к ней пристанет и она начнет отбиваться и

кричать: «Уберите его», я должен броситься к ним и оттолкнуть его; но что будет потом? Уж лучше бы эту девушку не направляли в нашу бригаду...

Припомнились мне мать с отцом, сестра брюхатая — еще не родила, иначе бы известили,— припомнился зять и дедушка. У деда я бы спросил, стоит ли бросаться на Румяного, если тот вздумает приставать к Хелене, стоит ли бросаться. Но дед далеко, я совсем один; хоть бы я смог доползти до них побитый, когда меня одолеет Румяный. Дед наверняка сказал бы: «Не связывайся с ним»; и мать бы сказала: «Не становись этому человеку поперек дороги». Все бы, наверно, так посоветовали мне — и Молоденький, и, может, даже Корбас, хотя неизвестно, что бы он сказал. Но думается мне, только Мать — та, со стройки,— сказала бы по-другому, может, так: «Оттолкни Румяного», ведь эта Мать — кремень.

Разозлился я на мать родную, и на отца, и на все семейство, и на всю бригаду, на всех святых и даже на того бога-отца, которого получил для поднятия духа, когда сюда отправлялся...

ГЛАВА V

Миновали недели, может, даже месяцы, на протяжении которых ничего особенного не происходило — была только работа и работа, грязь и работа, лопаты, доски, бревна, гвозди, бульдозеры, короткий отдых, и снова изнуряющая работа, та же самая работа, словно до скончания века никакой другой уже не будет.

Мы малость приуныли, казалось, пройдут века, а мы так и будем держать заступы в руках, и копать рвы, и перепахивать эту ни в чем не повинную долину, и сносить хаты, крытые соломой; и еще казалось в эти осенние и зимние месяцы, что не избыть нам этой огромной долины, которую облюбовали дожди, грязь, туманы и стужа, и что не справимся мы даже с тем одним трухлявым, как перестоялый гриб, старым горбуном, который, как говорят, превратился в собаку и облаивает по-собачьи машины и рабочих, ибо хочет их отсюда изгнать.

Никто его, собственно, не видал, и неизвестно, существовал ли он на самом деле; но рассказывали, что появляется он и воет по ночам. Одни утверждали, что это дух, призрак, другие — что это человек, который онемел и начал лаять, когда снесли его хату и землю заняли под город; но толком никто ничего не знал, всякие люди тут шлялись.

Зимой работы шли медленнее, но все-таки шли, ибо нельзя было останавливаться, никак нельзя — и баста. Зима выдалась тяжкая, одна мерзлая глина чего стоила. Попробовали ее рвать динамитом. С одной стороны, вроде бы нам облегчение, но уже такого ажура, как при выемке грунта вручную, не получалось. И мы больше не выдавали по шестнадцать кубиков в день, как осенью, пока землю еще не прихватывало. В наших бараках тоже было холодновато; некоторые разочаровались и покинули стройку, не хватало рабочих рук.

Зимой щедрее, чем осенью, потчевали нас картинами будущего, впрочем, мы и сами себя тем же ободряли. Только мысль о будущем, о том, что здесь возникнет город и мы поселимся в новых, теплых квартирах, могла нас удержать.

А потом, в один из весенних дней, когда снова зарядил проклятый дождик и, казалось, никогда уже не прекратится, будет лить вечно, вдруг оборвались мои раздумья о везении и невезении; бросил я воображать свою будущую жизнь и тянуть как резину владевшую тут всеми мечту о новых костюмах, галстуках, собственных квартирах и мебели, о вечерах в кругу семьи у радиоприемника, а не под крикливыми динамиками, от воплей которых содрогался воздух над равниной. И вот однажды, именно в тот момент, когда динамики надрывались взапуски: «Мы построим новый дом, стоэтажный новый дом», Румяный, очевидно взбудораженный этим ревом, приблизился к Хеле, которая проходила по стройплощадке с доской, облепленной смерзшимся раствором; приблизился к девушке, запустил руку ей под капюшон, надетый из-за этого мелкого дождичка, хуже которого нет на свете, и погладил ее по лицу и волосам, сбившимся в просвете между щекой и брезентом. Она остановилась, однако ношу свою не бросила, поскольку ничего особенного не произошло, но я уже расправил плечи и высунулся из траншеи. Хеля обошла Румяного, так как он загородил ей дорогу, и потащила доску дальше, но Румяный не отстал, увязался за ней, очевидно подзадоренный пронзительной музыкой, хлынувшей из динамиков, догнал девушку и обхватил ее сзади. Тогда она уронила доску в грязь и начала вырываться.

Вот тут-то и оборвались мои раздумья о счастливой и злосчастной судьбе, и бросил я украшать выдумками грядущие времена; одна за другой лопнули все нити, которыми я был соединен с моей деревней, с широкой рекой, с отцом-матерью, всем семейством и моей будущей жизнью, рисовавшейся в красивых мечтах; смолкла вдруг та сокровенная, моя, и только моя, песня, подымавшаяся

как бы со дна души: «Ты должен переплыть свою реку, пересечь ее преображенный, шикарно одетый... Береги себя, ибо ты обязан переплыть свою реку преображенным».

Вылетели из головы все эти картины так быстро, что даже не успел я с ними проститься и подумать: прощайте, мать, отец, река, прощай, красиво задуманная жизнь...

Словно бы слепая, из одной глыбы железа выкованная машина вытолкнула меня из траншеи, велела наклониться и слепить из глины увесистый ком, погнала к Хеле и Румяному и запретила спокойно сказать ему: не приставай к девушке, оставь ее, пусть отнесет доску плотникам,— а сразу же так распорядилась моей рукой, что, едва подбежав к ним, не говоря ни слова, я залепил Румяному тем комом прямо в лицо. Он этого не ожидал и покачнулся, но тут же отер лицо и бросился на меня.

Было скользко, и мы упали в грязь. Мы катались по грязи, как свиньи, как собаки, но то, что руководило нами вместо разума и соображения, приказывало нашим рукам и мускулам побыстрее добраться до головы противника и вдавить ее в грязь, в густое тесто и в этом вязком месиве придержать. Вся штука была в том, чтобы нос и рот противника залепило грязью и он бы задохся и обессилел. Румяный оказался сильнее, я почувствовал это, как только мы упали, и не знаю, что бы со мной было, башка моя наверняка бы окунулась в грязь — ведь Румяный уже лежал на мне и пинал меня коленкой между ног,— если бы не одна вещь. Эта вещь — тесемка на шее Румяного, благо он, как я и Молоденький, получил от своей матери или бабки бога-отца на дорогу.

Нащупав на его шее тесемку, я мгновенно смекнул, что надо за нее ухватиться и закрутить, чтоб она сдавила шею Румяному; так я и сделал, и Румяный захрипел. Тогда я потянул сильнее, и он захрипел громче, а потом нелепо заметался и сам эту тесемку настолько захлестнул, что малость сомлел. Свободной рукой я свалил его с себя, и тогда тесемка, которую не отпускал, до того натянулась, что лопнула; но Румяный был уже подо мной, и я заталкивал его башку в грязь.

Хеля, так мне потом рассказывали, во время нашей схватки скликала рабочих и просила нас разнять; я этого не помню; когда дерешься — все нипочем, в драке главное — победить. Но помню уже, как Корбас и бригадир помогли мне встать с земли и как потом подняли Румяного. Когда поставили нас на ноги, все так и покатились со смеху, ибо мы наверняка выглядели как два кома грязи.

Я взглянул на Румяного, он стоял, хоть ноги у него

дрожали, весь в грязи, к мокрой фуфайке прилепилась широкая тесемка с довольно крупной перепачканной бляшкой. Тут я понял, каким образом добился победы; пришлось, чтобы выиграть, осквернить и вывалять в грязи его бога. Румяный, кое-как держась на ногах, сквозь грязь, облепившую его лицо, пробормотал: «Еще сочтемся».

Корбас сказал: «Идите умойтесь»; а бригадир добавил: «У бетонщиков есть вода в бочках, идите умойтесь».

ГЛАВА VI

Вернувшись в тот день на квартиру, я застал там одного из тех парней, что приехали с Келетчины. Он был моложе меня — пожалуй, лет семнадцати или восемнадцати. Невысокий, коренастый, круглоголовый, лицо бледноватое, на щеке — шрам полумесяцем. Парень только глянул на меня и сразу понял, что со мною стряслось. Хоть я умылся и соскреб с себя грязь, но все же не походил на человека, который нормально отработал положенное время и возвращается домой. Лицо было багровое, исцарапанное, под левым глазом красовался здоровенный, расплывающийся книзу синяк. Вот парень и полюбопытствовал, едва я переступил порог: что, мол, случилось? А я ему в ответ:

— Ничего, просто с одним типом подрался.

— Что за тип?

— Со стройки...

— Чего не поделили?

— Из-за девушки...

— Из-за девушек чаще всего дерутся...

— Наверно, мстить будет, не знаю, что и делать...

Когда я сказал это, парнишка с Келетчины рассмеялся...

— Не знаешь, что делать,— воскликнул он весело,— так я скажу тебе, браток, присоветую, слушай: никто тебе не поможет, ни мать родная, ни отец, ни брат, они далеко; и друг не поможет, ты должен полагаться на себя.

Потом подошел к распахнутому окну, я последовал за ним. Перед нами расстилалась равнина, поодаль маячили башенные краны и красные зубцы начатых стен. Ближе виднелись полуразвалившийся забор и сад, на деревьях уже можно было различить набухающие почки. В саду стоял деревянный дом, покинутый дом с провалами вместо окон и дверей, соломенная кровля продырявилась и истлела. Рядом длинное, тоже бревенчатое строение —

хлев или сарай либо то и другое одновременно. К стене его прилепилась собачья будка, прикрытая сухим коровьим навозом, но собаки не было, на крыше спал большой черный кот.

— Помни, браток,— продолжал парень с Келетчины,— в таком случае можно полагаться исключительно на себя — кто тебе здесь поможет, к кому обратишься... к ксендзу, секретарю... разве что сбежишь и вернешься к матери с отцом; но ведь нельзя тебе отсюда уезжать, поскольку ты подался на стройку, чтобы не сидеть возле родителей, а убраться подальше от них и жить своим умом; а кроме того, не можешь отсюда сбежать только потому, что повздорил с каким-то типом из-за девчонки; впрочем, стоит ли об этом говорить, сам понимаешь.

И еще говорил он: я из молодых, да ранний, поскольку так моя судьба складывалась, что сызмальства жил без отца и матери; самое главное — всегда держать ухо востро и не ходить с пустыми руками.

Кот, спавший на собачьей будке, начал потягиваться, потом спрыгнул на землю, осторожно подобрался к куче гнилой соломы у сарая, прилег, распластался и замер, устроил засаду на мышей. Хозяева навсегда покинули дом, а он остался, ибо кошки чаще привязываются не к людям, а к жилью.

— Когда нет отца-матери,— тянул свою песню парень с Келетчины,— и далеко родня, которая тебя утешила бы и огорчалась, что уже поздно, дескать, а ты не возвращаешься, и начала бы искать тебя, которая очень бы обрадовалась, если бы ты вернулся под утро цел и невредим, не искалеченный, не окровавленный,— тогда, забредая далеко от дома, надо держать ухо востро и всегда быть наготове; и лучше не ходить с пустыми руками.

Кот, затаившийся возле кучи черной соломы, грациозно привстал и сделал прыжок. Подстерег-таки добычу.

Тут парнишка с Келетчины скорчил такую мину, точно он профессор, и изрек:

— Видал, как кошка изловила мышь? Если не хочешь быть мышонком на этой стройке, если дорожишь здоровьем и жизнь тебе мила, если хочешь, чтобы девушка тебя уважала и чтобы тебя уважал бригадир и товарищи по бригаде, если хочешь продержаться на этом чертовом болоте, то советую тебе как брату, от всего сердца советую: купи себе нож с выкидным лезвием, нож-прыгунок.

Потом сунул руку в карман и достал блестящие стальные ножны, сжал их, и выскочило лезвие, похожее на маленький кинжал. Паренек убрал лезвие и сказал:

— Видишь какой, попробуй.

Я взял у него ножны, надавил кнопку, и снова, тихо щелкнув, выскочил кинжальчик. Несколько раз я убирал и выпускал лезвие. Понравилась мне эта вещица, небольшая, ухватистая и прочная.

Вернул я парнишке нож-прыгунок, а он опять за свое:

— Носишь такую штучку в кармане, и никто не догадывается; нельзя же ходить с колом или болтом — заметно и нигде не спрячешь, ведь в карман они не влезут; верь мне, я хоть и молодой, но бывалый, попадал в разные переделки. Нож-прыгунок — вещица небольшая, положил ее в карман и иди куда хочешь. Все думают, что у тебя ничего нет при себе, а ты знаешь, что есть, и это, браток, доставляет тебе удовольствие; они не знают, а ты знаешь, вот это и здорово. Идет, допустим, навстречу подозрительный тип, думает, что ты без ничего, и разбирает его охота набить тебе морду; тогда ты суешь руку в карман как ни в чем не бывало, словно за платком полез или за спичками, и уже держишь в руке свою игрушку. Я знаю одного человека, который мог бы тебе такой достать, зайдем к нему завтра вечерком.

Потом он пошел улаживать какое-то, по его словам, важное дело, а я остался у окна. Смотрел на заброшенный дом и сад, который вскоре расцветет, распустится без толку и зря, поскольку сметут его бульдозеры. На пустом дворе, где прежде наверняка ходили коровы, лошади, куры и люди, кот играл с мышкой. Желая хорошенько потешиться, осторожно брал зубами, а потом отпускал и притворялся, словно дарует ей жизнь и свободу; но, стоило мышке отдалиться, догонял ее, бережно прихватывал и тут же выпускал якобы на свободу.

Долго он забавлялся таким манером, пока наконец игра не надоела. Тогда схватил крепко свою добычу, стиснул зубы, присел для удобства и принялся неторопливо пожирать.

И тут я шепнул самому себе: надо завести нож с выкидным лезвием, нож-прыгунок.

Следовало бы лечь и выспаться; это было бы разумно, и любой рассудительный человек сказал бы мне: «Нынче ты попал в тяжелую передрягу, разденься, вытянись на койке, закрой глаза и попытайся уснуть». Но глаза мои не помышляли о сне, они не желали выслушивать никаких мудрых советов; мои глаза были широко, до боли широко открыты.

Долго я стоял у окна, но ничего не выстоял и вышел из барака, дождь прекратился, а грязь не просохла, да и как ей высохнуть...

Я приблизился к ограде сада; не сегодня завтра расцветут деревья; сытый кот, дремавший под навесом сарая, углядел меня, встрепенулся и исчез.

Дальше лежали поля, по изумрудным, подросшим хлебам змеились новые тропы и канавы, а вокруг стежек и траншей жито было вытоптано, скомкано, измято колесами; небольшая толпа стояла на краю поля, глядела на зеленую равнину и молчала; вероятно, эти люди успели наговориться раньше.

Какая-то женщина, наклонившись, рвала пшеницу неторопливо, стебелек за стебельком, словно цветы; а когда нарвала столько, что собрался целый зеленый букет, уставилась на него, приговаривая:

— Что мне хлеба, что мне хлеба, ведь предоставляют жилье и работу, что мне, что мне хлеба...— Все быстрее, точно заведенная, твердила она: — Что мне, что мне, что мне хлеба, я не заплачу, и не надейтесь, ни одной слезинки не пролью, ни единой не оброню...

В правой руке она держала свой зеленый букет, а левой то и дело подхватывала край передника и вытирала глаза...

Человек, одетый иначе, чем те, стоявшие на краю поля, приблизился и сказал:

— Предупреждали вас осенью, чтобы вы не сеяли, что весной тут развернутся работы.

В ответ на это люди утвердительно закивали головами; значит, действительно говорилось такое: не пашите тут и не сейте, поскольку весной здесь начнется строительство; никто не отрицал, что это было сказано.

— Так почему же все-таки пахали здесь и сеяли? — вопрошал незнакомец.

Люди не отвечали, только смотрели на этого человека, одетого иначе, чем они: был он в резиновых сапогах, длинной непромокаемой куртке и городской кепке.

Они глядели на незнакомца молча, как немые, и он снова принялся допытываться:

— Скажите, чего же вы пахали, раз было сказано, что весной тут начнутся работы?

А они на это опять-таки ни слова. Как они могли ответить ему, как?..

Если бы они ответили: «Мы испокон веков пахали осенью», незнакомец постучал бы себя пальцем по лбу, приговаривая: «Ведь было сказано, что на этот раз не следует сеять, ведь было сказано...»

Что бы дало ему такое пояснение, а им — его ответные слова?

Или, может быть, они должны были отвечать: «Земля пустовала, вот мы и пришли на поле и вспахали»; или:

«Мы не могли не пахать, не могли не сеять»; или: «Мы надеялись, что землю никто не тронет, побоится божьего гнева, хотели отпугнуть вас изумрудными всходами...»

Так бы ответили они или иначе, он все равно бы стал возражать, и не получилось бы между ними взаимопонимания, ибо невозможно прийти к согласию пахарям и сеятелям с тем, кто говорит, что не следовало пахать землю и сеять. Толкуй они хоть день и ночь напролет, ничего бы путного не вышло, так уж повелось от века.

И подумалось мне, что на этой стройке нет уважения к хлебам. Но ведь строители не велели пахать и сеять осенью; пусть они предупреждали, все равно не имели права уничтожать уже подросшие зеленя: хлеб трогать нельзя, и баста; но надо же было начинать строительство; как бы там ни было, нельзя трогать хлеба, ни за что на свете нельзя...

И то, что зеленя все-таки уничтожили, подхлестнуло гнездившуюся во мне тревогу; когда я выходил из ворот родного дома, а может, еще раньше, когда обращался к матери, отцу, зятю и дедушке со словами «еду на большую стройку», тревога эта уже гнездилась во мне; однако вскоре приглушили ее раздумья о заработке, обзаведении, о будущем моем достатке, а потом эти раздумья пересилила тревога, и так пошло — мечты и тревога, тревога и мечты сменяли друг друга.

Порою мелочь, какое-нибудь замечание бригадира или мастера, наблюдавших за мной, хотя бы такое: «Дело идет неплохо»; иногда что-нибудь другое, например птица, летящая в сторону моей реки, а порою сама работа, сами удары лопатой, легко поддающаяся земля отгоняли тревогу и возбуждали сладкие мечты, а иной раз что-нибудь противоположное, плохое — мелкий дождик или окрик мастера либо встревоженная стая ворон — прерывало течение приятных мыслей и вызывало тревогу.

Лишь после такого события, как схватка с Румяным, и тревоги, и сладкие мечты исчезли, но ненадолго, совсем ненадолго. После драки тревога моя усилилась, причем крошило и крошило ее, как ботву в соломорезке, приводимой в движение мыслью о Хелене; ведь получилось так, что думы о Хелене и освобождали меня от страха, и в страх вгоняли; словно вспыхивал на мгновение карманный фонарик — и сливались воедино страх и радость, и это был уже отрадный страх или пугающе отрадные мысли.

Уйди с этой стройки, вернись домой, переплыви свою реку непреображенный, без важной мины и шерстяного костюма, переплыви ее в смирении, склонив голову,

вернись, будешь снова сидеть на своем обрыве над осокой, как на королевском троне, в драных портках, но король королем.

На эти мысли наводили меня и последние слова Румяного: «Еще сочтемся», и деревья, которые напрасно расцветут, и уже подросшие хлеба, и эта зелень полей, запятнанная машинным маслом и бензином.

Не возвращайся, вернешься преображенным, переплывешь свою реку нарядный и довольный... Выдюжишь тут, выстоишь, только купи себе нож-прыгунок, это толковая вещица, причем небольшая; держишь ее в кармане — и никто об этом не знает, а ты знаешь; и то, что другие не знают, только ты один, доставляет тебе, браток, удовольствие...

ГЛАВА VII

На обратном пути, неподалеку от наших бараков, я повстречал Хелену. Она была не в спецовке, а в обычной женской одежде — в платье и легком светлом пальто, берет едва держался на пышных волосах, на ногах — чулки и коричневые полуботинки.

Сказала, что была у подружки, а теперь возвращается в свой барак. И попросила: проводи меня. Я пошел с ней. Спустя минуту она остановилась, глянула мне в глаза и спрашивает: боишься Румяного? Я ответил: чего бояться... А она на это: не бойся Румяного; и еще раз: не бойся Румяного. Разозлили меня эти слова, шагал я рядом с Хеленой и помалкивал. У женского барака простился с ней, а она на прощанье запустила руку мне в волосы и растрепала чуб.

Я возвращался счастливый, но счастье это тотчас потеснил страх, который в свою очередь был с ходу исполосован ножом с выкидным лезвием, я снова — и надолго — обрел счастье, ибо, едва страх подымал голову, я напрочь отсекал ее ножом-прыгунком...

Заглянул к себе в барак, там никого не было, а я охотно бы с кем-нибудь побеседовал; поглядел в оконное стекло: волосы растрепаны. До чего же хотелось поговорить! Я снял спецовку, хлопнул себя ладонью по груди, под пальцами почувствовал жестянку, воскликнул весело: порядочек, святой боже, порядочек, Хелена растрепала мне волосы...

Ночью были слышны свистки и собачий вой: по ночам здесь воют собаки. Кое-кто утверждает, будто старый горбун, потерявший дар речи оттого, что снесли его хату

и сад, скликает собак, носится со сворой вокруг всего строительства. Люди говорят еще, что собаки его любят и слушаются и что он укладывается посреди стаи, как в теплом логове, и почивает; говорят также, что он хоть и старый, но сильный и будто, как одичавший пес, кидается на людей.

Всякое болтают, благо никто горбуна не видал и никто ничего толком не знает. Находятся такие, что бьют себя в грудь и уверяют, что это нечистая сила, ибо нет в нем ничего человеческого, а все от лукавого; многие в это верят, но никто ничего наверняка не знает.

На другой день во время работы я не замечал Румяного, а он — меня, словно мы не существовали друг для друга и передвигались в пустоте. Но это было притворство.

Над бруствером показалась белая головенка Молоденького; туловища не было видно, оно было в траншее, и казалось, что головенка самостоятельно, без туловища, катится в мою сторону. Молоденький приблизился ко мне и сказал, что нынче вечером открываются курсы для желающих повысить квалификацию и что дело это стоящее. «Курсы плюс седьмой класс — это уже кое-что,— говорил Молоденький, весело потрясая своей белесой головенкой; а потом принялся повторять: — Надо воспользоваться, надо воспользоваться, раз уж мы здесь, и мокнем под дождем, и в грязи возимся, надо воспользоваться».

Я ответил ему, что сегодня не могу, занят, приду завтра, один день роли не играет.

Под вечер Молоденький отправился на курсы, а я с бетонщиком-келетчанином — за ножом с выкидным лезвием. Сперва мы шли вдоль границы, отделяющей строительную площадку от полей. И могли убедиться, что стройка заняла огромное пространство, где тесно от машин, бараков и фундаментов. Площадка тянулась вплоть до кладбища; рядом с погостом высились еще не оштукатуренные стены новых домов.

Мы вступили в деревню, походившую на ту, где я родился. Вдоль улицы — бревенчатые хаты под соломой; на задах — сады, за садами — поля. Улица широкая, но неровная и грязная.

Свернули влево и узким проулком между двумя старыми, почерневшими заборами прошли к низкому белому дому. Келетчанин посвистел, из дома вышла маленькая чумазая девчонка; чуть погодя, наклонившись в низких дверях, вывалился наружу долговязый мужчина с худощавым и каким-то измятым лицом, ни молодой, ни старый. Приблизился, а келетчанин прямо к нему: привет,

Мачек, я привел клиента, который желает приобрести нож-прыгунок...

— Нож-прыгунок, — повторил Измятый, — нож-прыгунок... сегодня нету, был да сплыл час назад; остался у меня один, это мой собственный.

Потом мы неторопливо проследовали в ригу, остановились на пыльном, замусоренном соломой и щепками току. В углу стоял большой аккуратный сноп.

В риге Измятый достал из кармана свой нож и, держа его на ладони, как дохлую рыбу, проговорил:

— Завтра будет такой же, этого уступить не могу, больно привык к нему, было бы жалко расставаться, слаб человек, к вещам душой прикипает.

Потом ловко подбросил вверх эту дохлую рыбу, то есть нож, подхватил его на лету, прыгнул к снопу и, нажав пружину, пырнул лезвием солому.

Потом отпрянул, и вновь повторил выпад, и вновь вонзил нож в самую середину снопа.

Наконец стал перед нами, раскорячив ноги, разрумянившийся, словно бы менее изжеванный и как бы помолодевший. Убрал лезвие, спрятал нож в карман. И, слегка отдуваясь, повторил слова, сказанные в самом начале:

— Своего ножа тебе не уступлю, сжился с ним, приходи завтра или послезавтра, получишь такой же...

ГЛАВА VIII

...Вернись в отчий дом, пока не поздно, переплыви, не откладывая, свою реку; не беда, что вернешься без обновы, понурив голову, смиренный,—если взгрустнется, пойдешь в поля и усядешься на бугре в камышах, что твой король. Нет, совестно...

Если неохота возвращаться, брось свою бригаду и переведись в другую. Иным представлялось тебе здешнее житье. День твой должен был строиться так: встал, оделся, поел, прихватил бутылку с кофе или чаем, бутерброд с колбасой — и айда на работу. Потрудился на совесть — и назад в общежитие, переоделся, пообедал чем бог послал — и прямым ходом туда, где набираются ума-разума. Так должны были проходить твои дни, а каковы они на самом деле, например нынешний?.. С каким-то подозрительным сопляком таскался к черту на кулички покупать нож-прыгунок. Что говорила Хеля?.. Сперва она спросила: боишься Румяного? Потом успокаивала: не бойся Румяного, не бойся... А потом растрепала мне волосы, и это было важнее всего. Уйди я из бригады,

что бы она подумала?.. Знаю что: трус...

Не вернусь я, мамаша, не могу. Вернулся бы, хочу вернуться, но не могу и сказать не могу иначе, только так — хочу к вам вернуться, но не могу.

Я решил, что день мой будет таким, как положено: побудка, завтрак, работа, обед, отдых, курсы, отбой... С той лишь разницей, что ходить буду с ножом... с господом богом и прыгунком...

Ночью снова выли собаки; я встал, подошел к окну, и мне показалось, что далеко за садом, тем садом, что расцветет напрасно, промчалась свора, а за нею старый горбун.

На следующий день снова подкатилась ко мне белесая головенка Молоденького. Он сказал, что учат здесь на каменщиков и еще на крановщиков и что по окончании учебы заработок будет побольше, а работа куда легче. Узнавал он также, можно ли еще записаться. Оказывается, можно.

Мне снова пришлось ответить ему, что пока воздержусь записываться. Лицо у Молоденького погрустнело, и он взглянул на меня так, словно оборвалось нечто нас связывавшее, а потом ушел.

Я оперся о лопату, как это делают отдыхающие землекопы, и посмотрел вслед удалявшейся белесой головенке Молоденького. Он вскоре присоединился к Матери и Хелене, которые подносили плотникам бревна и доски.

О Матери, Матери-подсобнице, ныне я могу сказать больше, чем в самом начале строительства. Тогда я многих вещей не понимал, о многом не мог бы поведать так, как теперь, когда вспоминаю; ведь за эти двадцать лет я научился смотреть в корень и подкопил кое-какой опыт.

Мать очень уважала работу, она, пожалуй, считала свой труд святым делом; доску и ту несла точно святыню; и казалось, вот-вот провозгласит: будь благословенна святая стройка, что пришла на эту равнину, будь благословенна доска, будьте благословенны гвозди, лопаты, кирки, канавы, ямы, машины, дожди, непролазная грязь; будьте благословенны царапины на руках, прохудившиеся мокрые сапоги и промоченные ноги, ибо могу я за собственные деньги купить себе хлебушка, колбаски, селедочку, вина и пива, чулки и рубаху... За свои кровные, собственноручно заработанные, не за дочкины деньги или зятевы, не за чьи-либо, а только за свои... Потому и будь благословенна стройка, что пришла на эту равнину...

Потом был перерыв. Мы разобрали свои бутылки с

кофе и свертки, каждый нашел местечко, где присесть и спокойно подкрепиться.

Ели как обычно на стройках: в одной руке — ломоть хлеба со смальцем, кровяной колбасой, рыбой, рубцом, в другой — бутылка с кофе; откусишь кусочек и запьешь, снова откусишь и снова запьешь — и так до конца трапезы.

Попадались ломти и без ничего; работали на стройке люди, которые, чтобы побольше деньжат отложить, прихватывали на второй завтрак один хлеб; они принесли сюда из деревни эту привычку к хлебушку, жаждали его и, подобно отцам своим, чурались каких-либо новшеств в еде.

Хлебоеды из келецких и жешовских сел прятались со своими краюшками, жевали торопливо и потаенно, словно воры, ибо стеснялись тех, от кого пахло колбасой, ливером, рубцом и вяленой рыбой; и потому еще, пожалуй, сторонились этих запахов, что боялись поддаться необоримому соблазну прикрыть свои краюшки хотя бы ломтиком ветчины. Хлебоеды, казалось, всегда были начеку — чтобы никто не обнаружил их ничем не прикрытых краюшек. Таинственно прошмыгивали они, как тени или смиренные монахини, со своими черствыми кусками, словно бесценными сокровищами, как будто не пустые это были куски хлеба, а сплошная колбаса, рубец или вяленая рыба.

Завтракал я, сидя на дощечке у края котлована, были у меня бутерброды с рубцом и кофе в бутылке. Подкрепившись, оглядывал строительную площадку, развороченную, вздыбленную землю, как на поле битвы. Вдруг позади меня кто-то проскользнул, и, не успев повернуть головы, я услышал голос Румяного: «Мы еще сочтемся, братец, погоди, милок, ты свое получишь». Я хотел ответить, но Румяный поспешно скрылся.

После работы я пошел не в общежитие, а совсем в другую сторону от нашего котлована — хотелось побыть одному, спокойно обдумать слова Румяного и вообще свое положение.

День был холодный, но погожий; вскоре я очутился на лугу, по пояс в высокой траве, которая напоминала родимую сторонку, буйное разнотравье отчего края. Дальше росли хлеба; среди полей попадались пролысины, голая, искалеченная земля, изрытая огромными, тяжелыми колесами; потом снова потянулись луга, а за ними — довольно густой ольшаник; по ту сторону ольшаника была тупиковая траншея. Глухая канава.

Эту траншею выкопали в самом начале строительства по ошибке; бригадир спьяну привел сюда работящих, но

уже порядком уставших землекопов, которые были родом из Жешовского и Келецкого воеводств, велел им рыть котлован, и они отгрохали порядочную траншею и даже начали обшивать ее тесом. Потом выяснилось, что в плане этого нет, работа пошла прахом, оплачивать ее не хотели. Тогда хлебоеды и похлебочники, выкопавшие эту канаву, обступили бригадира с багровыми от ярости лицами.

Окруженный со всех сторон разъяренными лицами и горящими глазами, бригадир протрезвел, ибо при виде таких глаз нельзя не отрезветь, пал на колени и, призывая в свидетели бога и всех святых, клятвенно обещал все уладить, и уладил. Не знаю, что бы случилось, если бы хлебоедам и похлебочникам за эту работу не было заплачено, пожалуй, заколотили бы его насмерть своими сухими краюшками. Вот каким образом возникла эта никчемная, одинокая канава, затерявшаяся среди полей и лугов; стройка сюда еще не дошла, может, никогда не дойдет.

Дно канавы поросло редкой травой, ольха протянула над ней свои ветви. По обшивке я спустился вниз, присел на обломок доски. И очутился в странном доме, где вместо пола — зеленая мурава, а стены — из голой земли и частично из подгнивших досок опалубки.

В этом странном доме — Глухой канаве — я подумал, что надо бы струсить; и вроде заговорил сам с собой, но так, словно с кем-то другим; так трусливый говорит со смельчаком:

«Ты должен струсить, не беда, если струсишь, это лучше, чем дожидаться, пока получишь колом по башке или финкой в бок; разумнее всего уже нынче уйти из бригады и перебраться подальше, на другую стройку; ты должен это сделать, если жизнь тебе мила, если хочешь переплыть свою реку как мечтаешь — преображенным, то есть человеком самостоятельным, при деньгах, довольным и принаряженным; ты должен переменить работу и убраться подальше от Румяного. Если, конечно, хочешь на гулянье в своей родной деревне подойти к ребятам, и потянуться к карману, и достать из него пухлый бумажник, а из бумажника — деньги, если хочешь небрежно комкать хрустящие бумажки, а потом хлестать ими о буфетную стойку и драть глотку: «Вина! Пива!» Если хочешь пережить такие счастливые минуты — надо бросать эту стройку и перебираться на другую, запутать след, иначе Румяный будет тебя выслеживать, прознает про каждый твой шаг, догонит и погубит».

Мать наверняка сказала бы тебе: «Уходи с этой стройки, сынок, берегись Румяного», и отец то же

самое сказал бы, и дед.

Сидел я в этом странном чертоге, то есть в заброшенной траншее, раздумывал, как мне быть, а боязливый и осторожный человек, таившийся во мне, уламывал неробкого и неосторожного, тоже во мне обретавшегося, и в тот момент, когда трус, собственно, уже убедил смельчака, тень пала поперек траншеи, скрадывая отблеск заходящего солнца, и я вдруг почувствовал чье-то приближение, потом услыхал мерный шелест высокой травы, которая росла по обеим сторонам рва.

Показалась голова Хелены — это она подошла к краю траншеи и взглянула на меня, сидящего внизу. Я удивился, потом мне сделалось стыдно, а стыд этот превратился в отвращение к самому себе, и тогда в мгновенье ока моя внутренняя перепалка приняла иной оборот, смельчак обратился к оробевшему и многое сказал ему за ту секунду, что мы с девушкой, не успев и словом перемолвиться, лишь смотрели друг на друга,— и тогда я сразу осмелел и принял решение, что не уйду со стройки, понял, что это девушка принесла мне смелость. Если твоя любимая, горячо любимая девушка следует за тобой вопреки усталости, если, забыв про обед, она, голодная, бредет по высоким травам и, как верный пес, увязывается за тобой, ибо за тебя боится, и по твоим следам доходит до самой Глухой канавы, где ты засел с перепугу, хоть и презирающий свой страх, но все же напуганный,— то она приносит тебе смелость.

И ты не бежишь со стройки, остаешься в бригаде, где трудится эта девушка, и не бросаешь работу.

Не бросил бы даже, если б один-единственный Румяный превратился в целую сотню; ты уже осмелел, ибо девушка принесла тебе в Глухую канаву смелость. И тебе уже представляется необязательной та незримая нить, которой ты крепко был связан с матерью, отцом, дедом и с прочими, что остались дома, в деревне; и уже отпадает надобность ежеминутно дергать за эту нить и мысленно надоедать своим близким вопросами: мамаша, папаша, дедушка, что же мне делать, бежать из бригады или нет, бояться Румяного или не бояться?

Можно уже ослабить эти узы, ибо рядом любимая; и кажется, что беда теперь непременно обойдет тебя стороной, а все хорошее останется при тебе; случись же несчастье — в два счета с ним управишься, ведь твоя девушка тебя любит и ты ее любишь; никакая напасть не страшна двум любящим сердцам.

И кажется даже, что старый жестяной бог, запутавшийся в волосах на твоей груди и орошаемый потом, уже ни к чему тебе, ибо у тебя есть любимая.

Я вылез из Глухой канавы, мы вместе отправились в столовую, пообедали, а потом разошлись по своим баракам.

ГЛАВА IX

В общежитии, наедине с самим собой, я мог испытывать свою смелость; и тут дрогнули те расслабленные веревочки, что связывали меня с деревней, ибо они не оборвались, а только были ослаблены смелостью, которой исполнилась моя душа, когда Хелена ступила на берег Глухой канавы.

Эти невидимые, разболтавшиеся веревочки напряглись и натянулись, словно их кто-то подкрутил незримым воротом — а таким воротом всегда бывает одиночество,— и тогда побежали по ним, словно по невидимым телефонным проводам, наказы, напоминания и добрые советы, и хлынуло на меня все это благостным потоком — вдоль реки, долиной, лесом, по воздуху, верхом и низом, прямо ко мне, за тридевять земель, из самой середки далекой моей деревни. И тут же меня эти муравьи облепили, и каждый — об одном, о том, что одной смелости мало, что надо ее чем-либо подкрепить, что-то к ней добавить, ибо смелость при пустых руках ничего не дает, этакая смелость-сиротка; никого ею по башке не стукнешь, не пырнешь под ребро, с одной смелостью получается так, словно бы подставляешь грудь и кричишь: бейте!

И слышу я, как моя родня, выгнавшая меня не выгоняя, ибо в доме должно быть положенное число обитателей, как эта деревня крадучись подходит ко мне и нашептывает: ты должен вооружить свою смелость, должен ее украсить.

А я в душе отвечаю своей родне и деревне: она вооружена и украшена ликом господа бога моего; и пройдошливая старая деревня, таящаяся во мне, отвечает на это тихо, почти шепотом, чтобы никто не расслышал: с одной смелостью да господом богом по-прежнему выходит так, словно ты обнажаешь грудь свою и вопиешь: бейте! И Румяный ударит, а добрый боженька, который всем и все прощает, бровью не поведет, будет болтаться на груди, будет почивать в крови.

И внял я тем советам, привезенным с собой из-за широкой реки и непрестанно доносившимся оттуда, ибо то были добрые советы, и в тот же самый день отправился к Измятому за ножом с выкидным лезвием.

Хотелось мне добавить к господу богу, который как-никак украшал мою смелость, этот нож-прыгунок —

на тот случай, если придется туго, если Румяный или кто другой вздумает покончить со мной и отнять у меня девушку.

Внезапно нож этот показался мне чем-то очень важным, и я заторопился к Измятому — к Мачеку — в страхе, что кто-то может меня опередить. Шагал я краем стройки, минуя бульдозеры, которые отгребали землю, то тихо, то громко рокоча.

А когда добрался до знакомого забора, свистнул, ибо знал, что Мачек тотчас откликнется на свист. Он появился в дверях, улыбнулся и сказал:

— Хорошо, что пришел. Я припас для тебя славную вещицу.

Снова провел меня в ригу, вскарабкался по стропилам на гору соломы, а потом, хватаясь за решетины, ловко, точно муха по потолку, взобрался под самую кровлю. Пошарил под застрехой, вытащил оттуда нож, завернутый в белую бумагу, швырнул его сверху и крикнул: «Лови!» — и я поймал обеими руками, торжественно, бережно и взволнованно, точно ловил не нож, а падающего ребенка. А он, спускаясь неторопливо и задумчиво с тех высот, где был спрятан нож, говорил то ли себе, то ли мне, а может, и всему миру:

— Нет отбоя от покупателей, разлетаются по свету ножи, почти каждый день приходят разные люди, по наущению дружков-приятелей; много молодежи; юнец рубит сплеча: хочу купить нож — и даже глазом не моргнет, а иной раз и мужик в годах заглянет, усатый отец семейства, и такие бывают; пожилой малость стесняется, знает, что я могу подумать: на что, мол, ему нож; и личность выхоленная, деликатная, в очках тоже иногда появляется в этой риге; зачем, спрашивается, нож ученому? Продавая ножи, я познаю мир; я, брат, о людях знаю больше, чем ксендз.

Измятый Мачек стал на копне соломы и продолжал с воодушевлением:

— Велик спрос на ножи; люди платят, берут их в руки, и тут же меняется у них выражение глаз; а это значит, что внутри полный переворот наступает, словно они заново рождаются и для иной жизни; и ты, браток, изменился, и ты уже словно родился заново для того, чтобы убить... Порой, браток, я стараюсь представить, что вытворяют мои ножи в тех краях, куда их занесло, часто ли извлекаются из карманов, что пронзают... Но я, браток, вынужден торговать — здоровья нет, а детей навалом, только благодаря ножам кое-как свожу концы с концами...

Он соскользнул с копны на балку, уселся на ней и,

болтая в воздухе ногами, свешивающимися над утрамбованным током, протянул:

— Эх, жизнь-жестянка,— а затем, точно от удара, турманом слетел на ток и бросился ко мне со словами: — Зря я разболтался, плати, браток, и сматывайся, и храни тебя господь — ножик как игрушка, новехонький, никого еще даже не поцарапал.

Когда я возвращался от Измятого Мачека, над стройкой уже рдели огни. В тех местах, где их было особенно много, слышался скрежет, а иногда человеческие голоса или пение.

На этих участках план был под угрозой срыва, и работы там велись круглые сутки; была специально учреждена ночная смена, но нашлись и такие, что, отработав в дневной смене, отправлялись потом на ночь на эти угрожаемые участки. Многих удалось уговорить тому партийцу, который не только сыпал словами, но в самые трудные дни и ночи брал лопату и трудился вместе с нами, а потом мыл руки в бочке с водой, ибо не был он из тех новоиспеченных чистюль, которые убеждены, что одними красивыми словами можно вызвать энтузиазм и самопожертвование, и не догадываются, что слова их не задевают человека за живое.

Заступали в ночную смену и те, кто только и мечтал о дополнительном заработке. И конечно, на этих ночных сверхурочных работах хватало хлебоедов и похлебочников с Келетчины и Жешовщины. Ибо хлебоед и похлебочник — такой человек, который рвался к работе словно к золотой жиле и входил на стройплощадку как в райские кущи — потрясенный и обалделый. Все отложил он в сторону — масло, колбасу, и вяленую рыбу, и душу свою, и собственный человеческий облик — и стал тягловой силой, машиной, настроенной на работу, и только работу, и на получение денег за отработанное.

Хлебоед и похлебочник вернется ко всему этому лишь после того, как заработает много денег и прибарахлится, когда уже проделает тернистый путь от хлебоеда-машины, от похлебочника — тягловой силы до человека, который рассядется в теплой квартире с внуком на коленях.

Но наверняка найдется такой хлебоед и похлебочник, который без конца будет рваться к работе, даже самой тяжелой, и все откладывать на потом — и масло, и колбасу, и вяленую рыбу, и обращение к собственной душе; все на потом да на потом... вплоть до той поры, когда уже не хватит силы к этим отложенным в сторону яствам — маслу, колбасе, вяленой рыбе — и к этой отложенной душе протянуть руку.

У Молоденького, хоть он и очень зелен, есть что-то от хлебоеда и похлебочника; он также хочет побольше взять от стройки и, подобно хлебоеду и похлебочнику, насторожен и темнит со своей учебой, хождением в школу и на курсы; он лелеет тайную мечту одним прыжком достичь обеспеченности, модных костюмов, уютной квартиры, красивой мебели и того часа, когда, вольготно развалясь в тепле и выпятив брюхо, сможет спокойно и мудро размышлять о жизни.

И у Корбаса есть что-то от хлебоеда и похлебочника,и даже у Румяного.

У той пожилой болезненной женщины, которую мы зовем Матерью, пожалуй, меньше всего черт хлебоеда и похлебочника, живет она сегодняшним днем; но и в ней есть кое-что от рабочих волов, ибо ни у кого она не желает просить хлеба, предпочитает покупать его за собственные деньги.

Все мы, пришедшие на эту стройку из деревень, в большей или меньшей степени отмечены печатью хлебоедства и похлебничества.

Но я вступаю уже на новый путь. Девушка и нож с выкидным лезвием толкают меня на иную стезю.

Возвращаясь от Измятого Мачека, я понял, насколько изменил меня нож и что бедный, несчастный Мачек, вынужденный торговать ножами, был прав, говоря о втором рождении.

Это действительно второе рождение, ибо с той минуты, как ты приобрел и спрятал в карман нож-прыгунок, надобно учитывать, что куплен он не для того, чтобы резать хлебушек, или для иных мирных надобностей, и на блестящей его рукоятке и выкидном лезвии как бы начертано, что вовек не бывать ему добродетельным хлеборезом и никогда он не выточит свирели из ивового прута.

Трудно мне выразить, как преображается душа из-за ножа-прыгунка, спустя столько лет, на протяжении которых ценой собственной шкуры познавал мир, изведав часы счастливые и такие, которые учат самой короткой и самой печальной песенке: эх, жизнь-жестянка...

Я шагал вдоль длинной межи, отделявшей участок земляных работ от полей, смотрел на огни, рдевшие над стройкой, и на то, что этими огнями освещалось. Там, далеко, на другом конце строительной площадки, озаренные мощными лампами, словно растекающаяся по земле кровь, багровеют фундаменты.

Значит, все-таки возникает город из этой дьявольской неразберихи, из этих воплей и брани рождается новый город.

Когда я вошел в заросли, было уже темно; ветви загородили отсвет ламп, принялись выть и лаять собаки, и все громче, дружнее становился этот вой и лай; рановато, подумал я, начинает свою ночную беготню горбун, превратившийся в собаку, который ночует с собаками, вместе с ними носится по всей долине и облаивает стройку и людей, на ней работающих. Впрочем, это неправда... а может, и правда...

Порой мы начинали верить в существование пса-горбуна и даже видели, как он носится среди деревьев и хат со сворой, точно скользящий ошметок тумана. А когда вино и усталость раздвигали пределы видимого мира ввысь и вширь, верили, что бывает такая, одна-единственная, минута, когда человек способен превратиться в собаку. Бывают минуты, когда не только такое, но и кое-что почуднее может произойти. Особенно после того, как у человека разрушат и снесут хату и велят ему убираться с насиженного места.

В зарослях я сунул руку в карман, потрогал нож, потом достал его, нажал где следует, и лезвие выскочило; но если бы речь шла о горбуне-собаке, о том собачьем короле, бездомном и безземельном, от ножа было бы мало проку, ибо пес-горбун казался то столь же сущим, как окружавшие меня деревья, то привидением, юрким бликом, порывом ветра, пылью, поднятой кем-то на бегу; то он был реальным существом, человеко-собакой, исполненной злобы и горечи, то ходячей злобой и горечью, лишенной плоти. Ножом с чем-либо подобным не справишься. Но ведь я купил его не ради того, чтобы защищаться от пса-горбуна, а для дел поважнее.

С той поры я уже не расставался с ножом; был я как будто тем же сыном собственных родителей, братом брюхатой сестры — может, и не брюхатой, а уже родившей,— тем же внуком своего деда — и все-таки не был прежним, поскольку завладел мною нож, и был я от них, от реки и от обрыва над болотом отгорожен словно бы туманом.

С ножом я ходил на работу, к шинкарю, в лавку за хлебом и рубцом, всюду. На демонстрацию в большой город тоже с ним поехал.

Накануне демонстрации пришел тот партиец, какой ведал нашим участком и кого мы любили, поскольку он никогда не темнил, ничего не делал тайком, у нас за спиной, обо всем говорил так, как действительно обстояло дело; он мог бы добиться от нас чего угодно, мы бы ему последнюю рубаху отдали, ибо чувствовали, что он нас уважает. Когда люди понимают, что к ним относятся

с уважением, с ними все можно делать; они даже голодать согласятся, если их уважают и говорят им правду, а уж если не почувствуют уважения к себе, песне конец — очерствеют, замкнутся, будут делать одно, а говорить другое, уподобятся печальным машинам с выстуженным нутром.

Человеку, наведавшемуся к нам накануне демонстрации, не пришлось особенно распространяться. Мы сразу поняли, что ему надо; а требовалось ему, чтобы этому большому городу и угнездившимся там испокон веков мещанам мы продемонстрировали нашу мощь, дали понять этим белолицым горожанам, что воздвигаем по соседству новый город, а рядом с городом — завод; и что дело выглядит не так, как многим из этих белоручек представляется, ибо частенько они поглядывают на нас искоса либо смеются над нами и говорят, что подсовывают им в их великолепный город хамье, бандюг, потаскушек, пьяниц, грязнуль, голь перекатную, безотцовщину вшивую...

Не знаю почему, но во время демонстрации я выхватывал из толпы на тротуарах только лица белотелых мещан.

Едва мы спрыгнули с грузовиков в начале длинной и широкой улицы, как в чаще голов я уже выловил несколько таких мещанских физиономий.

Та личность, что торчала у высокой стены, сверлила нас взглядом, пялилась на диаграммы и макеты, на картонный город, который мы несли и начало которому действительно было положено, и улыбалась, но так, как улыбаются пожилые люди при виде детских забав,— точно резвая детвора внезапно высыпала на мостовую и балуется; откуда, мол, взялось столько детворы...

А другая личность, припав головой к стволу старого дерева — музейного экспоната, скрепленного обручами по причине дряхлости, чтимого дерева,— дрожит от злости, ибо не по нутру ей многолюдная демонстрация. Наверняка бормочет про себя песенку вроде: «...какая прорва хамов и тупиц, прорва хамов и тупиц...»

А та, третья, с которой мы столкнулись на перекрестке у вокзала,— надутая и самодовольная, наверняка повидавшая разные заморские края и прочитавшая много книг,— та в грош нас не ставит и смотрит на демонстрантов как на мусор, выметенный из углов на середину комнаты.

А этот человек, напротив, поглядывает ласково и доброжелательно, но с искренним удивлением — словно бы охота ему узнать, как мы работаем, где ночуем, что едим, о чем думаем и вообще как живем и чего сто́им...

А мы шествуем по улицам, несем огромные транспаранты, рассказывающие о нашей стройке, несем почти весь жилой район и завод, слепленные из плотной бумаги, и портреты известных людей. То и дело кто-нибудь провозглашает: «Слава! Слава!» И мы подхватываем скопом во весь голос.

А я несу лозунг «Наши руки и наши сердца отдадим родине» и все поглядываю на тротуар да выуживаю — уж больно меня забрало — дебелых обитателей большого города.

Вон тот — выглядывающий из подворотни какого-то архитектурного памятника, словно из портретной рамы,— боится нас. Еще бы, тьма народа — точно слившееся воедино множество крестных ходов,— новые страшные люди, которые якобы строят новый город и неведомо на что еще способны, вломившиеся на улицы большого древнего града со знаменами, лозунгами и портретами. Есть чего бояться — ведь это сборище людей, которые притащились сюда из захолустья. Наверняка хватает среди них буянов и завшивленных; да и невежд малограмотных, что даже за столом вести себя не умеют, предостаточно в этой ораве. И само собой — потаскушек самого последнего разбора, в их вкусе, как же обойдется без этой публики. Есть чего бояться, возможно, думает бледнолицый мещанин, топчущийся в подворотне.

А мы шагаем и шагаем, уже вышли на улицу, где по одну сторону — красивые казенные здания, по другую — парк, любимый парк горожан, вызывающий у меня досаду и жалость, поскольку деревьям тут маловато воздуха.

Когда мы очутились на этой улице, важная весть облетела марширующие колонны: близко уже почетная трибуна. Люди стали держаться прямее, чеканить шаг, а мне даже во время этой подготовки к достойному прохождению мимо почетной трибуны попалась новая бледная физиономия, ибо я как одержимый охотился за этими лицами и пытался их расшифровать; собственно говоря, это была не демонстрация, а, скорее, столкновение загорелых, исхлестанных непогодой лиц с бледными физиономиями мещан; не праздник, а смотрины, два лица надвигались друг на друга и пристально друг к другу приглядывались.

Лицо, которое я выследил и которое, можно сказать, выследило меня, когда мы приближались к почетной трибуне, выражало боль, оно страдало от нашего присутствия, хотя мы не причинили ему никакого зла.

Если бы не шествие, которое стремительно увлекало нас, как лавина, я подбежал бы к страдающему лицу, а потом к испуганному и сказал бы им, что мне тоже

страшновато, поскольку судьба заставила покинуть деревню и теперь я на ошеломляюще громадной стройке. А уехать пришлось из-за того, что дома у меня отец, мать, дедушка, сестра в положении, стало быть — еще плюс один, и зять, причем на всех одна коровенка, пяток кур да гусыня; вот и пришлось ехать. Работаю землекопом и скажу откровенно — купил себе «прыгунок», чтобы в случае чего защитить девушку, хоть и не по мне этот нож, судьбы веление. Прежде рубились саблями и шпагами из-за девушек, стреляли друг в дружку, однако нож не хуже, если сравнить его с клинком или револьвером.

Но я, конечно, не мог подойти к этим лицам, ибо шагал в колонне демонстрантов, которая уже приближалась к трибуне.

Трибуна напоминала большой вытянутый алтарь, и на самом главном его месте стоял худощавый усталый человек и дружелюбно нам улыбался. Окружало его множество людей, которые вроде бы и приглядывались к проходящим колоннам, а по существу смотрели на худощавого усталого человека, стоявшего в центре, на почетном месте.

А еще мог бы я поведать бледным обитателям древнего города, торчавшим в толпе на тротуарах, прислонявшимся к дряхлым деревьям и выглядывавшим из подворотен — архитектурных памятников, что действительно хватает среди нас неграмотных, преимущественно из пожилых, чья жизнь так складывалась, что разминулись они со школой, а школа с ними; только теперь они берутся за учебу и стесняются этого, а некоторые после работы выводят гвоздем буквы на утоптанной земле.

А еще мог бы я сказать, что некоторые прибыли на эту непостижимо огромную стройку со вшами за воротом, ибо ютились в тесных завшивленных домишках, где полно народу и нет денег на поддержание чистоты, ибо чистота стоит дорого, а грязь — ни гроша.

А еще я мог бы сказать, что на нашей огромной стройке не редкость и безотказные девчата, да где их только нет?.. В приличных домах, в конторах не бывает, что ли? Всюду их встретишь. Но попадись девица легкого поведения у нас, худосочные мещане тотчас заведут суды-пересуды о разврате на стройке, а если у самих добропорядочных мещан обнаружится, в так называемых «кругах», они говорят: ничего не поделаешь, любовь... Когда дело происходит на сеновале, зеленой травке или попросту на голой земле, тогда это разврат, а на перинах или матрасах, на плюшевой обивке то же самое называется любовью. Есть два названия у одной и той же вещи — разврат и любовь, в зависимости от того, где это

происходит: под размалеванным потолком или под звездами.

Когда миновали трибуну, можно было идти свободнее, колонны стали таять, поодиночке, по двое, а то и целыми группами люди ускользали из строя, поскольку шествие малость их утомило, но тем, кто нес главные транспаранты и портреты, пришлось шагать до условленных мест, где все это сдавалось на хранение.

Я откололся раньше, поскольку нес небольшой лозунг, который мог прислонить к дереву и пойти своей дорогой. Молоденький смылся вместе со мной. Хелю я не мог найти, она куда-то запропастилась. Румяному пришлось идти до конца, ибо он, желая понравиться организаторам шествия, протолкался в голову колонны и вместе с другими рабочими нес самый большой, тяжеленный транспарант с самым крупным лозунгом. С некоторых пор он вертелся возле наших деятелей и заискивал перед ними. Корбас тоже куда-то пропал. Мать на демонстрации так разохотилась, что по собственной воле решила идти до конца, хотя ничего не тащила и могла исчезнуть раньше других.

Мы зашли в парк, где было полно народу. В городских парках всегда толчея и невозможно побыть наедине с природой, не то что в деревне; там, если душа пожелает, можно оказаться лицом к лицу с лесом, прибрежными кустами и рекою, с птицами, один на один с впадиной, заросшей камышом, с той огромной зеленой миской, о которой я, пожалуй, более всего жалею, ибо это самое прекрасное место на земле; один на один со всем этим, то есть один на один с самим собой, однако и под тайным присмотром недреманного ока деревни.

Молоденький потащил меня в самый конец узкой боковой аллеи, где было поменьше народу; мы сели на скамейку — демонстрация нас все же утомила, — и он тут же сунул руку в карман и вытащил зеленый конверт, с минуту размахивал им, а потом сказал: вот письмо от матери, вчера получено, иду через проходную, а вахтер говорит: письмо тебе прислали, это и была весточка от нее.

Потрясая конвертом, Молоденький принялся рассказывать, что матушка уведомляет его о получении денег, которые он выслал после первой получки, а еще она пишет, будто положила их в особый тайник, ни на что не тратит и в том тайнике бережет, поскольку это деньги из первого заработка сына, а таких денег она отродясь не получала. Было у нее три сына, двое, постарше Молоденького, погибли на войне, остался он да сестра. Откуда же ей было ждать помощи, а теперь вот дождалась,

получила перевод и спрятала поглубже и не тратит, бережет не как разменные бумажки, за которые можно купить дрожжей, соли, сахару, шаль, фартук и бог весть что еще, а как нечто большее — свидетельство сыновней добросердечности, которая не часто встречается в наше время.

А потом Молоденький приблизился ко мне и понизил голос, словно хотел открыть великую тайну и опасался, вдруг кто-нибудь да подслушает; но я уже знал — раз придвигается, значит, будет нашептывать в самое ухо те многократно повторявшиеся слова, которые впервые прошептал на стройке под треклятым мелким дождичком. Знал, что речь пойдет о вечерней школе; и действительно, Молоденький начал уговаривать, чтоб я, подобно ему, окончил семь классов, а затем, как и он, шел дальше и дальше. Я обещал ему записаться в вечернюю школу. А про себя подумал: «Нож-прыгунок не помеха, можно и с ножом пойти в школу...»

Немного погодя на этой же скамейке, в аллее городского парка, размечтался он о будущем. Заговорил как дитя малое и старец одновременно; уж такой он был человек, что ребенок уживался в нем со стариком.

Не смотрели мы на безбрежную равнину, где шла наша стройка, но словно раскинулась она перед нами, когда Молоденький заговорил о будущем. Лучше меня умел он видеть самого себя, преображенного в городе, который нам предстояло воздвигнуть; умел через голову дня нынешнего заглядывать в грядущее и выхватывать из него то, что еще не назрело, делать вид, словно нет котлованов, грязи и перепачканных людей, а город уже построен, и на проспектах раздается топот наших шагов. Молоденький, как чудотворец, мысленно созидал готовый город, хотя город тот только еще затевался, едва вылезая из трясины. И, сидя со мною в сравнительно тихом уголке городского парка, наряжался да пыжился, обживал уютную квартиру, здороваясь, приподымал шляпу, вообще млел от восторга в своем выдуманном чистом городе; и меня приобщал к чистоте и красоте нового города, возникшего в его воображении, а по существу лишь зарождавшегося,— приобщал, уговаривая взяться за учебу. С легкой его руки фантазия моя тоже взыграла, и мы принялись взапуски рисовать всяческие виды того, чего еще не было, пока не пресытились великолепием будущего, которым себя тешили, и тогда, разомлевшие, усталые от разговоров об этом будущем, смолкли, поднялись со скамейки, пошли к автобусу и вернулись в свои бараки. Вечером я отправился на народное гулянье.

Не понравилось мне это гулянье, слишком мало было

любви и стыда, зато скотства — с избытком. Дело молодое, но так не годится. В деревне-то ничего подобного себе не позволяли, а ведь все деревенские. Что с ними случилось?.. Будто с цепи сорвались, ибо деревня, эта стоглавая, тысячеглавая деревня, любого своего жителя держит словно на привязи; все глядит на него, все предупреждает, денно и нощно с него не сводит сотен и тысяч недреманных глаз; от нее невозможно укрыться — в деревне нигде не спрячешься.

Мать, отец, дед, бабка, родня, соседи, живые и мертвые стоят у тебя за спиной, к тебе приглядываются, и ты их боишься; порой огрызаешься, когда отец с матерью корят за дурной поступок; и тогда со стороны может показаться, что тебе претят их замечания и ты пренебрегаешь матерью и отцом, но, в сущности, ты их побаиваешься.

А на стройке все точно с цепи посрывались, потому и казались словно бы малость ошалелыми. На гулянье это особенно заметно.

Но ошалелость эта — из-за того, что оковы сорваны,— проходит; теперь знаю — проходит. Беглецы опомнятся, починят цепи, приладят новые звенья, и цепи удлинятся, и этими надставленными цепями вновь прикуют себя к деревне. В городе, на асфальте, в уютных квартирах, они все-таки останутся прикованными к деревне, как верные псы; и я знаю, что многие из них, даже уподобившиеся мещанам, испокон веков разгуливающим по аллеям городского парка, попросят в старости, пролепечут на ложе смерти, шевеля немеющими устами, как рыбы, вытащенные из воды, чтоб их похоронили на деревенских погостах; пролепечут как дети, что хотят воротиться к отцу с матерью.

Вот, например, Молоденький так и не оборвал цепи. Добрая матушка держит его на прочной привязи. Он пойдет в гору, он учится на курсах, растет.

Стройка в свою очередь тоже меняет человека. Одно дело сеять, другое — рвать динамитом мерзлую землю; одно дело работать в поле, другое — на стройплощадке. На стройке ты должен быть острым как бритва, а в поле — необязательно. Стройка захватывает тебя в клещи, жмет, а земля распрямляет. В котловане приходится орать во все горло, отбрехиваться, перекрикивать множество разных шумов, а в поле поговоришь с конем — и снова сеешь...

Мы выскользнули из широкого круга гуляющих; Хелена шла впереди, я за нею. Позади осталась музыка и гомон толпы, позади мы оставили Румяного. Он пришел на гулянье поздно и, слегка выпивши, искал Хелену, я

видел это, меня не заметил и расспрашивал о ней тех, кто ее знал.

До этого Хелена несколько раз протанцевала со мной и другими ребятами. Потом нырнула в самую гущу толпы, и я побежал следом, подумал: покажусь ей — что скажет? Сказала: «Мне тут не нравится, идем отсюда...»

Если скажет такое девушка, которая тебе по сердцу, если скажет такое в сутолоке гулянья, когда наяривает оркестр и музыка выплескивается до небес, а вокруг полно сильных, крепких парней, падких на девчат, ты теряешь душевное равновесие; ведь это значит, что она тебя выбрала, тебя единственного, одного из всех. Что тогда с тобой творится... не знаю, с чем сравнить... и как это назвать... не знаю... ничего не приходит в голову, когда пытаюсь описать себя в ту минуту, после ее слов: «Идем отсюда, мне тут не нравится». Мамаша, отец, дедушка, сестрица, зять и вы, мои соседи,— ту минуту описать невозможно...

Выйдя из зарослей, мы попали на широкую плоскую равнину. Взялись за руки и двинулись вперед. Если б нас тогда увидал кто-нибудь, мог бы спросить: «Куда, детушки, направляетесь?..»

Шагали мы по траве, луг это был, а может, и не луг, может, заброшенная дорога, давно не езженная и потому постепенно зараставшая травой.

Я напрягаю память, в муках припоминаю все до мелочей. Рука Хелены в моей руке — пальцы довольно длинные и довольно твердые, кисть руки внезапно расширялась, с внутренней стороны переходила в подушечку, по краю которой, там, где пролегает граница между пальцами и самой ладонью, шли рядком твердые, словно обрезки тонкого ремня, мозоли, а за этими мозолями — углубление, неровное, шершавое, и тыльная сторона ладони тоже шершавая. Было темно, но я мог удостовериться, что рука эта, огрубевшая на стройке, совсем не вязалась с тонким лицом и волнистыми волосами Хелены, с ее длинными стройными ногами и вообще всей гибкой, подбористой фигурой.

Эта рука гармонировала уже со стройкой, не с девушкой. Так мне думается сегодня, и я говорю, что довольно твердые пальцы Хелены были как бы продолжением стройки и этот затвердевший, отполированный край ладони, и шершавая тыльная ее сторона, пожалуй, тоже более всего принадлежали стройке.

Дальше шло запястье с выемкой-перехватом, и тут пролегал рубеж, тут кончалась стройка, кончалась земля, опалубка, доски, гвозди, лопаты, дожди, туманы, приказы мастера и бригадира. На этой выемке-перехвате конча-

лась строительная площадка и начиналась девушка; тут же, под дудочкой рукава, внезапным теплом, бьющим из глубины ее тела, и неожиданной нежностью кожи начиналась девушка; моя, и только моя, девушка; мамаша, папаша, дедушка, сестрица, зять, и вы, соседи, и ты, святой боже, и ты, мой нож с выкидным лезвием,— моя, и только моя.

Верный нож, хранитель мой,
Днем и ночью под рукой,
На погибель вражьей своры
Будь же мне всегда опорой...

Так молился Измятый Мачек.

Мы все шли по траве, держась за руки как дети. Я передвинул пальцы выше, к самому краю узкого ее рукава.

Если бы нас тогда кто-нибудь увидел, мог бы спросить: «Куда направляетесь, детушки?..»

Мы шли по траве, шли неторопливо...

Таково было начало лучшей весны лучшего лета в моей жизни: такой весны и такого лета не было ни прежде, ни потом и уже никогда, никогда не будет.

А мне так хотелось бы вернуться к той ночи и к тем неделям и месяцам, которые наступили после нее; когда столько времени было впереди и время это казалось глиной — лепи жизнь, какую захочется; теперь-то эти двадцать лет, которые тогда еще предстояло прожить по образу и подобию прекрасной, выпестованной нами мечты, уже отняты и прожиты так, как их лепила судьба.

Мне хотелось бы отойти вспять, убрать этот город и, преодолев время, еще раз спуститься в котлован, чтобы снова изведать тот тяжкий труд и ту любовь; я согласился бы даже снова тонуть в грязном месиве, вязком, как тесто или трясина, лишь бы воротилась тогдашняя надежда, нашептывавшая: «Ты переплывешь свою реку счастливый». Я выцарапал бы голую землю из-под нынешних камней, если б смог вырвать у пожирающего самого себя времени те минуты, когда будущее представлялось сверкающим в многоцветье огней престольным праздником.

В ту ночь, пройдя поля, которые уже не были настоящими полями, ибо озаряли их с высоты огни стройки, охватившей полукольцом вспаханные наделы, пройдя заболоченный луг, который эти огни тоже лишили его настоящего ночного облика, мы спустились в Глухую канаву, оберегаемую от огней густыми зарослями, в тот по ошибке вырытый хлебоедами и похлебочниками ров, где я исполнился отваги, когда к нему приблизилась

Хелена; и яма сразу же нам полюбилась.

Мы вошли в тупиковую ту канаву с охапками духовитого сена, надерганного из стоящих поблизости стожков, застелили им дно и обложили стены, и этот ров, напоенный ароматом трав и подсыхающей земли, стал нашим первым домом, квартирой, нашим первым супружеским ложем, хоть мы еще не были мужем и женой, но если отбросить церемониал бракосочетания, который связывает людей только словом изреченным и словом писаным, а взять то, что свершилось, то мы, собственно говоря, были мужем и женой, ибо, прежде чем по всем правилам соединили нас узами брака, сами, без чьей-либо помощи, без ксендза костельного, и ксендза мирского, и без свадебного поезда, с помощью, пожалуй, только этой тьмы да пахучих трав, мы в этом рву обвенчались.

Когда во время этого венчания лицо мое нависало над ее лицом, образок, полученный от матери, выскальзывал у меня из-за пазухи и мотался у самого ее рта, встревая между нашими губами, стучал по зубам, и мы отбрасывали его, прикусывали; потом образок повисал свободно и снова начинал скользить по ее губам, глазам, по разметанным волосам...

Потом мы лежали вверх лицом и смотрели в низкое ночное небо. Было тихо, и казалось, на этой тихой равнине ничего нет; только шорох комочков земли, осыпающихся со стен, напоминал о том, что вокруг развернулась большая стройка.

И снова серебристая бляшка образка мелькала над ее лицом и встревала между нашими губами и зубами, и опять мы ее прикусывали.

Потом, лежа рядом под низким потолком хмурой ночи, мы обдумывали, как переплывем вместе широкую реку, как вместе, нарядные и счастливые, вступим в деревню... Серебристая бляшка вновь мелькала над ее лицом, встревала и встревала между нашими губами и зубами.

Говоря об этом ныне, столько лет спустя, я присоединяю к воспоминаниям мои долгие раздумья, то есть к себе тогдашнему присоединяю себя сегодняшнего, которому и жизнь, и школа, и прочитанные книги еще кое-что добавили; следовательно, как бы двое нас описывают те события, и зачастую трудно мне разобраться, рассказываю ли это я нынешний или тогдашний.

Описывая ту ночь, могу еще добавить, что ров, ошибочно выкопанный хлебоедами и похлебочниками, стал не только нашей первой совместной квартирой и нашим первым супружеским ложем, но также нашим костелом без ксендза, органиста и хоров; и могу еще добавить, что эта яма была для нас чем-то большим,

нежели дом, супружеское ложе и даже храм божий. Это было место, где наше обручение исполнило нас огромной силой и огромной любовью к миру, людям, зверью, мошкаре, к мельчайшей крупице земли; а также исполнило огромной благодарностью судьбе за ночь, за сено и ров, в котором состоялось наше обручение.

Окрыленные этой силой, любовью и чувством благодарности, вышли мы из рва в серый предрассветный час; земля была подернута туманом, который окутывал поля и строительную площадку; отчетливей вырисовывались только макушки деревьев, стрелы башенных кранов и гребни новых стен первого жилого квартала возникающего города.

Воротясь в общежитие, я прилег на койку, но не для того, чтобы подремать часок-другой, оставшиеся до начала работы, а чтобы порадоваться случившемуся ночью, нашему добровольному венчанию и тому, что познал тело и душу девушки.

Образок с ликом господа бога, висевший на моей шее, выскользнул из-за пазухи и упал на подушку. Серебристая бляшка была помята и поцарапана.

Долго разглядывал я вмятины и царапины на серебристой бляшке и думал: «Ты уже стал кем-то, ты действительно обвенчался с Хеленой».

А потом, впервые с того дня, когда мать надела мне на шею священный шнурок, взял образок в руки и, словно вернейший почитатель господа бога, облобызал серебристую бляшку, вернее, вмятины и царапины — эти следы нашего венчания.

На стройку я явился первым, и очень легко мне работалось, хоть и не сомкнул глаз, попросту не чувствовал земли под лопатой, точно была она пухом или пеной, а не тяжелой клейкой массой; бригадир прямо диву давался и говорил, что я подаю пример самоотверженного, героического труда, а также, добавил он мудрено, пример высокого общественного самосознания; и еще сказал, что если бы все так трудились, то город на равнине возник бы раньше, чем запланировано.

Не знал он, бедняга, что я обвенчан, что познал тело и душу Хелены, и что тело и душу ее заполучил ночью, во рву, в благословенном рву, и что из-за этого венчания не чувствую под лопатой земли и она поддается легко, словно пух или пена, и что управляюсь с досками и бревнами и гвозди вбиваю быстрей и лучше, чем вчера, лишь потому, что обвенчался, потому, что люблю всех вокруг, и даже нет у меня никакой вражды к Румяному, ибо победил я его не столько тем, что перетянул ему шею освященным шнурком, сколько нашим с Хеленой

венчанием,— вот чем поверг я его на землю и придушил; и даже как будто мне его жалко стало и захотелось к нему подойти.

Я выбрался из котлована и пошел вдоль его края туда, где работал Румяный. И думал, мысленно обращался к себе: «Если он будет заноситься, начнет угрожать и скажет: мы еще сочтемся, ты все-таки сохранишь спокойствие и миролюбие, ибо вправе уже себе это позволить и можешь быть добрым, поскольку окончательно и бесповоротно победил его тем, что тебя, а не его выбрала Хелена».

Я глянул на дно котлована: Румяный ладил опалубку в самом низу и потому наклонялся; виден был его затылок — густые черные волосы, мокрые от пота, слиплись — и загорелая темная шея.

Посмотрел я на эту крепкую шею и между волосами и воротником парусиновой спецовки заметил белую полоску незагоревшего тела; догадался, что это был след недавно снятой тесемки, той освященной тесемки, которую мать надела ему на шею с каким-нибудь образком, когда он ехал сюда; а теперь от этой тесемки остался белый следок, который, если ее не надеть снова, скоро исчезнет; пусть только выглянет солнце и пригреет его, согбенного, в котловане — следок мгновенно сотрется и никто уже не узнает, что шею Румяного когда-либо обнимала тесемка с нанизанным на нее образком; если потребуется, он даже может сказать, что никогда не носил на шее никакого образка, да и сам он не вешал на себя господа бога.

Я поманил Молоденького, и он бесшумно приблизился ко мне; потом кивнул Матери и Корбасу, они тоже подошли, и мы уже впятером украдкой глядели на белый следок, опоясывающий вместо тесемки крепкую шею Румяного.

Можно было подумать, что освященная тесемка отсутствует временно, что она износилась, истлела, и ее решено заменить, и что бог снова взберется на его бычью шею; но можно было также подумать, что больше не взберется, ибо Румяному очень хочется пойти в гору и он вовсе не желает потеть на выемке грунта.

Когда мы отошли в сторонку, Корбас сказал, что нельзя выбрасывать материнского подарка; а Мать, та Мать со стройки, возразила, что в жизни всякое бывает; Молоденький промолчал. Я соглашался скорее с Корбасом, чем с Матерью, хотя она немало пережила и никогда не бросала слов на ветер; но и Корбас многое пережил, ведь он был в годах. Оба они многое пережили.

Нельзя было слишком долго раздумывать — можно

отвергнуть то, что получил от матери, или нет, ибо ждала нас работа и бригадир начал уже фыркать и причмокивать от нетерпения.

ГЛАВА X

Я вернулся к своей работе, своему заступу, легкому в тот день как перышко, к своей земле и своей надежде, что снова выберусь с Хеленой в Глухую канаву — так прозвали злополучный для них ров хлебоеды и похлебочники — и снова надергаю свежего, благоухающего лекарственными травами сена, чтобы застелить им наше супружеское ложе.

И так случилось, что яма эта много дней и ночей была нашим пристанищем и супружеским ложем, что в этой яме на охапке сена, под звездами мы дали жизнь нашему сыну, нашему единственному ребенку. Мы поступили как неотесанные дикари... а может, и как бедные, заблудшие дети, чья любовь обратилась в беду.

Я стыдился, что наш ребенок был зачат во рву, на сырой земле, но пытался не поддаваться стыду, яростно с ним боролся, убеждал себя, что не только на кроватях, сенниках и перинах сотворяются дети. Не все люди, топчущие эту землю, сотворены на простынях. Разумеется, таких тепличных изрядное количество, но хватает и сотворенных где попало.

Пары уединяются не только в роскошных опочивальнях, бывает, и во всяческие норы втискиваются, и в разных местах ложатся, чтобы потом рождались дети: на постелях, голой земле, снопах, в телегах, посреди поля, в апартаментах, сенях, ямах, на мусоре, под крышей и под звездами, и там, где курят благовония, и там, где смрадно,— всюду сотворяются дети.

Она прибежала к старому дереву, откуда мы обычно направлялись вместе к Глухой канаве. Остановилась передо мной простоволосая, всклокоченная, глаза красные, но сухие, дышит тяжело. И давай хлопать себя по животу да выкрикивать: «У меня будет ребенок, у меня будет ребенок!..»

Счастливая или несчастная прибежала она ко мне с этой новой жизнью во чреве и с этими словами на устах? Так все у нее перепуталось, что, с одной стороны, могло показаться, будто она радуется беременности, хвастает той жизнью, которая в ней затеплилась, и в своей радости никого не боится, и выставляет себя с этой новой жизнью во чреве напоказ всему миру, точно какой-нибудь самодержец.

А с другой стороны, могло показаться, что эту новую жизнь в себе почитает бедой, и кричит от горя, и по животу себя бьет от ненависти к своему обремененному чреву.

Мы были ошеломлены, ибо не задумывались, куда может нас завести Глухая канава, полагали, что она навсегда останется неизменной, удобной для повторения все тех же обручений и что никогда в этой канаве мы не произнесем слова «ребенок».

Поэтому и я, когда она прибежала ко мне с этой новостью, не знал, как поступить: кричать ли от радости во весь голос и гордиться своим будущим отцовством или — перед лицом всей этой стройки, грязи, хлюпающей под ногами, нашего добровольного изгнания из деревни и нашей теперешней жизни — съежиться и заскулить.

Я отвел ее, уже притихшую, но грустную, в Глухую канаву; мы легли на сено, надвигалась ночь — погожая, с высоким звездным небом. Я засунул руку ей под платье, добрался до живота; он был теплый, в испарине, упругая кожа мерно вздымалась в такт уже успокоившемуся ее дыханию. Много раз клал я вот так свою руку, но прежде все было иначе, а сейчас рука словно придерживала нашего ребенка, который мирно спал под упругой, вспотевшей кожей.

Еще не поздно, можно все вытравить, вырвать и выбросить; частенько делаются подобные вещи в этом мире, и на здешней равнине тоже. Есть такая каморка с плотно завешенными окнами и надежно запертыми дверями, где это проделывают.

А все во имя душевного спокойствия деревенских матерей и отцов, ради приличия и для поддержания того порядка, согласно которому лишь после законного бракосочетания люди вправе плодиться и размножаться.

Как поступить с этим, затаившимся в ней под упругой, потной кожей существом, как судить его и какой ему вынести приговор? Он во многом виноват, поскольку объявляется в такой момент, когда никому не нужен, ибо стройкам, неистово наращивающим темпы, ни к чему иждивенцы, старики и дети.

Неистовой стройке по сердцу только крепкие парни, которые умеют работать. Пусть ругаются, лишь бы вкалывали; пусть пьют из горлышка, лишь бы вкалывали; пусть тузят друг друга, лишь бы вкалывали; лишь бы полностью, со всем, что в них есть хорошего и дурного, отдавались неистовой стройке.

Красивые слова, телячьи нежности, возню с младенцами, свадьбы и обзаведение потомством неистовая стройка, как хлебоед и похлебочник, откладывает на

будущее, вплоть до завершения строительства и города и завода; ибо совместить одно с другим невозможно. Либо то, либо другое, вместе такие вещи не уживаются, как не уживаются огонь с водой. Надо выбирать что-то одно — или ребенка, или неистовую стройку.

В Глухой канаве, как на суде, предстояло вынести решение — быть нам вдвоем или втроем. Условия на стройке склоняли к тому, чтобы остаться вдвоем, поскольку живем мы в бараках — я в мужском, она в женском,— питаемся в столовой, моемся не всегда теплой водой, работа у нас тяжелая, зачастую целый день копаешься в сырой земле, ибо мастер, бригадир, инженер шипят, точно сердитые гуси, что план напряженный, а бетонщики кричат: «Даешь рвы» — одержимые чудища, закладывающие фундаменты и алчущие этих рвов, как голодный хлеба.

Стройка, что кормит тебя, одевает, предоставляет ночлег на двухъярусной койке, дает тебе заработок; стройка, благодаря которой осуществлено твое добровольное изгнание и в доме твоем сохранилось положенное число обитателей; стройка, обещающая тебе город и вольготную жизнь, неустанно потчующая тебя этой песенкой: «Ты переплывешь реку преображенный, ступишь на другой берег с довольным видом и с туго набитым бумажником»; эта разбушевавшаяся вовсю стройка напоминает тебе, что рановато еще заводить ребенка и жениться.

На деревню можешь не оглядываться, ибо сам себя изгнал оттуда; ты вернешься, чтобы показаться ей, лишь после того, как неистовая стройка должным образом набьет твой бумажник и даст тебе наконец возможность напустить на себя независимый вид.

И Хелена не может вернуться в деревню: что бы сказала мать и односельчане? Деревня не приемлет округлившегося живота у девушки. Деревня как бы всегда начеку и приглядывается к девушкам, проверяя их походку, осанку, как они сгибаются и садятся, ибо желательно ей обнаружить по фигуре и движениям тайный плод любви несчастной, чтобы потом вопить, злословить, заламывать руки и плакать.

Столь же придирчиво приглядывается деревня и к молодкам, следит за их осанкой, как на ходу они колышутся, как сгибаются и садятся, ибо по фигуре и движениям хочет определить — не бесплодны ли, чтобы потом вопить, браниться, злословить, заламывать руки и плакать.

Невозможность возврата в деревню также склоняет наведаться в тесную, потайную, с надежно запертой

дверью и плотно занавешенными окнами каморку, где избавляют от нежелательной беременности. Толковые парни, которым не с руки отцовство, ибо они хотят предварительно как следует прифорситься, стоят в саду и прислушиваются к стонам своих девушек, терпящих муки; эти стоны возвращают парням со стройки привольное холостяцкое положение и как бы развязывают им руки, приближая к заветной мечте о вольготной жизни.

Нет еще места на свете для ребенка, который во чреве уже возникает, и бессильна что-либо изменить мысль, назойливо врывающаяся в мои раздумья о приговоре, вмешивающаяся в мой суд над этой человеческой завязью, приговоренной мною к смерти, если можно умертвить то, что еще не начало жить — а вдруг уже начало?..— бессильна мысль о каком-то грядущем погожем и теплом воскресенье, когда мы отправимся на дальнюю прогулку втроем, то есть с этим ребенком, который сейчас в ней зарождается.

Эта воскресная идиллия — отец, мать и сын или дочка, радостно шествующие по улицам нового города, а потом полями и лугами,— ратовала за сохранение затеплившейся новой жизни. Это солнечное воскресенье будущего было как бы адвокатом той пылинки, которая хотела все разрушить, перечеркнуть дотошно продуманные планы...

Я лежу рядом с безмолвной Хеленой, как и она, смотрю на звезды; впервые в этой Глухой канаве мы вместе так долго глядим на звезды, впервые так долго не смотрю я сверху на ее глаза и лицо, и впервые образок не встревает между нашими губами.

Время от времени какая-нибудь звезда летит вниз; когда падает звезда — умирает человек, порою падают две сразу. Хелена, ничего не говоря, молча выслушивает мой рассказ о надежно запертой клетушке, где ценой нескольких стонов избавляются от всех неприятностей.

Снова упала звезда, но Хелена ей воспротивилась и спокойно сказала, что сохранит ребенка: словно не жила и не работала на этой шалой равнине, словно была слепа и глуха.

Свадьба не могла входить в расчет, а если свадьбы не будет, то как назовут ее, незамужнюю, какую подберут ей кличку? В деревне будет она — сука, в большом городе — шлюха.

Поедешь в деревню, переступишь порог родительского дома, ввалишься в горницу с выпяченным животом; «Добро пожаловать, сука»,— скажет мать; «Добро пожаловать, сука»,— скажет отец.

Что им ответишь? Ношу, мол, во чреве своем дитя любви, и мне без надобности соседи и ксендз, и вообще

все едино?

Услышишь тогда: «Не гневи господа, сука...» В конце каждой фразы — сука... в конце каждой мысли — сука, на каждом шагу — сука...

А мещане в большом городе говорят о таких — шлюха. Можешь бить себя в грудь и клясться, что это дитя любви, можешь бушевать и ругаться, могу я бить морды и пырять ножом-прыгунком направо и налево — мы не убьем этих слов.

Снова упала звезда, и Хелена снова ей воспротивилась и сказала, что нельзя убивать этого ребенка.

Она говорила так, словно жила на необитаемом острове, а не среди блудных сыновей, словно судьба не загнала ее на эту адскую равнину, где, пока не будет построен город, надлежит жить без жен, без мужей, без матерей и отцов, где лучше всего подходил бы монашеский орден, присягнувший на верность стройке.

Есть на этой одержимой стройке свои монахи. Есть тут даже целых два монашеских ордена.

Хлебоеды и похлебочники — это одна братия. Они здесь как бы орден приносящих покаяние, но каются они не за грехи содеянные, не за сытные обеды, ибо таковых не вкушали, не за теплые, мягкие постели в уютных квартирах, ибо на таковых не почивали, не за бутерброды с колбасой, рубцом или вяленой рыбой, которые ели до прихода сюда, ибо сейчас эти яства откладывали, как приятные излишества, на будущее, а пока что пробавлялись черствым хлебом, который, пожалуй, лишь тем же хлебом и заедали.

Следовательно, каются они за то, что «натворят» в будущем, когда заработают кучу денег, за будущее спанье в теплых, удобных постелях, за жранье бутербродов с ветчиной, за мытье теплой водой и за хождение по воскресеньям в чистых беленьких рубашках.

А второй монашеский орден состоит из самых молодых, которым одержимая стройка дороже всего, ибо есть среди них чудаки, что добровольно идут туда, где труднее, где стала техника и требуется заменить ее руками, чтобы город и завод были побыстрее построены — и шабаш; и невозможно их оторвать от работы, поскольку это уж такие чудаки, которым милее денег сама работа, само лицезрение того, что ими создано. Что они едят и пьют теперь и что будут потом есть и пить, как живут теперь и как будут жить потом — это их не волновало, они ни в чем не шкурничали, жили только стройкой. Это был монашеский орден юнцов, влюбленных в тяжкий и напряженный труд.

Ныне уже нет этих двух братств, нигде нет, ни на

одной стройке не найдешь таких монахов.

И нас, и нашу братву с земляных работ прибрали к рукам эти «ордена», ибо хоть и ели мы хлеб с ветчиной, но были у нас души хлебоедов и похлебочников. Молоденький состоял как бы в двух «орденах» одновременно, так как в тоске по светлому будущему украсил свою грудь значком Союза польской молодежи, то есть отличительным знаком другого «ордена».

А я в ту пору был самым лютым хлебоедом и похлебочником, ибо уговаривал Хелену наведаться в тесную потайную каморку, где пройдошливая бабенка избавляет девчат от беременности. Душу мою снедала жестокая тоска по всему тому, что обещал себе в будущем, и я готов был многим пожертвовать ради осуществления своих планов, даже убить дитя любви.

Мы лежим в глубокой Глухой канаве и смотрим на звезды. Хелена все повторяет: «Нельзя убивать этого ребенка» — бестолково, не задумываясь, не считаясь с тем, как мы живем, откуда пришли и куда стремимся... Как шарманка: «Нельзя убивать, нельзя убивать...»

Она отыскала мою руку, которую я держал на ее животе, положила поверх нее свою и снова повторила: «Нельзя убивать этого ребенка...» Слова ее прозвучали как просьба, как заклятье, которое должно было смягчить мое сердце и заодно припугнуть. Потом выхватила свою руку из-под платья и, не в силах сдержаться, опять сказала: «Нельзя убивать этого ребенка...» И это был как бы тихий возглас, протест или приказ.

Но не дрогнула жестокая и упрямая душа хлебоеда и похлебочника, который ответил ей: «Не выдюжим».

Она молчала, и я почувствовал, что не принимает она мои слова.

ГЛАВА XI

Мы молчали, но вдруг неведомо откуда — со звездного неба, из ольшаника или из-под земли — послышалось: «Вылезай, браток, сочтемся».

Я узнал голос Румяного. Выхватил нож. Не без трепета, но иного выхода не было.

Мать, отец, все мои деревенские родичи окружили меня, внезапно осатанев, и принялись нашептывать: «Уже некуда отступать, держись, бей наверняка, в самое слабое место, лучше всего целься под вздох. Ты зашел так далеко, что поздно уже просто драться, старайся сразить врага. Не внял нашим советам, вот и учиняй теперь кровопролитие, ибо нет иного выхода, не бросишь

же ты девушку и не обратишься в бегство, на это даже я, твоя матушка, и я, твоя беременная сестра, и даже я, твой дед, и даже я, самая древняя старушка в деревне, не дадим своего согласия. Напрасно ты думал, что само обладание ножом убережет тебя, что поможет тебе сама молитва, обращенная к ножу: «Верный нож, хранитель мой...»

Вылезай же, паренек, вылезай. Душа-девица уже заголосила, и у супостата твоего нож наготове... Простись на всякий случай со своими родичами, взгляни на них издали в последний раз, прежде чем выбираться из ямы, а потом уже ничем не забивай себе голову и думай лишь о расправе с врагом... вылезай же, вылезай, больно уж девушка раскричалась, и он ждет на краю рва, и потрясает своим ножом, и зовет тебя».

Побежал я вдоль траншеи, выскочил наверх, ни о ком больше не думая, оттолкнул Хелену, которая кинулась наперерез и заслонила меня. Ее крик: «Не деритесь, он убьет тебя!» — вдруг отпрянул куда-то далеко, на край света. Я пригнулся, как положено, сейчас так тресну Румяного с левой, что он ткнет ножом впустую, а правой, которая пока опущена и якобы висит праздно, сделаю выпад и пырну под вздох... И пусть он кровью захлебнется.

Но не захлебнулся он кровью, и не нанес я смертельного удара, ибо, прежде чем приблизился к нему, Румяный, стоявший на фоне светлого неба и бормотавший проклятья, вскинул обе руки, словно две ветки, и, все еще бранясь, сделал неуклюжий выпад, вспорол ножом воздух, а потом ноги под ним подломились, он грохнулся об землю и, уткнувшись в нее лицом, продолжал изрыгать ругательства.

Я понял, что он мертвецки пьян, подошел к нему, но Хелена, рыдая, начала меня оттаскивать. Мы забрались в ольшаник. Только в зарослях я нажал кнопку и убрал выкидное лезвие, а потом уголком платка, повязанного у нее на шее, вытер ей глаза.

По другую сторону ольшаника тянулась полоса сухой травы, там мы присели, чтобы подумать о случившемся и о том, что может случиться, но, вместо раздумий и разговоров о том, как следует поступать после этой истории с Румяным, я осторожно тронул Хелену за руку, бережно уложил ее на траве лицом к небу, и, ничего не говоря, мы повторили наше обручение. Мы крепко обнимались, но было нам грустно. Потом я проводил ее до барака. Хотелось мне побыть одному.

Я знал, почему хочу побыть в одиночестве. Не для того, чтобы вернуться в свой барак, залезть на койку и

попытаться уснуть, а для того, чтобы снова пойти в Глухую канаву, ибо втемяшилась вдруг мне в голову одна мысль, сокровенная, касающаяся только меня, такая, какой ни с кем на свете не поделишься, только с самим собой и то под большим секретом,— мысль о том, что подвернулся удобный случай выпрямить свой жизненный путь, и если уж не совсем выпрямить, то сделать его менее извилистым. То есть избавиться от тени, которая неотступно скользит следом, от мучительной готовности хвататься за нож и тяжкой необходимости прощупывать вокруг себя землю и воздух; чтобы можно было отсечь моим ножом ветку ивы и смастерить из нее свирель. И свободно резать им хлеб и колбасу, и чтобы концом его в случае необходимости выскребывать глину из-под ногтей, и чтобы можно было делать все это со спокойной душой.

Но достигнуть этого можно было лишь тем единственным способом, что подсказывал мне благоприятный случай, который вряд ли повторится. С пугающей отчетливостью я вдруг осознал, что нож мой будет не для свирелей, хлеба и ногтей до тех пор, пока не омоется кровью.

Я быстро шагал кратчайшим путем, крался в потемках, за пределами досягаемости мощных, высоко подвешенных ламп, освещавших строительную площадку.

В сиянии этих ламп стройка выглядела как странный, непостижимый мир, словно вырвавшийся из недр долины и вновь готовый исчезнуть. Дома еще не были оштукатурены и, если смотреть на них издалека, сливались воедино, образуя неровный, зубчатый гребень, облитый чем-то кровянистым. Прежде, только начиная выбираться из-под земли, они казались издали не красноватым гребнем, а расплесканным багрянцем.

Я шагал быстро, стройка лежала позади, пришлось круто повернуть, чтобы обойти топкий овражек, и снова передо мной раскинулась строительная площадка, высились башенные краны, словно какие-то гигантские голенастые насекомые, комары-великаны, выше деревьев и домов, с опущенными вниз жалами. Больше всего их было у красных домов, возле этих словно бы сгустков запекшейся крови первого городского квартала. Земля у меня перед глазами колыхалась, точно палуба корабля, и отсветы ламп толкали ее то в одну, то в другую сторону.

За бортами этого корабля тянулись полосы затененной земли — раздолье для собачьего короля, горбуна, раздолье для влюбленных парочек, для мечтателей, раздумывающих о прекрасном будущем, и тех, кто хочет наложить на себя руки.

Тут каждую ночь что-то происходит, отсюда доносятся

отголоски условных знаков — не слов, ибо словам нельзя доверяться. В этих отзвуках больше отрывистых свистов, которые, возможно, означают: я здесь, я спешу к тебе, подружка, я иду к тебе, приятель, я приехал издалека, спать не могу — так девушка приворожила... Эти отголоски условных знаков говорят о том, что кто-то сейчас натешится всласть или предстанет перед ликом божьим.

С минуту впереди маячил первый квартал. Город, заметно поднявшийся над землей. Теперь уже можно выбрать себе квартиру, не всерьез, а потехи ради, ибо порой мы, как дети, затевали игру: ни с того ни с сего распрямляли спины, подпирались лопатами и глядели на эти дома, голые стены и пустые оконные проемы, и кто-нибудь невзначай произносил: «Видите эти два окошка, я там буду жить»; а другой выбирал иные слепые провалы в стене и похвалялся: «Вон мои окна» — и совсем по-детски спрашивал: «Видите меня в них?» — словно бы раздваивался и одновременно стоял по пояс в земле и за оконными стеклами, которых еще нет. Иногда двое облюбовывали одни и те же окна, то есть незрячие дыры в стене, и каждый стремился доказать, что сделал заявку раньше, и доходило при этом даже до перебранок.

Молоденький начал эту игру с окнами и первым выбрал их для себя, благо лучше всех нас умел раздваиваться, быть одновременно и сегодняшним и завтрашним, и даже умел так говорить и изменяться в лице, так сверкать глазами, что гораздо больше походил на завтрашнего, чем на сегодняшнего, и уж кого-кого, а его-то мы видели в тех пустых проемах как в настоящих, аккуратненько застекленных окнах.

И у меня были свои окна, выходившие на едва заметный и не портивший глади этой долины пологий склон, куда не дойдет стройка, ибо там посадят деревья и разобьют парк.

Я и сам умел красиво мечтать о будущем, но Молоденький еще пуще меня разохотил, и я прочно обосновался в четырех голых стенах, как в шикарной квартире. Видел в ней себя, Хелену, наших детей. Видел, как уезжаем оттуда в родную деревню, чтобы счастливыми переплыть нашу реку, видел, как возвращаемся, подымаемся по лестнице и спускаемся с лестницы, как тихо ступаем по коврам, ибо в комфортабельных квартирах ходят бесшумно, это в деревенских избах топают.

По деревенской горнице с ее дощатым полом топочешь будто лошадь, и тебя за версту слышно, а в городской квартире ходишь осторожно, словно воробушек. Там у тебя поступь лошадиная, здесь — воробьиная.

Когда мы переносились сами или Молоденький пере-

носил нас в будущее, нам начинало казаться, что ход у нас легче, чем даже у потомственных горожан, что мы аккуратно переставляем ноги и ступаем легко и бесшумно, как воробушки.

ГЛАВА XII

Бесшумным воробьиным шагом я приблизился к Глухой канаве. Румяный еще спал, беспечно развалясь и похрапывая, непробудным сном мертвецки пьяных; возле его откинутой руки я нащупал открытый «прыгунок», убрал лезвие и спрятал нож к себе в карман.

Но, прежде чем я присел на корточки и наклонился, чтобы лучше к нему присмотреться, а особенно когда уже сидел на корточках и запросто — будто собираясь погладить траву или поднять комочек глины — мог выпрямить свой извилистый жизненный путь, сделалось мне тошно. Когда же он заворочался и лег на бок, и при этом пиджак у него задрался до половины груди, и все стало еще проще и сподручнее, одновременно стало и труднее. Легче было бы выпрямить свой жизненный путь и избавиться от тени, скользившей за мной, если б он проснулся, встал, начал ругаться, грозить и потрясать ножом; поэтому я, коленопреклоненный и склонившийся над ним, как над полом храма при выносе святых даров, жаждал проклятий и угроз Румяного, ибо это помогло бы мне выпрямить мой жизненный путь.

Получилось так, словно он просил меня, а я просил его, но никто из нас не желал этих просьб выслушивать.

Лезвие моего ножа вняло бы его просьбам, оно стремилось выпрямить мой жизненный путь и выпрямило бы, и рука стремилась, и даже разум был заодно с ножом и рукой и подшептывал, что нельзя упускать случая, который вряд ли повторится. Но нечто, свойственное каждому человеку, такое, чего и назвать невозможно, поскольку нет этому точного названия, восстало против ножа, руки и даже разума.

Это оно бесстыдно выставляло тебя, коленопреклоненного, с ножом, на всеобщее обозрение, и приказывало всему миру на тебя смотреть, и ближе всех подталкивало к тебе твою деревню, твоих домашних, и способствовало тому, что целый мир с твоей деревней в первом ряду и твоими близкими не сводил с тебя глаз; и тому способствовало, что среди этих соглядатаев был и ты, ты также смотрел на самого себя; и колыхались миллионы колоколов, и ты слышал оглушительный трезвон, и сам дергал за веревку, и самому себе бил в набат.

Этот перезвон еще раздавался, когда я распрямил спину, согбенную в якобы молитвенном, но бесконечно тяжком поклоне, который отвесил выпрямленному, легкому жизненному пути.

Потом с тем же благовестом в ушах и в голове встал с колен, обуздал нож и руку и отошел от Румяного, продолжавшего спать. По мере того как я удалялся от него, жалобный, заунывный звон переходил в бравурную, веселую музыку, и с этой музыкой, звучавшей во мне, я вышел из густого ольшаника и очутился среди полей, которые вдруг показались мне сплошной огромной площадкой для плясок и игрищ, озаренной высокими огнями стройки.

Не ведал я, что в том случае, если откажусь выпрямлять тропу своей жизни и поступлю наперекор ножу и руке, которая с ним в сговоре, заиграет во мне эта разудалая музыка и я стану таким добрым и веселым, что поля и ночь приму за народное гулянье и пожелаю сплясать на этом гулянье с Хеленой и с младенцем во чреве ее, пожелаю радоваться вместе с беременной Хеленой и извилистый жизненный путь сочту путем легким.

Но не знал я и того, что вскоре это минует, ибо в тот предрассветный час, когда уже кое-как можно было разглядеть «прыгунки», пропала моя веселость и я выпустил оба лезвия и положил на ладонь ножи. Они лежали на ней, как два дохлых пескаря или два длинных листа ивы, и, когда я внимательнее присмотрелся к ним, лежащим рядком, мне показалось, что нож Румяного острее и длиннее. Он не был острее и длиннее, но так мне почудилось, Румяный наверняка купил его в той же «лавке», что и я, а мне померещилось — в другой «лавке», получше.

Но разве важно было, где он куплен и кем сработан, если вполне годился, чтобы выполнить свое предназначение?

Потом я взял в обе руки по ножу и стал нажимать их пружины: «прыгунки», щелкая, наверняка одинаково выбрасывали и убирали лезвия, а мне казалось, что щелкают они по-разному, что его нож щелкает лучше — и лезвие подвижнее, и выскакивает свободней.

Затем я так положил оба ножа с выпущенными лезвиями, что одно коснулось другого и ножи скрестились; и когда они вот этак касались друг друга и лобызались, мне тоже чудилось, будто лезвие его ножа острее, длиннее и подвижнее.

Румяный проспится на краю Глухой канавы, а потом встанет, сунет руку в карман и не найдет своего ножа,

начнет его искать, будет осматривать землю, траву и не найдет. Ну и что, в тот же самый день он успеет сходить к Измятому Мачеку и приобретет новый.

Мачек поведет его в ригу, вытащит нож из-под застрехи и продаст Румяному, продаст ему нож на мою погибель, как мне продал на его погибель. А перед этим, возможно, отслужит свой молебен в честь ножей, продажа которых не только кормит его, но и позволяет глубже постигать людей; пожалуй, еще провозгласит молитву, обращенную к ножу — ангелу-хранителю, и дело с концом.

Румяный снова будет при ноже и снова поволочется за мной как тень, и снова путь мой станет извилистым.

Пошла прахом моя веселость, и пуще прежнего захотелось мне выпрямить свой жизненный путь, пока не поздно, пока еще толком не рассвело.

Кто бы подумал, что я снова направлюсь к Глухой канаве, что побегу во весь дух, чтобы побыстрее там очутиться и чтобы побыстрее все было закончено. Я был уже за пределами чьей-либо досягаемости, вырвался из мнимого окружения, выбрался на полный простор, избавленный от всех подсказок, и больше не могли меня догнать ни мои родичи, ни моя деревня, ни те колокола, которые минуту назад трезвонили во мне, ибо так случилось, что моя рука и нож слились воедино. Но Румяного уже не было на берегу Глухой канавы.

Я снова тащился к бараку после бессонной ночи. Немало изведал я бессонных ночей, и каждая из них была словно бы школой.

Бессонная ночь надежнее проверяет человека, нежели день; когда бодрствуешь ночью, это означает, что либо ты с огромной силой к чему-то стремишься, либо стоишь на краю пропасти.

Если ты всю ночь не сомкнул глаз, значит, имел возможность основательно себя проконтролировать и доподлинно выяснить, можешь ли быть под утро доволен собой или должен испытывать к себе отвращение.

Ночью вылезает из тебя все самое подспудное, и ты лучше, чем днем, понимаешь, что с тобой, и видишь себя так, словно не тьмой окутан, а облит ярким светом.

Каким был я в озарении той ночи? Внутренне разорванным, поскольку судьба — ах, уж эта судьба! — запустила мне в душу два крюка, и тянула их в разные стороны, и раздирала ее на две половинки.

Едучи сюда со своим мужицким измученным богом, был я как монолит; думы мои, чувства и то, что задевало меня за живое, — все было между собой крепко спаяно; а теперь до того дожил, что разум толкает совсем не туда, куда влечет сердце.

Остаться на стройке — в эту сторону рвет один крюк, сбежать со стройки — рвет другой.

Петлять дальше извилистой тропой или схватиться исподтишка за нож и выпрямить свой жизненный путь? Сохранить ли того человечка, чтобы созрел в чреве моей девушки, или вырвать оттуда преждевременно, обречь на погибель? Должна ли по-прежнему звучать та изначальная музыка: «Ты переплывешь свою реку преображенный, побежишь на сборище блудных сынов деревни и станешь вместе с другими у всех на виду возле костела или на гулянье»,— должна ли эта музыка звучать во мне, или надо ее заглушить?

Земля в тот день не была легка, ничем не напоминала землю, которую я выгребал словно бы не лопатой, а всей своей ликующей душой, невесомую, точно пена или опилки, как это было после первого нашего ночного обручения.

Моя девушка была совсем рядом, возилась с тесом, бревнами, гвоздями, молотками и прочим добром, которого всегда полно там, где ведутся земляные работы. Пробивая траншею, я следил за ее движениями, свободными, легкими, живот еще не выдавал ее, был в дозволенных молвой границах.

Оттуда, где стояли дома первого городского квартала, доносились окрики и скрежет железа, там монтировали новый башенный кран для подачи стройматериалов. Помню, что именно в тот день, когда устанавливали кран и когда оглушительно грохотало железо и пронзительно кричали люди, моя девушка подошла ко мне и под прикрытием этого грохота и крика сказала: «Сделай так, чтобы нам не пришлось убивать ребенка» — и тут же подкрепила эти слова несколькими слезинками, которые вытерла украдкой, чтобы никто не заметил, что она плачет.

В тот день, когда устанавливали огромный кран возле первого городского квартала, Хелена впервые заплакала, и я понял, что зримая скорбь ее скупа, а невидимая — беспредельна.

Земля в тот день была настоящей землей, а жизнь — подлинной жизнью, ибо до меня начало доходить, что все-таки придется надевать ярмо и тащить свой воз с тем, чем его нагрузил.

А нагружен он любовью к девушке, нежданным ребенком, ножом Румяного, нацеленным в мое сердце, моим ножом, нацеленным в сердце Румяного, и той изначальной музыкой, которая повелела мне колупать да колупать землю, чтобы приодеться и этаким красавчиком пожаловать на «торжище» возле костела или в луга на

гулянье, на то самое «торжище», где ощупывают, точно коней, сынов деревни, прибывших из города, и, словно коням, определяют им цену.

Осматривают их с головы до пят, а с особым вожделением впиваются людские глаза в их карманы и бумажники. Прямо насквозь просверлить готовы, чтобы выведать, туго ли набита мошна.

Стоят они, блудные сыны деревни, с утра у костела, пополудни — там, где гулянье, а на самом деле как бы выставлены напоказ их карманы, скрывающие великую тайну, которую тщатся разгадать завидущие глаза односельчан; и если бы удалось копнуть поглубже, то за напутственными словами деревни, отправляющей своих сынов в большие города и на огромные стройки, за всем этим, произносимым во всеуслышание: «Ступай, сынок, ступай, езжай, сынок, езжай»,— можно было бы обнаружить жалкое деревенское причитание, подспудные, беззвучные слова, сочащиеся, словно подпочвенные воды: «Неси, сынок, на чужую сторонку, неси свой сплющенный и пустой карман, полотно к полотну, и дай господь, чтобы он отяжелел и солидно вздулся в тех краях, куда едешь, пусть с богом отправляется в путь-дорогу твой карман и с богом возвращается раздувшийся, стельный заработанным».

«Сделай так, чтобы нам не пришлось убивать ребенка»,— сказала Хелена. Не знаю, как описать то, что со мною творилось, когда она эти слова сказала мне на стройке и подкрепила их слезами.

Думаю об этом, вспоминаю ту минуту, длинную щель рва, кучи грунта, землю, истыканную деревом и железом, а поодаль гигантский кран и пытаюсь описать себя, тогдашнего; признаю, что, сказав мне это, она словно взялась за рукоятку ворота, ускоряющего бег времени, крутнула ее и взвалила мне на плечи пару годков, или как бы толкнула за порог мою молодость и захлопнула дверь, или как бы пробилась наконец сквозь мои задумки и красивые мечты о жизни тихой, благополучной и сквозь ту подхлестывающую музыку, что зовет меня, преображенного, приодетого и самодовольного, на берег моей реки, словно добралась сквозь все это к глубоко запрятанному в человеке местечку, не затронутому никакими корыстными планами и уловками, хранящему чистоту.

Она отдалялась, поглощенная своей возней с гвоздями, молотками, тесом и бревнами, подошла к Матери и Молоденькому, потом свернула в сторону и исчезла за грудой узких, как попало сваленных досок, которыми обшивали рвы.

Я стоял по шею в котловане и смотрел на мир уже не

только теми двумя глазами, что в глазницах, но еще как бы третьим, тем подлинно человеческим, освобожденным оком, которому так трудно увидеть человека и мир, ибо оно придавлено, ослеплено всяческими хитроумными планами и уловками, захватывающей дух гонкой, а вернее, стремлением пробиться локтями к обеспеченности, порядочному завтраку, обеду и ужину, костюму из чистой шерсти, комфортабельной квартире; и получилось так, словно я вдруг остановился на бегу, чтобы спокойно присмотреться к миру и к людям.

В полосе, доступной моему внутреннему взору, спокойному и раскованному, стоит Мать, та Мать со стройки, стоит выпрямившись, а значит, отдыхает, пьет большими глотками воздух, как бы подкрепляется этой передышкой и готовится к поясному поклону, точнее, ко многим поклонам, ибо она теперь подбирает с земли разбросанные старые доски, которые бетонщики содрали с готового фундамента и притащили на наш участок.

Мать стоит выпрямившись, значит, устроила себе самый никудышный в нашем деле, так называемый маленький перерыв, когда человек вроде бы и не работает, а толком не отдыхает.

Перечень наших передышек следует начинать с этого пустячного минутного стояния. Оно позволяет человеку расправить кости, выпрямиться, сменить позу зверя, готового к прыжку, на человеческую, позволяет не нюхать воздух, стелющийся над самой землей, этот воздух мошкары, дождевых червей и кротов.

Но мысль о работе не дает переступить того временного рубежа, за пределами которого ожерелье позвоночника могло бы запамятовать, что было в движении и вскоре снова зашевелится, и кровь могла бы забыть, что кипела и скоро ей снова кипеть, ибо это такая передышка, во время которой человек потаенно дрожит, словно мотор приостановленной на минуту машины, которая вот-вот сызнова завертится, то есть это передышка на малых оборотах и потому как бы совмещенная с работой.

Необходимо еще добавить, что этими мимолетными остановками, чтобы выпрямиться, поднять лицо и, разинув рот, раз-другой глотнуть воздуха из более высоких, надземных слоев, что этими самыми пустячными передышками пользовались главным образом навязчиво мной упоминаемые хлебоеды и похлебочники, поскольку хлебоед и похлебочник — это мотор, который никогда по-настоящему не глохнет, а вечно дрожит и стрекочет и полон нетерпенья, ибо вечно жаждет, чтобы побольше засчитали ему вывороченной земли.

Порой — если позволят бетонщики, эти лютые тигры

стройки, эта свора гончих,— удается присесть на бревнышко или ребро опалубки, и это второй по счету перерыв, после того мимолетного, когда успеваешь только расправить кости да чуточку постоять; такой отдых лучше, но опаснее: тело слишком расслабляется, а душа жаждет долгожданного спокойствия, другими словами, отдыхая подобным манером, ты обрекаешь себя на ломоту, которая будет докучать, пока снова не войдешь в ритм.

Еще пуще размягчаются тело и душа, когда сидишь к чему-либо прислонясь, и потому этот третий вид отдыха гораздо опаснее второго, ибо сулит ломоту посильнее.

А что касается потребления воздуха, то, работая, пожираешь его, во время первой передышки — вкушаешь, второй — смакуешь, а третьей — упиваешься им.

Передышка у тех, кто орудует лопатой,— статья особая, есть в ней что-то от телесной и душевной дремы, которая, однако, куда легче, чем в первом и даже втором случаях. Заключается она в том, что верхней или нижней частью живота — в зависимости от того, высок ты или мал ростом,— опираешься на лопату, вернее, на черенок лопаты, заканчивающейся весьма пригодной для этого ручкой — поперечиной. Выглядишь при этом как наклонившееся дерево с подпоркой.

По мне, самый лучший отдых — во время перерыва на второй завтрак. Усядешься как хочешь и закусываешь, и тогда мнится тебе, что ты дома и что строительная площадка — огромная горница, а мы все — одна семья, вроде бы отцы, матери, братья и сестры. И тело не расслабляется, ибо все оно участвует в трапезе, ведь эта трапеза посреди горницы-стройплощадки, и ешь в охотку, не то что в ресторане, где почти без всякого аппетита попросту двигаешь челюстями.

И уж если зашла речь о передышке, придется снова с упрямой настойчивостью вернуться к хлебоеду и похлебочнику, чтобы сказать, что он не отдыхал за завтраком, ибо стыдливо прятался со своей черствой краюшкой и прозрачным как слеза чаем, держа ухо востро из опасения, как бы кто-нибудь не раскрыл его тайны.

Эта скряжническая бдительность и одержимая погоня за будущим дополнительно пожирали его силы и не давали ему как следует воспользоваться ни единой разновидностью передышек, даже первой из перечисленных мною, самой ерундовой, словно созданной для хлебоедов и похлебочников, от которых, вспоминая о своей работе, я не могу оторваться, уж больно крепко засели они в моей памяти.

ГЛАВА XIII

Но я возвращаюсь к Матери, которая как раз устроила себе минутную передышку, возвращаюсь, чтобы сказать, что она плоховато выглядит, все бледнеет да худеет, эта утешительница Молоденького, ныне утешающая всех нас, словно добрый приходский пастырь, добрый исповедник четвертого участка земляных работ. Ибо нашей явной жизнью, то есть работой, отдыхом, питанием, ведали бригадир, мастер, инженер, комендант общежития, а нашей жизнью тайной, жизнью грешной ведала эта Мать со стройки.

Любой мог прийти к ней с чем угодно; ты мог прийти к ней и сказать: «Хочу убить его, всажу ему нож прямо в сердце». И она тебя выслушает до конца, все твои жалобы, беды и стенания терпеливо выслушает, а потом скажет: «Не убий»,— и ты, брат, ни на кого не подымешь руки, и, возможно, какой-нибудь гнусный и недостойный помилования тип уцелеет.

Ты мог прийти к ней и сказать: «Я обидел девушку, невинную, чистую девушку обидел, сотворил ей ребенка. Как быть с этим ребятенком, едва тикающим в ее чреве, что делать с этими живыми часиками, скажи, Мать?» Она тебя выслушает до конца и скажет: «Не убий, ибо нет у тебя права убивать».

Ты мог прийти к ней и сказать: «Истомилась душа моя, неймется мне, так и подмывает бросить стройку и вернуться в родные края». И Мать выслушает тебя до конца, все стенания души твоей выслушает и вынесет заключение: «Не возвращайся, сынок, не возвращайся, останься здесь, останься».

Я заприметил эту необыкновенную женщину еще в вагоне, по пути на стройку, когда она защищала Молоденького от нападок Румяного; а потом, уже на стройке, за дружеским столом внимал ее неожиданным словам: «Главное, сыночек, чтобы ты все покупал на свои собственные деньги — вино, пиво, штаны, рубахи... на свои кровные».

А потом я наблюдал, как она работала, как брала и носила тес для обшивки траншей, благодаря этой работе была у нее коечка в общежитии, стакан винца, кусок колбаски, а главное, то, что в этом мире ценнее всего,— радостная возможность дарить людям и принимать от них дружбу.

Но все бледнеет у нас Мать четвертого участка земляных работ, тает приходский исповедник четвертого участка.

Говоря о Матери, я забегаю вперед и описываю ту

минуту, когда Хелена, сказав мне: «Сделай так, чтобы нам не пришлось убивать ребенка», вернулась к своим хлопотам и исчезла за грудой досок и бревен, а я стоял во рву, высунув голову наружу, и глядел на Мать, прямую, как колышек, хрупкую Мать, которая позволила себе минутную передышку.

К этому описанию я могу добавить еще и кое-что, относящееся к последующим дням, а главное, присовокуплю то, что вынес из более позднего разговора с Матерью, из этой, можно сказать, исповеди у великого исповедника, в чьем приходе весь четвертый участок земляных работ.

Исповедь эта состоялась в тайном шинке, помещавшемся в дровяном сарае, рядом с хлевом, где хрюкали свиньи.

Я заглянул туда, чтобы пропустить рюмочку-другую и пойти восвояси, но встретил там Мать — она одиноко сидела на чурбачке в углу сарая, с кружкой винца, стоявшей на доске, сидела, как бы обособясь от оравы хмельных и вполне счастливых «детей стройки» с разных участков.

Я не был пьяницей, но мы иногда опрокидывали стаканчик-другой или кружечку для куража, чтобы потешиться сладостной мечтой, приблизить к себе свою долину, свое будущее и отдалить нынешний день; и Мать не была пьяницей, но могла время от времени выпить с нами.

Не было на стройке пьяниц, то есть людей, которые позволяли водке властвовать над собой и начисто изничтожать. Мы пили иначе.

Я подошел к Матери, сел на колоду, мы чокнулись кружками и отпили по глотку; и настала минута изумительной душевной теплоты, причем трезвость не исчезла, а достигла как бы наивысшей точки и распахнула широкие горизонты, и душа прямо-таки затрепетала от желания попастись вместе с другими душами на зеленом лужке дружбы.

А тут еще и дровяной сарай чудесно преобразился от мерцания фонарика, повешенного на стену, поросята приятно верещали по соседству, и лица у ребят, пировавших в другом углу и слыхавших это «пение», эту словно бы игру на пищалках, расплылись в блаженных улыбках.

Я был так трезв и зорок, что сквозь щели в стене почти видел человека-собаку с его верной сворой, которого жгучие огни стройки отогнали к нашему сараю; видел, как он возникал у меня на глазах, но так и не мог окончательно возникнуть, ибо, когда оставался лишь

один шаг до того, чтобы сделаться ему вполне отчетливой фигурой, он испарялся в стремительном беге, точно клок тумана таял на бегу вместе с его верной сворой.

Я был настолько трезв и так превосходно слышал, что, несмотря на «пение», доносившееся из хлева, громкое фырканье пирующих и завывания своры собачьего короля, отчетливо, как набат, услыхал голос: «Мать, я хотел убить его».

Я был настолько трезв и в твердом уме, что, услыхав этот голос, призадумался, чей бы он мог быть, и пришел к заключению, что то был мой собственный голос.

А потом услышал: «Уж я над ним склонился и уже нащупывал нож, поскольку хотел ножом выпрямить свой жизненный путь»,— и это тоже был мой собственный голос.

А потом снова «запели» в хлеву поросята, о стену дровяного сарая задела, словно резкий порыв ветра, орава собачьего короля, и я опять услыхал голос: «Лучше было разделаться с ним, чем самому пасть от его руки»,— и это тоже был мой собственный голос.

А потом в этом развеселом сарае над всеми песнями, фырканьем, визгом, над всеми ничего, кроме удовольствия, не выражающими голосами «детей стройки», вкушающих винцо из жестяных кружек, вознесся голос: «Но ты не убил его, сынок»,— и это был уже не мой голос, а голос Матери.

А потом в этом дровяном сарае, этом звенящем раю, послышалось: «Я не убил его»,— и это был мой собственный голос.

А потом раздался звучный голос Матери: «Не убивай его, сынок» — и еще раз тот же голос Матери: «Не убивай его, сынок». Затем я услышал самого себя в этом укромном уголке маленького рая: «Я обидел девушку, но и девушка меня подвела».

Парень в разговоре с другим парнем выразился бы грубо: «Испортил девку», но передо мной была Мать, то есть великий исповедник всего нашего прихода — четвертого участка земляных работ, и поэтому я сказал: «Обидел девушку», а не так, как принято между парнями.

Следует еще добавить, что, когда этот великолепный город, который мы воздвигли, не был еще городом, а был только землей, грязью, мечтой, только еще будущим, думаным-передуманым, суженым-пересуженым, рисовавшимся в восторженных мечтах, когда был яростной перебранкой и самой дорогой святыней, он так же таил в себе опасность для девушек, как и теперь, когда стал действительностью.

Прилетала такая девчонка на стройку, вырывалась из-под присмотра матушки, из-под крылышка деревни, деревни — ангела-хранителя, и, избавившись от недреманного ока родительницы и всех односельчан, быстро и без остатка отдавалась стройке, то есть какой-нибудь синеглазой или черноглазой живой частице этой стройки.

Тут снова, точно назойливая муха, протискивается ко мне хлебоед и похлебочник — неужели я никогда с ним не покончу? — протискивается ко мне, ибо если уж зашла речь об этих чистых девушках, то многие на них зарились, только настоящий, стопроцентный хлебоед и похлебочник не посягал. Ибо к соблазнам, отложенным на будущее, он причислял и забавы с девчонкой; ведь настоящий хлебоед и похлебочник телом чист, но душа у него грешная, изгаженная мыслью об излишествах, которые он купит у грядущих времен ценою своих трудов; об излишествах, то есть о завтраках, обедах и ужинах в собственной квартире за столом, накрытым белой скатертью, о ночных забавах с женушкой; ибо настоящий, стопроцентный хлебоед и похлебочник забавляется мыслью о милых его сердцу грехах, словно кот с мышкой; и, подобно коту, который не торопится слопать мышку, переносит в будущее исполнение своих обожаемых грехов, поскольку у настоящего, чистокровного хлебоеда и похлебочника изощренный подход к жизни, согласно которому следует мириться со схимой во имя желанных грехов будущего, во имя вожделенного жранья, во имя вожделенных забав с девчонкой.

Но уж если хлебоед и похлебочник дорвется до своих соблазнов, то его «грех» бывает куда законченней и многогранней таких же прегрешений многих других людей, ибо произрастает он из святости.

Я малость отклонился от моей исповеди в шинке, но снова возвращаюсь к ней и говорю, что признался Матери в нашем с Хеленой «обручении» во рву-постели. Мать коснулась своей сухонькой рукой моего плеча и отпустила мне грехи, однако все же наложила епитимью. Во искупление грехов было назначено мне заботиться об этом, еще не рожденном, появившемся позднее ребенке. Кроме того, обещал я Матери, что буду учиться и по окончании курсов перейду с земляных работ в каменщики; работа у них хоть и тяжелая, зато заработки больше, чем у землекопов.

Она говорила, все еще держа свою легкую, как мотылек, руку на моем плече: «На леса, сыночек, на леса, пора тебе подыматься на леса».

Это восхождение на леса было еще одним шагом вперед, если первым считать уход из деревни на стро-

ительство и работу по выемке грунта. Время от времени кто-либо из наших, получив соответствующую подготовку, вылезал из котлована и шел на более сложную работу, чаще всего — класть стены, а также на башенный кран, в автоколонну, в сварщики или слесаря, а на его место являлся из деревни новый непоседа или новый хлебоед и похлебочник, помышляющий о лучших днях и о том, чтобы счастливо переплыть свою реку. Робкий и упорный, боязливый и ярый, безотказный и недоверчивый, порой почти ребенок, который быстро дорастал до ножа с выкидным лезвием...

Разные люди тянулись сюда, разные люди начинали с лопаты, но лопата быстрее, чем другой инструмент, переходила из рук в руки, мастерок уже не так быстро, но и мастерок переходил.

В нашей бригаде первым бросил лопату и дал тягу Молоденький; это можно было предвидеть, ибо он с самого начала стремился дать тягу.

Я уже говорил, что в Молоденьком было кое-что от хлебоеда и похлебочника, и, как они, многого он избегал и многое откладывал на будущее. Вина Молоденький скорее избегал, выпивал чуточку, на большее не решался, хотя и ехал сюда во хмелю. Восторженности, которая расслабляет человека, он сторонился, но мечты — нет, мечты как возможности воочию видеть свои грядущие дни, и в этом был настоящим хлебоедом и похлебочником, ибо каждый из них живет мечтой, поскольку чувствует себя одиноким и мечта им — лучший друг.

Молоденький первым покинул нашу бригаду и перешел на кран, стал машинистом огромного башенного крана. Его маленькая белесая головенка поместилась за стеклом высоко вознесшейся кабины, он орудовал стрелой громадной машины, подымал ею бетонные конструкции, контейнеры с кирпичом и подавал их каменщикам.

Можно еще сказать о Молоденьком, об этом невысоком, тщедушном белобрысом парнишке, что он рвался к большим делам, к большой технике, которая начала поступать на строительство. Он познал тяжкий физический труд в деревне и здесь, на земляных работах, и потому преклонялся перед машинами, которые трудятся за человека; частенько давал он волю фантазии и выдумывал различные огромные механизмы, которые все сделают за человека, даже дом поставят, даже город воздвигнут; двинутся эти чудовища и приползут в долину, чисто одетые люди сядут за пульты управления, нажмут одну кнопку, другую, и эти чудища начнут строить город, а у людей будут белые руки, поскольку не придется им этими руками работать.

Вот какие картины придумывал Молоденький, и мечты его начали помаленьку сбываться, ибо, закончив курсы, он перешел на кран, ухватился своими ручонками за рычаги и прочно оседлал огромную машину.

Молоденького очень радовала новая работа; когда по утрам торопился он к своему крану, даже походка у него была какая-то радостная, но эта первая радость, первое счастье, изведанное им на стройке, омрачались одним существенным пробелом: родная деревня не видела его восседающим на верхотуре в кабине крана.

Но, мне кажется, Молоденький как-то выходил из положения, будучи мастером мысленно переносить вещи из одного времени в другое и с места на место. И уж он наверняка мысленно перенес свою деревню с берега широкой реки, и поместил ее у подножия крана, и односельчан собрал подле своей огромной машины, и так устроил, чтобы его мамане досталось местечко, откуда лучше всего просматривается стеклянная кабина, где он восседает, и даже настолько изловчился, что видел и самого себя, всеми обозреваемого и вызывающего всеобщий восторг, словно ксендз на амвоне.

И, разместив их вот эдак, благодаря своему таланту выдумщика и мечтателя, он обращался к ним мысленно: «Это я, действительно я, а не кто другой, парень, ваш земляк собственной персоной, из деревни, что стоит у широкой реки...»

Настала пора нашей братве выходить из котлована, ибо вскоре после Молоденького выбрался из траншеи Корбас, тот самый Корбас, который знал плотницкое и немного столярное дело. Он перебрался в столярную мастерскую под крышей, поскольку был уже в годах и у него побаливали кости от возни с землей, ибо земля — дело известное: родит она хлеб, деревья, всякие красивые цветочки, но родит также и ревматизм.

Если ты с ней свяжешься и будешь в нее вгрызаться, если захочешь познакомиться с ней поближе и приляжешь на землю или прижмешься к ней, как дитя к родной матери, тогда подарит она тебе на память ревматизм, чтобы ты ее век помнил.

Такой подарок можно получить от земли и в деревне, но реже, чем на земляных работах, ибо в деревне земля только под ногами, а во рву ты в ней по шею, лишь голова торчит наружу.

Бывало — молод человек, а уже схватил ревматизм, эту удивительную болезнь-непоседу, которая снует по телу вслепую, может обойти ступни и щиколотки, но вопьется в колени, порой и колени обойдет, отзовется в пояснице или облюбует другое местечко, скользнет в

локти и кисти рук, шею или пальцы — от ревматизма вечно жди подвоха.

Бывало — человек молодой, крепко сколоченный, лицо загорелое, глаза блестят, движения быстрые, резкие, такие быстрые и резкие, что иной хлюпик из мещан мог бы подумать, глядя на него: «Вот здоровяк, не приведи господи», или: «Громила», или: «Бык». А он уже получил от матери-земли подарочек, что жалит, словно током,— слепую болезнь-непоседу, и, когда остается один, доступный лишь всевидящему оку судьбы, спускает он штаны и кальсоны, натирает себе колени подогретой вонючей мазью, и тихонечко охает, и раздумывает о том, что́ получил от стройки — дала она ему заработок, кусок хлеба с ветчиной и на память подарила ревматизм, дабы не забывал ее, когда в долине подымется город.

И когда этот город поднялся, кое-кому, сидящему в теплой квартире, стройка напоминала о себе болезненными уколами снующих по телу искр, которые прямехонько из сырой земли шмыгнули в его кости.

ГЛАВА XIV

Мы долго сидели в этом потайном шинке и просидели бы еще, но хозяин сарая многозначительно шепнул: «Сматывайтесь, по саду прошел какой-то подозрительный тип». Без всяких извинений пришлось сматываться, мы разбрелись в разные стороны, некоторое время я сопровождал Мать, которая все вдалбливала мне в голову ту благую епитимью и пуще всего приказывала блюсти ребенка и восхождение мое на строительные леса.

Что касается помилования младенца, то я получил уже два строгих наказа: первый — когда Хелена ступила на край котлована со словами «сделай так, чтобы нам не пришлось убивать ребенка», когда докопалась до того человеческого, нетронутого и чистого уголка моей души, когда открыла во мне словно третий глаз, совестливо взирающий; второй наказ содержался в этой благой епитимье, наложенной на меня после исповеди и отпущения грехов в подпольном шинке. А потом, когда я уже поднялся на леса, поступил третий приказ, самый наистрожайший.

Некоторое время я шел с Матерью, слушал, о чем она говорила, глядя на ее нездоровое, напоминающее скомканную бумагу лицо, затем мы попрощались, она направилась к женскому бараку, а я — к своему.

Потом свернул в сторону, сделал небольшой круг по пустырю, хотелось малость побродить.

Передо мной были огни стройки и города; упомянутый

ранее багряный рубец, издали напоминавший разлитую кровь, стал уже значительно шире и подымался ржавым гребнем, словно израненная земля заживала; когда я припоминаю, и раздумываю, и ищу какое-нибудь хорошее название для нашей стройки, то приходит в голову мысль, что строительство города — как бы все заживающая и заживающая рана.

Я обогнул свой барак, вошел в какой-то сад, приблизился к дожидающимся сноса, покинутым постройкам крестьянского двора — котлован уже достиг изгороди и вскоре продвинется дальше.

Много таких построек снесли и много садов сровняли с землей. Во время мощного наступления строительства и массового сноса халуп появился на стройке тот человек-собака, собачий главарь, который правил шумной сворой как король; а был мужиком, что заупрямился и не давал себя выселить, не желал выходить из дома. Его семейство покорилось, а он нет, и никакие уговоры не помогли, поскольку бессильны просьбы и угрозы, мольбы и лобзанья и проклятья бессильны, если мужик по-настоящему упрется, то есть когда покинет его разум, целиком и полностью, а останется одно упрямство.

Пришлось выдворять его силой. Подошли к нему двое милицейских, взяли под руки с двух сторон, словно дружки невесту, отправляющуюся под венец, а он уперся ногами в высокий порог, и милицейским трудно было его вытолкать, но они по-прежнему держали его, как дружки, и подталкивали, пока наконец не приподняли, и наверняка им удалось бы перетащить его через порог, да он улучил момент и не по-человечьи, а как бешеная собака впился зубами в руку одного из них и не захотел ее отпускать; а может, не мог, может, так свело челюсти, что невозможно было их разомкнуть.

Милицейский вскрикнул от боли, пытаясь вырвать руку из пасти мужика, протащил его по всей горнице, словно вцепившегося пса, пока наконец не освободился.

Больше уже милицейские не церемонились, они отбросили свои свадебные приемы выпроваживания из дома, скрутили мужику руки и прижали его к полу.

Наконец мужик был схвачен за скрученные руки и порты, поднят как вещь, как тюк, но тюк, исторгавший истошные, не человеческие, а уже звериные, собачьи вопли, и, как тюк, вынесен из дома, пронесен через сад и только за садом, в поле, поставлен на четыре подпорки, на руки и колени; и стоял мужик на своих четырех подпорках, точно лавка в поле, и так вот, стоя в этой позиции, говорят, смотрел, как бульдозер по дому его ударил и дом этот своротил.

А когда наступил вечер, мужик принялся выть, созвал свору собак и помчался с ними в заросли, окаймляющие стройку.

Когда тоска обостряет наше зрение и слух, мы верим в существование бездомного человека-собаки. Возможно, расставшись с Матерью, я видел его там, вдали, за пределами досягаемости огней.

Строительство так разрослось вширь, что уже трудно было уйти от реявших над ним огней, и тот, дожидавшийся сноса, крестьянский дом тоже озаряли крайние огни стройплощадки; походило это на театр, безмолвный театр без актеров, впрочем, немного погодя актер появился, единственный актер, исполняющий роль хозяина и всей семьи — матери, отца, детей,— исполняющий роль единственного представителя всей деревни,— бурый кот.

Он выскочил из дыры в стене, которая недавно была окном, не побоялся, еще не успел одичать, ластился, прижимаясь к ногам, приглашал войти в пустую горницу и кухню, где безраздельно властвовал.

Люди ушли, а он остался, ибо кошки привязываются к жилью, а не к людям, кот больше любит жилье, чем человека. Может, его даже уговаривали уйти вместе с людьми, может, звали и дожидались, что он вскочит на телегу, но он не пожелал, ибо кот больше доверяет дому, чем человеку. Может, даже его забрали силой и запихали в ящик или в плетеную кошелку с крышкой, но он, воспользовавшись первым же удобным случаем, удрал от людей и вернулся в свой дом, ни за какие коврижки не желая выселяться.

Пропустив его вперед, я прошел через несуществующие двери в этот дом-призрак. Свет недалеких, крайних, огней бил в разверстую несуществующими окнами и дверями стену, так что внутри было видно как днем.

Перешагнув высокий порог, я очутился в сенях, и тут же на меня пахнуло затхлостью и послышались шорохи пустоты; потом увидал старый, ветхий стол, который уже никуда не годился, на двух вбитых в стену костылях висели дырявые, непригодные мешки, в потолке сеней было отверстие — ход на чердак. Кот, нежно и радостно урча, вел меня в глубь пустого дома.

Я перешагнул другой высокий порог, вошел в кухню, где люди оставили лавку, стоящую на четырех раскоряченных ножках у самого окна, вернее, у дыры, которая недавно была окном; через эту дыру в задней стене дома проникал свет со стройки, ибо этот дом и всю крестьянскую усадьбу, дожидавшуюся сноса, стройка как бы взяла в клещи, и поэтому он освещался навылет, с двух сторон.

Кот вспрыгнул на плиту и уселся возле чугунка. Почему обитатели этого дома не взяли чугунок? Потому не взяли, что он с трещиной.

В кухне были две двери, совсем как у нас, вся планировка была как в нашем доме; сени, из сеней двери в кухню и горницу, в кухне двери в сени и горницу, значит, и оттуда должен быть выход на кухню и в сени.

Лавка, стоящая в кухне, такая же, как наша, стола нет, но он как бы присутствует, ибо если имеется лавка, то по ее образу и подобию в мгновенье ока можно эту кухню обставить и сделать такой же, как наша.

На лавке сидит дед, ибо это его излюбленное место, усы седые, обвисшие; по другую сторону стола — отец, усы длинные, черные, едва тронутые сединой; на стуле, отодвинутом от стола,— сестра, без вздувшегося живота, поскольку уже родила, сообщили мне, держит на коленях младенца; на пороге дверей, ведущих в горницу, сидит зять, чернявый, губы поджаты; мать стоит у плиты с тряпкой. И я мысленно сижу среди них.

Пересчитываю их: раз, два, три, четыре, пять, шесть — шестеро, снова перебор, пятеро было бы в самый раз, пять пальцев указуют на деда.

На словах иное дело, на словах: «Дедушка, поели бы чего-нибудь, дедушка, ложитесь спать, а то вставать придется ранехонько, дедушка, подбросьте сенца корове».

Так говорят вслух, а пять пальцев между тем целятся в деда по другому, более серьезному поводу: «Нас должно быть только пятеро».

Их должно быть пять душ, дедушка, в том доме, только пятеро, нашему дому не вместить шестерых.

Сперва в меня, шестого, пятеро тыкали перстами, а теперь в тебя, дедушка, тычут, поскольку оказался шестым; любого, оказавшегося шестым, эти пять душ выставят из дома, тыча своими пальцами, словно вилами.

Я — шестой и, таким образом, лишний — мог пойти на большую стройку, а тебе — шестому, никчемному — куда податься, вероятно, некуда.

Говорят тебе те, что помоложе: «Ступай, дедушка, подкинь сенца корове», но в этом доме есть кому и кроме тебя задать корму корове, хватит тут народа для какой угодно работы, и нет такого дела, ради которого стоило бы держать тебя здесь, ибо ты уже шестой.

Остается в таком случае только путь в никуда, ты должен поскорее в этот путь отправиться, поскольку над нашим домом реет подвешенная самой судьбой цифра 5.

Но настанет пора, сказал я, настанет, ибо я, нынеш-

ний, говорю как я тогдашний и поэтому «сегодня» называю «будущим»,— настанет пора, когда по деревням начнут отгонять смерть от стариков и желать им долгих лет и сил для трудной работы на земле, с которой побежит молодежь.

А тогда, сидя в том покинутом доме, каким-то чудом сохранившемся на краю стройплощадки, сидя в нем, будто в родной моей хате, я еще словно бы испытывал натиск пятерых своих родичей. Исторгнутый пятью душами за пределы их заветного, неприкосновенного круга, я хотел досадить им, хотел тянуть из себя жилы, чтобы эта пятерка сказала обо мне: «Он живет припеваючи на большой стройке». Пусть бы мне потом довелось плакать в уголке, зримому лишь оком судьбы,— только бы эти пятеро вместе со всей деревней считали, что мне живется вольготно.

Да-да, бурый котище, желательно мне досадить этой пятерке и не числиться более в голодранцах, перескочить «из грязи в князи». Я уже частично, бурый котище, сбросил шкуру голодранца-деревенщины, поскольку сплю на пружинах, ем досыта и сделал кое-какие сбережения, говорю «здравствуйте» инженеру, возглавляющему стройку, и он мне отвечает так же — «здравствуйте», моюсь по утрам и после работы, а перед вторым завтраком на строительстве споласкиваю руки в бочке с водой у бетонщиков, короче говоря, появилось уже кое-что новое в моем житье-бытье, но и от голодранца-деревенщины во мне еще очень много осталось, ибо пью потаенно водку в деревне, которой повезло, и ее не сметет огромная стройка, как деревенщина, ежедневно, в десять часов утра, сосу кофе прямо из горлышка бутылки и, уж как последняя голь перекатная, обвенчался с Хеленой без ксендза церковного и мирского, без свадебного марша и без хоров — как стопроцентный голодранец, обвенчался с ней во рву, под звездами, на голой земле, едва припорошенной сеном, зарылся со своей любовью в сено, зарылся со своей любовью в землю, как стопроцентный голодранец-деревенщина, и сотворил в этой канаве ребенка.

Да-да, бурый котище, хватает еще в моей жизни заскорузлого мужицкого, а главное — неистребима горемычная и жестокая душа голодранца, которая долговечна и, переживая его самого, переходит к этому — «из грязи в князи».

Настоящее преображение наступит лишь после того, как получу квартиру в новом доме, когда буду питаться дома три раза в день, спать с Хеленой на тахте и когда смогу умно размышлять об окружающем мире.

Кот сидел у меня на коленях, урчал и, может, вспоминал свое недавнее житье вместе с людьми в этом доме, а потом прыгнул на пол и пригласил меня в большую горницу.

В горнице стояла сделанная из прутьев кособокая и корявая подставка для цветов; цветы отправились вместе с людьми, а подставка осталась, поскольку уже обветшала и не было смысла перевозить ее на новое место.

Через двери, ведущие в сени, я вышел из горницы во двор, кот проводил меня до самой изгороди, дальше не пошел, вернулся в дом, ибо, как я уже сказал, кот, которому доводится выбирать между домом и человеком, всегда предпочтет дом.

Но ведь завтра, послезавтра, а может, даже сегодня дом снесут, что тогда будет с котом?.. Все как-то устроились, люди, хоть и огорченные, поехали в другую деревню и там пустят корни. Забрали с собой коров, лошадей, кур, собака пошла с людьми, а кот из любви к дому остался, обрекая себя на неизвестность. Что будет, когда снесут этот дом?..

Кот наверняка увидит этот разор, спрячется в бурьян или какое-нибудь укрытие и будет наблюдать оттуда, что вытворяет бульдозер с его домом; тогда он удивится и напугается, и это положит начало его одичанию, а потом окончательно одичает, будет сторониться людей, переберется в поля и заросли, стройка вернет его в состояние диких котов-предков.

За садом простиралась пустая, голая земля, за этим бурым, расчищенным под котлован участком беспорядочно громоздились бетонные балки, дальше местность шла в гору, переходя в островерхую гряду, ограничивавшую строительную площадку с востока.

Когда я поднялся на это возвышение, огни над стройкой побледнели, ибо начался рассвет, но их отблеск и сияние восходящего солнца равномерно охватили строительство, так что оно как бы превратилось в четкий чертеж и можно было разглядеть и определить его зоны, а также понять, что в этих зонах делается и что будет сделано.

С этого возвышения я мог лучше, чем откуда-либо еще, увидеть город таким, каким он станет в будущем, то есть поверить, что он все-таки будет и что человек, который с края света приплелся сюда с котомкой, будет в этом городе жить, ведь его не видать из самого центра, из этого, ушедшего в землю и трясину центра строительства, глохнущего от шума и брани; отсюда можно увидеть небольшой участок, всего-навсего участочек стройки, а что касается грядущих времен, то можно заглянуть лишь

на час, день, самое большее — неделю вперед.

А с этой высоты далеко прозреваешь в будущее, на несколько лет вперед, во все зоны стройки, зону домов и стен, зону котлованов, зону участков, расчищенных под котлованы, пограничную зону, пустынную и мирную пограничную зону, заросшую кустарником и опасную.

Пожалуй, я не пойду домой, спать не хочется, поброжу немного, а потом направлюсь к бараку Хелены, подожду, пока она выйдет, и мы вместе пойдем на работу. Ведь мне надо поведать ей важные новости: что я дарую жизнь нашему ребенку, что уже люблю того, кого хотел убить, и всерьез помышляю о женитьбе.

Я дождался ее, сидя на низкой лавочке без спинки, поставленной на площадке возле деревянного барака, вокруг лавки земля была устлана веточками акации, я поднял одну, чтобы погадать: голодранец — пан, голодранец — пан, голодранец — пан и так далее... На последний листик выпало — пан, и, когда выпало мне быть «паном», появилась моя девушка в темном коридоре деревянного барака; у самого входа я увидал ее, словно картину в раме, увидал ее со следами будущего материнства, с мягко выступающим животом под рабочей одеждой.

ГЛАВА XV

В этот день перед началом смены мы узнали, что Румяный покинул четвертый участок земляных работ, ибо, как я уже сказал, настала пора исхода для нашей братвы, которую потянуло из котлована к другим специальностям. Первым ушел Молоденький, за Молоденьким — Корбас, за Корбасом — Румяный.

Лопата Румяного стояла одиноко, прислоненная к стене склада-времянки, приблизился к ней новичок из пополнения, которого мы еще толком не знали, молодой, невысокий, чернявый; снял куртку, в треугольнике распахнутого грязного ворота блестела серебристая бляшка образка. «Ступай с богом, сынок»,— сказала ему мать, когда он уезжал из дома. Но неизвестно, что из него получится, по каким зонам стройки будет его носить, может, по той, заросшей кустарником, опасной, но излюбленной зоне, а может, и нет...

Он взял лопату, потряс ею, рассматривал, вертел в руках, прилаживался к ней; что сделает с ним эта лопата, куда его эта лопата заведет?.. Пока что он спрыгнул на дно котлована, глубоко вздохнул и вонзил железо в землю.

Румяный от землекопов подался прямехонько в канце-

лярию. Молоденький вылез из рва благодаря учению, а Румяный — благодаря тому, что сыпал словами на собраниях и снял со своей шеи священную тесемочку.

С того дня, как мы заметили белый следок под его воротником, на бычьей шее Румяного не висели больше ни бог-отец, ни бог-сын, ни матерь божья; белый следок от священной тесемки, который некоторое время оставался на его коже, стерли ветер и солнце, и Румяный стал целиком и полностью, вплоть до мельчайших деталей своей внешности, фигурой вполне неверующей и официальной.

Но однажды, когда он менее всего этого ожидал, ребята принесли ему священную его тесемку с нанизанным на ней образком в канцелярию, где он теперь сидел.

Нашли ее на койке, на прежней квартире Румяного, и решили ему отнести.

Несколько парней отправились к Румяному с этой пропажей, сперва шли гурьбой, но неподалеку от барака, где помещалась администрация, один выдвинулся вперед и взял тесемку двумя пальцами, а остальные выстроились позади, и это смахивало на небольшую процессию.

Если кто-нибудь интересовался, по какому делу идут, они отвечали: «Несем Румяному образок, который он забыл».

В коридоре барака парень, возглавлявший процессию, еще выше поднял руку с образком и осведомлялся у встречных, где кабинет Румяного, а когда ему отвечали, что у того сейчас важное совещание по вопросу об обязательствах, парень радостно улыбался и спрашивал, как пройти на это совещание.

Потом эта процессия ввалилась в просторную комнату, полную народа, и, выставив напоказ образок, привязанный к грязной тесемке, направилась к столу президиума, за которым с несколькими своими коллегами и рабочими сидел Румяный.

Сначала никто не понял, что творится, либо подумали — пришла делегация с обязательствами, но потом Румяный смекнул, в чем дело, и принялся кричать: «Прошу выйти, прошу выйти, у нас важное совещание!»

Но было уже поздно останавливать ребят, и процессия добралась до стола президиума, а ее предводитель напыжился и поднял руку так, чтобы всем было видно, что он в ней держит, затем, обращаясь к Румяному, отчетливо произнес: «Мы принесли образок, который ты забыл на старой квартире».

После этих слов он возложил серебристую бляшку вместе с заношенной тесемкой на стопу обязательств коллектива, возвышавшуюся посреди стола президиума,

и двинулся со своей процессией к выходу.

Раз я уже коснулся забавной проделки, устроенной ребятами, то должен сказать, что этот бог Румяного изведал немало превратностей судьбы. Сперва, как мне думается, он побывал в руках матери, бабки или какого-нибудь другого человека, любившего Румяного, а потом повис на его бычьей шее и приехал с ним на стройку; потом я оскорбил его бога, когда в драке пытался задушить Румяного тесемкой и так ее закрутил на его шее, что тесемка эта лопнула. Тогда вся тесемка и образок были облеплены грязью, и пришлось их мыть в бочке с водой у бетонщиков; и бог опять водворился на шею Румяного.

Затем был он с этой шеи снят и спрятан под матрац; то есть поначалу надели его во спасение, а позднее во спасение же сняли.

Потом он послужил нашим ребятам для забавной проделки; а потом дрожащей рукой своего хозяина был сметен со стола президиума на пол; а потом той же самой дрожащей рукой с пола поднят и спрятан в карман; а потом в неизвестном месте некоторое время сберегался. Пока не настал день, когда его вытащили из тайника, тесемку выстирали, а образок надраили наждачной бумагой, и этот обновленный бог на беленькой тесемочке снова повис на бычьей шее Румяного, ибо Румяный потерял свою должность, поскольку раскусили его там и выгнали. Тогда он обиделся и назло всем опять повесил себе на шею образок.

По мере того как я привожу в порядок минувшие события и укладываю их одно за другим — так, как они совершались во времени,— наступает черед приезда матери Хелены на нашу стройку.

Мать, известное дело, не может долго гневаться на свое дитя, когда оно убегает и скитается по белу свету; мать начинает кружить и принюхиваться, словно потревоженный зверь, и наконец находит местопребывание своего чада и приезжает внезапно или дает знать письмом, что простила и собирается приехать. Так было и с этой матерью. Хелена подсунула мне под нос зеленый конверт и сказала: «Читай». А когда я прочел письмо, спросила: «Что теперь будет?»

Мы с ней знали, что это за существо — деревенская мать, воплотившая в себе все самое прекрасное, что есть в человеке и в звере, и что глаза деревенской матери зорче самых зорких человеческих и звериных глаз, а сметкой деревенская мать превосходит первых ловкачей среди зверья и рода человеческого. Знали мы также, как ведут себя деревенские матери, которые приезжают

проведать незамужних дочерей, работающих в городах и на стройках. Когда мать встречается с дочерью, которую давно не видала, она прежде всего впивается глазами в ее живот. Уже на вокзале, когда дочь подходит с улыбкой, мать словно бы оглядывает ее улыбающееся лицо, голову, ноги, будто проверяя, как та ухожена, одета, какая у нее обувка и платье, а в сущности, придирчиво, хоть и украдкой, осматривает ее живот. Хочет убедиться, такой ли он, с каким дочка уехала из дома, не выпячивается ли, не округляется ли, не заставляет ли дочку откидываться назад.

А потом эта деревенская мать переводит взгляд с живота дочери выше и всматривается в ее глаза, ибо проницательная деревенская мать хорошо знает, что глаза выдают человека, что глаза дочери скажут, как в действительности обстоит дело с животом, по-настоящему ли он плоский или стянут и замаскирован, был грех или нет...

Мать рановато простила Хелене побег из дома; лучше бы с этим прощением повременила до той поры, пока бы мы не наладили нашу жизнь, но она простила именно к тому времени, когда живот Хелены уже слегка округлялся.

Поэтому мы ухватились за старый способ, надеясь, что как-нибудь обойдется. Добрые бывалые девчата сказали Хелене, что в таких случаях бинт лучше ремня.

Пошли мы с Хеленой в ольшаник, в самой гущине она обнажилась, а я преклонил колена, точно перед распятием, и приложил моток бинта к ее животу; но, прежде чем начать бинтовать, она попросила, чтобы я послушал, как во чреве ее шевелится наше дитя. Я прижал голову к теплой упругой коже и обнял Хелену правой рукой.

На минуту мы замерли в этом странном единении среди ольшаника — она, стоящая во весь рост, а я возле нее, коленопреклоненный и припавший щекой и ухом к ее нагому телу.

Не было тогда ни шума листвы, ни отзвуков стройки, ни птичьего щебета, словно деревья, железо и пернатые среди ветвей условились помолчать минуту, пока стучится в мир это наше дитя, зачатое на сырой земле, едва припорошенной сеном.

А потом вдруг мир и время рванулись вперед, деревья зашумели, раскричались птицы, заскрежетали далекие краны. И я принялся стягивать живот Хелены бинтом, устранять признаки беременности. Ходил вокруг нее, полуобнаженной, словно конь в ярме, и осторожно, боясь перетянуть бинт, виток за витком накладывал повязку, чтобы не оказалась слишком тесной клетка, в которой

сидела наша нелегальная птаха.

Когда живот был как надо сплюснут, мы прорепетировали девичью, невинную походку. Я присел на упавшее дерево, а она расхаживала передо мной взад-вперед.

Парад этот оказался полезным, ибо благодаря ему мы смогли внести в ее движения и осанку важные поправки, и прежде всего отработали легкий наклон вперед, необходимый для того, чтобы устранить весьма подозрительное у девушки запрокидывание туловища, которое наверняка подметила бы зорким глазом деревенская мать, сразу получила бы зацепку и уже с огромной жадностью всматривалась бы в дочку, без устали обмеряя ее мысленно, пока не докопалась бы до греха.

Но деревенская мать не была бы деревенской матерью, если б дала себя провести с помощью бинта и наклона вперед, якобы невинных очей, резких, якобы невинных движений дочери и этого ее чрезмерно беспечного щебета.

Она, пожалуй, уже на вокзале обнаружила беременность дочери, может, когда они обнимались, нащупала изменившиеся очертания фигуры своей единственной доченьки, которая сбежала из дома и поехала на большую стройку, была судьбой заброшена в самую гущу таких же, как она, приблудных горемык, в самую гущу орды, состоящей из разудалых парней, похлебочников и хлебоедов, мечтателей, жаждущих любви и выдумывающих прекрасное будущее, поэтов, не умеющих писать, почитателей бога и таких, что отринули лик господень, полученный перед отъездом от матерей. Каждая из этих братий по-своему посягала на ее душу и тело.

Если бы полюбился ей стопроцентный хлебоед и похлебочник, была б это любовь чистая, такая чистая, что даже откладывалась бы на потом, любовь, какую не встретишь у других братий этой неистовой стройки; ибо со своим дорогим хлебоедом и похлебочником она вила бы да вила, долго свивала бы гнездышко и только в готовом, хорошо оборудованном, теплом гнезде легла бы с ним, чтобы предаться наконец любви и зачать ребенка.

Но ее угораздило полюбить мечтателя, который фантазировал о том, как они счастливо заживут в будущем, однако устраивать такую жизнь не умел. Уже то, что завлек ее в холодное гнездо, Глухую канаву, на преждевременное венчание, и преждевременно обрюхатил, и ребенка этого помиловал, свидетельствовало о том, что не хозяин он своей судьбе. И то, что Хелена попала в трудный переплет из-за приезда матери, также доказывало, что не умеет он правильно распоряжаться ни ее судьбой, ни своей собственной.

Пожалуй, мать еще на вокзале догадалась о беременности дочери. Может, в ту минуту, когда увидала вымученную, якобы девичью живость, с которой та бросилась навстречу, и жалкие усилия казаться наивной и чистой, по обманным движениям догадалась об интересном ее положении. А может, когда обняла ее и прижала к себе на перроне, обнаружила, что живот у дочери твердый, как доска, а может, когда ехали в автобусе, углядела какие-то приметы, не оставившие сомнений в том, что дочь ее брюхата.

Пожалуй, уже с этим открытием вошла она в комнату Хелены, ибо, оказавшись в общежитии наедине с дочерью, всем ее словам о работе и заработках, о питании и жилье поддакивала односложно, но как бы с нарастающей доброжелательностью: «Так-так, так-так, доченька, так-так, дорогая доченька».

А потом, после этих якобы очень хороших слов «так-так, дорогая доченька», вдруг полезла Хелене под юбку, словно была не матерью, а разнузданным любовником, возложила руку на ее твердый, точно камень, живот и в порыве притворной доброжелательности еще раз произнесла по инерции: «Так-так, дорогая доченька».

А потом шарахнулась, как от прокаженной, плюнула на нее и вышла, и так завершился этот визит.

Но она и это простит — мать, известное дело, не способна долго гневаться на родное дитя.

Я караулил неподалеку от женского общежития и сразу же после ухода матери бросился к Хелене; она сидела на койке и плакала, слезы капали на подбородок, я отер ей лицо уголком простыни, поднял ее, вывел на середину комнаты, а потом задрал подол платья и размотал бинт, она задышала ровно и свободно. Но лицо пришлось ей вытирать снова.

ГЛАВА XVI

В ту пору продолжался исход нашей братвы из котлована — потянуло ее к другим специальностям. Надо сказать, что большая стройка подобна школе, где яма, доска, бревно и глина, то есть земляные работы и крепление откосов,— это как бы первый класс, куда поначалу записывают «приблудных» выходцев из деревни.

Если «приблудные», эти ученики школы-стройки, выдюжат в первом классе, притерпятся к дождю и грязи и если их не испугает ковырянье в земле, то могут они через некоторое время и после должного обучения

перейти во второй класс, то есть подняться из котлована на леса, ибо кладка стен считается вторым классом этой большой школы, и в него переходят «приблудные», наработавшись в первом классе.

Однако иному ловкачу из «приблудных», который помнил материнское и отцовское благословение, не расставался с родительскими наказами и советами, точно овца с погремушкой, и прислушивался к этому тревожному бренчанью: «Бойся бога, сынок, и береги себя; бойся бога, сынок, и кланяйся мастеру; бойся бога, сынок, и старайся»,— иному ловкачу из «приблудных», чью душу бередил этот трезвон, удавалось даже, малость подучившись, перепрыгнуть из первого класса прямо в третий, то есть заделаться водителем бульдозера, грузовика или башенного крана, словом, приобщиться к технике, которой становится все больше на строительных площадках.

Такой прыжок из первого класса в третий совершил Молоденький и теперь посиживает в кабине крана, и все его односельчане, которых он мысленно вокруг этой машины расставил, любуются им, орудующим в этой высоко подвешенной клетушке.

Попадался и такой ловкач, что выбрасывал из своей души докучную погремушку — то есть все эти наказы и добрые советы родителей,— срывал с шеи образок, повешенный матерью, и трижды провозглашал громогласно: ура, ура, ура! Эдакий мог перемахнуть через второй, третий и последующие классы — мастеров, техников, инженеров и директоров — и сразу же из первого класса угодить в профессора по части подбадривания других.

Немало крутилось на стройке таких профессоров, но мы их не любили. По душе нам был лишь тот, который не боялся дождя и трудился вместе с нами всю ночь напролет, когда мы запаздывали.

По-прежнему я веду речь о том времени, когда наша братва выбиралась из котлована. Настал и мой черед, но я не перепрыгивал, я честно, как самый что ни на есть «приблудный», перешел во второй класс и стал каменщиком. Направили меня на строительство самого длинного здания в центральной части города.

Я поднялся на леса в шесть часов утра, день выдался солнечный, ясный и теплый, словно природа отмечала мое восшествие.

Но мог ли я радоваться яркому солнцу, теплыни и тому, что природа празднует мой переход во второй класс школы-стройки, если в тот же самый день из ящика с гашеной известью был выловлен мертвый ребенок. Нашел его рабочий, разводивший известь. Сперва, решив, что это запекшийся сгусток, постучал по нему, но ком не

развалился, и рабочий поддел его мешалкой. Раствор стек, и показался голенький младенец. Тогда рабочий крикнул: «Господи, человек!» А потом бережно положил младенца на порожний мешок из-под цемента.

Стройка остановилась, поскольку новость эта молниеносно облетела все участки, рабочие спускались с лесов, словно после гудка, и осторожно, исполненные любопытства, подходили к мертвому, бледному младенцу. Один сказал: «Сука, утопила ребенка». А другой возразил: «Не говори — сука, сука не утопит щенят».— «Так как же мне назвать такую?» — спросил первый. «Скажи — девушка, скажи — женщина, скажи — человек»,— ответил защитник собак.

Какой-то парнишка глянул, побледнел и бросился прочь — замутило. Кто-то дал знать в отделение, и немедленно прибыло сразу четверо милиционеров.

Выяснилось, что милиция уже с некоторых пор этим делом занимается, ибо где-то, в каком-то доме, на каком-то дворе или у кого-то на руках был ребенок и вдруг исчез, хотя за ним никто не приезжал и никто с ним не уехал — это бы стало известно, поскольку люди все знают, даже больше, чем бывает на самом деле; порой они ошибаются, путают, но все же знают. Некий дом тот существует, цела площадка перед домом, и те руки, что держали ребенка, целы, только держат уже не его, а нечто другое, может какие-нибудь покупки, или закинуты на плечи какого-нибудь рослого парня — каменщика, слесаря, механика или «первоклассника» с земляных работ. Был ребенок — да сплыл, но ведь не растворился же он в воздухе.

Двое милиционеров остались на месте происшествия, двое съездили куда-то, привезли трех подозреваемых девушек и выстроили рядком у мешка из-под цемента, на котором лежал белый как снег младенец.

Милиционеры рассудили по-своему и понадеялись, что возле ящика с известью детоубийца покается и они узнают правду, избежав длительных расспросов, а возможно, и канительной медицинской экспертизы, что преступная мать дрогнет при виде мертвого ребенка, а главное — померещится ей та ночь, когда украдкой принесла сюда свое мирно спавшее дитя, а может, нарочно успокоенное и убаюканное, чтобы не плакало, или, напротив, в отчаянии зажав ему, раскричавшемуся, рот, ухнула его в известь и успокоила там на веки вечные.

Когда три девушки стали возле мертвого ребенка, лежавшего на грязной бумажной постели, милиционеры принялись оттеснять народ, покрикивая:

— Ступайте по своим местам! Не мешайте произво-

дить расследование!

Но люди напирали, стремясь туда, где лежал мертвый ребенок и стояли эти три девушки, кое-кто взобрался на леса и даже на лестницу башенного крана — уж больно им хотелось увидеть детоубийцу.

Виноваты еще как бы все трое, поскольку неизвестно, которая из них утопила ребенка, может, вон та, крайняя слева, высокая, красивая девушка в черном засаленном комбинезоне, которая в восточном секторе первого квартала обслуживает подъемник, подающий на леса кирпич. Может, это ее руки, запыленные и пегие от мазута, бросили ребенка в известь. Она волнуется, однако говорит довольно спокойно:

— Зачем вы привели меня сюда? Отпустите, это не мой ребенок.

Может, детоубийца та, стоящая посредине, которая убирает комнаты начальства, совсем молоденькая, бледная, невзрачная, с виду из всех троих наименее способная к грешной любви, не говоря уже о детоубийстве, стоит эдакой святошей и хнычет, а все-таки попала эта святоша на заметку, иначе чего бы ради милиция тащила ее сюда и заставляла глядеть на мертвого младенца. На вопросы не отвечает, только плачет, неужели это детоубийца?..

А может, крайняя справа, в запыленных парусиновых брюках и грубой бумазейной кофте, смуглая, стройная брюнетка, которая работает на бетономешалке, умертвила ребенка... Обижена, что ее привели сюда, дует губы и что-то сердито бормочет, держится так, словно ей уже примелькался этот мертвый, скорченный младенец, и все дует губы.

Еще неизвестно, кто убийца, ни одна не призналась.

Люди напирают, а милиция их оттесняет, стройка стоит, не ходят грузовые лифты, замерли стрелы башенных кранов, не урчат бульдозеры и самосвалы, не тарахтят бетономешалки.

Кто из этих троих детоубийца?

Толстый милиционер позвал рабочего, который разводит известь, и велел подробно изложить, как нашел он этого ребенка. Думал, что детоубийца не выдержит рассказа и признается.

Рабочий рассказывает, та, что на подъемнике работает, знай твердит, чтоб ее отпустили, уборщица как плакала, так и плачет, а бетонщица все дует губы — никто не признается.

Кто же из этой тройки детоубийца, кто?..

Толстый милиционер, ища новые способы сокрушить и размягчить зачерствевшее сердце детоубийцы, снова об-

ратился к рабочему, разводившему известь, и сказал громко, чтобы слыхали подозреваемые:

— Сдается мне, что ребеночек плохо виден барышням, и матери трудно опознать его. Оботри-ка чем-нибудь ему личико, подыми с земли и поднеси к ним, пусть барышни вблизи приглядятся, и, может, тогда мамаша узнает свое дитя, постарайся для барышень, облегчи опознание.

У этой попытки сокрушить и размягчить очерствевшее сердце были как бы две ступени — низшая и высшая. Низшая — это когда младенца обтирали, высшая — когда его подсовывали девушкам под самый нос.

Когда же после церемонии обтирания открылось обожженное известью, расплывшееся личико мертвого младенца, высокая девушка крикнула: «Ради бога, заберите меня отсюда!» Но толстый милиционер сказал ей:

— Погодите-ка, присмотритесь хорошенько, ведь ребеночек-то ваш.

— Не мой! — отрубила она.

Хилая святоша, стоявшая посередине, заслонила глаза ладошкой; но толстый милиционер подошел к ней, отвел ее руку от глаз и учтиво попросил:

— Не заслоняйте себе глазки. Присмотритесь получше к своему дитятке.

И тут она заплакала громче, приговаривая:

— Нет, нет, нет...

У смуглой брюнетки губы так оттопырились, что пришлось их придержать рукой.

Никто не признается, которая из трех виновата, господи, которая?..

Стройка все еще стоит, не снуют подъемники, не урчат бульдозеры и самосвалы, а эти не признаются.

Тогда рабочий, разводивший известь, наклонился, подсунул руки под бумажный мешок, на котором лежал младенец, поднял его и приблизил к крайней, высокой девушке. Он смахивал на крестного отца, подносящего к купели одетого в белое новорожденного. Девушка попятилась, будто от удара, однако милиционер придержал ее и снова сказал:

— Поглядите-ка, пожалуйста, вблизи на своего ребенка.

Она вырвалась и хотела убежать. «Пожалуй, это детоубийца»,— подумали люди, которые бросили работу и глядели отовсюду на происходящее. Однако она не назвалась матерью этого ребенка.

Потом «крестный отец» шагнул вправо, остановился возле невзрачной святоши, которая, не желая видеть младенца, вдруг пала на колени, и младенец словно бы

повис у нее над головой. Но и она не назвалась матерью.

Смуглая брюнетка точно дожидалась приближения этого «крестного отца» с мертвым ребенком на руках. А когда предстал он перед ней, вырвала у него перепачканное известью тельце, сунула под мышку, как сверток, и бросилась наутек, крикнув на бегу погнавшемуся за ней милиционеру:

— Не гонитесь за мной, вам не понять, вам не понять...

Она хорошо знала строительную площадку, на которой все это происходило, знала, где можно проскользнуть и куда юркнуть, чтобы провести увязавшихся следом милиционеров.

Сперва шмыгнула под конструкции разобранного крана и оттуда крикнула:

— Чего гонитесь, все будет в порядке!

Милиционеры, желая побыстрее поймать ее, окружили разобранный кран. Они думали, что у беглянки уже нет выхода, что она скоро попадется им в руки и понесет наказание, ибо кто же выскользнет из огромной, раскинутой на земле железной сети? Запутается, обобьет бока об острые ребра конструкций и наконец присядет от усталости или даже упадет вместе со своим мертвым ребенком, которого в безумном порыве выхватила из рук «крестного отца».

Площадка, где лежал кран, просматривалась насквозь, труднопреодолимая для беглянки, она была удобна для преследователей, и никто не сомневался в удачном исходе погони. Поэтому строители сначала не помогали милиционерам, считая, что те превосходно управятся сами. Где бы ни попыталась брюнетка выбраться из-под этой железной сети, всюду ее встретит милиция и запросто изловит.

Казалось, беглянке не уйти от погони, поскольку вокруг разобранного крана не было ничего похожего на укрытие, а нагромождение железобетонных плит и опор, подобное длинной дамбе, которая одним концом примыкала к разобранному крану, напоминавшему причудливо раскинутую сеть, а другим почти упиралась в стену самого высокого здания первого квартала будущего города, не могло, казалось, помочь детоубийце — ведь если б она и забралась на эту дамбу, то сделалась бы еще заметнее и уязвимей, поскольку милиционеры могли бы оцепить завал с двух сторон и бежать низом, побеги она поверху, или даже идти шагом, если б она пошла медленно вдоль гребня этой дамбы.

Они могли бы идти как на прогулке, радуясь, что ловко разоблачили детоубийцу, и уговаривать ее учтиво и

ласково: «Спуститесь к нам, мамаша, в противном случае сами к вам подымемся и спустим вас на землю».

Однако смуглая брюнетка взяла курс на этот завал и довольно близко к нему подобралась.

Она выпрямилась во весь рост в треугольной ячейке своей сети и крикнула милиционерам, наткнувшимся с разбега на стальные конструкции:

— Не гонитесь за мной! Сама управлюсь! Вы ничего не понимаете...— И, согнувшись в три погибели, заскользила под металлической сетью в сторону завала, а милиционеры опять пустились вдогонку.

И тут выяснилось, что беглянка хорошо ориентируется на местности и знает, что делает, ибо она не взобралась на завал, чего все ожидали, а юркнула в ей только известную, возможно, еще во время любовных игр обжитую нору и исчезла. Сунулись туда и два милиционера, посидели под плитами, пошарили да вылезли ни с чем, сказав, что нет ее, куда-то запропастилась.

Теперь и рабочие начали помогать милиции: одни забрались в завал, другие наблюдали снаружи. Но искали и караулили не там, где следовало, ибо она потайными лазами и переходами проползла вдоль всего железобетонного завала и появилась на его противоположном конце, оставшемся без всякого присмотра. Никого там не было, поскольку всем хотелось подойти ближе к производившим дознание милиционерам; люди спустились с лесов самого большого в будущем городе здания и пытались протолкаться в первые ряды зевак, глазевших на девушек, либо заняли наблюдательные пункты в оконных проемах и на балконных плитах ближайших к месту происшествия домов.

Когда она возникла на другом конце завала, прямо против доведенной уже почти до шестого этажа стены, все ринулись туда, но, прежде чем добежали, она проскользнула в здание, и снова преследователи на минуту потеряли ее из виду.

Потом милиционеры и каменщики ворвались в дом, и началась беготня по этажам, ибо девушка, появляясь и исчезая, взлетала по еще сырым ступеням лестницы без перил и ограждений и вскоре очутилась на плитах потолочного перекрытия последнего этажа.

Когда добрались туда самые быстроногие, она стояла уже, словно над пропастью, на наружной стене, а затем, ведомая смелостью безумцев, прошла наискось к самому высокому выступу и таким образом достигла главной вершины, господствовавшей над всем городом, который мы воздвигали,— той точки, где мог уместиться лишь один человек. Следующий шаг был бы шагом в пустоту.

Погоню пришлось прекратить, начались просьбы и мольбы о том, чтобы она слезла с выступа, вернулась хотя бы на потолочное перекрытие пятого этажа.

Сейчас я с трудом нахожу то место, где она стояла, примерно за вспыхивающей и гаснущей по вечерам цветной надписью «Храните деньги в ПСБ[1]». Пожалуй, стояла она над буквой «П» и бесстрашно глядела вниз, на строительную площадку, на дно пропасти, которое было загромождено штабелями заготовленного впрок кирпича.

Сегодня не определишь точно, где она тогда остановилась с мертвым ребенком на руках, поскольку дом достроили, стены оштукатурили, оконные рамы и двери навесили, установили перила на балконах. Но сдается мне, что все-таки на том месте, где буква «П», начинающая эту аббревиатуру «ПСБ», а может, и там, где маленькое «в», трудновато теперь определить то место.

Когда она достигла высшей точки самого высокого дома и стала на остром уголке, сами собой отпали все шуточки и подковырки. Их должны были сменить мольбы и просьбы о том, чтобы девушка сошла со стены, ибо она возвышалась теперь над всеми на своем недоступном выступе, над пропастью; еще один шаг — и рухнет в пропасть, поэтому уже потеряли смысл даже какие-либо приказы, можно было только просить ее и умолять, а она могла внять просьбам или высмеять их и оставить без внимания.

Никто не знал, как разговаривать с человеком, который убил собственное дитя и с бездыханным тельцем вскарабкался на самый верх высокого здания, стал там и очутился на краю пропасти. Что скажешь человеку, который ускользнул от преследователей и так изловчился, что никому на свете не поймать его, не догнать, ибо преследуемый может сделать шаг — и скрыться навсегда.

На каком языке обратишься к человеку, зашедшему так высоко, что он уже выше приказов, просьб, наказаний, обязанностей, законов, грехов, приличий, а все, что внизу, представляется ему смешным, нелепым, неважным — даже город, в таких муках воздвигаемый, кажется уже неважным.

Все внизу обомлели, разинули рты и ничего путного ни придумать, ни сказать не могли, ибо высоко над их головами, словно изваяние, стояла стройная смуглая девушка, взлохмаченная, перепачканная известкой и с мертвым младенцем на руках.

Все понимали, что в подобную минуту следует гово-

[1] Польская сберегательная касса.

рить иначе, не так обыденно, как говорят люди, встречаясь на земле, но не находили таких слов.

Толстый милиционер, прежде такой велеречивый теперь оторопел, губы у него дрожали, он весь обмяк, однако не сдавался и, воздев истово руки и кланяясь детоубийце, начал уговаривать ее и убеждать, чтобы сошла с выступа. Так повел себя, что, казалось, вдруг проникся к ней уважением, словно это была не детоубийца, а какая-то важная персона, человек почтенный и заслуженный или даже святая.

Но, убедившись, что его молитвенные телодвижения не действуют на девушку, гордо выпрямившуюся на краю стены, принялся бить ей поклоны, словно покорный слуга, и пролепетал долго мешавшими ему говорить дрожащими губами:

— Спуститесь, пожалуйста, мы не сделаем вам ничего плохого.

Но, видно, это были не те слова, которые могли б склонить ее спуститься со стены, и они не склонили ее, хотя произносились с таким почтением и поклонами.

Другой милиционер, желая принять участие в уговорах, влез на груду железобетонных плит и также весьма учтиво обратился к ней:

— У вас вся жизнь впереди, уважаемая, спуститесь, перед вами — большая жизнь.

Но она не дала соблазнить себя той большой жизнью, которая бы еще предстояла ей, если бы она сошла с выступа на потолочное перекрытие пятого этажа, и все стояла наверху со своим мертвым ребенком в руках, оглядывая строительную площадку.

Кто-то из рабочих высунулся из оконного проема и крикнул:

— Вспомни отца с матерью, пожалей родителей, сойди со стены.

Эти слова и многие другие, которыми люди убеждали ее покинуть выступ, не подействовали, она даже звука не проронила в ответ. Наверняка была поглощена собственными мыслями, а также обозрением всей стройки и огромного круга земли.

Она уподобилась птице, внимательно следящей за тем, что творится вокруг. И при этом должна была заметить большую красную пожарную машину, что направлялась к дому, на котором она стояла; и, пожалуй, подумала, что пожарные подъедут к этому дому, развернут и расставят на нее широкую крепкую сеть, и тогда пропасть уже не будет пропастью и побег не удастся, ибо сзади — на потолочном перекрытии пятого этажа — поджидают ее люди. А это означает жизнь, ей-то изве-

стно — какую жизнь; а внизу растянется мягкая сеть, означающая ту же самую известную ей жизнь.

И когда смекнула, что там, внизу, ей готовят мягкое приземление, готовят возврат, вытянулась как по команде «смирно» перед этой пропастью, словно простой солдат перед генералом, а потом рукой отерла пену с губ, готовясь говорить, и крикнула:

— Вы ничего не знаете, это была настоящая любовь, вы ничего не знаете! — И сделала шаг, и наткнулась на воздух, и упала вниз, на штабеля кирпича, приготовленного для будущих стен.

Старик, стоявший на завале из железобетонных плит, вдруг снял со взмокшей головы припорошенную кирпичной пылью шапку, преклонил колена и начал молиться, чтобы душа эта вопреки всему не была осуждена и низринута в огнедышащие пасти ада, чтобы грехи эти — двойное убийство одного и того же невинного младенца и самоубийство — добрый бог простил.

Пожилая женщина, пришедшая сюда из любопытства, хозяйка избушки, до которой еще не добралась стройка, твердила как заведенная: «Мать родила ее в муках, и она родила в муках, зачем ее мать рожала, зачем она рожала, мать родила ее в муках, и она родила в муках...»

Бетонщик из бригады, которая строила школу, обхватив всклокоченную голову, злобно ругался: «Какого черта она сюда ехала, так ее разэтак, ведь могла сидеть дома, при родителях. Какого черта ехала, так ее... вечная память...» Вероятно, он был ее земляком и знал, что она могла остаться при отце с матерью.

ГЛАВА XVII

А я, хоть это и было бессмысленно, вдруг разозлился — все из-за того, что далеко моя деревня, и отец с матерью далеко, и дедушка. Невдомек им, что нужны позарез, разгуливают неведомо где по своей далекой деревне, шатаются по полям да лесам. Как бы нужны были в те первые минуты и часы после прыжка смуглой брюнетки. Но они способны только вытурить шестого в семье и остаться впятером, а затем снова выискивать лишнего, чтобы в доме всегда оставалось не более пяти душ.

Если б тут вдруг очутилась моя матушка, я бросился бы к ней, и встряхнул ее, и крикнул: «Мать, яви мудрость и не уверяй, будто всевышний покарал смуглянку за этого внебрачного ребенка. Возложи мне на плечи свои загрубевшие руки, жесткие, словно щепа, скажи:

«Жизнь из многого слагается, и разные вещи творятся на белом свете, могло стрястись такое, что смуглянка взобралась на узкий карниз и шагнула оттуда в пропасть; но в жизни бывает всякое, и, хоть иные девчата тайком приживают детей, жизнь идет своим чередом, движется вперед, и ребятишки эти растут и смеются, сын мой...»»

И снова бы я встряхнул ее и возопил: «Продолжай, мать, продолжай».— «Один человек живет так, другой иначе, сын мой, и возможно, кого-то угораздит взобраться на карниз высокого дома и шагнуть оттуда в пустоту, а многие разойдутся после работы по домам, поужинают чем бог послал, погуляют ради отдохновения, вечером лягут спать, а ранехонько вскочат с постели и прямиком — на стройку, ибо нельзя иначе, если хочешь зашибить деньгу и ни в чем себе не отказывать»

Злился я, что нет их под рукой в трудную для меня минуту. Здесь такое творится, люди летают по воздуху, а они пашут да сеют, на телегах разъезжают, понукая лошадку: н-н-но, гнедая! И расхаживают по саду впятером, ибо такова их судьба, и так они умеют глядеть и молчать, что приходится шестому самого себя выгонять со двора.

Пусть бы только очутился тут отец, уж я бы взял его в оборот и велел ему сказать: «Люди устраиваются по-разному, сынок, и разные есть пути-дороги в жизни, но та, которую выбрала смуглянка с восточного края первого городского квартала, лишь одна из многих, одна-единственная, это капля в море, сынок, и хватит тебе думать об этом ее прыжке».

И дедушку бы не пощадил, если б смог до него добраться,— пусть бы он своей усохшей от старости и словно бы пустой внутри ладошкой погладил обтянутую спецовкой спину внука и сказал ему, что случай со смуглянкой не самое важное событие на свете, и пусть бы наконец заверил внука, что ждут его счастливые деньки, пусть бы гаркнул во всю свою старческую глотку: «Внучек, у тебя вся жизнь впереди, ты еще дождешься счастливых дней!»

На кого я мог уповать в ту минуту, когда возникла у меня перед глазами смуглянка и тень ее, скользнувшая с высокой стены, к кому мог броситься, как не к Матери со стройки, к кому, как не к этому исповеднику заблудших, грешных и убоявшихся?

Когда я прибежал к ней, она прибирала строительную площадку, Мать вечно ее прибирала. Я говорю «вечно», поскольку уборка территории во время строительства — работа, у которой ни начала, ни конца, и человек, наводящий порядок на стройплощадке, непременно должен

сказать себе заранее: будешь прибирать да прибирать и, хоть околей от усердия, не наведешь порядка.

Мать держала в руках по огромной скобе для скрепления стен, когда я к ней примчался.

Отобрал я у нее эти железины, перехватил их в свои руки, чтобы подсобить ей, а потом с невозмутимым видом рассказал, что одна смуглая стройная брюнетка бултыхнулась с карниза на штабеля кирпича, сложенные на стройплощадке, и что прыгнула она вместе с ребенком, которого сперва утопила в извести.

Ударился было в подробности, но Мать прервала меня, сказав, что все знает, поскольку кто-то, опередивший меня, принес ей эту новость, и что даже многие с ее участка бегали на место происшествия, но опоздали.

Когда я снова пустился в подробности, Мать перебила меня: «Знаю, знаю, сынок, эта девушка обслуживала бетономешалку на шестом участке, я знала ее, мы жили в одном бараке».

Только и всего услыхал я от Матери, да еще вот это в придачу: «Забудь, сынок, об этом, живой человек должен жить, и баста». И, наклонившись, она подняла две громадные скобы, выпрямилась и медленно побрела к тому месту, где их надлежало бросить, а я за ней последовал с четырьмя скобами, поскольку вдобавок к тем, что взял у нее из рук, когда примчался сюда, подхватил еще две, чтобы помочь ей делом.

Передо мной маячит ее узкая спина, прикрытая грязной выгоревшей спецовкой из сатина. Выше — изможденная шея с двумя глубокими морщинами, припорошенная пылью и слегка дрожащая из-за тяжкой ноши в руках, а еще выше голова, стянутая косынкой, которая не вполне прикрывает седые волосы. На ней широкие штаны, тоже сатиновые, некогда синие, а теперь уже серые, ибо стройка страсть как не любит чистой синевы и немедленно перекрашивает ее в свой излюбленный серый цвет.

Хоть ноги Матери и прячутся в широких штанинах спецовки, все-таки заметно, что для ног эти скобы, которые она тащит, тяжеловаты.

Она шагает молча, я за ней, обескураженный ее молчанием и жаждущий ее доброго, мудрого наставления, но она ничего не говорит, словно пресытилась уже обязанностями «доброго ксендза-исповедника», утешителя четвертого, и не только четвертого, участка земляных работ, ибо я уже вступил на леса; и казалось, ее плотно сжатые губы, подкрашенные пылью, смешанной со слюной, вопрошали: «А где утешитель найдет своего утешителя, к кому утешителю обращаться со своей кручиной —

подумал ли ты об этом, сынок? Вы приносили мне, сынки, свои печали, грехи и дурные намерения, с пылающими лицами раскрывали передо мной свои яростные, жестокие и несчастные души, говорили мне о тайком прижитых детях, о девушках загубленных и тех, ради которых хватались за нож, о несбывшихся мечтах. Я шла с вами в тайный шинок, садилась на чурбан, а вы рядом и за кружечкой зелена вина исповедовались, исповедовались, а я возлагала руки на ваши всклокоченные головы, на дюжие плечи, и отпускала вам грехи, и накладывала епитимью... потом вы уходили, а я оставалась одна».

Так думал я о Матери, когда мы шли гуськом, перетаскивая тяжелые скобы с одного конца склада строительных материалов на другой; ибо случай со смуглянкой каким-то странным, непостижимым образом помог мне еще лучше увидеть жизнь Матери; и я подумал, что эта одержимая стройка и Мать встретились слишком поздно, что она уже не могла прийтись ко двору ни в одном из братств нашей стройки и, хоть была с нами, оставалась одинокой, а одиноких стройка сметает со своего пути.

Для любого братства, которые эта стройка пестует, она оказалась опоздавшей; ибо если и было в ней хоть чуточку от хлебоеда и похлебочника, то все же не могла она найти прибежище в их монашеском ордене, поскольку перед стопроцентным хлебоедом и похлебочником врата будущего должны быть широко распахнуты. Он может пасть возле этих врат, но они открыты перед ним настежь, и если не падет, то наверняка их порог переступит. Ему необходима уйма времени, ведь дорога его длинна и годы требуются для достижения намеченной цели. Матери нечего делать в этом братстве: большая часть ее будущего стала уже прошлым.

И уж совсем было бы курам на смех, если бы захотелось ей принять устав другого, наряду с хлебоедами и похлебочниками существовавшего, главного ордена на этой огромной равнине, то есть устав парней, полюбивших стройку и тяжкий труд непостижимой любовью — без взаимности, тех подвижников не из любви к себе, а из любви к тяжкому труду, которые добровольно поддаются проверке из своего же братства выдвинутых контролеров-поверяющих, что носятся по стройке, словно ветер, и потому прозваны «легкой кавалерией», и охотно предъявляют свою работу строгим комиссиям — в противоположность хлебоедам и похлебочникам, которые, впрочем, тоже добровольно изнуряли себя, но не из любви к труду, а из любви к самим себе будущим и одновременно из ненависти к самим себе нынешним, ибо стопроцентный

хлебоед и похлебочник ненавидел себя самоизнуряющегося — нынешнего и свой гольный черствый ломоть — нынешний, а любил себя — будущего, разнеженного, и свой ломоть — будущий, с маслицем.

Стопроцентный хлебоед и похлебочник питался будущим, а стопроцентный приверженец устава влюбленных в стройку трудяг не предавался корыстным мечтам, поскольку любил себя, вкалывающего до седьмого пота, нынешнего.

Было еще на стройке немало других братств, помельче, но ни к одному из них Мать уже не могла приписаться, поскольку слишком поздно попала на эту равнину и разминулась со всем, что могло бы ее утешить и обнадежить, со всеми здешними делами разминулась.

Мать оказалась как бы за штатом, хоть и работала, но не о должности идет речь, а о той зацепке, которая позволяет не чувствовать себя одинокой среди людей.

Не оставалось ей ничего другого, как сделаться одинокой утешительницей других, остался ей тайный шинок, ее часовня, в которой она сиживала вечерами, поджидая грешников виноватых и безвинных, ибо на стройке попадались и те и другие. Виноватые грешники — это те, что вполне сознательно творили зло, невинные же — просто по глупости, недомыслию или обалдев от любви — попадали в переплет, а потом, желая выпутаться, бедокурили.

Поначалу к Матери валом валили и те и другие, но потом становилось их все меньше, поскольку ребята стали привыкать к жизни на стройке и сами выходили из положения.

Случались уже и такие скверные вечера, когда к ней не подсаживался ни один «грешник». Порой и вечер минет, и где-то пробьет полночь, а Матери так и не удалось никого утешить и даже оказии не подвернулось для ее излюбленной проповеди, которую она охотно произносила по любому случаю и без случая, а начинала словами: «Детки мои, детки мои, помните: главное, чтобы вы всё покупали за свои кровные денежки — и рубаху, и винцо, и порты, и пиво,— всегда за собственные деньги, до последнего издыхания за собственные»; ребята либо вообще не появлялись, либо, придя, усаживались в сторонке отдельной компанией и судачили о своих делах, а ей, сидящей в темном углу, благоволили демонстрировать лишь спины да затылки.

Частенько уже никто не нуждался в ее советах и утешениях, случались и такие страшные вечера, когда Мать, горячо желая кого-нибудь утешить, останавливала парнишку, который, как ей было известно, здорово

проштрафился, и спрашивала: «Как поживаешь, сынок?» А тот, улыбнувшись, торопливо отвечал: «Хорошо, хорошо, Мать» — и втискивался в круг дружков-приятелей, давая ей понять, что разберется в своих грехах без посторонней помощи.

Волей-неволей расхотелось Матери утешать других, опостылела ей наконец должность утешительницы, становящаяся ненужной, так как «приход» начал разбегаться, а шинок все чаще пустовал — ребята подыскали себе заведение почище.

...Несем мы тяжелые скобы, она идет впереди, а я за нею. Пожалуй, история со смуглянкой и Матери помогла лучше увидеть свою судьбу, ибо всех это происшествие заставляло пересмотреть собственную жизнь и призадуматься, как она выглядит; вероятно, поэтому Мать не пожелала распространяться о прыжке смуглянки.

Гляжу я на нее и по шее и ногам догадываюсь, по ним всего заметнее, что работа ей не под силу, ноги дрожат, а шея уподобилась грубо сплетенному канату.

Глядя на нее, я уже не нахожу того, что замечал прежде, в первые недели после приезда. Теперь знаю, что к ее молитве: «Будь благословенна, святая работа» — следует добавить: «Если с тобой справлюсь, если не подведут руки, спина, ноги и шея...»

А к словам: «Будьте благословенны, доски и бревна» — следует добавить: «Если хватит сил вас поднять»; а к словам: «Будьте благословенны, раны, ссадины и занозы, впившиеся в руки» — следует добавить: «Если руки хорошо справились с доской, бревном, всевозможными деревяшками и железяками, необходимыми для земляных работ и опалубки».

Я знаю, что следует это добавить, ибо мне нетрудно заметить, что между руками Матери и предметами, которые она носит, нет согласия, что согласие, которое было вначале, иссякло; глядя на ее руки, державшие скобы, я видел, что железо хочет разжать ее пальцы, выскользнуть из рук и упасть на землю, а руки пытаются их удержать, не поддаются, и пальцы судорожно впиваются в железо.

По этим движениям пальцев, трепетно перехватывающих скобу, по этому словно бы вымаливанию пощады у беспощадно тяжкой ноши видно, как ослабела Мать; ибо сильная, молодая рука, несущая такую скобу, не перехватывает ее, приноравливаясь, не затевает никакой игры с железом, то расслабляя, то стискивая пальцы, а только крепко его ухватит и, не разжимая пальцев, доносит туда, куда нужно.

И по огромному облегчению, с каким Мать, точно

взлетая, бросала железо в намеченное место, я догадывался, что она уже не справляется с работой и не относится к ней так, как вначале, когда на лице ее была словно бы написана та радостная молитва: «Будь благословенна, святая работа...»

Я решил собрать нашу братву, но без Румяного, и, пригласив Мать, приятно провести вечерок у хозяина сарая.

Хелену я нашел на другом конце участка земляных работ; я поднялся на леса, а она осталась на прежнем месте, в подсобницах. Первым делом, еще запыхавшийся от быстрой ходьбы, я спросил ее, чувствует ли она во чреве своем нашего ребенка; и когда, удивленная моим неожиданным вопросом, она ответила, что время от времени ощущает толчки, почти воскликнул: «Это хорошо, что он живой».

Что касается наказов, повелевших даровать жизнь нашему ребенку и не ходить в потаенную каморку, где оборотистая бабенка прерывала у девчат беременность, то первый наказ заронила мне в душу Хелена, когда добралась до подспудных моих чистых помыслов, оскверненных тягой прифрантиться и пожить в свое удовольствие, второй наказ внушила Мать, Мать со стройки, во время той моей словно бы исповеди в потайном шинке; а третий наказ, самый властный, был получен в день страшной гибели смуглянки. После того случая мне так хотелось, чтобы наш ребенок жил, что на многолюдной строительной площадке я едва удержался от желания послушать его возню — как в ольшанике, когда по просьбе Хелены бинтовал ей живот, готовя к встрече с родной матерью.

Таков был тот день, первый день моего восхождения на леса. Ночью мне не спалось, я подошел к окну, собачий король, горбун, в существование которого я снова поверил, выскользнул вдруг со своей сворой из тьмы, распростершейся за проволочным ограждением стройки, выскользнул так внезапно, словно и он, и его псы возникли из самой этой темени. И тут же из-за проволоки, огораживающей стройку, донесся вой.

Вой и скулеж, растекаясь по краю долины, начали опоясывать стройплощадку; сперва эти звуки перемещались у проволоки, которая ничего на земле, кроме самой земли, не огораживала, обозначая участки, отведенные под застройку.

Потом вой отвалил в сторону и отдалился от ограждения, словно гад ползучий прячась от полусвета, создаваемого в ночи маленькими и редко разбросанными огоньками.

Воющая свора забирала все южнее, мчалась сторонкой, вдоль шеренги главных зданий первого городского квартала, освещаемых сверху мощными прожекторами, тех зданий, которые точно с неба падали в эту долину, по одному с промежутком в три-четыре недели.

Вой и скулеж звучали уже прямо против самого высокого дома первого квартала, со вздернутым и озаренным прожектором башенного крана выступом карниза, на котором застыла изваянием смуглянка, прежде чем крикнуть: «Вы ничего не знаете, это была настоящая любовь» — и прежде чем ринуться на сложенный штабелями кирпич.

Наконец воющая свора повернула на север, с тем чтобы у западного края первого городского квартала снова приблизиться к ограждению в зоне полумрака.

Затем опоясывающий стройку вой прильнул вплотную к проволоке там, где она тонула в непроглядной темени.

Я подумал, что вечеринку в честь Матери надо устроить побыстрее. Дам знать Корбасу, Молоденькому, прихватим Хелену, может, какого-нибудь хорошего парня с лесов и кого-нибудь из бетонщиков, уговорю Мать, и выберемся сообща к шинкарю, чтобы посидеть в теплой компании, побеседовать, что-то вспомнить, а что-то предать забвению, посмеяться, повздыхать и вообще приятно провести вечерок.

Я подумал также, что следовало бы лечь и вздремнуть, ибо мастер предупреждал, что завтра пойдем на рекорд кладки. Всего один день побывал на лесах — и уже штурм рекорда...

Мы наверняка попытаемся добиться рекорда, ибо утром, еще до истории со смуглянкой, приходил к мастеру один человек и долго с ним толковал, то и дело приговаривал: «План, план, план», а на прощанье сказал: «Желаю успеха» — и добавил еще многозначительнее: «Слава труду!» Я знал, что после таких разговоров штурмуют рекорды.

ГЛАВА XVIII

Подготовка к штурму рекорда быстро отбрасывала вспять все, что случилось со смуглой брюнеткой, стирала следы и засыпала места, где она останавливалась и где пробегала с мертвым ребенком на руках.

То место, где стояли три девушки, на которых пало подозрение, завалили кирпичом, потому что к дню штурма рекорда кирпича нам подбросили больше обычного.

Ящик с известью передвинули ближе к стене, и «крестный отец» суетился уже в другом месте. Части

башенного крана, которые помогли убежать смуглянке, ночью смонтировали: в день штурма рекорда у стены должен был стоять дополнительный кран. Потолочные плиты, под прикрытием которых смуглянка приблизилась к стене дома, занимали теперь добрую половину строительной площадки — их укладывали так, чтоб потом удобно было переносить и подымать на леса.

Когда начался штурм рекорда, первыми в дело пошли кирпичи из того штабеля, на который упала смуглянка.

То место наверху, где она стояла в своих запыленных сапогах, быстро заложили новым кирпичом, и выступ поднялся еще выше — его надо было довести почти до самой крыши.

И на том месте, куда девушка упала, не осталось ни капли засохшей крови; даже если бы после того, как туда раз-другой торопливо плеснули водой, там бы сохранилось несколько кровяных пятен, их бы унесли вместе с кирпичами, стерли, замазали кладочным раствором, уничтожили, обратили в ничто; а если б эти пятна остались на земле — ведь кровь могла обрызгать землю вокруг штабеля,— их бы уничтожили, обратили в ничто подошвы, кирпичи, колеса и множество разных других вещей, бьющих эту землю, топчущих ее и колющих, давящих на нее своим весом. Так что на месте падения не должно было остаться ни капли крови — таковы порядки на стройке и вообще в жизни.

Когда я вспоминаю тот давнишний день и мысленно гляжу на шестерку ребят, готовившихся к состязанию — я-то был на подхвате, подавал кирпич,— и когда вижу, как подрагивает мускул на лице коренастого, бледного, но сильного парня, самого главного в шестерке, когда вижу, как от волнения бегает у него под кожей на щеке этот живчик, и смотрю мысленно, как они штурмуют рекорд, я спрашиваю себя и других: что случилось, почему сегодня нет таких ребят, почему такие больше не родятся, где те матери, что рожали таких, почему не плодят таких отцы и куда девались те постели с набитыми соломой матрасами и холщовыми простынями, на которых рожали таких парней, и что сталось с колыбелями на полозьях и подвешенными к потолку люльками, в которых укачивали таких ребят?

Вспоминая тот день, я спрашиваю себя: кто загубил, загнал в могилу, источил, как червь, ту великую тягу к труду, какая была у тех ребят?

Спрашиваю себя и всех вокруг: как же случилось, что эти ребята не передали свою великую тягу к труду тем, кто пришел после них?

Бригада должна была возводить стену по правую

сторону от выступа, с которого прыгнула смуглянка. Когда ребята поднялись туда, внизу под ними оказался клочок земли, ускользнувший от стройки, потому что там было кладбище, а такие места не трогают. Дальше виднелся спускавшийся к реке откос, а за ним непригодная для строительства заболоченная низина.

До начала состязания оставалось еще немного времени, и один из парней, лучше других освоившийся с высотой, взобрался на выступ, сказал: «Здесь она стояла, ребята, здесь стояла» — и добавил, что с выступа хорошо видна вся стройка; но тут же спустился, потому что штурм рекорда вот-вот должен был начаться и требовалось всем занять свои места, причем сделать это с умом, чтобы лучше использовать время и не потерять ни единой секунды, так как за секунду можно поймать на лету кирпич и произвести еще какое-нибудь короткое движение; собственно, задача была одна: чтобы кирпич кратчайшим путем и побыстрее достиг стены и лег куда надо.

Многое зависит от каменщиков и подсобных рабочих, а также от того, откуда и как подается кирпич, близко ли раствор, и как его зачерпывают, и как мастерком шлепают на стену.

Ребята собираются работать новым способом, который придумали однажды вечером за стаканчиком, может быть, в тайном шинке, а может, еще где. Они во время штурма рекорда будут класть раствор не под один кирпич, а сразу под несколько.

Когда я вспоминаю, как они готовились к этому состязанию, как распределяли рабочие места, как рассчитывали каждый шаг, каждое движение рук и кирпичей, и когда вижу мысленно их огромное желание побить рекорд не где-нибудь, не перед толпой и фотографами, не под возгласы восхищения, а на стене, на голой стене, на обыкновенной кирпичной стене, под которой никто не стоит и никто не поджидает их с овациями, а лишь тарахтит бетономешалка, на стене, где, кроме них, будут только контролеры, подсчитывающие кирпичи и засекающие время,— когда я вижу это, то жалею, что мне больше не встречаются ребята, которые умеют так работать, которые сходились бы в тайном шинке или еще где-нибудь и, чокаясь жестяными кружками или стаканами, в болтовню о девчонках, гулянках, о ночках в густом кустарнике вдруг вставляли такие слова: «Четырнадцать тысяч кирпичей вшестером за восемь часов кладут варшавские ребята, вот тебе и рекорд, хорошо бы их переплюнуть...»

А отпив по глотку, продолжали разговор о мировых

девчонках со стройки и не чурались крепких слов, но вдруг вставляли ни с того ни с сего: «Надо переплюнуть этих стервецов с Муранова, хоть одним кирпичом положить больше».

А потом, когда еще горячей, сумбурнее и громче становился разговор о девчонках, начинали твердить наперебой: «Срам, ребята, стыд и срам, что варшавяне этого добились, а не мы».

А потом: «Мы им врежем, мы им покажем, они еще убедятся, еще увидят, и пусть нас гром разразит, пусть баба титькой зашибет, если не увидят...»

— Четырнадцать тысяч кирпичей, четырнадцать тысяч штук, это что...

— Это немало...

— Это что...

— Много это.

— Ерунда.

— Много.

— Ерунда.

— Много.

— Если боишься сверх четырнадцати тысяч еще один положить, отваливай.

— Я не боюсь!

— Отваливай!

— Не боюсь. Ей-богу, не боюсь, только не выгоняйте.

— Сказано, отваливай!

— Не боюсь, не боюсь больше.

— Ну ладно уж, оставайся.

Что же случилось, почему теперь нет ребят, которые бы так ссорились, куда девались эти перебранки, мор, что ли, на них напал?..

Шестерка ребят все прилаживалась, а один, рыжеватый, с лицом продолговатым и плоским, как доска, тот, который боялся и говорил за рюмкой, что четырнадцать тысяч кирпичей — это много, на секунду повернулся спиной к пятерым дружкам и торопливо украдкой перекрестился, а потом раскорячился и согнулся в три погибели — с минуту казалось, что он готовится отразить нападение какого-то огромного зверя.

Сразу видно, что парень робкого десятка и душа у него чувствительная; и хоть закаляют его словом грубым и резким, хоть дубят ему шкуру насмешками, бранью, а то и пинком, он все же робеет, потому что душа у него нежная — и тут ничто не поможет, никакое бранное слово, ни «разрази тебя гром», ни «катись к черту» не помогут и не закалят нежной души; может показаться, она зачерствела, благо парень будет заправски ругаться и отмочит тебе даже «крестную силу», что, по-моему,

здесь, на стройке, самое грозное ругательство, и запросто заведет разговор о своей девчонке, и всю ее тебе в подробностях, с головы до ног, опишет, и все, что у нее есть, назовет без обиняков, на языке стройки, но если к нему присмотришься, то поймешь, что это одна видимость, показуха, нежная же, смятенная и робкая душа навсегда останется нежной, смятенной и робкой и вечно будет такой, словно ее только-только вытащили из люльки, и ничем, никакими жизненными передрягами, ее не задубить.

Но эти чувствительные, робкие и смятенные души — как бы украшения большой стройки, ее аленькие цветочки; их можно встретить на любом участке; пересаженные из садов, с лугов и полей, они цветут возле бетона, железа, кирпичей, на дне глубокого рва...

Под выступом, на котором стояла смуглянка с мертвым ребеночком, не слушая красивых и ласковых слов, которыми ее уговаривали не расставаться с жизнью, потому что она уже тогда была не человек, а свергнутое изваяние,— под этим самым выступом разразилась перебранка, чуть ли не ссора — хотя никакая это была не ссора — между бригадой, приступавшей к штурму рекорда, и подсобниками: речь шла о том, как разместить людей и все необходимое, чтобы потом работа шла неукротимым, стремительным потоком снизу вверх.

Когда строят город, перво-наперво вгрызаются в землю, и делают это бригады землекопов, но уже бетонщики, оттолкнувшись от дна котлована, подымаются вверх, а каменщики — еще выше; поэтому рабочий поток должен идти снизу вверх, а во время штурма рекорда — идти вверх быстро, не имея права прерываться.

Но ссора, а верней, перебранка между ребятами из бригады и подсобниками волей-неволей прекратилась, потому что пора было приступать к работе и внизу уже тарахтела бетономешалка.

Ребята на минуту отлучились и забежали за излом задней, северной, стены дома — помочиться; это непременно нужно было сделать, чтобы потом, во время штурма рекорда, не отвлекаться; место же для этого они должны были найти такое, чтобы не облить кого-нибудь из стоящих внизу. Они лили «воду» сверху аж на землю и глядели, как она летит длинной золотистой ниткой и пенится, ударяясь с размаху о твердый грунт, либо о кирпич, либо обо что-то бетонное, и это было их последнее, затуманенное волнением развлечение перед началом штурма рекорда; не успели они вернуться — а возвращаться пришлось торопливо, на бегу застегивая

брюки,— мастер дал знак, и пошло.

До первого пота слаженности не получалось, как оно всегда бывает при спешной и нервной работе. До первого пота рабочий поток никак не устанавливался, всё словно бы заторы образовывались, то там застопорится, то тут рванет, но вот ребят прошиб первый большой пот и облепил каждого с ног до головы, потому что день выдался жаркий.

Когда штурмуешь рекорд, пот на спине, на груди, на ногах, в паху, на шее не мешает, а вот пот на бровях мешает здорово: он застит глаза, перед тобой встает туман, и ты ни черта не видишь. Пот на бровях означает, что нужно вытирать глаза предплечьем, а не ладонью, поскольку ладонь в грязи и кирпичной пыли, а пылью можно запорошить глаза; но рука по плечо мокрая от пота, и лучше вытирать глаза платком, но не всегда платок отыщется в кармане; если же он там лежит, значит, надо вынуть его из кармана, поднести к лицу и вытереть глаза; иначе говоря, пот на бровях во время штурма рекорда означает потерю времени с вытекающими отсюда последствиями — замедлением потока работы; поэтому пот на бровях — скверная штука, и ты частенько его поминаешь недобрым словом.

Кому не случалось в жаркий день работать на кладке стены в напряженной, нервной обстановке, тот не знает, какая брань и какие проклятья, сколько «разрази тебя гром» и «черт подери» обрушивается на затаившийся в бровях и исподтишка заливающий глаза пот.

Но ребята понемногу справились с этой напастью, и их движения, а также движения кирпичей, мастерка, кладочного раствора и других требующихся для работы вещей, избавляясь от рывков, становились более плавными и сливались в один ровный поток.

Рекорд может быть побит только в том случае, если поток работы не прерывается, если бетономешалка, подъемник, подсобники и каменщики работают слаженно и становятся как бы одним существом.

Рекорд может быть побит только в том случае, если ничто не мешает движениям этого существа. Нет ничего хуже всяких задержек — после них нужно опять брать разгон, опять начинать все сначала, а это означает, что нужно снова друг к другу прилаживаться, и движения снова будут неловкими, нервными, а так рекорд не побьешь.

Рекорд ты сможешь побить, только если не будешь думать ни об отце с матерью, ни о братьях и сестрах, ни о смазливой девчонке, с которой у тебя нынче вечером назначено свидание, а почувствуешь себя частицей того

единого существа, в которое должна превратиться работа.

О том, что такое штурм рекорда, можно распространяться долго, можно сравнивать его с разными другими вещами и даже с дракой; если полез в драку, изволь отбросить приятные мысли о тех, кого ты любишь и кто любит тебя, твоя задача — одолеть противника, а для этого, как и на стене, когда штурмуешь рекорд, требуются очень четкие движения, такие, какие стали получаться у ребят после первоначальных рывков и остановок, после первоначального разнобоя, который окончился с первым большим потом.

Теперь движения у всех слаженные, и пошел-полился непрерывный поток — душа всякой хорошей работы, в том числе и работы каменщика.

Если так пойдет, рекорд непременно будет побит, лишь бы работа на каком-нибудь участке не застопорилась.

Застопорилась работа спустя три часа в самом низу — тарахтение бетономешалки ни с того ни с сего стало стихать, сменилось глухим урчаньем, а потом и вовсе прекратилось. Это была серьезная угроза: если на стену не поступит раствор, работа сорвется, и не видать нам рекорда.

Но, узнав откуда-то про сломавшуюся бетономешалку, примчались ребята с соседних участков; наверняка эти ребята, как и штурмующая рекорд бригада, принадлежали к присягнувшему на верность стройке братству юнцов, точно рыба воды жаждущих тяжелой, сложной работы.

Они подтаскивают ящики, сыплют цемент, песок, подбавляют известь, заливают воду и перемешивают смесь ручными мешалками с длинными черенками — спасают бригаду от простоя.

Когда сейчас, спустя много лет, я об этом вспоминаю, что-то подкатывает к горлу; так и хочется выйти на многолюдную улицу города, который мы построили целиком, от фундаментов до труб, и, встав посреди этой многолюдной улицы, крикнуть: «Где же вы, ребята прежних лет?..»

«Тронулся, видно, тот пожилой гражданин,— наверно, услышал бы я сегодня в ответ,— что-то с ним стряслось, стоит и кличет ребят прежних лет».

Парни с соседних участков помогали бригаде, вручную готовя раствор, пока не наладили бетономешалку; непрерывный поток работы, без которого не побить рекорда, был спасен и еще быстрей и ровней потянулся снизу вверх.

Когда прошло четыре часа, мастер подошел к брига-

диру и не слишком громко, чтобы не всполошить ребят доброй вестью, но достаточно громко для того, чтобы услышали все, сказал, что рекорд побит.

При этих его словах по бригаде словно электрический ток прошел, от радости ребят точно оглоушило, на минуту и каменщиков, и подсобников как паралич хватил и весь поток работы будто парализовало, хотя уж ему-то никак нельзя было останавливаться, потому что времени, отведенного на штурм рекорда, оставалось еще четыре часа.

Однако ребята мгновенно вышли из состояния «паралича», который, когда приходит большое удовлетворение, сковывает душу и перекидывается на тело.

Работа снова пошла быстро и гладко, и можно было увидеть, что за мастера каменщики; мало того, можно было увидеть не замаранную ни единым лишним движением самую суть их работы, а стало быть, тот идеальный непрерывный поток, который рождается, когда люди с людьми и предметы с предметами, а также люди с предметами и предметы с людьми достигают полного согласия, можно сказать — братства.

Поэтому время, которое наступило после того, как был спасен непрерывный поток, оказавшийся в опасности из-за поломки бетономешалки, и после того, как был побит рекорд, я рискну назвать священным временем.

Мне повезло: я участвовал в этой работе; правда, на подхвате, где от меня требовались обычные, простые движения — нагнуться, ухватить за край ящик с раствором и передвинуть его, и снова нагнуться, и снова передвинуть ящик; но хоть и подсобником, а я побывал в том потоке, и не я один, многим еще подвалило счастье быть очевидцем того священного времени; но многим не посчастливилось, и они такого не видали.

Вспоминая то время, я думаю, что нам бы сегодня пригодился хоть один из тех священных часов, хоть одна священная минута, поскольку она могла бы породить другие. Что-то произошло, и такие часы пропали, и время больше их не плодит... и нет уже таких ребят, мастерски такие часы творивших.

К концу работы бригада уложила больше 34 тысяч кирпичей в стену главного дома первого городского квартала. Много рядов кирпича было положено поверх того выступа, откуда спрыгнула шальная смуглянка, самоубийца и детоубийца; от того места на выступе, которого коснулись рифленые, оставляющие четкие следы на белой пыли подошвы ее резиновых сапог, стена здорово выросла — если взять за мерку ее рост, то за восемь часов работы, покуда бригада боролась за рекорд и вдвое его перекрыла, стена поднялась на высоту трех

таких смуглянок.

В тот день еще можно было увидеть, на каком уровне она стояла — старую стену нетрудно отличить от только что возведенной,— но вскоре эта разница стерлась, и никто б не указал с точностью место, на котором она застыла как изваяние перед смертью.

Пошел последний, восьмой, час работы, или, если считать с момента, когда был побит рекорд, последний из тех часов, которые я назвал священными, и назвал справедливо, ибо в эти часы ребята отдали работе лучшее, что в них было; получилось так, как если бы работа бригады была не просто работой каменщиков, не просто укладкой кирпичной стены под привычное тарахтенье бетономешалки, с привычным движением подъемника с кирпичами, а чем-то гораздо большим, такой работой, которую не только нужно было довести до конца, но и с великим почтением ей поклониться; получилось, как если бы ребята из бригады, которые в обычное время и водочкой не брезговали, и за девчонками приударяли, и выругаться могли крепко, во время этой работы были больше чем обычными каменщиками, как если бы они хотели не только эту работу побыстрей и получше выполнить, но и почтить.

Это мне запало в душу и навсегда со мною осталось, но теперь к этому примешивается сожаление, что пришел конец такому уважению к работе, такому ее почитанию, оттого я и придумал эдакое: священное время.

И еще раскаленный, горячий кирпич, затесавшийся среди других, холодных,— единственный необычный кирпич, который стал как бы пробным камнем для бригады, а в особенности для бригадира,— заставляет меня так говорить о той работе. А дело было так: примерно за полчаса до окончания работы бригадир, тот самый бледный, но крепкий парень, схватил очередной кирпич и тут же его выронил с наистрашнейшим, уже упомянутым мною проклятием — оно вырвалось у него так, как вырывается проклятие, когда к злости примешивается боль; он выронил кирпич и повернулся лицом к бригаде, чуть согнув в коленях свои кривоватые ноги, и, растопырив пальцы, вытянул вперед руки, где на широких ладонях темнели пятна от ожогов, и тихо сказал: «Глядите...»

Но поток работы, бегущий вдоль стены и снизу на нее забирающийся, нахлынул на него, и он это понял, и еще он вспомнил, что до конца работы осталось полчаса, и встряхнулся, и стал брать обожженными руками один за одним обыкновенные, не горячие, кирпичи и укладывать их в стену, и так непрерывность потока снова была спасена.

Когда мастер сказал, что прошло восемь часов и бригада уложила в стену 34 тысячи 728 кирпичей, ребята первым делом бросились не на поиски того, кто подсунул бригадиру раскаленный кирпич, а к излому северной стены дома, чтобы поскорее «спустить воду», потому что целых восемь часов у них такой возможности не было. Бригадир с трудом расстегнул штаны, так как обожженным пальцам больно было касаться пуговиц — едва утихла рабочая лихорадка, боль круто дала о себе знать и с каждой минутой усиливалась. Застегнуть брюки оказалось еще труднее, чем расстегнуть, бригадир мучился и шипел от боли, но так и не сумел пропихнуть пуговицы в петли, потому что кончики пальцев правой руки были особенно сильно обожжены; в конце концов кому-то из членов бригады пришлось второпях застегивать ему ширинку, поскольку к победителям уже приближались с торжественным видом мастер, начальник участка, секретарь парторганизации и кто-то из дирекции — спешили поздравить героев.

Бригадир не смог с ними обменяться рукопожатием, потому что правая рука болела все сильнее, и ему пришлось вместо ладони подавать запястье.

После этой церемонии мы мигом скатились вниз, чтоб дознаться, кто подбросил раскаленный кирпич. Выяснить, кто это сделал, труда не составляло — кругом люди, ничего не скрыть. Расследование, понятно, надо было начинать от огня, без огня неоткуда было взяться раскаленному кирпичу. А к тому кирпичу — его ухватил бумажкой один парень из бригады и снес вниз, на площадку,— прилипло несколько капель застывшей смолы.

Огонь и смола в этом случае означали многое — фактически все, что нужно было знать, чтобы указать пальцем на виноватого и врезать ему по роже с левой и с правой, а напоследок дать хорошего пинка в зад.

Мы протиснулись между штабелями кирпичей и сразу очутились в том месте, где были кучей навалены жестяные бочонки с варом. Неподалеку от этой кучи горел небольшой костер, а на огне стояла специальная бочка с расплавленным варом — кто называл его варом, кто смолой, но имели в виду одно и то же.

У костра с облепленной варом палкой-мешалкой в руке стоял невысокий парень; лицо у него было красное и веснушчатое, а лоб очень низкий, между черными бровями и черными волосами почти не оставалось просвета, только как бы узенькая прогалинка их разделяла; каменщик, который принес кирпич — он остудил его водой и держал теперь уже без бумажки,— вышел вперед и сунул

кирпич в лицо чернявому смоловару, прямо под нос сунул, возможно даже краем его оцарапав, и спросил: «Узнаешь?»

У смоловара едва заметно дрогнул уголок рта, он попятился и, опершись на свою черную палку, ответил: «Мало ль их на стройке, кирпичей?..»

Парень из бригады тыкал кирпич в лицо смоловару, которому некуда было податься, так как мы окружили его плотным, неразрывным кольцом, а до того еще отобрали палку и придержали за руки; каменщик же все наступал на него, пока не приблизил кирпич вплотную к его лицу, как заслонку, а потом и вовсе прижал, да так, что кирпич приплюснул смоловару нос, и прилип к губам, и коснулся лба.

Парень из бригады, не отрывая кирпича от лица смоловара, сказал: «Приглядись получше, узнаешь?», потом, мазнув его раз-другой кирпичом по лицу, повторил те же слова, с которыми к нему подступил: «Узнаешь?» — и еще крепче мазнул: «Говори, узнаешь?..»

Тогда смоловар отворотил голову, поджал губы, горевшие от немилого поцелуя, и сказал: «Я здесь с самого начала растапливаю смолу».

После этих слов, которые можно было понять так, будто он хочет извернуться и укрыть правду, каменщик наметился еще крепче погладить его кирпичом, но тут смоловар добавил: «Я с первых дней на стройке дроблю, растапливаю и мешаю вар, а больше ничего...»

Это уже меньше было похоже на увертку, хотя чего-то он, возможно, и недоговаривал; но еще что-то ему, видно, все же хотелось сказать, и мы это сразу заметили, и каменщик убрал у него из-под носа кирпич.

Тогда смоловар снова заговорил: «Только это я и делаю, потому что больше ни для чего не гожусь, мне мастер сказал: с твоими руками и башкой только смолу варить — и за спиной у меня шепнул инженеру: этому только смолу варить. Люди переходят с места на место, а я все при костре».

Мы чуть расступились, расширив тесный круг, который поначалу вокруг него сомкнули, чтобы он от нас не удрал и свое получил; расступились, чтоб он не чувствовал себя как зверь в загоне и чтоб говорить ему было легче — нам хотелось услышать, как он додумался подбросить раскаленный кирпич.

А он продолжал: «Мать мне написала: неужто, сынок, ты все при этой смоле? — а я ей отписал: нет, мама, я уже не при смоле, я выше взобрался, кирпичи укладываю на стене; но никаких кирпичей я не укладываю, по-старому варю смолу; привезут мне бочонки со смолой,

сбросят, я их разобью киркой, расколю смолу на мелкие куски и растапливаю; приходят люди с ведрами и говорят: привет, сатана; всегда одно и то же: привет, сатана; это потому, что я вечно разогреваю и мешаю смолу; сразу, как приехал из деревни, где в работниках жил, приставили меня к вару, и так оно и осталось, снова я в работниках».

Кое-кому из ребят надоело слушать его речи, им не терпелось узнать, как было дело с раскаленным кирпичом, некоторые даже не прочь были «прижать» смоловара, но бригадир и те, кто потерпеливее, сказали: «Пусть говорит».

А он: «Никто не спросит: сколько ты бочек смолы растопил? Я целые горы растапливаю, но хоть бы кто подошел и спросил: сколько ты можешь растопить за час, за восемь часов? Кто б ни пришел, у всех на языке одно: привет, сатана. Если с самого начала только и делаешь, что смолу варишь, все до единого опостылеют».

Сказав это, он как бы признался, что подбросил бригадиру горячий кирпич, что раскалил его на своем костре и подложил к тем, которые шли к бригадиру, и никто ничего не заметил, потому что такого никто не ждал, это случилось впервые.

Самые нетерпеливые сочли, что пришло время врезать ему по роже; двое или трое даже шагнули вперед и даже руку занесли, как это обычно делается, когда кому-нибудь хотят дать в морду; и они бы врезали, один уже крикнул смоловару: «Ты, философ!», а другой: «Ты, свинья паршивая!», но те, у кого терпения было побольше, и в том числе бригадир, удержали своих скорых на расправу дружков, потому что на свинство, которое учинил смоловар, посмотрели иначе: очень уж хотелось парню попасть на стену, до того хотелось, что в голове у него от этого желания помутилось, и он поступил как свинья; если бы он так поступил, не имея этого огромного желания, или если бы, кроме желания перейти в каменщики, у него была бы еще такая возможность, тогда б нам осталось только одно: бить морду, бить морду, не жалея сил; однако он поступил по-свински, потому что очень хотел, но не мог, потому что огромное желание и невыполнимость его настолько в парне перемешались, переплелись и перепутались, что он превратился в свинью, в несчастную свинью — а с таким что сделаешь?

Между «просто свиньей» и «свиньей несчастной» — целая пропасть. Свинью можно хлестать по морде сколько влезет, а как быть с несчастной свиньей? Что с таким делать? Дашь ему оплеуху, он либо попытается ответить тем же, либо расплачется, но желание перейти от костра

на стену и невозможность перехода переплетутся и перемешаются в нем еще сильнее, и он может стать еще более несчастным и еще более похожим на свинью.

Услыхав брошенное ему: «Ты, философ», «Ты, свинья паршивая», смоловар попятился и зашевелил губами; казалось, он искал слова, которые могли бы сдержать этих нетерпеливых, напирающих на него парней, но не нашел ничего лучше бессмысленной литании: «Ненавижу вар, ненавижу вар, ненавижу вар...»

И повторял ее до тех пор, пока слова не превратились в жалобное повизгивание, а на глаза не навернулись слезы.

Мы растерялись: непонятно было, то ли набить ему морду, то ли простить; морду бить — может, чересчур круто, ведь в нем же переплелось это огромное желание и невозможность его осуществить; простить — пожалуй, слишком мягко, он ведь поступил как свинья, обжег бригадиру руки в самом конце работы, когда надо было уложить в стену как можно больше кирпичей; надо найти что-то среднее между оплеухой и прощением и с этим его оставить, пусть знает, пусть поразмыслит, чтоб в другой раз не захотелось подбрасывать раскаленные кирпичи, чтобы не вошел во вкус.

Пора уже было с этим делом покончить, уйти от костра и освежиться холодной водой, но никто не знал, каким должен быть у этого дела конец.

И от этой неопределенности стали ребята прохаживаться вокруг да около смоловара, ковырять носками сапог землю и вообще вести себя по-дурацки; только один, самый высокий, поглядев, как остальные бессмысленно топчутся на месте, сообразил, как быть; ему пришла в голову неплохая мысль: подковыривая правым носком землю, он подошел к смоловару и дал ему крепкого пинка в зад, должно быть, он посчитал, что такой пинок — среднее между оплеухой и прощением, и от прощения в нем кое-что есть, и от наказания.

Ребята словно того и ждали — вдруг у всех развязались языки, и они сказали виноватому: «Гляди, сукин сын, чтобы больше такое не повторилось»; и было в этих словах тоже кое-что от прощения и кое-что от наказания.

Виноватый, получив пинка, отскочил в сторону, но споткнулся, зацепившись за ком холодной, застывшей смолы, и упал, а подымаясь, застрял не то в полуприседи, не то преклонив одно колено и, ничего не говоря, поглядел на черпак для жидкого вара — возможно, у него мелькнула мысль: а не зачерпнуть ли расплавленной смолы и не плеснуть ли ею в нас; но даже если такая мысль и появилась в его башке, то лишь на мгновенье,

потому что, оставаясь в прежней своей, полублагочестивой, позе, он сразу же отвел взгляд от черпака и посмотрел на нас невидящими глазами, будто никого и ничего вокруг не было, и стал глядеть куда-то в пространство.

А мы пошли прочь, оставив его в этой дурацкой полублагочестивой позе, то ли коленопреклоненным, то ли нет; когда мы обернулись, он по-прежнему так и стоял; когда, отойдя подальше, снова обернулись, он еще не разогнул колен, застыв в этой позе, словно кто-то навечно превратил его в изваяние.

Не знаю почему, мне припомнилась смуглая брюнетка; казалось бы, истории у них совершенно разные и люди они тоже совсем разные: она убила ребенка, двоекратно, можно сказать, убила, и убила себя, стала сперва детоубийцей, а потом детоубийцей и самоубийцей одновременно, этот же провел каменщиков и подсобников, подсунув бригадиру раскаленный кирпич; но оба они на миг замерли, как бы превратившись в изваяния, и это их сближает. Правда, смуглянка замерла и превратилась в изваяние на высокой стене, над городом, а смоловар застыл как изваяние на голой земле, возле бочки с жидкой смолой; правда, она замерла, гордо, нечеловечески выпрямившись, а он — смиренно полуопустившись на колени; правда, она не сошла со стены, не отступилась от своего, а он поднялся на ноги и побрел мешать свою смолу, но и то и другое было несчастьем — и ее гордость, и его смирение.

Когда мы напоследок еще раз обернулись и посмотрели на виноватого, он уже стоял возле своей бочки и помешивал черной палкой горячую, расплавленную смолу.

На пути к баку с водой — а мы словно в райские кущи рвались к холодной воде — нас перехватили какие-то красиво одетые люди с блокнотами; они улыбались ребятам и кричали: «Поздравляем, поздравляем!» А потом стали дергать их за рукава грязных рубах, похлопывать по спинам, и опять цеплялись за рукава, и спрашивали, как им удалось побить рекорд, и говорили, что хотят написать об этом в газетах.

Ребята рвались к холодной воде, потому что губы у всех пересохли и тело стало липким от грязи и пота, но люди с блокнотами загораживали им дорогу и не подпускали к баку. Больше других досталось бригадиру; пооткрывав блокноты, газетчики вились вокруг него с одним и тем же вопросом: «Как бригада сумела побить рекорд?» Он рассказывал, как мы побили рекорд, но им все было мало, им хотелось узнать про каждый сантиметр того

пути, который мы проделали, чтобы перекрыть рекорд варшавян; они не понимали, как мешают бригадиру и другим ребятам, когда те рвутся к холодной воде.

Нам тогда ничего этого не было нужно — ни поздравления, ни заметки в газетах, ни ордена,— мы мечтали только о холодной воде. Но некрасиво бы получилось, если б мы крикнули этим журналистам: «Проваливайте, мы умыться хотим!» Надо было что-то им сказать, и вот бригадир и другие ребята — каменщики и подсобники — говорили, что побили рекорд варшавян потому, что правильно подобрали и с толком расставили людей и впервые применили новый метод кладки. Они стояли и отвечали на вопросы, как ни манила их холодная вода: шустрые и довольные журналисты, как нарочно, перехватили бригаду возле уложенных штабелями кирпичей за углом дома — в двух шагах от бака; стояли и рассказывали, хоть им и было тяжело, потому что огромный жестяной бак с водой мозолил глаза и каждый уже представлял себе, как умывается. Но эти, с блокнотами, закидывали их новыми вопросами: «А как именно были подобраны и расставлены люди, чем отличается новый метод кладки кирпичей от старого?»

Журналисты услышали от ребят правду, но правду, я бы сказал, приукрашенную, правду для людей, потому что в той нашей работе было две правды: одна, показная, витринная, для всего света, а вторая для нас. Правда для нас была такая: мы обливались потом, провоняли потом, нам хотелось помочиться, но мы крепились, чтоб не потерять ни минуты, а переполненные мочевые пузыри болели, на руках и в паху появились ссадины и потертости, горевшие от прикосновения даже штанин, даже рукавов рубах, мы злились на матерей и отцов, на наших девушек, которые нам все дозволяли, на луга и поля, потому что мысли обо всем этом лезли в голову и приходилось их гнать, подчас с трудом, но так нужно было, чтобы не раскиснуть, не задуматься, не размечтаться: зазеваешься — не видать тебе рекорда. Вот какая была наша правда.

Правда для других и правда для нас: обе были настоящие, но наша — самая что ни на есть настоящая.

Наконец бригада отделалась от назойливых людей с блокнотами, и ребята кинулись умываться, и главной в тот день стала минута, когда можно было зачерпнуть горстями холодную воду и ополоснуть лицо.

ГЛАВА XIX

Снова настало время, и потянуло нашу братву в тайный шинок: выпить, поговорить, помянуть старое — попасти душу на зеленом лужку дружбы, как я однажды сказал.

Даже если разговору об этом не было, в воздухе висело, что пора братве в шинок, каждый чувствовал: и Матери это нужно, и ему самому. Стоило с любым перекинуться взглядом, чтобы понять: всем охота своей компанией двинуть в забытый сарай; и еще: худо бы нам жилось, если б не было возможности вот так, всем вместе, собраться и посидеть на колодах за кружкой винца.

Такие встречи наперед не задумываются, потребность в них возникает внезапно; точно трава из земли, родятся такие встречи от одинаковой потребности каждого из нашей братвы.

Братва будто вдруг приказ получает: мол, надо собраться, больше ждать невмоготу; и такое всех охватывает волнение, такое нетерпение, что всякий понимает: это должно произойти сегодня, а не завтра, потому что завтра уже будет поздно.

Ну и мы идем, и по одному тому, как несут нас ноги, ясно, что всем хорошо.

Идем: Мать, Хелена, Корбас, Молоденький, я и тот рыжеватый с продолговатым, плоским, как доска, лицом, который боялся штурмовать рекорд, хотя умел неплохо работать,—робкая душа, неведомо как к нам прилепившаяся. Румяного нет, он откололся от братвы, Хелена и ножи нас разделили.

Похоже, Румяный затаил на меня злобу, он ничего не забыл, к тому же свалял дурака в Глухой канаве и оттого, наверно, еще больше осатанел, и в кармане у него, наверно, уже лежит новый нож. Измятый Мачек еще никого не подводил, на худой конец мог сказать: «Сейчас нету, но дня через два-три-четыре будет». Измятый никогда не обманывает. Так что в кармане у Румяного теперь уже снова все так, как было прежде, до того вечера, когда я отнял у него нож.

Мне вспомнилась та минута, как нельзя больше подходящая для моего ножа; другой такой уже не будет: замахнулся бы сплеча, и с этой историей было б покончено раз и навсегда; но откуда-то приволоклись страхи, напоминания да предостережения и раскачали во мне мои колокола, и от всего этого я размяк, и рука отказалась служить ножу, и потому эта история еще не закончилась; если б снова настала для моего ножа

подходящая минута, я бы, возможно, не поддался, сколько б ни били тревогу мои колокола.

Я поглядел на Мать, ей радостно было шагать с нами, она сказала: «Трудней нам теперь собираться, разлетелись вы по всей стройке», а потом еще добавила: «Как хорошо, что мы собрались и идем вот так, все вместе».

А я вспомнил свою исповедь в тайном шинке и звучный голос Матери: «Не убивай его, сынок, не убивай его».

Мы шли по ровному полю, день кончился, начиналась ночь, позади были огни стройки, впереди чернела деревня; еще немного, и мы дойдем до старой толстой ивы, там дорога превратится в тропку, и эта тропка приведет нас на выгон, мы пересечем его, обогнем кладбище, перережем низинку и выйдем прямо к сараю.

Едва мы переступили порог тайного шинка и протиснулись между колодами, я и думать забыл о своем ноже и о той, упущенной, минуте, потому что от этих раскиданных как попало колод, от досок, лежащих на низеньких пузатых кругляках, от пыли, въевшейся в воздух дровяного сарая, и от жестяного, до краев налитого бидона подступила и вселилась в меня радость, сразу же слившаяся с общей радостью.

Мы расставляем колоды, Матери отводим почетное место, усаживаем ее на самый лучший, крепко стоящий на земле чурбан.

Мы чокаемся кружками, кружку Матери обстучали со всех сторон — сразу видно, что вечеринка в ее честь.

С первого взгляда видно, как радостно нам, что у нас есть Мать; и ей тоже радостно, это можно было понять еще по дороге сюда, а особенно заметно стало в сарае, когда рассаживались и когда начинали беседовать.

Беседовать — это значит прожить отведенное на нашу вечеринку время, и расходовать его мы стараемся бережно, потому что — я бы сказал — нам хочется получить как можно больше пищи для своих душ, и с этим проснуться наутро, и с этим пойти на работу, и с этим жить, покуда всех разом снова не потянет неудержимо сюда; дожить с этим до такого дня, когда один взглянет на другого и без слов поймет, что уже пришло время, пора подкрепить душу.

Поэтому мы так бережно, стараясь не потерять ни минуты, расходуем общее наше время, подымаемся со ступеньки на ступеньку, словно шагаем по пологой лестнице.

Нам хочется наше время растянуть, и мы знаем, как это делается: большими глотками не пьем, вперед не рвемся, чтоб прочувствовать это мгновенье, чтобы не сломать и не умалить возвышенных чувств.

После первых глотков название «братва» больше нам не подходит, в тайном шинке братва превращается в семью — мать с детьми. Корбас — старший сын, потом, если считать по годам, иду я, за мной Молоденький, за Молоденьким Хелена, и последним — тот рыжеватый, плосколицый, который прилепился к нам, потому что чувствовал себя одиноким, а мы его приняли и полюбили; пусть будет младшим сыном Матери, родная ее дочка, оставшаяся в деревне, не в счет, она не дочь, а выродок.

Чувствуют ребята, что вечеринка нынче у нас в честь Матери, понимают, что это значит, вот и рассказывают ей о своих заботах; по морщинистому лицу Матери пятнами пошел румянец; пусть наслушается всласть, пусть отпустит побольше грехов, пусть знает, что нужна нам.

Даже плосколицый, застенчивый — Робкая Душа — и тот несмело о чем-то докладывает: успел уже, значит, наломать дров. Мать счастлива — еще одним грешником стало больше.

Хорошо нам в сарае, свет слабый, глаза не режет, вокруг пылинки пляшут, в пыльном облаке лысина и красная рожа хозяина — этот всегда начеку, только и ждет, чтоб позвали.

Хорошо нам в этом сарае; каждый понимает, что такими минутами надо дорожить; на этой бешеной стройке всякое случается — и хорошее, и дурное.

Хорошо нам с Матерью в этом дровяном сарае, в пыли и вонище, которая сквозь щели в стене просачивается из свинарника.

Ребята, рассказывая Матери про свои дела, старательно подбирают выражения; иной раз у кого-нибудь завертится на языке похабное словцо, а случается, и вырвется сгоряча ругательство или матерщина, но такой тотчас спохватится, хоть бы и успел уже прилично набраться, и оборвет себя на полуслове, все равно как язык прикусит, ну а если очень уж распалится да разгонится, с ходу заменит проклятие другим, помягче, — из уважения к Матери и еще потому, что знает: никого лучше ее на этой бешеной стройке ему не найти.

Мать пьет маленькими глоточками, крепится, хоть ее и тянет к кружке, может, оттого тянет, что она снова «исповедует» и «отпускает грехи» ребятам и накладывает епитимьи, чтобы уберечь их от зла.

Прошло порядком времени, больше обычного, прежде чем она начала свою излюбленную проповедь, начала, как всегда, со слов: «Помните, покупайте себе всё только на свои кровные...» Никак не заживала у нее в душе рана, нанесенная родной дочерью, которой она все отдала, а та каждым грошем ее попрекала; стоило Матери немного выпить, душа начинала болеть, а Мать пыталась проповедью утишить боль.

Но в тот вечер, который я описываю, эта проповедь затянулась; Мать, отхлебнув несколько глоточков из кружки, вдруг поднялась со своего чурбака, выпрямилась, вскинула голову, и мы тоже встали, потому что уважали ее и не могли позволить, чтобы она, обращаясь к нам, стояла, а мы сидели; и тогда Мать сказала: «И не кланяйтесь, дети, не кланяйтесь...» И это было продолжение ее проповеди.

Сказав так, она запнулась, помолчала немного, глядя на небольшую керосиновую лампу, висящую на стене сарая, а потом вернулась к своей проповеди: «Пусть лучше про вас скажут: хамье неотесанное, чем станете кланяться; дикарями лучше пусть назовут, чем ломать шапку...»

Опять она приумолкла, поглядела на потолок сарая, сбитый из наспех подобранных, на скорую руку сколоченных досок, и опять вернулась к своей проповеди: «Нелегко это, дети мои, нелегко, прадед кланялся, дед кланялся, отец кланялся, не кланяться трудно, но вы не кланяйтесь».

Потом Корбас прочитал свою проповедь, потому что и у него наболело, сидела в его душе заноза, которая напоминала о себе, едва он душе даст волю. В обычные дни ее как бы и не было, и Корбас был вроде не тот Корбас, а другой, без занозы; но стоило ему подзаправиться, заноза припоминала о себе, и тогда он произносил проповедь о том, кого можно считать настоящим другом: «Только того, кто жил в нужде и из нужды выкарабкался; это уж будет человек проверенный, такой проверку проходит, когда из нужды выкарабкивается, тут волей-неволей надо показать, чего ты стоишь; но ежели, выкарабкавшись, человек тот отступится от своих и пристанет к белоручкам, маменькиным сынкам, пустобрехам из большого города, к тем, кто с пеленок к свежим булочкам с маслицем да к целованию ручек приучен, тут уж, братья и сестры, одно остается: плакать, заливаться горючими слезами, как по покойнику».

У Матери в проповеди: «дети мои», а у Корбаса: «братья и сестры...»

Если Мать, к примеру, скажет: «За мной, дети мои,

помните, дети мои», то Корбас: «За мной, братья и сестры, помните, братья и сестры».

А другой еще как-нибудь скажет, и так все, потому что, если на то пошло, у каждого из нас сидела в душе заноза и каждому было о чем прочитать проповедь; и когда я теперь вспоминаю ту встречу или другие, которые по нынешней моде называю вечеринками, то спрашиваю себя: «Почему мы их устраивали, почему приходили дни, когда с одного взгляда каждый понимал: нам до зарезу нужно собраться вместе?» А было так потому, что нам сильно докучали эти занозы и тянуло провести вечер вместе, так как каждый знал, что в компании они докучают меньше.

Я говорю «вечеринка в честь Матери»; это чистая правда, но главное, нам хотелось, чтобы ссадины на душе поменьше свербили.

Наши откровенные признания Матери, которые я называю исповедью, и ее наставления, и ее слова, что не нужно терять надежду, ибо все поправимо, которые я называю отпущением грехов, и подсказка, как выпрямить жизненный путь, иначе говоря, добрый совет, который подчас трудно выполнить, но который от этого не становится хуже — я такие советы называю епитимьей,— все это помогало залечивать ссадины на душе.

Братву нашу уже не отличишь от настоящей семьи, мы все крепче любим друг друга, с каждой минутой нам становится все лучше, мы словно бы возносимся ввысь и потому боимся, как бы хозяин не шепнул: «Сматывайтесь, в саду шныряет какой-то подозрительный тип».

Мы очень этого боимся и не можем утаить страх — нет-нет да у кого-нибудь вырвется: «Еще не время», будто он один услышал шепот хозяина, хотя на самом деле ничего не слышал, потому что слышать было нечего; но уж очень он в глубине души страшился, что придется уйти из сарая, и оттого услыхал шепот, которого не было.

Тот рыжеватый, с продолговатым, плоским, как доска, лицом — Робкая Душа — так расчувствовался, что затянул песню: «Провожала меня матушка во чужую сторону», но тут хозяин подошел к нему и приложил палец к губам, и пришлось Робкой Душе замолчать, потому что здесь петь не полагалось. Выйдешь в поле, тогда, пожалуйста, пой.

Молоденький, который, когда дело касалось выпивки, очень себя соблюдал, сегодня позволил себе чуть больше обычного, и потянуло его в пляс; стал он топтаться да

подскакивать на заваленном щепой и стружками полу, но хозяин подошел к нему, усадил обратно на колоду и сказал: «Выйдешь в поле, пляши на здоровье».

Говоря о той вечеринке, я хочу еще добавить, что на первый взгляд ничего особенного там нельзя было услышать, кроме признаний да добрых советов, но, если вникнуть, вечеринка эта дала нам то, без чего нельзя было бы выдержать в этой долине, где бушевала стройка, то, в чем мы нуждались, чтобы, когда наступит лихая година, не повалиться на колени в грязь и не сказать: «Больше не могу, делайте со мной что хотите».

Мать без устали исповедует, отпускает грехи и накладывает епитимьи. Больше всего у нее хлопот с Робкой Душой, тот словно до родной матушки дорвался, да что там родная мать — той, которая его на свет родила, он бы не признался, что сохнет по одной девушке, которая его знать не хочет, ей небось нужен кремень, а не такой, как он, мягкотелый; перед родной матушкой он бы не уронил слезы, вспомнив о той красотке, что на него плевала и в кусты с ним не захотела пойти, а при разговоре с Матерью глаза у него подозрительно заблестели.

Хозяин подошел к нам внезапно, когда мы меньше всего этого ожидали; нагнувшись, шепнул: «Сматывайтесь, в саду какой-то подозрительный тип шныряет», а нас точно кто обухом по башке саданул.

ГЛАВА XX

В обратный путь мы двинулись все вместе, в низинке завели песни да пляски, Матери даже пришлось нас одернуть: «Дети мои, что-то уж больно вы разгулялись».

Одернуть одернула, а сама радовалась, что нам хорошо и весело; и то, что одергивала, означало, что она радуется; и слова: «Дети мои, да вы что, сдурели?» — тоже означали, что ей радостно.

Глядя на Мать, можно было подумать, что вернулись лучшие ее времена, когда она властвовала над душами прихожан с четвертого участка земляных работ. Чуть пошатываясь, шагает она по лугу, довольная, как пастырь, обретший утерянное стадо свое; снова все так, как бывало в лучшие времена... и дальше так будет — похоже, она в этом уверена, иначе не шагала бы бодро-весело по луговой траве.

Потом потянулись поля, которые подступали к самой

стройке. Мы долго шли проселком, воздух был свежий, бодрящий, и из нас успели выветриться пары спиртного, которого мы и выпили не так-то уж много; если же говорить о Матери, то она выпила меньше всех, потому что следила за собой, а мы ее не уговаривали.

Когда добрались до огней стройки, «семья» стала распадаться. Первым откололся Корбас, он надумал идти в свой барак кратчайшей дорогой. С Корбасом увязался плосколицый, прозванный Робкой Душой. Молоденький мог бы пойти с ними, потому что жили они в одном бараке, но он сказал, что предпочитает другой путь; я понял, в чем дело: ему приспичило поглядеть, как работает его кран в ночную смену.

Когда и Молоденький ушел, остались я, Мать и Хелена; мы с Хеленой хотели проводить Мать, но она сказала, что пойдет с нами. Решили, что сперва мы с Матерью проводим Хелену, а потом я провожу Мать — они жили в разных местах.

Когда мы остались втроем, Мать, посмотрев на нас в упор, ни с того ни с сего сказала: «Пора подумать о венчании, дети»; а я ей на это ответил: «Знаю, Мать, обвенчаться нужно, хотя самый главный обет мы уже и так друг другу дали, но без венчания не обойтись, как-нибудь соберемся и обвенчаемся... Все недосуг, за работой дня не видно, но как-нибудь мы пойдем и обвенчаемся; а после венчания молодые пригласят гостей в шинок, весь сарай целиком снимем на эту ночь, и ты, Мать, с нами пойдешь, и вся наша братва, будем гулять и веселиться, да, Мать, мы будем гулять и веселиться, а родные наши матери в это время будут спать в деревне, да-да, Мать, родные матери и отцы в это время будут спать, пусть их...»

Мать сразу все поняла и, точно беспокойно запрядавшего ушами коня, стала похлопывать меня по спине и приговаривать: «Ну, не надо, сынок, зачем уж так-то, все будет хорошо, сынок, не надо...» А другой рукой обняла Хелену и повторяла: «Ну, не надо, дети, все будет хорошо, не надо, дети, зачем так...»

Мать нам с Хеленой свое, а я себе свое: «Если уж ты, голь перекатная, обрюхатил девушку в канаве, на земле, под звездами, то и венчаться тебе придется втихую; обвенчают тебя, голь перекатная, а в деревне твоей ничто с места не стронется, телеги как стояли, так и будут стоять в сараях или выедут в поле, но никто их по-праздничному не украсит, никто лошадям в гривы цветных лент не вплетет, и не заиграет оркестр... А потом, голь перекатная, отпразднуешь ты свою свадебку в дровяном сарае, где устроен тайный шинок; и пока

будут гости гулять на твоей свадьбе, родные отцы и матери молодых, у которых ни кола ни двора, будут спать далеко отсюда, в своей деревне, и вся деревня будет спать; и так оно у тебя и дальше пойдет, не как у людей, потому что сам ты голь перекатная, и в роду у тебя голодранец на голодранце, и жизнь ты свою начал не по-людски, и бешеная эта стройка еще из тебя человека не сделала...»

А Мать точно услыхала, какие я про себя говорю речи, и опять: «Не надо, сынок, все будет хорошо, зачем уж так-то...» И сухой своею рукой, и своими словами, скороговоркой этой «ну не надо, ну не надо, сынок...», успокаивала скорбящую, бесприютную душу и добилась своего: вернула спокойствие и даже веселье, подаренное нам на той вечеринке, но покинувшее нас, когда моя душа, а также, я уверен, душа Хелены омрачились и полились сперва громкие, а потом беззвучные, но услышанные добрым сердцем Матери сетования и стоны.

Мы с Матерью проводили Хелену до самого барака, а потом свернули на ухабистую вертлявую тропку, которую протоптали своими сапогами строители, сокращая путь на работу; и мы, сворачивая на эту тропку, тоже сокращали путь к бараку, где жила Мать.

На горбу свежей насыпи — тропка и через этот горб переваливала, для нее словно бы не существовали преграды, всякие там канавы, кучи земли, высокие насыпи, поскольку они не существовали для сапог строителей, да и не могли существовать: строители сокращали себе путь, спеша на работу,— так вот, на горбу этой насыпи, которую в тот вечер, точно театральную сцену, заливали ярким светом три давно здесь висящих, можно считать знакомых, фонаря, Мать сказала тихо: «Мне б тут присесть»; вдруг, ни с того ни с сего, на сырой земле, на ярком, слепящем глаза свету: «Мне б тут присесть» — сказала.

Можно б, конечно, и присесть, несмотря на поздний час, но не здесь же, не на этой насыпи, через нее бы перемахнуть побыстрее, не годилась она для того, чтобы сидеть на ней и вести разговоры о судьбе, о жизни; однако вижу, Мать уже садится на первый попавшийся ком мокрой глины и руками, как двумя подпорками, упирается позади себя в землю.

Я ей говорю: лучше б сойти с этой насыпи и — если уж так хочется посидеть на воздухе — присесть на скамейку под деревом, растущим неподалеку от ее барака, но она моих слов как бы и не услышала и начинает говорить совсем о другом, глядя на фонари, спрашивает: «Кто

там свет убавил, сынок, кто, скажи кто?» — и, не дожидаясь ответа, снова спрашивает: «Почему огни померкли, кто убавил свет, скажи мне, сынок, скажи, кто свет убавил?»

А огни-то нисколько не померкли, горели так же ярко, как всегда, но она словно не видела их слепящего света, а должна была бы видеть, потому что прямо на фонари глядела; и опять: «Почему померкли огни?» — а потом: «Куда это огни летят, почему улетают от нас так далеко, за последний дом, за последний дом?»

Это — «за последний дом» — ей уже трудно было выговорить, слова эти она и не произнесла даже, а пробормотала, не разжимая непослушных губ; я это заметил: лицо Матери было залито ярким светом, и я видел, что, выдавив слова «за последний дом», губы ее крепко сжались, прямо-таки сплющились, будто ей вдруг стыдно стало за то, что она сказала, и боязно, как бы снова чего не вырвалось, слово какое-нибудь или еще что, и хотелось, собрав все силы, загородить этому слову дорогу, а оно, назло ей, упрямо напирало изнутри на губы, так напирало, что она больше не смогла противиться и сквозь стиснутые губы просочилась красная пена, которая скапливалась в уголках рта, и тогда видно стало, что это кровь; в ту же минуту две подпорки, руки то есть, подломились, и, не поддержи я ее, она упала бы навзничь.

Я крикнул: «Мать, что с тобой, Мать, скажи, что с тобой?..» Она хотела мне ответить, но не смогла, слова утонули, захлебнулись в крови, которая хлынула из нее, заливая одежду.

Тогда я взял ее на руки и, стоя с ней на мягкой, сырой насыпи в ярком свете трех огней, снова попросил: «Скажи что-нибудь, Мать»; она же вместо ответа легонько похлопала меня по спине: наверно, ей проще было это сделать, чем выговаривать слова, проще таким способом показать, что она в сознании и еще жива.

Я постоял немного, держа ее на руках, на насыпи, не зная, как поступить: то ли идти с ней в барак, то ли в медпункт, где дежурит врач; пожалуй, подумал я, лучше отнести ее прямо в медпункт, это выйдет не намного дальше, особенно если махнуть напрямую, сперва через пустырь, а потом вдоль склада бетонных панелей; за складом начинается хорошая дорога, по ней я и донесу Мать до врача.

Спустившись с насыпи, я выбрал для ориентира два штабеля потолочных балок — они были хорошо освещены и видны издалека; внизу я снова окликнул Мать: «Ну что, Мать, как ты?» А она снова похлопала меня по спине,

давая знать, что слышит меня, а раз слышит, значит, дела не так-то уж плохи, она еще в себе, в сознании, и жива.

Однако я просчитался, решив, что между насыпью и складом бетонных панелей не встретится никаких препятствий; самую малость не доходя окружавшей склад проволочной ограды, я наткнулся на глубокую и широкую, недавно вырытую канаву — я по земле узнал, что она вырыта недавно, может какой-нибудь день назад; канава была длинная, такую с Матерью на руках нескоро обойдешь; вот тебе и неотложная медицинская помощь, а ведь это сейчас было самым важным: как можно быстрее доставить ее к врачу.

Я растерялся и чуть было не повернул обратно, к бараку, но тут увидел несколько длинных толстых досок, и меня осенило: осторожно опустив Мать на траву — каким-то чудом там уцелело немного травы,— я сказал ей: «Полежи чуток, Мать, а я сделаю мостки, иначе канавы не перейдешь»; перебросив три доски через ров, с одного края на другой, я снова, как раньше, взял Мать на руки, а она похлопала меня по спине в знак того, что понимает, в чем дело, и ей ясно, что без мостков было не обойтись. Доски под нами прогнулись, но выдержали, и мы благополучно перебрались на другую сторону.

Еще я не знал, что за складом бетонных панелей свален железный лом, раскиданы негодные — как мне показалось — части бульдозеров и тягачей и погнутые шасси автоприцепов; все вместе это смахивало на заброшенный склад старого железа.

Чтобы попасть на хорошую дорогу, надо было пробраться между нагромождениями железа, а это оказалось не просто: приходилось то через какие-то кучи перелезать, то взбираться на скользкие, а иногда и ненадежные, с грохотом под тобой проламывающиеся жестяные короба и при этом еще следить, чтобы Мать ногами — я уж не говорю о голове — не ударилась о железо.

Делать было нечего — пришлось посреди свалки устраивать Мать по-другому; до сих пор я нес ее перед собой на руках, это еще ничего было на просторном, не захламленном пустыре, но среди торчащих во все стороны железяк так нести Мать я не мог и перебросил ее, как мешок, через левое плечо; сделав это, я сказал: «Так нужно, Мать, здесь полно железа»,— а она той же самой рукой, которая теперь, когда я по-иному приладился к своей ноше, свисала вдоль моего туловища, ткнула меня в бок, давая знак, что прекрасно все понимает.

Я здорово намаялся, пробираясь через эту свалку, с

ног до головы покрылся липким потом, капли пота, стекая со лба, застилали глаза, а под ногами была вязкая грязь, в ямах и рытвинах стояла вода — только поглядывай.

Надо было хоть немного перевести дух. Я уложил Мать на валяющийся плашмя на земле вогнутый нож от большого бульдозера — лучше места среди этой грязи и воды было не найти — и сам присел рядом; Мать дышала тихо и ровно, я не задавал больше вопросов, чтоб ее не мучить, она лежала на этом громадном ноже, как большой ребенок в большой колыбели; отполированный землей стальной нож сверкал под косыми лучами фонаря, висящего на краю площадки, и Мать была похожа на большого ребенка в серебряной колыбели.

Возле ножа проходила дорога, но не та, удобная, на которую я рассчитывал, а другая, «вроде бы дорога», каким несть числа на стройках,— просто две колеи, продавленные в мягкой земле, вот и все; я сразу понял, что колеи свежие — можно даже сказать, свежохонькие,— в таких вещах я разбирался, да и хорошо видные на свету брызги жидкой грязи о многом говорили: они как бы еще были в движении, еще потихоньку стекали кое-где по крутым краям колеин, и земля в рытвинах еще подрагивала — это означало, что недавно здесь проехала тяжелая машина и, похоже, должна проехать другая; я не ошибся: вскоре послышалось надрывное рычание мотора, и тут же показались и надвинулись на нас два ярких огня.

Я встал между колеинами, поднял руку, и машина остановилась; из кабины выскочил чернявый парень и спросил: «Чего тебе?» — а я ему сказал: «Несу женщину в медпункт, плохо ей стало, может, подбросишь нас, тяжело мне ее так нести».

Парень подошел к стальной лохани, к серебряной колыбели, поглядел на Мать и сказал: «Я бы с удовольствием, браток, да ты видишь, что у меня на самосвале, не класть же ее в жидкий бетон, а в кабине я сам едва помещаюсь, мне туда шестерен для бетономешалок напихали, велели отвезти», а я ему свое: «Может, сумеешь как-нибудь пристроить», а он мне: «Нету места, браток, некуда ее приткнуть». Так мы с ним толковали, покуда парню не надоело и он не сказал: «Ты что, дурной, сам видишь, никак невозможно», а потом добавил: «Не могу я здесь с тобой стоять, бетон застынет и меня же взгреют, спешить надо, бетон-то жидкий, застынет в два счета, а мне намылят шею»; и потом, уже подбегая к кабине, крикнул: «Опаздываем мы, корпус возле кладбища не успеваем в срок сдать» — и еще бросил на ходу: «Слава

труду!» — и запустил мотор; колеса поначалу забуксовали, но быстро нащупали под грязью твердый грунт, и самосвал рванул с места, мотор ревел немилосердно, а парень все поддавал газу, опасаясь, как бы у него не застыл бетон.

А я нагнулся к стальной колыбели, поднял Мать, перебросил через плечо и зашагал в сторону хорошей дороги; я еще раз спросил: «Ну как ты, Мать?» — а она легонько ткнула меня в бок.

Я подумал: донесу ее до хорошей дороги, а оттуда до медпункта рукой подать, и ускорил шаг, потому что плохо различимый в полумраке участок земли между свалкой железного лома и хорошей дорогой показался мне — когда я поглядел вперед, подняв Мать со стального ножа,— вроде бы повыше и почище, а местами и вовсе сухим; но я ошибся, грязи здесь оказалось еще больше, чем на свалке, и вдобавок то была грязь особого сорта — жидкая и скользкая, по такой еще труднее идти; приходилось все время быть начеку, чтобы не поскользнуться и не упасть; но как бы я ни осторожничал, толку все равно было бы мало: в этом углу стройки фонари не горели, а от тех, что висели поодаль, свет едва доходил; этот участок пути был погружен во мрак, вернее сказать, в полумрак, и поскользнешься ли ты, когда будешь по нему идти, или не поскользнешься, упадешь или проберешься благополучно — больше зависело от везения, а не от того, насколько ты осторожен.

Помня, что у меня на плече больная Мать, я старался делать шаги покороче, долго ощупывал землю, прежде чем перенести тяжесть тела с одной ноги на другую, но все равно в последнюю секунду меня охватывал страх, что нога заскользит и я упаду.

Так я шел и вдруг увидел прямо перед собой хорошую дорогу: она была заметна даже в темноте, потому что возвышалась над этим морем грязи, да и насыпали ее, видно, из более светлой земли.

В меня вселилась надежда, я подумал: еще немного, и мы будем на этой дороге, а там уж без большого труда доберемся до медпункта; откуда-то взялись новые силы, я зашагал быстрее и позабыл про осторожность — это меня и сгубило: в двух шагах от хорошей дороги ноги разъехались на какой-то кочке, и я грохнулся спиной в самую грязищу; на лету я успел все-таки стянуть Мать с плеча, чтобы она упала на меня, а не в лужу; ее влажное, липкое от крови и слюны лицо коснулось моего; Мать глубоко вздохнула, и я почувствовал ее смрадное дыхание; я не ушибся, потому что земля была мягкая, но весь вывалялся в грязи, да и Мать обрызгало; подняться было

трудно — я не мог столкнуть с себя Мать, чтобы она не скатилась в это холодное месиво; нужно было исхитриться так встать, чтобы уберечь Мать от воды и грязи; трудней всего оказалось стать на колени, но, помогая себе локтями, упираясь ими в грязь, пока не достал до твердого грунта, я в конце концов сумел это сделать.

Держа Мать на руках, я постоял немного на коленях в неглубокой луже, чтобы перевести дух; потом я перебросил ее через левое плечо и, подпираясь правой рукой, поднялся на ноги и пошел дальше; через минуту мы уже были на хорошей дороге.

Идти по этой дороге было полегче: если сравнить ее с тем месивом, по которому я брел до сих пор,— небо и земля; и хоть новая дорога тоже была покрыта грязью, она была не такая глубокая: сапог с маху разбрызгивал ее и пробивал и твердо становился на шероховатый гравий внизу; тут и речи не шло о том, чтобы поскользнуться, можно было ослабить внимание и чрезмерно не осторожничать на каждом шагу, что приходилось делать и от чего я так измучился, покуда шел через свалку и добирался до хорошей дороги от заваленного старым железом пустыря; поэтому, хотя дорогу окутывал полумрак, я ускорил шаги и, повеселев, направился прямо на скопище маленьких огоньков, мерцавших над самой землей. Я знал, что огни горят над котлованами, недавно вырытыми в южной части первого квартала города, и что сейчас там днем и ночью ведутся бетонные работы.

Я спустил Мать с плеча, мне хотелось пристроить ее так, чтобы ей было поудобнее; теперь я нес ее на руках, как младенца к купели.

Вот дойду до тех огней, подумал я, а оттуда рукой подать до медпункта, в котором дежурит врач; в том месте, где горят огоньки, работают люди, а может, и машины есть — проще будет доставить Мать к врачу.

Сперва на дороге вокруг нас был только полумрак, расступавшийся где-то возле огней, да сами огни впереди, и больше ничего, но вскоре я различил в этом полумраке два более темных пятна; вначале едва заметные, они мало-помалу становились все отчетливее, и в конце концов я распознал в них двоих людей, а немного погодя понял, что люди эти пьяны, едва держатся на ногах. Они остановились передо мной, и я тоже остановился; они постояли, внимательно меня разглядывая, а потом принялись громко смеяться.

Я им говорю: «Чего смеетесь, не видите, я женщину несу, она...» Они не дали мне договорить, еще громче

захохотали, тогда я повторил уже резче: «Перестаньте ржать, не видите, я женщину несу...» Я говорю, а они меня перебивают и смеются, точно невмоготу им этот смех в себе удержать. Тут я обозлился: «Кончайте смеяться, сукины дети...» А они еще пуще заливаются... А потом, не переставая смеяться: «Заплутал ты, браток, тебе вон куда надо» — и показывают на черные заросли на краю поля, и еще громче ржут, аж заходятся от смеха.

Я же, пока они смеялись, торопливо искал глазами подходящее место, где бы можно было положить Мать; приглядел широкую, заросшую травой межу, которая одним своим концом упиралась в дорогу, и уложил на межу Мать, а потом сунул руку в карман, вытащил нож и нажал где следует. Щелкнув, выскочило лезвие, и тут они перестали смеяться.

Сквозь смех, водку, сквозь туман в голове дошел до них этот негромкий щелчок, и они заткнулись, словно я не пружину ножа-прыгунка нажал, а какие-то кнопки в них самих, специально предназначенные для того, чтобы прекращать смех. Мужики эти, видно, со стройкой пообвыклись, хорошо знали разные голоса и щелчки, какие можно на стройке услышать; и этот негромкий коротенький щелчок, много о чем говоривший, был им знаком, и они сразу попятились, точно я одновременно с пружиной ножа-прыгунка нажал в них кнопки, которые служат для того, чтобы заставить человека свернуть с дороги и отступить.

Попятившись, они свернули с дороги в поле и стали отдаляться; смешно получилось: будто я, нажав пружину ножа-прыгунка, передвинул в них какие-то рычажки, управляющие задним ходом; но, скорее всего, они оборвали смех, попятились и дали задний ход потому, что в карманах у них было пусто, ну может, спички лежали, сигареты, носовой платок, а больше ничего.

Отойдя подальше, они снова начали смеяться, а я под аккомпанемент этого замирающего вдали смеха поднял Мать и пошел вперед, к рою вожделенных огоньков, похожих на больших светящихся мух, дрожащей тучей повисших в воздухе над остатками чего-то съестного.

И снова впереди был полумрак, прореженный вдалеке этими огоньками; я приблизил свое лицо к лицу Матери, чтобы поглядеть, как там она, и увидел, что она мне улыбается, ничего не говорит, а только улыбается, точно ее вдруг что-то развеселило — может быть, слова этих пьянчуг смешными показались, а может, их промашка; я в ответ тоже улыбнулся, и в эту минуту до нас в последний

раз донесся смех пьяных мужиков, которых спугнул всего-навсего негромкий щелчок ножа-прыгунка.

Я обрадовался и сказал: «Все будет хорошо, Мать»; тогда она еще шире улыбнулась, а потом — как я мог заметить — попыталась что-то сказать, возможно, что-нибудь веселое, но не сумела, так как с той минуты, когда у нее на губах выступила кровавая пена, с речью ее что-то случилось. Только ей и удалось выдавить сквозь улыбающиеся губы какой-то странный звук, странный скрежет, который мог означать: «Ну и набрались мужики», или: «Не горюй, сынок, все у нас с тобой будет хорошо», или: «Ну, сынок, шуганул ты этих двоих, сразу протрезвели». Было что-то вроде этого в ее улыбке и в странном том скрежете.

После стычки с пьяными мужиками мы без приключений добрались до огоньков; Мать я нес то на руках, как младенца к купели, то на левом плече, точно небольшой по обхвату и не очень тяжелый мешок с зерном.

Я остановился со своей ношей в кругу света, в самой гуще работы, но сначала нас никто не заметил, потому что в том месте все кипело и мельтешило, в глазах рябило от чередования полос тени и света, отбрасываемого висевшими над головой и в особенности сбоку фонарями, так что любой предмет и любой человек, туда попадавший, делался почти неразличимым, иссеченным светлыми и темными полосами и полосками, тянувшимися от фонарей и от торчащих изо рва кругляков, арматурных прутов и пустых промежутков между ними.

Наконец нас увидел один рабочий, который стоял возле котлована и плавными движениями рук, а также окриками: «Еще немного, хорош, еще немного, еще...» — помогал водителю самосвала подать машину задом, на самый край рва, утыканного железными прутьями; увидев нас, он закричал: «Куда лезешь?» — а немного погодя: «Что случилось?» Но тут же ему пришлось заняться самосвалом и крикнуть водителю: «Хорош!» — иначе бы тот вовремя не притормозил и тяжелая машина вместе с жидким бетоном и с ним самим ухнула бы в котлован; а надо было подать назад ровно на столько, чтобы задние колеса остановились на краю рва и самосвал, откинув кузов, вывалил из своего чрева жидкий бетон.

Только направив машину куда надо, рабочий оставил ее и двинулся в нашу сторону, но не успел подойти, потому что дорогу ему загородил другой самосвал, который, пятясь задом, нацеливался прямо в ров, а за спиной у меня то же самое проделывал третий самосвал, так что мы с Матерью оказались как бы в туннеле между тяжелыми машинами, и выхода из туннеля я не видел,

поскольку с одного боку был котлован, а с другого — гора железной арматуры.

Тогда я крикнул: «Люди!» Но кто мог меня услышать, когда рядом ревели три тяжелые машины и вдобавок неподалеку работала небольшая, но громко тарахтевшая подсобная бетономешалка.

Я снова крикнул: «Люди!» И опять без толку, в оглушительном реве машин я и себя-то едва слышал.

Я сделал несколько шагов вперед, рассчитав, что, если подойти поближе к кабинам самосвалов, между которыми мы застряли, скорее попадешься на глаза водителям; и все это время я не переставая кричал: «Люди, эй, люди, алло, люди!..»

На свету я увидел, что Мать открывает и закрывает рот, словно пытается мне помочь своим криком, но то был крик немого, или нет, что я, немой хоть какой-то звук может из себя выдавить, а она никакого не могла.

Вторым человеком, который нас заметил, был водитель тяжелого самосвала; глянув в нашу сторону, он увидел меня с Матерью на руках — крест, составленный из двоих людей,— а увидев, очень удивился, закричал протяжно: «О-о-о!..» — и стал открывать дверцу своей машины. В ту же самую минуту из расщелины между самосвалом и горой арматуры вынырнул тот, который нас углядел первым.

Когда оба они подошли поближе, я быстро объяснил, в чем дело; мой рассказ очень их взволновал, и они посоветовали в железный короб самосвала, из которого вылили бетон, накидать щепок, оставшихся после опалубки, настелить порожних мешков от цемента, на эти мешки уложить Мать и вместе со мной повезти к дежурному врачу; и еще дали толковый совет, потому что и в самом деле приняли эту историю близко к сердцу,— кузов полностью не опускать, так легче будет положить в него Мать, а потом, когда подъедем к медпункту, вынуть.

— Другого способа нет и лучше не придумаешь,— говорили они с чувством,— иначе не получится, разве что как раньше — пешком.

А потом сказали, что идти в медпункт пешком не советуют: дорога разбита машинами, не дорога, а сплошное месиво.

С того места, где мы разговаривали, нужно было побыстрей убираться: поднялся шум и крик, что из-за нас образуются заторы и нет возможности бесперебойно подвозить и выливать в котлованы жидкий бетон.

Мы протиснулись между капотом грузовика и кучей арматуры, подошли к опорожненному самосвалу, а дальше все пошло так, как советовали рабочие.

Перед медпунктом водитель помог мне вытащить Мать из кузова; я взял ее на руки и быстро взбежал по ступенькам на крыльцо; за дверью был коридор, и мне пришлось перебросить Мать через левое плечо, потому что коридор был узкий и пронести ее на руках я не мог.

Когда я подходил к двери врачебного кабинета, Мать вдруг выпрямилась и напряглась; теперь я нес ее как ребенка, который уже немного подрос и научился держать головку, так что можно не бояться поломать ему косточки.

Но Мать совсем недолго так продержалась и, ослабнув, мягко упала на мое левое плечо.

Когда я положил ее на покрытый клеенкой топчан в приемном покое, врач наклонился над ней, схватил за руку и сказал: «Что ж вы сейчас только ее принесли, почему только сейчас, ну что бы чуток пораньше...»

ГЛАВА XXI

На похоронах Матери народу было много, из каждого монашеского ордена кто-нибудь пришел, а больше всего хлебоедов и похлебочников, хоть она никак не могла принадлежать к их братии, потому что не умела, как они, мечтать о далеком будущем — стара уже была и жила сегодняшним днем. Но хлебоеды и похлебочники знали, каково бы им с их мечтами было без Матери, знали, что не одну мечту не одного похлебочника и хлебоеда она поддерживала, чтобы та не погасла; а могла бы мечта и пригаснуть, и совсем потухнуть в похожие один на другой дождливые дни, когда только и видишь ледяную слякоть, да пустую похлебку, да черствый хлеб и когда сам ты точно навеки обречен болтаться где-то посередке между тем, с чего начал, и тем, к чему хочешь прийти: назад не отступишь, а до исполнения мечты все еще далеко.

Не подкачал и орден влюбленных в тяжелую работу юнцов, хотя Мать не имела к нему отношения и не могла принять его устава — у нее были старые ломкие кости и старое увядшее тело, а с таким телом и такими костями нечего было в их ордене делать. И все же немало тех юнцов пришли на похороны Матери, потому что наверняка не одному из них довелось услышать от нее слова, ставшие подспорьем в тяжком труде.

Можно было увидеть на похоронах Матери задумчивые, опечаленные лица юных грешниц, блудниц неистовой стройки, и головорезов, не расстающихся с ножами, облюбовавших для своих забав заросли кустарника на

краю долины, в которой строился город, и лица беззаботных мечтателей, и еще всякие лица.

Приехали из деревни на похороны Матери ее сестра и дочка, та самая дочь-выродок, которая все взяла, а дать ничего не захотела.

Гроб уже пора было опускать в могилу, и ксендз велел читать заупокойную, все стали на колени и склонили головы; подо мною — я стоял на коленях чуть повыше других, на низенькой бетонной ограде соседней могилы,— были спины и затылки Корбаса, Молоденького, Робкой Души и Румяного — он тоже пришел хоронить Мать. Я молился за упокой души Матери и смотрел на их затылки; у Корбаса из-под грязного воротника вылезал грязный шнурок от образка — у этого ничего не изменилось; у Робкой Души на загривке виднелась тонкая цепочка, у Румяного — чистая белая освященная тесемка: после того как его выгнали из конторы, он снова повесил на шею бога назло всем деятелям и отчизне; а чтоб еще больше этим деятелям и отчизне досадить, начистил образок наждачной бумагой и выстирал тесемку.

У Молоденького затылок был голехонек — такое случилось впервые; не было у него на шее — я хорошо видел, потому что воротник сильно оттопырился,— ни тесемочки, ни цепочки; и означало это, что Молоденький снял со своей шеи бога, полученного от матери, от родной мамоньки, которая давала ему на дорогу деньги, вытаскивала из узелка одну бумажку за другой и совала в руку.

Я дотронулся до своего загривка, нащупал пальцами тесемку — у меня покуда без перемен.

Гроб стал съезжать в землю, и дочь-выродок ударилась в плач; еще громче она заголосила, когда по крышке застучали комья земли, а когда могила уже была засыпана, подошла к Корбасу и, близко придвинув свое красное, заплаканное лицо, спросила тихонько, не осталось ли случайно у Матери денег. Тогда Молоденький подошел к ней сзади и сквозь зубы ловко плюнул ей на пальто; он был большой мастак плеваться, но на этот раз превзошел самого себя, потому что очень любил Мать, и всю любовь к ней, все уважение вложил в этот плевок, предназначенный подлой ее дочке.

Потом я, зайдя со спины, беззвучно плюнул на пальто дочери-выродка, потому что и я любил Мать; а потом то же самое сделал Робкая Душа, ибо и он успел полюбить Мать; и так, один за другим, мы оплевали подлую ее дочку.

Она ничего не заметила, потому что, размазывая по лицу слезы, приставала к Корбасу с вопросами: «Не оставила ли мама деньжат, а может, еще чего; ничего,

случайно, от мамы не осталось?..»

Корбас в ответ плюнул под ноги, и плевок угодил на ее черный ботинок; но она ничего не поняла и продолжала засыпать его вопросами: «Может, где-нибудь, кому-нибудь мама чего оставляла?..» Тогда Корбас примерился поточнее, и второй плевок белой нашлепкой украсил ее подол; а потом, не дожидаясь новых вопросов, плюнул в третий раз, метя ей в бок, плевок попал на темное пальто, и она поняла, что это и есть ответ, и отскочила от Корбаса, но и люди от нее шарахнулись, потому что вид у ней был такой, словно на похороны своей матери она шла под дождем плевков.

С кладбища мы возвращались впятером: Корбас, Молоденький, Робкая Душа, Хелена и я; шли молча, да и о чем было говорить — что Матери нет, что ее не будет, не будет никогда, что никогда больше Мать не пойдет с нами в тайный шинок, никогда не скажет: «Дети мои, помните, всё всегда покупайте на свои кровные деньги, дети мои, все будет хорошо»; что больше никогда, нигде, ни в одном уголке земли не зазвучит ее голос; и хоть за то, чтоб услышать этот голос, ты готов отдать все, что ни есть на свете, все деньги, все станки, все машины, все города мира, Мать не отзовется, потому что она умерла, и точка, аминь; но не могли же мы такое сказать вслух, это было бы глупо, а слова эти так и вертелись на языке, вот мы и молчали, чем глупости говорить; это было бы все равно как если б сказать: «Камень есть камень, дерево — дерево, земля — земля, жизнь есть жизнь, а смерть — смерть». Поэтому мы стискивали зубы и никто не нарушал молчания.

Молоденький меня обогнал, и снова передо мной замаячила его белая тонкая шея; почему оголился у Молоденького загривок, почему не видать на нем ни освященного шнурка, ни освященной цепочки, почему бог, надетый на шею старенькими материнскими руками, слетел у Молоденького с загривка?

Корбас не знает почему; Корбас, когда увидел оголившийся загривок Румяного с белым следочком, оставленным тесемкой, сказал: «Нельзя бросаться тем, что получено от матери»; здешняя наша Мать тогда ничего не сказала, и Молоденький промолчал; я думал так же, как Корбас, хотя мы с ним ни в чем не схожи: во-первых, он больше чем вдвое меня старше и вряд ли уже изменится, не хватит времени, а мне хватит; Корбас, как и Мать, ни в одном монашеском ордене нашей стройки не мог бы состоять. Но он не чувствует себя таким одиноким, как Мать, у него в деревне хорошая жена, хорошие дети, которым он уже и письмо с грехом пополам нацарапать

может, а главное, он знает плотницкое и столярное ремесло; тот же, кто владеет каким-нибудь ремеслом, не поддастся бешеному напору стройки, всякого мастера стройке волей-неволей придется признать: и потому тот, кто знает свое ремесло, одиночества не почувствует никогда.

На подсобных работах, когда убираешь мусор со стройплощадки или железо да дерево перетаскиваешь с места на место, можно почувствовать себя одиноким, но если хорошо знаешь столярное ли, плотницкое ли дело, если ты умелый слесарь, или сварщик, или еще кто — можешь не бояться одиночества.

Если ты хорошо владеешь своим ремеслом, не нужно звать, не нужно упрашивать — люди сами к тебе придут, даже инженер придет, деликатно положит руку на плечо и скажет: «Пан мастер»; да что инженер, сам директор подойдет к тебе с тем же «пан мастер», не говоря уж о тех, кому охота всему, в чем ты горазд, у тебя научиться,— таких и не счесть.

Когда ты хорошо знаешь свое дело, вокруг тебя всегда будут люди. Так было с Корбасом, а с Молоденьким вышло иначе.

Молоденький знал, чего хочет, и твердо шел к цели; мечты у него были красивые и шаг уверенный, он мечтал и взбирался вверх; но не было у Молоденького покоя, ибо душа хлебоеда и похлебочника уживалась в нем с душой чудаковатого юнца, жадного к работе, а наказы матушки и односельчан соседствовали с соблазнами будущего города, и от всего этого он разрывался на части.

Цепь, на которой держали Молоденького матушка и односельчане, всегда была натянута, он ходил как бы в ошейнике, к которому была пристегнута еще и другая цепь, и тянули ту цепь в противоположную сторону юнцы из Союза польской молодежи, а кроме того, в его душе позванивал колокол хлебоеда и похлебочника, хлебоеды же и похлебочники, отправляясь на строительство города, волокли за собой суровые деревенские законы.

Так что мог настать и настал такой вечер, когда Молоденький, чувствуя на себе цепь, которую натягивали влюбленные в тяжкий труд юнцы, его ровесники, поднял обе руки, поднес их к шее, и снял через голову освященную тесемку с выдавленным на жестяной бляшке ликом бога-отца, богородицы, или сына божьего, или какого-нибудь святого, и сунул эту тесемку вместе с образком в тумбочку, где лежал кусок черствого хлеба и шкурки от колбасы; сделав это, он сел к столу и тут услышал, как зазвонил в нем колокол похлебочника и хлебоеда, и почувствовал, что цепь, на которой его

держали матушка и односельчане, натянулась до невозможности, и ошейник невыносимо давит, и какая-то сила толкает обратно к тумбочке, заставляет вынуть тесемку с образком и снова повесить на шею; но только он повесит образок на шею и присядет к столу, натягивается другая цепь — цепь влюбленных в тяжкий труд юнцов,— и он снова идет к тумбочке, и снова оголяет шею, ложится в постель и пытается заснуть; но тогда подымает трезвон колокол хлебоеда и похлебочника, и матушка, ухватившись сухонькой рукой разом с соседями за свою цепь, натягивает ее, и стаскивает сына с койки, и велит идти к тумбочке за тесемкой с образком; и он встает, ощупью подбирается к тумбочке и потом еще долго, до глубокой ночи, шастает туда-сюда, от койки к тумбочке и обратно, потому что не может уснуть, потому что его тянут нещадно в разные стороны две цепи и будит звон колокола похлебочника и хлебоеда.

Соседи по комнате давно спят крепким сном, а он мечется от койки к тумбочке, от тумбочки к койке точно ошалелый.

Утром, облившись холодной водой, чтобы протрезветь, потому что муторно ему, как после пьянки, он одевается и идет на работу и по дороге ощупывает пальцами шею — на шее ничего не висит. Впервые он закрыл за собой дверь барака и отправился в путь без образка и вот шагает по долине, а на шее у него нет шнурка, на котором висел образок.

Холодная вода не помогла, он и сейчас словно с похмелья; наверху, в кабине огромного крана, он проводит рукой по шее — но нет на шее тесемки и образка нет, как теперь покажешься на глаза матушке и односельчанам, которых он каждый день мысленно переносит сюда и расставляет вокруг своего крана...

На похороны Матери он отправляется без образка, целый день ходит с голой шеей, но вечером подскакивает к тумбочке и надевает образок; и все потому, что его, точно злого пса, держат на двух цепях матушка с соседями и жадные к работе юнцы, а вдобавок над ухом постоянно трезвонит колокол похлебочника и хлебоеда.

Заговорив про Молоденького, который ничего от меня не таил, я сперва немного отступил назад, а потом чуть забежал вперед и не рассказал, как в день похорон Матери бродил один-одинешенек, от сумерек до самой ночи.

С кладбища мы уходили впятером, но вскоре разбрелись кто куда, потому что кладбище находилось невдалеке от рабочих общежитий, да и разговор не клеился, каждый был занят своими мыслями, а если б и заговорил,

то наверняка выжал бы из себя только одно: что Матери больше нет; а об этом все знали, всем было чертовски грустно, и никому не хотелось вылезать с этой новостью или ее выслушивать, чтобы на душе стало еще тяжелей.

Молоденький, Корбас и Робкая Душа откололись, едва мы поравнялись с рядом новых, только подведенных под крышу домов; Хелена тоже спешила: именно в тот день объявили, что у них в бараке пустят горячую воду и можно будет помыться.

Когда в каком-нибудь из бараков вывешивали объявление насчет горячей воды, всех охватывало приятное волнение; стар и млад — все меняли свои планы на вечер, отказываясь от многих удовольствий, потому что ничего не было важнее горячей воды.

Девушки откладывали встречи со своими парнями, парни забывали про свидания, старики не навещали друг друга — всех манила горячая вода, каждому хотелось вкусить барской жизни, то есть встать под горячий душ, намылиться, а потом снова пустить на себя горячую струю, и, наслаждаясь барской жизнью, забыть обо всем на свете, и стоять под душем, пока не услышишь: «Кончай, приятель, я тоже хочу помыться»; а потом растереться досуха полотенцем и плюхнуться на железную койку, на свой тюфяк, и продолжать наслаждаться барской жизнью, и поглядывать с высоты двухэтажной койки на свою деревню, где нет горячей воды и нету таких коек.

Когда я раньше говорил, что пришел на эту бешеную стройку голодранцем, но понемногу начал подыматься на ноги и сделал один, а может, два или три шажка по дороге, ведущей «из грязи в князи», то забыл сказать про мытье под горячим душем — а ведь то была настоящая княжеская жизнь.

Поэтому само собой разумелось, что в день похорон Матери мы с Хеленой долго гулять не сможем, поскольку у них в бараке объявили, что будет горячая вода.

ГЛАВА XXII

Оставшись один, я пошел на край стройки. Постоял минутку в том месте, где строительная площадка смыкалась с садами, поглядел на неогороженные деревья и проникся печалью этих яблонек, груш и слив, на которые наплевать было стройке. Тяжелые грузовики, бульдозеры и самосвалы, прокладывая себе дорогу между деревьями, ободрали стволы, обломали ветки; пока еще деревца держатся, но скоро и на них найдет управу тяжелый

бульдозер, ровняющий землю, танк нашей стройки.

Я брел по краю стройплощадки, пока не очутился на небольшом взгорке, где мне уже случалось бывать; с этого места видна вся стройка, все, что возведено в долине. Как я смог заметить, на строительных площадках поприбавилось стен, первый городской квартал, выпустив несколько красных языков к востоку, начал перерастать в не существующий пока центральный район, достиг линии, вдоль которой протянется главная улица будущего города; перерезав этот еще не существующий город на две огромные равные части, она широкой рекой потечет по нему из конца в конец и вольется во двор большого завода, который также будет здесь построен.

Глядя на стройку с самой высокой точки в день похорон Матери, я увидел мысленным взором не только главную улицу, не только целый город, но и завод, и это было для меня новым.

Но не только это было для меня новым в тот день: взгляд мой то и дело возвращался к левому краю первого городского квартала, к тем высоким, в осеннюю пору похожим на желтые столбы деревьям, что росли на кладбище, где мы похоронили Мать; и в голове неотступно вертелись глупые, ребячьи мысли: «Матери нет, Матери не будет, никогда не будет, тайный шинок остался, колоды в дровяном сарае остались, а Матери нет и не будет, никогда больше она не сядет на колоду в сарае, никогда не подымет кружку».

Такую я мысленно повторял литанию: «Матери нет, Матери не будет, Матери не будет никогда...»

С этой звучащей во мне литанией я сошел со взгорка, откуда увидел стройку, какая она есть и какой будет, и потянуло меня в раздольные осенние поля; повторяя в мыслях одни и те же слова, я медленно брел по полю, потом спустился по пологому склону к реке и, по-прежнему слыша в себе ту литанию, стал продираться сквозь густой кустарник, как вдруг мысли мои спутал негромкий собачий вой.

Выл тощий пес грязно-бурой масти с гноящимися от старости глазами и вздыбившейся на загривке шерстью; он пятился от меня и тихо скулил не то от злости, не то от страха — скорее, пожалуй, от страха, чем от злости.

Я пошел за собакой и наткнулся на старика в лохмотьях, лежавшего на подстилке из опавших листьев ракитника; лицо у старика было давно не бритое, заросшее щетиной и грязное, волосы прилипли ко лбу, а глаза были такие же, как у его пса,— старческие и гноящиеся.

Увидав меня, он вскочил со своей подстилки и вместе с собакой бросился в кусты; и тут я заметил на спине у

него огромный горб, под тяжестью которого он сгибался, словно это был туго набитый мешок, но двигался тем не менее быстро, по-стариковски мелко семеня ногами; и сразу мне на память пришли те вечера и ночи, когда мы с ребятами, немного выпив, смелее начинали глядеть на мир, и вспомнились собственные бессонные, полные страхов и тоски ночи, когда, поднявшись с постели, я подолгу стоял у окна, ночные часы, когда с края стройки доносился собачий лай, но не обычный, нет — заслышав его, бывало, подумаешь или шепнешь тихонько: «Это тот, что отказался переселяться» — или даже: «Опять разбушевался собачий король»; в те ночные часы длинные тени, чередующиеся с полосками света от расставленных и развешанных на стройке фонарей, казались не обычными тенями, а тропами, по которым пролегал путь того упрямца, что отказался переселяться и, увидев свой разрушенный дом и свое изрезанное канавами поле, стал на четыре ноги — из рук сделал лишние две ноги, чтобы крепче держаться за свою землю,— и залаял как пес, и присоединился к собачьей своре.

В кустарнике же я увидел его таким, каким он был на самом деле, потому что никакой туман его не окутывал и ни тень, ни полутень не укрывали от глаз.

Я пытался его остановить, кричал: «Не убегай, вернись, не бойся, человек, я тебе ничего дурного не сделаю, вернись», но без толку, он нырнул в самую гущу — и пропал.

Тогда по краешку, где заросли были пореже, я обогнул эту непролазную чащу и остановился на другой ее стороне. В просвет между ветками я разглядел, что два старца — старец-человек и старец-пес — стоят возле большого развесистого куста, на самом берегу речного залива. Старик принялся сгребать под этот куст опавшие листья, а пес сидел и смотрел, что делает человек; потом старик залез под куст, улегся на подстилку из листьев и, протянув руку, стал гладить собаку, пристроившуюся рядом с ним.

Я тихонько, чтобы их не спугнуть, выбрался из зарослей и на обратном пути сообщил в милицию, что в ракитнике под большим кустом на самом берегу речного залива лежит старый, ужасно изможденный человек с собакой и надо что-то с ним сделать, иначе он может умереть от голода и холода; и еще я сказал, что наверняка это тот знаменитый собачий король, о котором рассказывают ребята, возвращающиеся поздним вечером к себе в бараки.

Милиционеры пообещали, что сходят туда, поймают его и отдадут в дом для престарелых.

Я долго не интересовался, чем кончилась облава милиционеров на собачьего короля,— своих забот хватало: я не знал, как нам с Хеленой быть, венчаться или еще обождать, до сих пор не собрались, а теперь какая она невеста, скорее молодая мать, стыдно ей с животом идти к алтарю; можно, конечно, плюнуть на все и в один прекрасный день по-тихому обвенчаться, пусть ксендз свяжет нам руки епитрахилью, и с этой церемонией будет покончено; к тому же до меня дошли слухи, будто Румяный обо мне не забыл и твердит, что у нас с ним еще не сведены счеты.

Потом, однако, я случайно узнал, как прошла облава на собачьего короля. Хорошо, что милиционеров было четверо — от одного или даже двоих старик бы наверняка ускользнул; он хитро все рассчитал: как у смуглянки-детоубийцы был свой выступ на стене, с которого она свободно смогла убежать, так и у него был свой залив с вязким, илистым дном; чем дальше от берега, тем слой ила становился толще и жиже, покуда не сменялся чистой водой, которую уносило быстрое течение реки.

Но милиционеры не предполагали, что этот старик, не захотевший переселиться в другую деревню, когда стройка завладела его полем и домом, сочтет илистый залив за лучший путь бегства; они даже радовались, считая, что возле залива сподручней будет устроить облаву, что они припрут старика к краю залива как к стенке и не придется его окружать со всех сторон, достаточно будет охватить полукольцом.

Прежде чем перевалить через дамбу, старший патруля, отправленного за собачьим королем, перенумеровал своих подчиненных, превратив их в «первого», «второго» и «третьего»; а за дамбой, уже на краю негустых поначалу зарослей, поразмыслив, распорядился: «первому» — налево и вперед, «второму» — держаться посередине, немного поотстав, «третьему» — направо и тоже вперед.

Сам он собирался идти позади всех на случай, если старик незаметно проскользнет между «первым» и «вторым» или между «вторым» и «третьим».

Когда милиционеры стали продираться сквозь заросли ракитника к большому кусту, собака учуяла людей, услышала шорох и принялась не то скулить, не то лаять. Тогда старик выбрался из-под листьев и, смекнув, чем дело пахнет, взял собаку на руки и зашел по колено в воду; милиционеры подбежали к самому берегу залива — старик, не выпуская из рук своего пса, еще попятился, погрузившись в жидкий ил выше пояса.

Тогда старший патруля скомандовал: «Первый», «вто-

рой» — в воду и взять его». Когда два милиционера спустились в залив, старик, по-прежнему держа собаку на вытянутых руках, улыбнулся, показав беззубые черные десны, и отступил еще дальше; мутная вода доходила ему уже до груди.

Тут старший уразумел, каким путем горбун собирается убежать, понял, что ошибся, сочтя залив стеной, через которую старику не перебраться и к которой его легко будет припереть, и убедился, что эта облава не похожа ни на одну из тех, в которых ему за свою службу доводилось участвовать.

И он крикнул «первому» и «второму», чтоб они возвращались на берег, а затем, когда они уже стояли на берегу, счищая с себя ил, что-то сказал негромко, и эти двое отошли и скрылись в кустах.

Когда «первый» и «второй» ушли, старший и «третий» стали уговаривать горбуна выйти на берег, подбирая красивые, ласковые слова, как те их товарищи, которые уговаривали смуглянку-детоубийцу; но старик не послушался их, он стоял в воде и спокойно на них смотрел, пропуская слова мимо ушей; его внимание было поглощено собакой, которую он, прижав к груди, держал над водой. Время от времени, правда, он поворачивал голову и поглядывал назад, на большую воду; главное течение было близко, прямо за его спиной: в этом месте река делала излучину и самые быстрые свои воды выталкивала из середины к берегу.

Все могло бы получиться, как он задумал: если б милиционеры ушли с берега и убрались восвояси, старик бы осторожно вылез из воды либо, если б им вздумалось снова лезть в ил и подбираться к нему со стороны залива, река дала бы ему приют.

Но старик не предвидел, что два милиционера внезапно выплывут на лодке из-за растущего на самом берегу куста и преградят ему путь к большой воде. Он, правда, выпустил из рук собаку и нырнул вбок, и уже его прихватили и завертели первые водовороты, и уже начало втягивать в себя главное течение, но в эту минуту один из милиционеров, стоявший на коленях на носу лодки, нагнулся, схватил старика за вздувшуюся пузырем рубаху и с помощью товарища, который на это время отложил весла, втащил в лодку; ему пришлось стать на одно колено и перебросить старика через ногу, чтобы из того вылилась вода, которой он уже успел наглотаться, и чтобы привести его в чувство.

Собака в это время была уже довольно далеко, ее подхватило главное течение, но — как впоследствии рассказывал ребятам милиционер — можно было увидеть, что

морду она повернула в сторону лодки и пыталась плыть вверх по реке, но не смогла и, уносимая течением, быстро отдалялась хвостом вперед.

Хорошо, что милиционеры схватили собачьего короля до первых заморозков, зимой бы ему худо пришлось на его престоле из опавших листьев. «Цыганского блиндажа», где, как потом узнали, старик, заупрямившись и отказавшись переселяться, сразу устроил себе убежище и провел первую зиму, уже нет, стройка смела и этот, казалось бы, укрытый от глаз сорняками и наполовину вросший в землю блиндаж на ничейной целине, в стороне от основного направления работ.

Но, может быть, он этого хотел, может быть, он уже мечтал, чтобы зима его доконала; не стройка, не милиционеры, не дом для престарелых в городе, а река либо зима; человеку не безразлично, от чего придет ему конец, а он был король и, как король, избрал большую реку и лютую зиму для защиты от стройки, от милиции и от дома для престарелых; и, как король, считал, что убить его должна большая река или лютая зима — убить, прежде чем его схватят и поместят в приют; он приберегал про запас этих убийц, и поэтому, думается мне, я нехорошо поступил, напустив на него милиционеров; напрасно я, как всякий нормальный человек, который день называет днем, а ночь — ночью, который считает, что необходимо остерегаться большой воды и лютой зимы, который, как множество себе подобных, живет от утра до вечера и снова от утра до вечера, обрек короля на заточение в доме для престарелых, надежно защищенном от большой воды и лютой зимы, где с него брезгливо сорвали его королевские лохмотья и дали взамен недостойное короля чистое приютское белье и чистую приютскую одежду, велели войти в чистую приютскую воду и сказали: «Нужно хорошенько помыться».

Не надо было, думаю я, отходить от того большого куста на берегу илистого залива, под которым старик соорудил себе постель из листьев. Наверно, следовало бы поднять шум, и напугать его, и загнать вместе с псом в илистый залив, и, стоя на берегу, покрикивать будто прячущимся в кустах моим помощникам: «С боков заходите, с левого и правого боку, лезьте в ил, смелее, входите с двух сторон в воду, а я отсюда войду, он от нас не уйдет!..»

Возможно, так следовало бы мне кричать, чтобы еще быстрей погнать его навстречу главному течению, чтоб мое появление с несуществующими помощниками, в которых бы он поверил, убедило его, что подвернулся неожиданный случай и не стоит дожидаться зимы, а надо

войти в реку и спокойно отдаться ее главному течению.

Но я поступил, как всякий нормальный человек, и обрек короля на недостойную его жизнь; однако же не все потеряно — у каждого короля есть ночные дружки, которые помогут ему перелезть через ограду или прошмыгнуть в щель неосмотрительно оставленных незапертыми ворот, которые подскажут, как мнимым послушанием обмануть доверие всех в приюте, которые тем или иным способом помогут ему удрать из дома для престарелых и отдадут первому убийце, если вновь подвернется неожиданный случай, или — если такой случай не подвернется — второму, то есть большой реке или лютой зиме.

ГЛАВА XXIII

А предназначенный мне убийца принадлежит к роду человеческому и носит в кармане нож-прыгунок; мне надо все время быть начеку, чтобы Румяный не застал меня врасплох; я должен броситься на него первым — бесшумно, исподтишка; у меня два ножа, но сам я один...

Зима пришла ранняя, и снег выпал рано, а зима — плохое время для ножей. Парни, которым не привыкать к поножовщине, зимой вытаскивают свои прыгунки гораздо реже, чем летом,— из-за снега, и не столько даже из-за самого снега, сколько из-за его белизны.

Если б снег был черный, ножи, возможно, пускались бы в ход чаще, чем летом; а если бы зимой с неба валил красный снег, вот было б раздолье парням, которые чуть что хватаются за прыгунки.

Но снег белый, и ножи, как вся природа, зимой дремлют.

Вторая зима хоть и ненамного, но все же была получше первой; люди, которые пришли на стройку не ради того, чтобы разведать, разнюхать, что к чему, и отправиться искать, где получше, которые не любили скакать с места на место или не имели возможности вернуться туда, откуда приехали, сейчас яснее, чем год назад, могли представить себе, что им предстоит построить и как сложится их будущая жизнь.

Но зима изрядно затуманила их представления о том, что делается в долине, и о собственной их судьбе, зима отбивала охоту помечтать, подняться на самое высокое место на краю стройки и поворожить по еще нечеткому, расплывчатому, но уже проясняющемуся, уже рвущемуся ввысь из канав, из грязи, из нагромождений железа и бетона образу нескольких кварталов, а то и всего города целиком.

Бывало так: человек держится, и, хотя бы выпал снег и земля промерзла, он пробивал твердую корку, и тянул траншею дальше, и держался: выкапывал из-под снега железную или деревянную балку, брал в руки, а она у него из рук выскальзывала, потому что со всех сторон обледенела, но он снова подхватывал ее и брался поудобнее, а она снова выскальзывала, и он снова хватал обледенелую железину, осыпая ее проклятиями, и закидывал на плечо, и тащил, и падал, поскользнувшись на обледеневшей земле, и ноша сваливалась у него с плеча, но он поднимался, и снова взваливал ее на плечо, и шел дальше, и держался; и ему казалось, что он выдюжит, что ему поможет та цифра, которая, повиснув над его домом, отпечаталась в душах домашних вечным напоминанием о том, что в доме не должно быть избытку людей и всякий лишний остальным в тягость; казалось, такой человек выдержит, потому что ему поможет брань, водка, девушка или врезавшееся в память лицо отца — доброе, но тем не менее без слов приказывающее: «Ты здесь не нужен, забирай свою пустую мошну и отправляйся в люди»; помогут доброе слово мастера, или птаха, присевшая на торчащую из-под снега верхушку кругляка, или запавшие в память глаза матери — добрые, ласковые, но тоже приказывающие: «Ты здесь не нужен, забирай свою пустую мошну, где деньгами и не пахнет, и ступай в люди»; казалось, такой человек должен выдержать, но у него стыли руки, ему не досталось рукавиц, потому что на всех не хватило, а надо было перекатить с места на место большую обледенелую глыбу земли.

Он уперся в эту глыбу голыми руками и покатил, и вскоре пальцы совсем окоченели; остановившись на минуту, он оторвал пальцы ото льда, и спрятал в карманы штанов, и старался поглубже засунуть их в пах, между ногами и срамным местом, и, как маленький мальчик, сжимал ноги, чтоб еще подбавить тепла в это самое теплое на человеческом теле местечко, и ворчал сердито: «Почему, сукины дети, сегодня костра не разожгли, почему нам не принесли горячих углей...» — а из репродуктора неслась песня: «Мы построим новый дом, стоэтажный новый дом»; а у него пальцы все еще были зажаты между ногами, и огромная глыба смерзшейся, обледенелой земли его ждала.

Потом он вытащил руки из этого теплого местечка и снова навалился на глыбу, и через минуту пальцы у него снова окоченели, вдобавок он поскользнулся, что было проще простого, и упал лицом на эту глыбищу, словно какую святыню, целовать кинулся обледенелую землю; ко всему еще, когда он поднялся, и опять навалился на

глыбу, и вкатил ее на площадку, усеянную обрезками тонкой спиральной проволоки, один из этих обрезков, согнутый дугой и случайно воткнувшийся обоими концами в землю, вдруг вырвался на свободу и с огромной силой полоснул по левой его руке.

Человек затряс ушибленной кистью и стал подпрыгивать, как резиновый мяч, а потом, словно малое дитя, принялся пинать сапогом земляную глыбу, которую перекатывал с места на место, и, как будто внезапно сделавшись маленьким, исколол ее, словно она была живая и могла что-то чувствовать, тем самым обрезком стальной проволоки, который, как карандаш, прочертил темную линию у него на руке; наказав глыбу, он повернулся, и зашагал вперед по долине, и шагал долго, пока не достиг ее конца, и пошел дальше...

Первую зиму продержался, и еще целый год от первой зимы до второй, и часть второй зимы, и вдруг из-за пустяка, из-за этого тонкого стального прутика, ударившего его по руке, уходит невесть куда.

Может быть, позабывши стыд, он вернется в отчий дом с пустой, так и не раздувшейся от заработанных денег мошной и, как дитя малое, неразумное, которое рассердилось на обледенелую глыбу, не стесняясь, насильно втиснется в тесную горницу; может быть, он смирится с унизительными для него мыслями — слова, возможно, сказаны вслух не будут — матери, отца, соседей: «С чем ушел, с тем и воротился, как ушел с пустой мошной, так и пришел».

А может быть, дойдя до конца стройки, вдруг снова повзрослеет, и повернет обратно, и подойдет к обледенелой земляной глыбе с еще горящей от удара стальной спирали рукой, и даже обрадуется, что глыба еще на месте и его поджидает, и навалится на нее, собрав все силы, и докатит куда было велено; и он выдержит, несмотря на минутную слабость, выдержит, потому что испытал страх при мысли о том, что будет, если он не выдержит, если вернется в родную деревню приблудным бродягой, раньше времени сбежавшим из города, со стройки.

Поэтому человек, которому случилось, точно обиженному ребенку, убежать за пределы бешеной стройки и там снова почувствовать себя взрослым и вернуться обратно, еще сильней привязывался к работе на строительстве и становился еще более заядлым хлебоедом и похлебочником, если принадлежал к этой братии, и с еще большим, чем прежде, аппетитом жевал пустой хлеб, запивая его жидким, светло-желтым чаем; или же становился еще безоглядней влюбленным в тяжкий труд

юнцом, если этому, второму, братству бешеной стройки изменил на короткое время.

Я знаю, как бывало с людьми, и знаю, как было со мной; для меня зима оборачивалась не так-то уж плохо, потому что работал я в мало-мальски утепленных внутренних помещениях, хотя порой приходилось вылезать на площадку и заниматься другими делами, например уборкой территории, а то и в земле копаться, если возникала потребность прокладывать, соединять и монтировать трубы и прочее оборудование для водопровода и канализации.

Для меня зима была не такой уж плохой прежде всего потому, что она бела и прозрачна, даже лес, даже кусты прозрачны зимой, и оттого не мила она ножам тех, кто замышляет месть; жажда мести, подобно природе и ножам, приглушена и убаюкана зимней белизной и прозрачностью; мечты о мести зимою дремлют и пробуждаются только весной, когда зазеленеют и тесней сомкнутся кусты.

Три главные заботы, крепко, словно неразлучная троица, между собою связанные, вспоминаются мне, когда я начинаю рассказ о той, второй, весне, которая должна прийти на смену второй зиме моего пребывания на стройке.

Первая забота — месть Румяного и его нож, который все еще занесен надо мной и может опуститься и все у меня отнять, когда настанет весна.

Поэтому и мне нельзя расставаться с ножом; не прислушайся я тогда, на краю Глухой канавы, к набату, во мне зазвучавшему, я бы мог раз и навсегда выпрямить свой жизненный путь, и сегодня нож был бы ни к чему, и я бы не боялся весны, которая придет на смену второй зиме; но этого не случилось, и нож мой должен быть наготове.

Рождение нашего ребенка и женитьба или, быть может, наоборот, сначала второе, потом первое — вот еще две заботы, которые свалятся на меня с приходом весны.

Пожениться надо бы до рождения ребенка, но Хелене стыдно идти расписываться и к алтарю с торчащим вперед животом. Стройка — другое дело, здесь кое-кто знает, но то все друзья, а перед чужими можно прикинуться замужней, даже соседкам по бараку можно сказать, что у нас все по закону; но, может быть, мне еще удастся уговорить Хелену пожениться до рождения ребенка, а если не удастся, пускай все будет наоборот — сперва родится ребенок, а свадьбу сыграем потом, когда живота не будет.

Мы уже обдумали, где Хелене рожать, побывали в деревне у одной женщины, которая знает в этом толк и ничему не удивляется, не спрашивает, мужняя ли жена родит или девица, и, даже если едва оперившаяся девчоночка, глядя на которую трудно не удивиться, проскользнет в дверь ее домишка и скажет, что у нее начались схватки, повитуха глазом не моргнет; эта женщина ни о чем не спросит, только скажет, сколько это будет стоить, а если ей ответишь: «За деньгами дело не станет», пригласит: «Приходите, приходите или приезжайте, когда начнутся схватки»; а под конец добавит: «Только молчок, никому не проболтайтесь, что у меня были и еще собираетесь»; понятное дело, ей важно, чтобы поменьше народу знало, чем она занимается.

Мы уже договорились с этой женщиной, и живет она неподалеку от Хелениного барака; если идти по тропинке напрямую, до ее дома рукой подать.

Только я подумаю или скажу, что мы уже уговорились с повитухой, сразу в голову лезут мысли о ноже Румяного и о свадьбе, поскольку ни об одной из этих забот невозможно сколько-нибудь долго думать по отдельности — такая уж это тесно связанная между собой троица; когда же я об этой троице размышляю, волей-неволей приходится подумать и о том, как избежать мести и спасти свою любовь, и тут мысли сворачивают на другое, и начинаешь мечтать о ноже получше прыгунка, и в душе ругаешь Измятого Мачека за то, что у него не нашлось для меня ничего поприличнее; ну а может, Измятый сумеет еще что-нибудь придумать?

ГЛАВА XXIV

Я отправился к Измятому Мачеку. Шел протоптанными в снегу тропинками, мороз был изрядный, и снег скрипел под ногами.

Дорога к Мачеку, как всегда, вела меня по самому краю стройки, которая с наступлением зимы немного угомонилась — поубавилось шума и лязга, уменьшилось движение; погрустнела стройка, и опять трудно стало верить, что здесь подымется город; однако бело-красные стены первого квартала говорили, что начало положено.

К дому, где жил Измятый Мачек, я подошел в сумерках, когда в маленьких оконцах уже зажегся свет,— самое время улаживать дела вроде тех, с которым я пришел.

Я свистнул протяжно условным свистом и подождал

немного, но из дома никто не вышел; через минуту снова свистнул, погромче, раз и другой.

После того как я засвистел погромче, дверь отворилась, но на пороге показался не Измятый, а старик, которого я видел здесь раньше и который меня узнал. Он удивился, когда я спросил Мачека, и сказал: «Ты что, ничего не знаешь? Нет больше Мачека, лежит в земле».

Я поинтересовался, что же с ним случилось, но старик толком ничего не сумел объяснить; он знал, что случилось, но подходящих слов подобрать, как ни старался, не мог.

— Собственной рукой себя порешил,— сказал старик,— но смерть принял от сотни рук; бегал по саду с ножом и кричал, что его рука от него отделяется и становится чужой; и своя, но как бы чужая рука заколола Мачека; то она была его собственной, то чужой, множество рук стали той единственной, которая всадила ему в сердце нож. Мачек кричал: «Не убивайте меня!» — но никто его и не убивал, он сам себя порешил; бегал от дерева к дереву, прятался, убегал от собственной руки, в которой держал открытый нож-прыгунок, словно это была не его, а чужая рука, но убегал-то он от своей, а от нее как убежишь — она все время была с ним и над ним, и гналась за ним, и догнала, но не как своя, а как чужая; не мог он ее удержать, не мог выпустить из нее ножа, будто это не его рука была, а чужая, но нож в ней был вроде бы не чужой, свой был нож, потому что он кричал: «Брось мой нож!» — кричал кому-то, кого он один только и видел; и еще кричал: «И ты брось мой нож, и ты брось!..»

Так он кричал множеству ему только видимых людей, по очереди завладевавших его рукой и хватавшихся ею за ножи, чтобы его убить; но из криков Мачека можно было понять, что в их ножах он узнавал свои прыгунки, те, что были проданы и из нашей риги разошлись по свету; но они вернулись, вернулись в образе лучшего его прыгунка, которым он себя порешил.

Те, кто завладел его рукой, не хотели его слушать, и он больше не мог управлять собственной рукой, потому что она стала как бы чужой и всадила ему нож в сердце; но прежде, чем это случилось, он защищался, как умел, однако спастись не смог, потому что в его руке тогда была большая сила — его рука как бы складывалась из многих, и все хотели его убить. А нож его складывался как бы из многих ножей, которые он продал.

Когда убежать не удалось и крики: «Не убивай, брось мой нож, не убивайте меня, заберите свои ножи» — не помогли, он остановился и уставился на свою правую

руку, занесшую над ним нож, и заговорил с ней ласково, просительно, будто не свою собственную, а совершенно чужого человека руку упрашивал: «Не убивай меня, прошу, у меня жена и дети, помилуй, прошу тебя...»

Но, видно, тот, кто завладел его рукой, не пожелал прислушаться к его мольбам, потому что Мачек опустился на колени и еще горячее стал его, то есть свою руку с ножом, упрашивать, чтобы даровала ему жизнь, плакал и упрашивал, и слезы ручьем бежали у него из глаз, потому что молил он о спасении жизни, но молил напрасно — рука Мачека по-прежнему метила ему в сердце, и нож так и рвался, так и норовил ударить.

В саду были тогда только я да его маленький сын, я то и дело брал испуганное дитя за руку, подходил с ним к Мачеку и уговаривал, втолковывал: «Что ты делаешь, Мачек, нас в саду только трое, никого больше нет, только ты, я — твой тесть — и твой сынок». Но он сердился, и замахивался ножом на нас с мальчонкой, и кричал: «Бегите, они вас убьют, идите домой, их тут не перечесть», как будто в саду еще кто-то был, как будто вокруг шныряло множество людей с ножами, а ведь, кроме нас троих, в саду не было никого; и тогда мы, увидев вскинутый нож Мачека и увидев великий его страх и великую ярость, отступили и спрятались за деревьями.

Мачек просил сохранить ему жизнь, на коленях молил свою руку, то есть — как ему казалось — всех этих убийц, которые в саду подняли на него его собственную руку, но они не слушали его мольбы, им плевать было на его слезы и на его детей, и они все размахивали его рукой с зажатым в ней ножом, норовя попасть в сердце.

Потом он поднялся с колен — а рука его с ножом так и висела над ним, — и завертелся волчком, и заверещал дурным голосом, и стал выкрикивать какие-то непонятные слова; он вертелся как веретено, только и сверкали его белые выпученные глаза, так страшно сверкали, словно его окружили со всех сторон и подступали страшные люди, целясь ножами ему в грудь, а он боялся хотя бы одного упустить из виду и потому вертелся волчком; но на самом-то деле вертелся он в саду, где, кроме нас с дитятей, спрятавшихся — я за яблонькой, он за другим деревом, — никого больше не было. Мачек кричал, но слов нельзя было разобрать; и так, вертясь волчком, кружась по траве в танце, который со стороны мог показаться веселой пляской с поднятой для фасону рукой, кружась в этом обереке, он ткнул себя ножом в сердце, сам себя ткнул, а вроде как его другие.

Невесело было у меня на душе, когда я возвращался

в барак; теперь я знал, что должен раз и навсегда распрощаться с надеждой обзавестись к весне чем-нибудь получше ножа с выкидным лезвием.

Сунув руку в карман, поближе к своему прыгунку, я гладил его кончиками пальцев и грел, и в какие-то мгновенья мне казалось, что не нож я держу, а живое существо, какого-то теплого симпатичного зверька, покрытого скользкими, гладкими волосками.

Я думал: один ты, брат, мне защитник, только ты будешь меня защищать, когда придет весна, время, когда расцветает месть.

И все же я ждал эту весну, приближался к ней, словно к границе, которую нельзя миновать, но и останавливаться перед которой нельзя, так как время на месте не стоит и нужно в эту весну вступить.

Если мне удастся пересечь эту границу, жизнь моя сразу наладится, потому что пересечь границу означает избавиться от тени, которая неотступно меня преследует, отвести нож Румяного, и увидеть Хелену матерью, и ребеночка нашего увидеть, и сыграть свадьбу; и тогда лето будет добрым и летом либо осенью можно будет переплыть реку.

Как бы то ни было, когда я перейду эту границу и переживу эту весну, время повлечет меня к реке, и я переплыву ее и ступлю на родимый берег.

В мыслях я уже пересекал эту границу, и весна оставалась позади, и я уже свободно расхаживал по лету и осени, и плыл на другой берег широкой реки; но пошел снег, поднялся резкий ветер, и я снова вернулся в то время, в котором жил, то есть в зиму, и в то место, в котором находился, то есть на протоптанную в снегу и снегом же засыпанную тропку на северной окраине стройки.

Снег валил крупными хлопьями, дул сильный ветер; в замети исчезла стройка, исчезла тропка, все сгинуло, все дороги перепутались, даже огни попрятались за белую завесу и метались там из стороны в сторону, точно стая встревоженных перелетных птиц.

Метель с налету развеяла красивые мечты о летних и осенних днях и о других днях, что придут за ними следом, и безжалостно обрушила на меня три главные мои заботы: не выбитый из рук Румяного нож, неродившееся дитя и несостоявшуюся женитьбу; когда же вокруг все вдруг забурлило со страшной силой, и огни стройки перемешались, и я перестал понимать, где нахожусь, потому что огонек, которому полагалось гореть на верхушке крана, оказался совсем в другом месте, когда я вынужден был остановиться посреди водоворота отяже-

левших от ветра капель, чувствуя себя как в мешке с зерном, меня осенило: я понял, почему бреду по снегу в метель и сбился с пути, понял, в чем тут причина; и если бы мне удалось вытащить из себя своего двойника, того человека, который сидел во мне, и меня ненавидел, и гнушался мною, и надо мной смеялся, то я бы велел ему подойти поближе и плюнуть мне прямо в лицо, в глаза; я бы этому, из моего нутра извлеченному, человеку приказал хлестать меня по морде, хлестать наотмашь, с левой и с правой, и приговаривать: «Так тебе и надо, дурак, получай по роже за то, что, словно птенчика, упустил из рук свою жизнь, что не удержал ее, и поскакала она, как глупая телка, прямо под нож Румяного»; и еще этому, вылезшему из меня, человеку я бы приказал говорить такие слова: «Я за то тебя луплю по роже, что после первой же гулянки ты, точно ночной зверек, побежал со своей самкой в поле, и забрался с нею в канаву, и там, на голой земле, точно зверек, выстлал для себя и своей самки гнездышко, и, как нерассуждающий зверек, спарился там со своей самкой, позабыв, что ты на бешеной стройке, что за душой у тебя ничего нет, что в бараке, где ты живешь, крысы прогрызли стену и горячая вода бывает в неделю раз; до чего же ты, дурак, дошел, куда докатился... Пришла зима, настала зимняя ночь со снегом и ветром, поднялась метель, а ты стоишь и не знаешь, куда идти, потому что потерял дорогу.

Почему ты стоишь в такую метель и высматриваешь огонек, который помог бы тебе найти дорогу, и не можешь его отыскать, так как тебе кажется, что метель перенесла знакомый фонарь с крана в другое место?..

Потому ты попал в метель, что отправился к Измятому Мачеку в надежде раздобыть что-нибудь получше ножа с выкидным лезвием; подумай только, до чего ты дошел... возвращаешься от торговца ножами для охоты на людей и горюешь, что он себя порешил и ты не успел попросить у него чего-нибудь получше, чем нож-прыгунок; возвращаешься от торговца ножами и боишься ножа...»

Но двойник мой, от меня отделившийся, не мог слишком долго со мной возиться, и пришлось его снова запрятать поглубже, поскольку мне еще предстояло добраться до весны, а поначалу отыскать в снегу дорогу, чтобы добраться до барака; пришлось опять заняться огнями, потому что время было уже позднее: я старался охватить взглядом эту растревоженную стаю и расставить огоньки по своим местам; но едва я начал ловить их, едва стал поочередно ставить на место, как они вдруг всполошились и рассыпались по огромному, полно-

му белого зерна мешку, которому уподобилась та ночь.

Тогда я решил не обращать внимания на небольшие и низко подвешенные фонари, а идти в направлении самых высоких — наверняка это огни кранов, разбросанных по стройплощадкам первого городского квартала.

И побрел по сугробам на эти огни, проваливаясь в снег и падая; но я понимал, что идти нужно, иначе снег засыплет меня с головой.

На пути мне попался скелет большого бульдозера, и я забрался в кабину без стекол, наполовину заваленную снегом, но нельзя же было сидеть в ней до бесконечности, надо было идти дальше, в сторону высоких огней; наконец я коснулся ребристой, скользкой и холодной ноги крана; на его верхушке за снежной пеленой дрожал красный огонь, а ниже горели белые.

Я огляделся и понял, что стою возле крана Молоденького, установленного на северном краю первого квартала.

У Молоденького тоже есть двойник, который хлещет его по щекам, но тут дело другое, над Молоденьким не занесен нож, после смены на кране его ожидает одна только нелегкая сверхурочная работа — надевать и снимать образок.

У Румяного, пожалуй, двойника нет; если б в нем сидел второй человек, он бы, наверно, выбил у него из головы мысли о мести; ну а вдруг все-таки сидит и долбит свое и гонит мысли о мести прочь? Что, если пойти к Румяному и сказать: «Давай бросим ножи и пожмем друг другу руки»; но что будет, если я к нему с этим приду, а он скажет: «Испугался, трус, в штаны наложил со страху!» Нет, не пойду я к нему, боюсь, как бы он мне так не ответил; ножа его боюсь, но такого ответа боюсь еще больше.

А вот Корбасу я завидую, хоть он уже не молод и ревматизм его допек; когда я слушаю его или на него гляжу, я вижу: ничто в нем не колобродит, ничто не бунтует втайне от людских глаз, не рвет на части душу; Корбас — цельный и прочный как скала, хоть и года не те, и пошаливает здоровье; Корбас счастливый.

Я постоял, привалившись спиной к холодной ноге крана, и пошел в сторону костра, который кто-то разжег неподалеку; оказалось, костер разожгли рабочие, заливавшие бетоном перекрытие в длинном, под плоской крышей доме на северном краю первого квартала. Они говорили о том, что ветер, ворвавшись сквозь незастекленные окна и устроив сквозняк, раскидал соломенные маты, которыми они согревали бетон, и теперь надо снова разостлать эти маты поверх бетона и придавить

кирпичами, а может, даже понадобится раздобыть железную печурку, и установить ее внутри дома, и позакрывать оконные проемы негодными листами жести или досками, если эта чертова метель не уймется.

Среди них был старик, который одно время работал землекопом в нашей бригаде, он меня узнал и спросил: «Ты откуда взялся, на работу, что ли, идешь?» Я не удивился, что он так спросил: он знал, где я работаю, и, если б мне выпало заступать в ночную, я бы непременно должен был пройти мимо них; но я ему ответил, что хоть и тем же путем, но иду не на работу. А он мне: «Чего ж ты шляешься ночью без нужды, почему не спишь, вон какая метель, а тебя на улицу понесло».

Другой бетонщик, из тех, кому метель задала работы, посрывав со свежего бетона маты, в ответ на эти слова старика сказал: «Видать, есть нужда, коли в такую непогоду вышел из дома». А старик свое: «Если на работу идти не надо, значит, не надо; другое дело, кабы его работа ждала, но его работа не ждет, и нечего шляться».

Кто-то из бетонщиков опять возразил старику: «Наверное, есть у него дело, раз куда-то пошел».

Однако старика не удалось переубедить; больше он, правда, ничего не сказал, только пожал плечами в знак того, что остается при своем и что, если работа не ждет, нечего в метель шляться по стройке. Немного погодя он зевнул во весь рот и пробормотал негромко, то ли рабочим, то ли себе самому: «Я б вздремнул, только негде, а спать до смерти охота, так бы и заснул, хоть на минутку, хоть на минутку, да разве здесь заснешь... Может, когда забьем окна и поставим в доме печку, удастся вздремнуть, возле печки можно будет, возле печки хорошо...»

Старик бормотал свое, а я двинулся дальше — теперь мне уже ясно было, как идти к своему бараку. Метель не утихала, и я подумал, что повстречавшимся мне бетонщикам все-таки придется закрывать окна, потому что никакие кирпичи не помогут и ветер снова сорвет маты; и железную печурку им тоже, наверно, придется где-нибудь «позаимствовать» и поставить в безопасном месте, чтобы маты не загорелись, а в доме стало хоть немного теплее; и еще я подумал, что, когда установят печку, старику будет где вздремнуть.

А потом колючая, наметающая высокие сугробы метель напомнила мне, что сейчас середина зимы и навалило много снегу, а если в этой долине зимой много снегу, значит, весной будет грязь непролазная, уж я-то знаю, какая здесь земля — плотная, богатая солями, на ней бы

пшеницу сеять, овощи сажать; жаль, пропадает такая земля.

Бывает, в хорошую минуту размечтаешься, каким прекрасным будет город, который мы строим, но тут же обязательно промелькнет мысль, что жаль такую землю и пшеницу жаль.

Город будет большой, займет всю долину, подымутся высокие дома с балконами, но все-таки жаль пшеницу, которая здесь до того хороша, что перед жатвой поле, на котором она растет, кажется от начала до конца аккуратно сработанным из чистого золота; кажется, не простая это пшеница, растущая из земли, а какая-то постройка, сооруженная в преогромной мастерской, вытесанная плотниками-умельцами — такими, как Корбас,— вымеренная метром, наугольником, ватерпасом, и перенесенная из той мастерской, и поставленная на землю людям на удивленье; а еще можно подумать, будто что-то стряслось и на землю опрокинулась глухая стена преогромного дома, выстроенного из чистого золота; или будто в фундамент преогромного здания уложили золотую плиту.

Так выглядела та пшеница перед жатвой.

И если б сейчас заглянуть в душу тем из деревенских, что притащились в эту долину с пустыми карманами, болтающимися, точно две тряпочки, два плоских мешочка, внутри штанин с левого и правого боков, то ясно бы стало, что они рыли канавы и заливали их бетоном, клали фундаменты, ставили стены, грызли землю лопатами, экскаваторами и бульдозерами и давили тяжелыми грузовиками, строили в долине город и в то же время, жалеючи эту плодородную землю, в мыслях обрабатывали ее по-своему, по-крестьянски, пахали, сеяли и жали пшеницу, бродили по пшеничному полю с косой, как по золотому озеру, ибо жаль им было, что хлебушек пропадает.

И наверное, даже сегодня, когда город давно построен, кое-кому из бывших деревенских захочется мысленно снять его с этой равнины и взамен разостлать по земле взращенную в душе безбрежную ниву.

Но яростно меня хлещущая, ревущая, играющая, словно на гигантских музыкальных инструментах, на свеженьких, еще зияющих пустыми оконными проемами стенах, с грохотом продирающаяся сквозь торчащие из земли железяки снежная и морозная метелица отвлекла мои мысли от воображаемой жатвы на этой долине, от таких июля и августа, каким здесь уже никогда не бывать, и снова воротила их к зиме и к снегу, в который я то и дело проваливался; а снег снова навел мысли на весну, на воображаемую весну, утопающую в грязи.

ГЛАВА XXV

Вышло, что по той метели да по морозной и снежной зиме я все наворожил неправильно; приграничная моя весна пришла ранняя, теплая и сухая; и не по грязи я брел, провожая Хелену в маленький домик тайной повитухи, а шел по сухой тропинке; и рассвет, заставший нас на нелегком том пути, предвещал погожий и теплый день.

Еще только-только начинало светать, когда у моих дверей подняла шум сторожиха из женского общежития; не успел я ей открыть, как она выпалила, чтоб я быстрей бежал к Хелене, и под конец добавила: «Ты знаешь зачем, знаешь зачем... знаешь...» Со сторожихой мы были в дружбе, хорошая она была женщина и, хоть подняла под дверью шум — а иначе она не могла,— не стала разоряться: «Беги быстрей, рожает твоя Хелена, уже схватки начались»; нет, она только сказала: «Беги быстрей, ты знаешь зачем...» Громко, чертовски громко, на весь барак, но одни только эти слова...

Тропинка, по которой мы шли к повитухе, была сухая, но для двоих узковата, а нужно было идти рядом, чтоб Хелена опиралась на мою руку, потому что, хотя боль и приутихла и Хелена могла двигаться, от этой боли она ослабела и мне приходилось ее поддерживать; к тому же боль — не такая, правда, мучительная — время от времени возвращалась, и тогда Хелена останавливалась, сгибалась и минуту-другую стояла, схватившись за живот и тихо постанывая.

Во время этих коротких остановок я был ей больше всего нужен: крепко обнимал ее, и поддерживал, и утирал пот с лица, и говорил: «Уже близко, уже близко...»

Несмотря на остановки, мы добрались до тайной повитухи; я постучал в окошко, и тотчас две женщины, повитуха и другая, помоложе, обе в одних рубашках, появились на пороге; повитуха узнала нас и сказала мне: «Давай ее сюда, а сам оставайся в саду, мы без тебя управимся»; женщины сразу подхватили Хелену с двух сторон под руки и повели в горницу, а я пошел в сад и присел на старую срубленную яблоньку; но мне не сиделось, я поднялся с поваленного дерева, подошел к деревянной, почерневшей от старости изгороди и стал смотреть, что за нею делается.

За изгородью тянулись двумя узкими полосками поля, разделенные широким проселком; у правой полоски, за межой, начиналась территория стройки, пока еще не огороженная, а только обозначенная колышками и не тронутая ни лопатой, ни машиной; это было прошлогоднее жнивье, старое, почерневшее, но еще

можно было узнать, что росла тут пшеница, а не рожь, ячмень или овес.

На стерне валялся деревянный плуг — два колеса, сверху грядиль, одна чапыга на земле, другая над ней в воздухе, лемех и не глядит в землю; плуг лежал на боку — так его обычно кладут перед началом пахоты, когда пахарь только еще въезжает на поле и тащит плуг в тот конец, где проходит межа и откуда надо начинать вспашку.

Видно было, что плуг не новый и вдобавок пролежал здесь долгое время, возможно всю зиму, потому что ступицы в колесах разболтались, спицы повыскакивали из втулок, все деревянные части — ступицы, грядиль, чапыги — почернели и потрескались, а все железные — спицы, гребень на грядиле, цепь для регулировки глубины вспашки и лемех — заржавели; никто над этим плугом не сжалился, не затащил в сарай под крышу, и гнил плуг под снегом и дождями.

Нетрудно было догадаться, что владелец его отдал свое поле городу или заводу, сам же либо переселился, либо пошел работать на стройку, а старый плуг кинул.

Возможно, в тот день, когда он, надеясь, что до его земли стройка не доберется, выехал с этим плугом в поле на зяблевую вспашку, возможно, именно тогда, когда он уже перепряг лошадей из телеги в плуг и пошел с ним по стерне в тот конец поля, где должен был взрезать землю лемех, кто-нибудь прибежал к нему с вестью, что стройка все-таки прихватит его землю, и он снова запряг лошадей в телегу и вернулся домой без плуга; возможно, при мысли о том, что стройка дойдет до его поля и отнимет у него землю, он позабыл про плуг, а может, сразу решил идти работать на строительство, и плуг ему был больше ни к чему, или же он надумал переселиться и, собираясь в дорогу и зная, что везти с собой нужно немало, не захотел тащить старый плуг; так и остался плуг на поле и сгнил, и теперь никто уже к нему не притронется.

Я быстро вернулся к старой яблоньке, сел на поваленный ствол и стал смотреть на дверь домишка, до которой проводил Хелену.

Спустя некоторое время в дверях показалась повитуха, я вскочил с яблоньки и вытянулся как по команде «смирно», но она не сказала мне: «Ты стал отцом, у тебя сын» — или: «Ты стал отцом, у тебя дочь», как, подумал я, скажет, когда дверная ручка повернулась книзу и на пороге появилась женщина; нет, повитуха только кивнула мне, а когда я к ней подбежал, шепнула: «Еще не скоро, жди спокойно в саду»; и снова дверь за нею закрылась,

ручка повернулась кверху, а я сел на яблоньку и стал смотреть вниз, на землю у поваленного дерева и на черненьких червяков, которые торопливо выползали из-под ствола и тут же уползали обратно; потом я стал разглядывать каждое дерево по отдельности, но все это мне было ни к чему, так как не имело отношения к тому, что происходило в маленькой горнице, где была сейчас Хелена.

А потом тихонько заскрипела калитка, и в сад вошел щуплый паренек с девушкой; на нем была коричневая куртка и кепка, на ней длинное серое пальто, а на голове завязанная под подбородком шелковая косынка.

Увидев меня, они разделились: она подошла к забору и там остановилась, а он стал медленно и несмело приближаться ко мне. Смышленый оказался паренек: сообразил, что, раз я сижу на поваленной яблоньке, значит, скорее всего, пришел сюда со своей девушкой и ему нечего стучаться в дом, лучше подойти ко мне и спросить, свободна ли повитуха.

Он и пошел ко мне, но очень неуверенно, то замедляя шаг, то останавливаясь, и все вертел головой то вправо, то влево, словно не спросить, свободна ли акушерка, хотел, а оглядывал сад; но такое поведение как раз его и выдавало: ясно было, что он привел девушку, которую обрюхатил.

В конце концов парень осмелел и подошел ко мне; да и почему ему было не осмелеть, когда он смекнул, что я не просто так торчу в этом саду, а, стало быть, тоже обрюхатил девушку.

Подойдя ко мне, он показал пальцем на дом и спросил: «Там сейчас твоя девушка?» А я ему на это: «Там»; выслушав мой короткий ответ, он вернулся к своей девушке, обнял ее за плечи и повел краем сада к тому месту, где забор сворачивал с дороги в поле; там они и остановились.

Я проводил их глазами, но тут же повернулся к дому, потому что из окна до меня донесся какой-то звук, похожий на мяуканье кошки; однако я сразу понял, что никакая это не кошка, и не птица заверещала, и не калитка вдалеке скрипнула, и не журавль у колодца поднялся, а что это стонет Хелена.

Снова я встал со ствола яблоньки и приблизился к дому, а потом подошел к окошку. На окне висели непрозрачные занавески, но задёрнуты они были неплотно, и между ними оставалась щель; сквозь эту щель я заглянул в горницу и увидел висевшую на стене зажженную керосиновую лампу; под лампой стояла кровать, на краю которой сидела пожилая женщина, повитуха, а

из-за ее спины высовывались круглые белые колени Хелены; спинка стула и навешанные на нее белые тряпки загораживали бо́льшую часть кровати, поэтому сквозь щель между занавесками я мог разглядеть только повитуху и голые раздвинутые колени моей девушки.

Однако тут же мне пришлось отскочить от окна, потому что повитуха поднялась с кровати и направилась к двери; минуту спустя ручка снова поехала книзу, и дверь отворилась.

Женщина сказала, что мне лучше уйти, поскольку ждать, похоже, придется долго; а я ей возразил: «Да ведь она стонала» — я был очень недоволен, что роды затягиваются; но повитуха сказала: «Ну и что, стонала и еще постонет, постонет, и все будет хорошо, в первый раз рожает, оттого и долго»; и еще сказала, чтобы я пришел вечером узнать, кто родился, к тому времени, наверно, все уже будет позади; и еще добавила, что вечером мы решим, сколько времени Хелене понадобится здесь пробыть и когда я смогу забрать ее и ребенка.

Я подумал, что Хелена в хороших руках, при ней две женщины, и от того, что я буду болтаться в саду, ей легче не станет, глупо торчать под окном и заглядывать в горницу; глупо, да и волнуешься сильнее — нельзя спокойно смотреть на ноги, на колени твоей девушки, когда она рожает, и когда они вздрагивают от боли, и от боли она то сводит их, то разводит; кроме того, если я стану подглядывать, возможно, начнут нервничать принимающие роды женщины, спокойствие, необходимое в таких случаях, может их покинуть, если они увидят мою физиономию в просвете между неплотно задернутыми занавесками.

И я решил, что стоит послушаться совета повитухи и пойти на работу, а сразу после работы сюда вернуться; кроме того, я понимал, что повитухе не хочется, чтобы я ошивался в саду: не ровен час, кто заметит, потом хлопот не оберешься, а она заботилась, чтобы о ее занятии знало поменьше народу, лучше бы всего только те парни, которым до зарезу понадобится тайком от родных привести сюда своих девушек, чтоб они здесь разродились или, что случалось чаще, избавились от еще не рожденного ребенка, и тогда бы у этих девушек руки снова оказались развязаны и они могли бы сойти за невест на выданье.

Выйдя из сада, я зашагал в сторону первого городского квартала, который краснел передо мною вдали и был виден как на ладони — предрассветный туман уже рассеялся.

Когда я свернул на дорогу, разделяющую две длинные и узкие полоски поля, и посмотрел направо, то снова

увидел почернелую пшеничную стерню и плуг, который так и не успел пройтись по зяби, и еще я увидел, что на примыкающей к стерне стройплощадке суетятся несколько рабочих.

Присмотревшись получше, я разглядел, что они, подготавливая участок для земляных работ, убирают с площадки и сваливают в кучу все, что на ней осталось от разрушенного дома и хозяйственных построек; больше всего там было старых, замшелых пучков соломы из стрехи, попадались обломки изгороди и полуистлевшие бревна — дерево потолще да покрепче, видно, захватили с собой, переселяясь, бывшие хозяева, либо оно было продано на дрова или на подправку домов и сараев соседям, которым повезло и до чьих полей, садов и домов стройка не докатилась.

Рабочие быстро очищали площадку от рухляди, и куча на границе стерни и двора быстро росла; двор этот, правда, уже и двором-то не был, скорее следом от двора, да и на след он с каждой минутой походил все меньше, потому что в кучу раз за разом летела черная солома из стрехи, колья, и разрубленные на куски жерди, и столбики от старой изгороди, трухлявое дерево и всякие мелочи, люлька с одним полозом, но зато с целехоньким сенничком в грязных потеках, заляпанное навозом корыто для свиней, корзина, украшенное шариками изголовье кровати, ушат, ручной жернов, пест от ступы, грабли, тряпичный мяч — забава деревенских ребятишек — и еще разные разности...

Когда все эти мелочи со двора убрали и он перестал быть похожим даже на собственный след, двое рабочих подошли к плугу, и один из них, видать шутник, весело крикнул своему напарнику: «Впрягайся, попашем; ты берись за вальки, будешь лошадь, а я пахарь».

Так они и сделали, потому что вздумалось им позабавиться и других позабавить; изображающий лошадь рабочий, будто бы впрягаясь в плуг, ухватился за вальки, нагнулся и сделал несколько шагов, а тот, что был за пахаря, взявшись за чапыги, пропахал несколько метров и отвалил на пшеничную стерню тонкий — чтобы «лошади» не трудно было — пласт земли.

Однако пришлось им эту игру прекратить, потому что человек, руководивший уборкой территории, крикнул издалека: «Кончайте баловство и беритесь за работу, сейчас сюда канаву начнут тянуть»; тогда те двое, которые затеяли пахоту на пшеничной стерне, разняли плуг на две части, спустив по грядилю и сняв самое большое звено толстой цепи, прикрепленной к колесной оси; потом один из них подхватил колеса и пошел, а

второй взвалил на плечи грядиль с чапыгами и лемехом и поспешил следом за напарником к куче старых, ненужных вещей.

Но охота шутки шутить у них не пропала, особенно у того весельчака, который на ходу придумал игру в пахоту; подтащив обе части плуга к общей куче, они опять сложили их вместе, и через минуту на верхушке кучи красовался целехонький плуг.

Правда, поскольку места на высокой этой куче было немного, колеса плуга приблизились к лемеху, который опустился книзу, и в результате грядиль остался один торчать вверх, точно дуло орудия, готовящегося к победному салюту, точно огромный, указующий в небеса, отвратившийся от земли, оторванный от гигантской руки одинокий перст.

Когда плуг затащили наверх, с уборкой было покончено, если не считать разных мелочей, подброшенных в кучу напоследок: ножек от стола, тряпичной куклы, полусгнившей толстой веревки, заляпанных навозом сапог без подошв...

Тогда один из рабочих вынул из кармана зажигалку и поднял руку, чтобы определить, откуда дует ветер, но долго не мог ничего понять, так как ветра почти не было; потом, выбрав подходящее место, он присел возле кучи на корточки, сделал в соломе гнездышко, сунул туда руку с зажигалкой и ее зажег, после чего, приблизив лицо к соломе, дунул несколько раз.

Сначала из соломы, которой был устлан низ кучи, выползла струйка дыма, а потом с треском вырвался огонь, однако, наткнувшись на отсыревшие, затхлые, скрученные пучки соломы, каких в куче было полно, огонь снова превратился в дым, в густой темный дым, который вскоре окутал всю груду, поднялся до самого плуга и поглотил его целиком, вместе с торчащим вверх грядилем, «пушечным дулом», одиноким «перстом»; но ветерок то и дело сгонял и сдувал с верхушки дым, и поэтому некоторое время куча горела так, что огромный этот перст, ненадолго исчезая в дыму, снова появлялся наверху и торчал один-одинешенек, целясь в небо.

Я пошел дальше своей дорогой — не мог я там долго стоять, пора было на работу, мне еще предстоял разговор с мастером и объяснение причин опоздания, да и часы, которые я прогулял, после смены придется отработать.

Я шел и время от времени оглядывался, смотрел на столб дыма и поминутно вылезающий из него плуг на верхушке кучи; потом я увидел целую гору дыма, оплетенную языками пламени, и плуг, еще стоящий наверху и даже яснее различимый; потом я уже только огонь

увидел и в огне плуг, еще не склонившийся, еще готовый к залпу, готовый пропороть небо; а напоследок увидел я, как одинокий перст согнулся и исчез в пламени.

И когда я глядел в ту сторону издалека, мне почудилось, что это не куча старья горит, не рухлядь, а памятник.

ГЛАВА XXVI

Сначала деревья заслонили от меня этот костер, а потом он и вовсе скрылся за стенами домов; теперь уже стены указывали мне путь к месту работы; сперва, невысокие, выстроившиеся в одну линию, они представлялись длинной улицей будущего города, а затем, разбежавшись по свободному пространству, расположились как бы внутри большого, начерченного на земле круга — тут угадывался целый городской квартал.

Так я шел — сперва вдоль стен, а потом между ними, огибая краны и бетономешалки, перепрыгивая и переходя по досточкам канавы,— пока не дошел до своего дома, то есть до стены того здания, которое мы возводили на северном краю стройки,— стены, прославленной сначала прыгнувшей с нее смуглой брюнеткой, а потом побившей рекорд бригадой.

Бригадиру и мастеру я сказал, что особые обстоятельства помешали мне вовремя прийти на работу. Они хотели знать, что это за обстоятельства, и были недовольны и даже, кажется, обижены, что я темню и стараюсь утаить правду; но я не мог открыть им правду и рассказать, как на самом деле начался для меня сегодняшний день; не мог сказать, что отвел рожать свою девушку и теперь она лежит в доме у повитухи и стонет от боли и от боли разводит и сводит колени.

В конце концов мастер, а за ним и бригадир прекратили расспросы — видно, сочли, что это мое личное дело и нечего им вмешиваться, и даже сказали добродушно: «Ну ладно, ладно, принимайся за работу»; а мастер, уже уходя, добавил: «Но эти два часа изволь сегодня же во вторую смену отработать»; и бригадир подтвердил: «Да, да, придется тебе на два часа задержаться».

За дело я взялся энергично, чтоб они увидели, как мне самому неприятно, и поняли, что я не отлыниваю от работы, а у меня действительно были для опоздания серьезные причины.

Однако, хоть я был в самом центре шумов стройки, слагавшихся из тарахтенья бетономешалки и чавканья кладочного раствора, громыханья подъемника, звонких

ударов железа по железу, восклицаний и криков, вся эта многоголосица казалась мне тонким голосом боли, похожим на кошачье мяуканье стоном бедной моей девушки.

Я был на стройке, работал на стене, высоко над землей, но мысленно стоял под окошком дома тайной повитухи и смотрел на кровать, на белые и круглые, смыкающиеся и размыкающиеся колени.

Время в тот день еле ползло, еле тащилось, но наконец доползло до того часа, когда со стены спустилась первая смена, а наверх поднялась вторая; потом бесконечно тянулись первые два часа второй смены, которые я отрабатывал за опоздание, но и они кое-как доволоклись до того момента, когда можно было спуститься вниз и сломя голову помчаться к дому повитухи.

Но едва я сошел с лесов и ступил на землю, вернее, на рассыпанный у подножия стены песок, до меня донесся какой-то треск, а потом крики людей — что-то стряслось, только поначалу непонятно было, что именно; наконец кто-то примчался с известием, что по другую сторону дома, который мы строили, свалились в вырытый под фундамент котлован два самосвала, водители, к счастью, не пострадали, но машины лежат во рву на погнутых арматурных прутьях — одна мотором вниз, вторая на боку; а случилось это так: сперва под задними колесами одного самосвала, стоявшего на краю котлована, обвалилась земля, и самосвал, падая, перевернулся набок и врезался в другой, стоявший с ним рядом; в результате оба свалились в ров, а жидкий бетон стал вытекать из кузовов, заливая машины и дно рва.

Поднялась страшная суматоха, прибежали инженер, мастер и несколько бригадиров и, не разбирая, кто кончил работу, кто начал, перебросили десятка полтора людей, в том числе и меня, на место аварии, потому что необходимо было как можно скорее открыть «фронт работ», как тогда говорили; иначе прервутся бетонные работы и получится долгий простой, а это означало, что бетон в котлован будет заливаться неравномерно и застынет потом тоже неравномерно, неодинаково по всей глубине, и прочность фундамента будет уже совсем не та.

В таких случаях никто не отказывался: идешь и спасаешь непрерывный поток работы, который для бетонщиков гораздо важнее, чем для каменщиков.

И не смог я тихонько улизнуть и помчаться к Хелене; что бы сказал на это мастер?.. Он бы сказал: «Мало того, что опоздал, ты еще бочком, бочком — да и смылся, когда случилась авария и нужны были люди»; а мне вовсе не хотелось объяснять: «Я должен уйти, потому что моя девушка рожает»; но даже если б я так сказал,

мастер мог бы мне в ответ отрезать: «Ну и что с того, ты же ей рожать не поможешь, а самосвалы вытаскивать можешь помочь».

Первым делом надо было вытащить самосвалы из котлована; сперва попробовали это сделать с помощью большого, груженного кирпичами грузовика; лежащий во рву самосвал прицепили к грузовику, а под задние колеса самосвала подложили широкие короткие доски, чтоб колеса не врезались в стену котлована, а въехали наверх.

Несколько рабочих с деревянными шестами в руках выстроились на краю рва, чтобы направлять движение подымаемого изо рва самосвала, а остальные изготовились, чтобы в нужный момент подскочить к железному кузову, к раме или еще к чему-нибудь, за что можно зацепиться, и подтолкнуть самосвал, когда он сдвинется с места и его колеса, перестав вращаться в воздухе, станут на край рва.

Но грузовику, нагруженному кирпичами, не удалось вытащить самосвал изо рва; правда, он дрогнул, и сдвинулся с места, и даже накренился так, что кузов коснулся стены котлована, но тем дело и кончилось, так как колеса грузовика от непосильной нагрузки забуксовали в сырой земле.

Под колеса подсыпали гравию и песку, подложили толь, и грузовик снова попробовал тянуть трос; колеса больше не буксовали, но зато грузовик чуть не поднялся на дыбы, и возникла опасность, как бы он совсем не перевернулся; тогда мастер крикнул: «Грузовик здесь не поможет, нужен бульдозер...» Но бригадир посоветовал сделать еще одну попытку и предложил переместить кирпичи в кузове, чтобы перед стал потяжелее; потом бригадир обратился к рабочим с шестами и стал им объяснять, что многое зависит от их правильных действий.

Руководитель бетонных работ на этом участке поддержал бригадира, он настаивал на том, что нужно еще раз попытаться использовать грузовик, раз уж тот под рукой, а не искать бульдозер, потому что поиски могут сильно задержать ликвидацию аварии, и тогда нарушится четкий ритм работы, а от этого бетон будет застывать неравномерно, что отразится на прочности фундамента.

По тому, как он поддерживал бригадира, как убеждал всех еще раз пустить в ход грузовик с кирпичами, можно было понять, что человек он крайне нетерпеливый; в свою речь он то и дело вставлял такие фразы: «Работа стоит, черт побери, стоит работа, разрази ее гром, стоит работа», а потом снова: «Пропади все пропадом, работа

стоит», и снова: «Пресвятая дева, стоит работа...»

Так он подступал, приближался к тому ругательству, страшнее которого не было на стройке, лишь самую малость до него не доходя; а дошел, когда новая попытка с грузовиком провалилась, когда не помогло ни перемещение кирпичей в кузове, ни тычки шестами в задние колеса лежащего во рву самосвала.

Взгромоздившись на кучу арматуры, он выкрикивал это проклятие, а все, кто находились вокруг, подняли головы и распрямились, и в безмолвных этих взглядах было уважение к его ярости.

Я тоже смотрел на этого сквернослова, который, только что нагрузившись не очень страшными проклятиями и смешав их с обращенными к богу мольбами, собравшись с силами, точно размахнулся сплеча, и от этого будто ветер поднялся, который из искры раздул пламя, превратил не очень страшные ругательства и набожные мольбы в самое наистрашнейшее проклятие.

Меня тоже злило, что все попытки вытащить самосвал из ямы и открыть на этом участке фронт работ не удавались. Но злился я не из-за того, что быстро схватывающийся раствор может застыть в котловане прежде, чем зальют следующую порцию, из-за чего фундамент огромного здания затвердеет неравномерно, а такого допускать нельзя.

Я злился из-за того, что не могу помчаться в сад к повитухе и не знаю, что с Хеленой, родила она или еще нет, перестала стонать или по-прежнему стонет и по-прежнему от боли сводит и разводит колени; может, я уже стал отцом сына или дочки, может, я уже отец ребенка от моей первой любви, ложем для которой была голая земля, едва прикрытая сеном, а потолком — небо, а домом — канава; может быть, я уже отец ребенка, который, когда подрастет — как я не раз думал и мечтал,— скажет мне «папочка», не «отец», не «папаша», а «папочка», и матери скажет не «маманя», не «мать», а «мамочка», ибо так станут называть будущих отцов и будущих матерей будущие дети, так будущие отцы и матери прикажут называть себя своим будущим сыновьям и дочерям, чтобы отыграться за «папаню», за «папашу», за «мать»; и еще они велят обращаться к ним на «ты», чтобы отыграться за прежние «вы, папаша» да «вы, мамаша».

И больше, чем всем другим, эти ласковые слова придутся по вкусу хлебоедам и похлебочникам; уж они отыграются за все эти «вы, мамаша», «вы, папаша», «вы, дед», «вы, бабка», порадуются, слыша от своих ребятишек сладкие «мамулечка», «папулечка», «бабуся», «деду-

ся», да и сами хлебоеды и похлебочники, добравшись до главной своей приманки — куска хлеба, густо намазанного маслом,— станут называть своих детей сладко-пресладко: «сыночек», «доченька», «сынуля», «дочура». И имена им станут давать не простые — не Войтеки, Юзеки, Стахи да Мачеки, не Зоськи да Марыськи у них пойдут, а Юреки, Богумилы, Артуры, Иоланты, Мариолы, Виолетты...

Может быть, я уже стал отцом, но вместо того, чтобы сидеть на краю кровати в горнице у повитухи и глядеть на своего ребенка, должен торчать возле этих перевернутых вверх колесами, страшных с виду машин и должен вместе с другими рабочими выволакивать их из котлована, а сейчас вот жду, пока сюда притащится тяжелый бульдозер.

Два часа за опоздание я отработал, а теперь еще два часа, если не больше, помогаю вытаскивать самосвалы изо рва.

Все глядят в ту сторону, откуда должен приехать бульдозер, но тяжелая машина, на которую вся надежда, что-то не едет.

Руководитель работ по укладке фундамента, который в своей ярости дошел до наистрашнейшего из проклятий, какие можно услышать в этой огромной долине, стоит впереди всех, вернее, даже не стоит, а переминается с ноги на ногу либо кружит по маленькому пятачку земли — так волнуется, что запаздывает бульдозер и быстро схватывающийся бетон застывает, а ему застывать никак нельзя.

Но вот наконец на равнине показался бульдозер; он ехал тяжело и медленно; люди, которые его ждали, бросились навстречу, и всех обогнал сквернослов — он как будто хотел подбежать к машине, ухватиться за ее поднятый нож и помочь мотору подогнать бульдозер к лежащим во рву самосвалам.

Все думали, что бульдозер — чудотворец, который без труда управится с самосвалами; и он, как потом оказалось, управился бы, но, скорее всего, при этом вырвал бы шасси, свернул на сторону кузов, выдернул колеса вместе с пластом земли, потому что сила тяги у него была огромная, а вот одновременно и тащить самосвал, и поднимать его кверху, да еще так, чтобы колеса не врезались в стену котлована, он не мог; лучше всего для этого подошел бы небольшой кран.

Время летит, может быть, я уже отец — нет, не отец, а папочка, а Хелена мамочка,— а тут, выходит, я еще не скоро смогу полететь к дому тайной повитухи, потому что одному бульдозеру самосвалов не вытащить и нужно

раздобывать кран.

Решили, что лучше всего подойдет легкий самоходный кран, и кто-то помчался, чтобы откуда-то такой кран пригнать.

А руководитель бетонных работ на этом участке уже не дрожал, не кружил по крохотному пятачку земли, а стоял, понурив голову и опустив руки, потому что делать ему больше было нечего, потому что он уже изнервничался до предела и выкрикнул самое страшное проклятие, и ничего страшнее не нашлось у него в запасе, когда стало ясно, что бульдозеру с самосвалами не управиться и нужно добывать легкий самоходный кран; кроме того, он знал, что самая распрекрасная машина сейчас уже не поможет и фундаменту первоклассным не бывать. Конечно, он получится неплохой и продержится немало лет, но первоклассным не будет.

Наверное, если бы препятствие было устранено, руководитель работ разговорился бы и, может быть, мы б услышали его излюбленное сравнение бетона с женщиной; возможно, он бы сказал: «Бетон, как и женщины, разный бывает»; и, возможно, разведя руками и поморщившись, сказал бы: «Женщины бывают никудышные, безо всякой прочности внутри, и бетон бывает никудышный, непрочный»; и, возможно, приложив два пальца к вытянутым в трубочку, как для поцелуя, губам, он сказал бы: «А бывают женщины — первый сорт, и бетон бывает — первый сорт».

Но сегодня он этого не скажет; пожалуй, мы теперь долго от него таких слов не услышим, но когда-нибудь услышим обязательно — когда работа пойдет гладко, без простоев, когда фундамент на его участке получится первого класса.

Время летит, и мне давно пора бежать к дому, где я оставил Хелену; может быть, я уже стал отцом сына или дочки, но нет чтобы сидеть возле ребенка — я должен вместе с другими ждать, пока притащится кран.

Наконец, когда над стройкой уже стали спускаться сумерки, кран притащился; теперь, с краном и бульдозером, мы без большого труда выволокли самосвалы из котлована; когда они коснулись колесами края рва, кое-где на стройплощадке уже зажглись огни; а тут еще исстрадавшийся бригадир стал нас умолять: «Помогите, ребята, выпрямить арматурные пруты, быстрей дело пойдет, если вы поможете».

Невозможно было ему отказать, мы спустились в ров и, пристроившись кто на краю опалубки, кто на слегка застывшем бетоне, принялись выпрямлять арматуру.

Выпрямив прутья, мы весело закричали бригадиру:

«Ну, теперь можно лить свежий бетон»; мы радовались, что наконец завершилась эта ненужная, не приносящая удовлетворения работа, в результате которой ничего не продвинулось вперед — наоборот, можно сказать, бетонирование фундамента вернулось к той точке, на которой оно было часов пять назад, потому что возня с самосвалами у котлована заняла примерно столько времени.

Бригадир поблагодарил нас и напоследок, показав рукою вниз, на серую, уже слегка застывшую, кое-где, точно накипью, покрытую пеной и, словно редкой черной щетиной, поросшую арматурными прутьями поверхность бетона, сказал: «Будет фундамент, будет, но не такой, какой мог бы быть, это не то, ребята»; и еще раз, обведя взглядом наши усталые лица, на которых написано было нетерпение, повторил: «Это не то»; и потом, когда мы уже разбегались, кинул вдогонку нашим быстро удалявшимся спинам те же слова: «Это не то, ребята, это не то».

Я сразу откололся от группы рабочих, устранявших аварию, потому что спешил к Хелене, и выбрал самый короткий путь: вверх-вниз, вверх-вниз по завалам старой, слежавшейся земли, потом вверх-вниз, вверх-вниз по завалам свежей, сыпкой земли, а потом все вниз да вниз по рыхлой земле до самого края свежевыкопанного рва.

ГЛАВА XXVII

Ров был длинный, в одном месте он пересекал площадку, заваленную деревом и железом, и, чтобы не карабкаться по этим нагромождениям, я спустился вниз — по ровному дну идти было удобно, все равно что по полу.

Вначале ров был залит светом, но постепенно огней вдоль него становилось все меньше; попадавшие внутрь лучи от фонарей уже не сливались один с другим, и ярко освещенные полосы на дне чередовались с тенями; потом темные отрезки стали удлиняться, а светлые укорачиваться, пока наконец последний фонарь не остался позади, и я продолжал путь в темноте.

Ночь, правда, выдалась звездная, и мне видны были верхние края канавы, так что я мог идти довольно быстро, тем более что в конце рва светила маленькая сигнальная лампочка, которая дополнительно указывала мне направление.

Первой преградой на моем пути оказался пласт земли, оторвавшийся от не обшитой досками стены рва и упавший на дно, однако преграда эта была не такая уж

непреодолимая и даже могла послужить для выхода наверх: из больших земляных глыб получились как бы ступени; должен сказать, мне даже захотелось выбраться изо рва по этим ступеням — я знал, что отсюда начинается тропка, плотно утоптанная сапогами рабочих, выкопавших этот ров, а с нее я бы запросто попал на какую-нибудь другую удобную тропинку и в конце концов вышел бы на дорогу, ведущую к дому повитухи.

Но я не взобрался наверх по этой вроде бы «лестнице», которой пользовались рабочие, спускаясь в ров и из него подымаясь, и которая появилась здесь чисто случайно, по прихоти судьбы, управляющей образованием трещин в земной поверхности.

Не стал я взбираться наверх, а перемахнул на другую сторону этой «лестницы» и зашагал дальше низом, как будто мне по вкусу пришлась прогулка по дну рва.

Еще я мог подняться наверх в месте другого обвала, невдалеке от первого, похожего на ступеньки, потому что и от него бежала тропинка — возле каждого такого оползня начиналась тропинка, протоптанная тяжелыми сапогами рабочих из бригады землекопов; но я и по второму обвалу не выкарабкался наверх и не свернул на тропку, а пошел дальше, потому что мне легко шагалось по дну рва; такой ров, пока его не обошьют досками и не зальют бетоном, все равно что удобная дорога, по которой можно идти очень быстро.

Я еще не знал — но вскоре узнал,— что ров этот, по которому мне так легко и быстро шагалось с неумолчным припевом в душе: «Может быть, ты уже отец, может, ты уже отец сына или дочки», станет третьим рвом, пересекшим мою жизнь.

Каждый человек начинает строить свою жизнь на своем месте; с разных мест люди подымаются в гору и с разных мест летят вниз, и к разным местам каждая жизнь приколочена, да так крепко, что, где бы потом человек ни оказался, от того места, к которому его жизнь прибита, ему не оторваться — не выдернуть гвоздей.

Такими местами в моей жизни после ухода из деревни, жизни без отца, без матери, без соседей-односельчан, то есть в жизни самостоятельной, были три рва; не строительные леса, не курсы, не школы, не залы для собраний и лекций, как можно подумать, а три дна трех канав.

Первым было дно траншеи, в которую я свалился, едва приехав на эту огромную пустую равнину,— мокрое, ослизлое, подмерзшее, перекопанное вдоль и поперек, ухабистое, скользкое как лед дно траншеи; прóклятое и оплеванное, пропахшее нашим потом и запахом немытых

тел место, от которого тем не менее сподручно было оттолкнуться и прыгнуть вверх.

Оттолкнувшись от дна этой траншеи, я поднялся на стену, а потом еще выше; без этой траншеи не было бы стены и не было бы школы, потому что и моя стена, и моя школа родились на дне этого рва; там лежало — говоря красиво — начало моей профессии, а говоря по-нашему — ремесла.

Вот почему моя жизнь приколочена к дну этого рва большим гвоздем-однотесом; и таким же большим однотесом прибита моя жизнь к дну Глухой канавы, канавы моей любви, канавы-постели, канавы-дома, канавы-костела.

В этом рву я из юнца превратился в мужчину, в этой канаве, по ошибке вырытой похлебочниками и хлебоедами, стал отцом, в этой тупиковой траншее мы с Хеленой отдались друг другу, и обвенчались, и стали мужем и женой, прежде чем ксендз связал нам руки епитрахилью. Много моих потаенных радостей и потаенных печалей родилось в этом потаенном месте.

А сейчас я шагаю по плотно утрамбованному дну третьего рва, к которому третьим большим однотесом приколочена моя жизнь; и как бы я теперь ни старался, мне не вырвать этих гвоздей — ни степенность, ни нажитый с годами разум здесь не помогут.

Однако я забежал далеко вперед и для порядка должен снова вернуться в третий свой ров; я миновал уже второй обвал и вторую тропку и теперь шагаю прямо на красный огонек низко подвешенной лампочки, а с боков у меня неплохо различимые края рва, который, как стало казаться, составлен из двух слоев: верхнего, чуть освещенного безоблачным ясным небом, и нижнего, темного, похожего на черную воду.

Я шел по дну третьего рва, к которому третьим однотесом приколочена моя жизнь, но в мыслях, в душе то и дело из этого рва убегал, и проделывал весь путь, который мне еще оставалось проделать, и сидел у кровати в домишке тайной повитухи, и смотрел, не отрываясь, на моего ребенка и на невенчанную мою жену, хотя на самом деле перед глазами у меня был длинный ров, и маленькая красная лампочка, и золотисто-красный, лучезарный, похожий на золотистого вьюна ее отсвет, отражающийся от чего-то блестящего; отсвет этот потому еще был похож на рыбу, что медленно двигался, будто плавал в нижней, не освещенной ясной ночью, части рва — в «черной воде»; ни одно стеклышко, ни один обломок чистого, не заржавленного железа, ни одно случайное «зеркальце» из числа тех, которыми усеяны

стройплощадки, не могли бы так красиво двигаться и красиво «плавать» между стенами рва.

Все внимательнее приглядывался я к этому отблеску, к золотисто-ржавой рыбке — мне интересно было, что же это в самом деле такое; я ни о чем больше не мог думать, кроме как об этой рыбе цвета темного золота, об этом чуде весенней ночи.

Я ускорил шаг, я почти бежал навстречу этому «диву» и вдруг рядом с ним, рядом с этой золотисто-ржавой рыбкой, увидел тоже золотисто-ржавую, сжатую в кулак руку, а над нею тоже золотисто-ржавое лицо... и первым моим желанием, опередившим все мысли и подсказки, которые разом на меня нахлынули, когда я приблизился к этому «диву», было упасть на колени и просить, умолять об отказе о мести, а если не об отказе, то хотя бы об отсрочке, потому что сейчас я бегу к Хелене, потому что, возможно, она уже стала матерью, а я отцом.

Вот какое во мне на один миг вспыхнуло желание, но ничего такого я не сделал, потому что, увидев золотисто-ржавый нож Румяного, первым делом схватил свой прыгунок и высвободил лезвие.

Когда я описываю ту встречу по прошествии многих лет и вспоминаю, как оно было, достаточно хладнокровно, будто смотрю со стороны, то могу сказать, что он метил мне под левое ребро, но я левой рукой подшиб снизу его правую кисть, и нож проплыл над моей головой; однако он мгновенно отскочил вбок, и мой нож проплыл мимо его подреберья. Разойдясь и немного отдалившись, ножи снова сблизились, и снова поплыли в разные стороны, и наверху разминулись; потом они разошлись внизу, описали широкие дуги, проплыли каждый по своему кругу и обогнули друг друга, потому что нам обоим хотелось получше нацелиться и оба мы знали, что самое удобное место — мягкое левое подреберье, и ножу хорошо бы подплыть к этому месту наискось, снизу вверх.

Не было никаких слов, никакого сопения и тяжелого дыхания, как это случается в рукопашных схватках, когда выпадают минуты — иногда довольно долгие — тесного соприкосновения, слияния, которое решает исход драки, и тогда всякие мелочи, даже сопение, даже тяжкий вздох, вырвавшийся из неожиданно освободившегося от железной хватки горла, могут обрести значение и стать той гирей, которая перетянет чашу весов победителя; в драке на ножах противники тесно не соприкасаются, там все по-другому, в драке на ножах противники танцуют, порхают друг возле дружки, им нужна легкость, а легкость требует тишины; в ножевой драке главное — ловко подскочить и пригвоздить противника к земле,

всадить ему нож в левое подреберье, наискосок, снизу вверх; в такой драке все проделывается красиво, без хамства — ножи обязаны друг друга уважать, и противники не машут по-хамски кулаками, не ломают костей, и ни слюней, ни соплей на их физиономиях не увидишь, как во время рукопашной, силовой схватки. Поэтому драка на ножах — драка чистая, ничего грязного в ней нет, никто никому не выкручивает рук и ног, не тычет кулаком в лицо, не сажает исчерна-красных синяков, как это бывает в рукопашной; в драке на ножах все чисто. Под красной сигнальной лампой ров заканчивался широкой воронкой, и там, на округлом дне этой воронки, мы дрались.

В таких схватках не бывает равных; ничто лучше ножевой драки не показывает, что нет на свете двух людей, равных по силе; когда и где — спрашиваю я себя,— в какое время и в каком уголке земли два ножа в одно и то же мгновение воткнулись в схожие места на телах двух дерущихся людей? В драке на ножах непременно один сильнее, а другой слабее; это и выяснилось в круглой воронке под красной сигнальной лампой.

Я помню и, вспоминая, вижу длинную золотисто-красную дугу, прочерченную его ножом в воздухе, и слышу одно его слово: «Получай...» — сказанное так, словно он совал мне подарок, от которого я отказывался; а потом я увидел чудесное размножение золотисто-ржавых рыбок, похожих на ту, первую, увиденную издалека; их стало так много, что можно было подумать, мир только из них и состоит — из золотисто-ржавых рыбок, из одних только золотисто-ржавых цветов; но тут я поплыл куда-то далеко-далеко.

В драке на ножах Румяный оказался сильнее, его удар попал в цель; правда, он мог бы быть и поточнее, поскольку я остался жив, но все равно — удар был хорош, потому что я пять дней не приходил в себя.

ГЛАВА XXVIII

Когда я сегодня называю тот ров третьим местом, к которому третьим большим гвоздем-однотесом приколочена моя жизнь, я имею в виду не только свое пятидневное небытие, ведь я все-таки вернулся на этот свет, и соединился с Хеленой законным браком в результате двух церемоний — у ксендза мирского и ксендза церковного,— и здоровье и силы ко мне вернулись, и до своего города я вместе с другими доплыл; называя дно третьего рва местом, где накрепко засел третий однотес моей жизни, я имею в виду то, что случилось с Хеленой, а

главное, с моим ребенком, с моим единственным сыном, который из-за моего пятидневного отсутствия на этом свете попал в чужие руки, в неизвестные края, и нет теперь у нас сына, а мог бы быть, мог бы жить в нашей квартире, и мы бы с ним могли в воскресенье отправиться на далекую прогулку, сперва побродить по городу, а потом выйти в поле; могли б гулять, как гуляет со своей женой и детьми Молоденький — я называю его по-давнишнему, хотя молодость уже за спиной,— как гуляют со своими детьми Робкая Душа и жена Робкой Души, как гуляют погожим воскресным днем со своими женами и детьми многие из тех, кто принадлежал к былым «монашеским орденам» неистовой стройки; и мы могли бы, будь наш сын с нами, переплыть втроем большую реку и показаться на родимом берегу; собственно, для этого все уже готово: в шкафах висят хорошие костюмы, и карманы больше не похожи на измятые тряпочки, с такими карманами не стыдно вернуться в отчий дом; и музыка могла бы заиграть, и на выгоне мог бы быть устроен праздничный буфет с пивом и колбасой, и я бы, сознавая, что вышел «из грязи в князи», кидал деньги на неоструганные доски буфетной стойки; но мы не можем переплыть реку, потому что у нас нет сына, а как без него поплывешь; если б мы переплыли реку без сына, нас бы завалили, задушили вопросами родня и соседи, все вынюхивающие и ничему не доверяющие; кое-что знающие, но желающие знать всю подноготную и даже страдающие оттого, что не все доподлинно им известно, и встревоженные, и недовольные тем, что не видят даже намека на продолжение моего рода; род мой вроде бы и не оборвался, и оборвался — цепочка так запуталась, так перекрутилась, что, можно сказать, совсем порвалась; а если не порвалась, то потянется как бы заново, с неизвестного места, от единственного моего сына, которого у меня нет, и которого я не видел, и даже фамилии которого не знаю; но хоть его у меня и нет, и я его не видел, и даже фамилии не знаю, все, что сказал и еще скажу, я предназначаю именно для него; я не стал бы всего этого рассказывать — потому что сам и так знаю, а другим знать необязательно,— если б не теплилась во мне слабенькая надежда, что мои слова дойдут до одного из тех двадцатилетних, который на самом деле наш сын; и поэтому, хотя у меня нет сына, все-таки он у меня есть, он — в каждом из тех, кому сегодня двадцать лет; и если мне навстречу попадается двадцатилетний парень, я невольно думаю, что, может быть, прошел мимо своего сына; и когда мне случается сидеть рядом с двадцатилетним юношей, я невольно думаю, что, может

быть, сижу рядом со своим сыном; и я вовсе не уверен, что, если кто-нибудь из двадцатилетних повнимательнее на меня посмотрит, я не закричу: «Сынок...» И также я не могу быть твердо уверен, что, если кто-нибудь постучит ко мне в дверь, это не окажется мой сын...

Итак, у меня есть сын, он есть у меня, хотя я его не знаю, а Хелена знает, она шесть дней глаз с него не сводила, целых шесть дней, пока меня ждала, сначала в горнице, а потом на чердаке, в доме тайной повитухи, куда я отвел ее ранним весенним утром двадцать лет назад и куда должен был вернуться в тот же день после работ.

Говоря так о своем сыне, я как бы описываю способ жить с человеком, которого нет рядом, описываю свое открытие, сделанное ради того, чтобы полностью не утратить утраченное, и радоваться несуществующему, и глядеть на сына невидимого, и обращаться к нему, неслушающему; и все-таки я не теряю надежды, что до него дойдут мои слова и он узнает всю правду без прикрас, без поправок — всю, как есть, чистую правду...

Он — это, значит, один из тех, кому сегодня двадцать, один из сегодняшних двадцатилетних, который был зачат в таком месте, где плодятся ежи и кроты, а потом рожден в доме деревенской повитухи, стоящем на краю бешеной стройки; потом он в этом доме — на кровати и на чердаке, на сене,— пролежал со своей матерью пять дней, а на шестой день к вечеру был хозяйкой из дома вместе с матерью изгнан и на руках у матери проплыл над прилегающей к огромной стройке полоской поля мимо того места, где на верхушке кучи старого барахла сгорел заброшенный, трухлявый плуг; а потом, на руках у матери, он обогнул эту огромную стройку.

Я теперь постоянно обращаюсь к одному из тех двадцатилетних, кто не сын женщине, которую он называет матерью, и не сын мужчине, которого называет отцом, а наш сын. Я говорю с ним, и сам загораюсь, и рад, что загораюсь, потому что таким способом приближаю сына к себе; он словно стоит передо мной, и я рассказываю ему, как его родная мать, обойдя разных людей, у которых безуспешно допытывалась, что со мною случилось, вышла за пределы стройки, и, не зная, куда идти, свернула на пустырь, и пересекла его, и подошла к Глухой канаве, и остановилась на ее краю, как будто хотела показать это место своему шестидневному сыну и сказать ему: «Здесь, сынок, я обручилась с твоим отцом, здесь ты был зачат, сынок, и здесь вершился над тобою суд»; и, должно быть, на краю Глухой канавы ей припомнилось, что́ я говорил той ночью, когда, поставив

перед собой еще не родившегося сына и бешеную нашу стройку, я занял сторону бешеной стройки, которой ни к чему беременные женщины и дети.

Я постоянно обращаюсь к одному из тех, кому сегодня двадцать лет,— к нашему сыну; я говорю с ним как степенный отец семейства, давно расставшийся со своим ножом-прыгунком, но одновременно и как парень из тех далеких времен, как его ровесник, внезапно перескочивший через два десятка лет прямо в ватнике, с лопатой, мастерком и ножом-прыгунком для защиты своей любви, как рабочий паренек со стройки, перемахнувший в сегодняшний день вместе с другими ребятами тех времен, тоже одетыми в ватники, вместе с их страшными проклятиями и уже не существующим сегодня чудом — священными часами работы.

Невеселы мои слова; как отец, я тоскую об утраченном сыне и даже изобрел способ, чтобы быть с ним рядом, а как парень давно минувших времен, как его приятель, в мыслях перескочивший два десятка лет, хлопаю сына по плечу и спрашиваю: «Ну и каков же ты, дружок, неужели в душе у тебя, как у многих нынешних твоих ровесников, погас огонь?»

Когда твоя мать отошла от Глухой канавы, она оказалась на пустыре, только еще подготовленном под строительство; избегая фонарей, уже зажегшихся кое-где над стройплощадками, и выбирая уголки потемнее, она добрела до той самой свалки старого железа, через которую я проходил, неся заболевшую Мать в медпункт. Большой, похожий на плоскую лохань или неглубокую колыбель нож, оторванный от бульдозера, еще там лежал, и она, почувствовав страшную усталость, положила тебя на этот нож, как я в ту осеннюю ночь положил Мать, и сама присела рядом; и ты на шестой вечер своей жизни лежал не в красивой кроватке, и не в красивой колясочке, и даже не на куске сурового полотна, разостланном на соломе или на сене, а на огромном ноже от огромной машины, предназначенном для взрезания земли; лежа на этом ноже, ты стал требовать грудь, и тогда мать вынула тебя из стальной «колыбели», положила на колени и накормила.

Потом она встала, взяла тебя на руки и, не зная, куда идти, пошла вперед, и снова ей пришлось пробираться сквозь нагромождения бесполезных отходов бешеной стройки, и снова усталость заставила ее остановиться, на этот раз возле оторванной от тяжелого грузовика жестяной кабины, у которой еще сохранились дверцы, а внутри — развороченное мягкое сиденье и даже руль; держа тебя на руках, она залезла туда, и шестую ночь

своей жизни ты провел в кабине старого грузовика, лежа на растерзанном сиденье рядом с матерью, которая, словно притомившийся шофер, вздремнула, уронив на руль голову и руки. Пробудившись в этом выброшенном на свалку остатке грузовика, она прокатилась по двум годам своей жизни на стройке и, не выпуская из рук разболтанного руля, волей-неволей вернулась в ту ночь, которую проводила с тобой на свалке металлолома.

А потом, сынок, твоя мать вылезла из кабины грузовика, оставив тебя внутри; ей хотелось спокойно оглядеться и подумать, как быть и что делать, и дорогу хотелось найти.

Но ты, сынок, должен понимать — ведь ты уже взрослый, тебе двадцать лет,— что не могла она спокойно оглядеться и спокойно подумать, так как это был шестой день твоей жизни, шестой день тяжкого ее материнства, день, когда ее вместе с тобою выгнали даже с чердака и никто не смог сказать, что случилось со мной; это был день, начавшийся с того, что в доме у повитухи ей пришлось выслушать навязчивую безрадостную литанию: «Иди же наконец отсюда, иди, еще кто чего пронюхает, потом не оберешься хлопот; уходи отсюда, уходи, забирай своего ребенка и уходи, пока никто про тебя не пронюхал; беги отсюда, забирай своего пацана и беги; не придет твой хахаль, не принесет денег, беги отсюда, да поживей, не то будет худо».

А потом, когда вас выгнали из дома, где ты родился, в разных концах стройки ей пришлось выслушать еще одну, такую же безжалостную литанию: «Не знаем, ничего не знаем, знать не знаем, что с ним стряслось; шестой день в общежитии не ночует, на стройку носа не кажет, не заглядывает в шинок, шесть дней его никто не видал»; а меня никто и не мог видеть ни на стройке, ни в тайном шинке, ни в общежитии; меня подобрали незнакомые добрые люди, случайно проходившие мимо той земляной воронки, где была драка, и отвезли в ближайший большой город в больницу, о чем на стройке, на нашем участке, никто не знал.

Надеюсь, ты понимаешь, сын, как трудно ей было придумать выход, как трудно было на рассвете седьмого дня твоей жизни отыскать путь, который привел бы нас всех к встрече и конец которого стал бы началом счастливой жизни маленькой нашей семьи; и еще тебе, сын мой, следует знать, что среди нас на неистовой стройке были и такие, которые в ночной тишине искали выход и не могли найти, не могли отыскать такой путь, чтобы в конце его можно было вздохнуть с облегчением, а потом раскинуть руки, и распрямиться, и обратить лицо

к черному или звездному небу, и крикнуть: «Я спасен!»

В ночной жизни нашей бешеной стройки были, по правде говоря, всякие пути-дороги; были такие, что петляли среди нагромождений железного лома на свалках, среди куч старой рухляди и мусора на неосвещенных краях стройплощадок, где белели в темноте плоские ящики с известью, ночью похожие на большие, застланные простынями кровати; были пути-дороги, прячущиеся в пустых, заброшенных канавах, огибающие кучи слежавшейся, комковатой земли, жмущиеся к темным стенам,— по тернистым этим тропкам случалось брести в одиночку испуганным молодым женщинам, прижимающим к себе свертки с плодами запретной любви; и были дороги, на которых ни земля, ни люди, ни воздух не знали жалости, и безжалостность эта стремительно размножалась, так что к рассвету семена ее вполне могли запасть в души скороспелым незаконным матерям, и они могли без жалости, жестоким взором, посмотреть каждая на свой, завернутый в тряпье, запретный плод — так посмотреть, как глянула смуглая брюнетка, вокруг которой все было настолько безжалостным, что пожалеть и пригреть, точно удобная белая постель, показалось ей, сможет только плоский, полный извести ящик.

А потом безжалостность могла так сильно укорениться в душах этих скороспелых, незаконных матерей, что они и на себя обращали холодный, жестокий взгляд, как это сделала смуглая брюнетка, которая, не встретив сострадания, нашла его на остроугольном выступе высокой стены.

Что же сделала твоя мать, сынок?.. Она тоже вступила на нелегкий путь скороспелых незаконных матерей, которые с отцами своих детей обвенчались без ксендза церковного, и без ксендза мирского, и без свидетелей — разве что свидетелем у них была темная либо звездная ночь.

Твоя мать в ту ночь, о которой я тебе рассказываю, тоже нигде не нашла сострадания — безжалостна была деревенская повитуха, выкрикивавшая: «Забирай своего пацана и беги отсюда, не придет твой хахаль, не принесет денег, беги, да поживее, пока никто про тебя не прознал»; не было на свете доброй Матери, нашей Матери со стройки, которая наверняка бы ей помогла, и не было доброго мудрого Корбаса, который уехал в деревню навестить родню; безжалостными были слова: «Мы не знаем, что с ним случилось»; и двери общежитий, у которых ей говорили: «С ребенком нельзя»; и воспоминание о суде, вершившемся в Глухой канаве над тобою, еще не рожденным; и чередующиеся светлые и темные

полоски земли, и холодная стальная «колыбель» на свалке, где она смогла лишь присесть и покормить тебя грудью, потому что нужно было идти дальше; и та оторванная от большого грузовика и выброшенная на другую свалку старая шоферская кабина, из которой она должна была уйти до наступления дня.

В шестую ночь твоей жизни все вокруг вас было настолько к твоей матери безжалостно, что проникнутой состраданием ей почудилась только бледная, протянувшаяся от огонька к огоньку полоска, которую она увидела сквозь дырку в стенке кабины; на первый взгляд это была полоса света, но, присмотревшись, твоя мать обнаружила, что это стена, когда еще лучше присмотрелась и немного подумала, поняла, что это низкая и длинная стена маленькой больнички, временно открытой на стройке.

Я обращаюсь к тебе, сын, хотя не знаю, где ты и какую носишь фамилию, и говорю в пустоту; но ведь я научился видеть тебя, невидимого, быть рядом с тобой, утраченным, и получается, будто ты со мной, и слушаешь меня, и отвечаешь, и мы вместе прощаем твою мать, которая, выйдя из выброшенной на свалку кабины грузовика, направилась прямо к той беловатой полосе, к низкой и длинной стене; руки ее, принявшие форму двух больших, загнутых кверху, чтоб удобнее было тебя держать, крюков, слегка разогнулись; тебе шел всего седьмой день, и ты не был тяжел, но усталость матери, ставшей матерью шесть дней назад, была столь велика, что ты казался ей тяжелым как камень и становился все тяжелее, словно к одному камню прибавляли второй, третий, четвертый... а в двух шагах от той беловатой и низкой стены твоей матери вдруг показалось, что она держит в руках, от усталости теряющих форму упругих крюков и постепенно разгибающихся, не своего шестидневного сына, а огромную тяжелую груду камней, хотя на самом деле она несла небольшой продолговатый сверток, в котором грязные, намокшие тряпки занимали больше места, чем ты сам.

Давай же, сын, остановимся невдалеке от нее и посмотрим. Она еще стоит у стены, разогнув руки, по которым ты, точно груз по рельсам, сполз до самых ладоней; пальцы ее еще не распрямились, кисти еще судорожно напряжены, чтобы ты не упал на землю.

Но вот твоя мать наклоняется и разгибает пальцы, и ты соскальзываешь на самую середину то́лстой резиновой покрышки большого автомобильного колеса, которую кто-то для украшения положил неподалеку от двери; потом она подходит к окну, громко стучит по стеклу и

убегает за угол дома.

И все-таки, сын, на исходе той ночи победила любовь и победила жизнь, потому что громкий стук по стеклу означал спасение любви и жизни; бодрствующие за окном люди вышли наружу и, услышав твой плач, подняли тебя с земли и унесли в дом.

Тебе следует также знать, что твоя мать, отыскав меня в больнице и испытав короткую, какую-то шальную радость оттого, что я жив, тут же сменившуюся отчаянием при мысли, что тебя с нами нет, и вдруг поверив, что мы сумеем тебя отыскать, побежала в барак, возле которого тебя оставила, и призналась, что она мать того подкидыша, который несколько дней назад лежал у стены на толстой резиновой покрышке автомобильного колеса; и сказала, что хочет ребенка забрать, потому что все изменилось, потому что она отыскала его отца; и клялась, и била себя в грудь, и снова клялась, что она мать того подкидыша, умоляла и опять клялась, как бы предчувствуя, что второй раз матерью стать не сможет.

Но не помогли ни мольбы, ни клятвы, поскольку ребенка уже отдали в чужие руки и найти его было уже невозможно; так, будучи нашим сыном, ты стал сыном чужих, неизвестных, неведомо где живущих и работающих людей.

Но ты существуешь — в каком-то месте, в каком-то городе, в каком-то доме, на какой-то улице; ты — один из тех, кому сегодня двадцать лет, и эта мысль заменяет мне тебя, и с этой мыслью, как с тобой, я шагаю по своему большому городу.

Вокруг меня огни и каменные стены, а я переношусь во времени назад, на голую землю, изрытую рвами, схваченную морозами и припорошенную снегом; и на этой земле снова начинаю строить мой город, и много раз воздвигаю его заново, и так набираюсь сил, чтобы мысль о тебе могла заменить мне тебя, чтобы с мыслью о тебе, как с тобой, жить в моем городе и переплыть мою реку.

СЕРЫЙ НИМБ

повесть

SZARA AUREOLA

1973

ПЕРЕВОД М. МАЛИКОВОЙ

КНИГА ПОЛУЧИЛА ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ НА ОБЩЕПОЛЬСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 30-ЛЕТИЮ ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

Допустим, что кто-то жил себе всю жизнь спокойно, никогда не брался ни за какие трудные дела, не очень-то рисковал, не вступал в борьбу, где могли проломить голову или пробить сердце, и, так поживая, состарился и почувствовал себя худо, так худо, что пришлось улечься в постель; а когда лежал в постели, подавали ему укрепляющие бульоны и лекарства, но это не помогало, и он умер; от такой смерти никакого прибытка, разве что какие деньги или вещи, оставшиеся в наследство, но не об этом речь.

А случается и так: кто-то и не старый, и живет себе спокойно, ни за что трудное не берется и в борьбу не вступает, не очень-то рискует, и вдруг что-то с ним случается, он ложится в постель и говорит, что ему худо, и, хоть пичкают его разными хорошими лекарствами, с постели он уже не встает и умирает; от такой смерти тоже нет никакого прибытка.

Можно бы перечислить много разных смертей, которые ничего не дают и ничему не помогают, относится это главным образом к тем, которые наступают в постелях под заботливыми и вроде бы ободряющими взглядами близких, а на самом деле поторапливающими — скорее бы уж, чтобы и себя, и нас не мучил,— много можно перечислить таких смертей, после которых ничего не остается, разве что какие деньги либо наследство.

Но если кто-то идет по жизни без оглядки в одном направлении, ибо верит, что так надо, и до последнего защищает одно дело, потому что у него сильная вера, такая сильная, что защищает это дело, хотя оно и проигрывает, хотя и кажется, что оно никогда не победит, а оно все же побеждает, и вот он уже победитель, но есть и побежденные, которые тоже верят в свое дело, яростные и мстительные побежденные, которые найдут кое-кого и натравят на победителя, и те вечером,

неожиданно и коварно подкравшись к победителю сзади, ловко накинут петлю на шею, не позволят ему прошептать даже слова и потянут его за собой, как скотину; но дело его все равно возьмет верх...

В этом случае, если ты его близкий, тебе от такой смерти немалая выгода, и она, эта смерть, идет с тобой как добрый друг и облегчает тебе жизнь.

Ты угадаешь это до того, как тебе исполнится семь лет, по какой-то доброй, сочувственной и обещающей помощь улыбке, по словам — это тот, ну знаете, тот сирота, ну знаете чей, того, которого... и руки говорящего украдкой потянутся к шее и сделают движение, как бы завязывая шарф или галстук; ведь дело в том, чтобы при матери и ребенке не произнести слова «повесили» и не опечалить их.

А когда тебе стукнет семь лет, ты очень хорошо поймешь, что та смерть — твой добрый опекун, поймешь это, едва переступив порог школы, оказавшись лицом к лицу с учителем, когда он возьмет тебя за руку и проведет по коридору и любезно скажет твоей матери — большой, хороший мальчик, он наверняка будет хорошо учиться.

Позже, возможно значительно позже, ты убедишься, что если бы не накинули петлю на шею тому, кто защищал свое дело и верил в него как в своего бога, то учитель не был бы так уверен в том, что ты будешь хорошо учиться; такую уверенность вселила в него именно та смерть, не в постели, не в семейном кругу, не с лекарствами, когда с готовностью исполняется любое желание — укройте меня, откиньте одеяло, приподнимите голову, поднимите ногу, подержите за руку, холодно, жарко... а смерть в чистом поле, на пригорке, где растет несколько деревьев, когда не исполняются желания и даже просьбы; потому что его держали, обмотав вокруг шеи веревку, словно собаку на привязи, а он, напрягая шею, шептал — хочу попрощаться с бабой.

— Обойдешься.

— Хочу взглянуть на ребенка в люльке.

— Обойдешься.

Хочу взглянуть на ребенка в люльке — это написано на первой странице того уже пожелтевшего тома, где приведены показания обвиняемых и свидетелей, его достали для меня с верхней полки; а прежде чем его достали и дали мне и предложили присесть у стола в тихой комнате судебного архива, я шел по холодным сводчатым коридорам старинного здания, в котором уже издавна помещается суд; а еще раньше удовлетворили мою просьбу, разрешив ознакомиться с актами процесса о

повешении А. В., имевшем место четырнадцатого, а точнее, в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое апреля 1945 года.

Повешение, почему именно повешение, почему петля, а не пуля... В томе актов и показаний, с которым мне так любезно разрешили ознакомиться, есть все, что имеет отношение к той смерти, есть там и просьба А. В. о пуле.

А. В., которого тащили на веревке к тем нескольким деревьям, что росли на пустынном пригорке, обращался к Б. М., руководившему группой по поимке и казни, он и имел решающий голос среди тех, кто схватил А. В. на пороге его дома.

Суд (к Б. М.). Просил ли А. В. обвиняемого о пуле?

Б. М. (суду). Просил.

Суд (к Б. М.). Каким образом?

Б. М. Сперва просил даровать жизнь, а потом о пуле.

Суд (к Б. М.). Как просил?

Б. М. Он говорил, если уж ему дано умереть, так лучше расстрелять, зачем петля... и он надеялся...

Суд (к Б. М.). На что надеялся?

Б. М. Что мы выстрелим ему в затылок.

Суд (к Б. М.). Обвиняемый, откуда вам это известно?

Б. М. Потому что он втянул голову в плечи и немного подался вперед, остановился и ждал... а мы потащили его дальше.

Суд (к Б. М.). Значит, он стыдился петли?

Б. М. Не знаю, то ли боялся, то ли стыдился, наверняка и то и другое.

Суд (к Б. М.). Обвиняемый, почему вы не пошли на это, не выстрелили?

Б. М. Чтобы не было шума.

Суд (к Б. М.). Чтобы не было шума или чтобы было больше позора для А. В.?

Б. М. Чтобы не было шума.

Суд (к Б. М.). Чтобы было больше позора для А. В.

Б. М. (молчит).

Суд (к Б. М.). Чтобы было больше позора для А. В.

Б. М. (упорно молчит).

В этой смерти есть все, что нужно, чтобы она служила опорой, чтобы из нее извлечь пользу, ибо она предельно жестока, ибо не было исполнено ни одно желание, ни одна просьба; сперва он умолял — хочу попрощаться с бабой, ему ответили — обойдешься; потом он просил — хочу взглянуть на ребенка в люльке, ему ответили — обойдешься, а потом не исполнили его просьбу — вместо петли чтобы пулю.

Возможно, петли он боялся больше, чем пули, повешение — весьма долгая церемония, действие пули мгновен-

но; возможно, кто-то рассказывал ему, как это бывает, ибо если послушать стариков, то случалось и так на свете, что кому-то стреляли прямо в затылок, а пуля проходила стороной, и человек тот не умирал, о таком можно сказать, что ему посчастливилось пережить собственную смерть, войти в смерть и выйти из смерти, как бы промчаться по краю бездны смерти; это можно назвать по-разному, но трудно назвать верно, ибо это такое сплетение, такой клубок жизни и смерти; возможно, кто-то рассказывал ему, что, когда человек получает пулю в голову, не слышно грохота, сильнее этого грохота тишина, которая вдруг опускается на весь свет, и у человека, раненного пулей в голову, плывут перед глазами круги, и он чувствует — как рассказывал кто-то, кому удалось выбраться из могилы и спастись, потому что пуля скользнула по черепу,— чувствует, словно его вдруг подхватила на руки мать и побежала с ним в тихую музыку безмолвия и в красочный мир.

Я проспал в люльке эту ценную, как потом оказалось, ценную, как неистощимый банковский счет, смерть, проспал в детском неведении причитания матери и бабушки; пока наконец не наступили причитания, которые я уже запомнил; это был плач матери в какую-то годовщину у могилы А. В., то есть моего отца.

В моей жизни набралось достаточно таких дней, когда много чужих, хорошо одетых людей приезжали в нашу деревню на машинах, окружали могилу, а вернее, памятник на могиле товарища А. В.; эти люди здоровались сперва с моей матерью, с бабушкой и со мной, а потом со старостой и с самыми уважаемыми крестьянами; затем следовали речи, в которых повторялось одно и то же — товарищ А. В. посвятил свою жизнь прекрасному делу, товарищ А. В. погиб за прекрасное дело.

После речей эти люди опять торжественно подходили к моей матери и бабушке и, видя, что женщины плачут, показывали на меня, все на меня показывали и трогали меня, множество рук тогда меня гладило, и множество уст говорило — в сыне надежда, в сыне надежда...

Потом они прощались с матерью, бабушкой и со мной, а также с самыми уважаемыми крестьянами нашей деревни, рассаживались по машинам и быстро трогались в обратный путь, и если дело бывало летом и день стоял жаркий и сухой, то дорогу застилали клубы пыли, скрывавшие от глаз лимузины, что мешало мальчишкам смотреть, как они мчались.

А после этого бывала работа с цветами, ими была завалена вся могила; они лежали как попало, без складу и ладу, ощетинившись торчащими кверху стеблями, их

было столько, что если бы их разделить на небольшие букетики, то хватило бы на все кладбище.

Мать говорила тогда людям из деревни, которых так разбирало любопытство, что они не расходились по домам, хотя торжество уже закончилось, и слонялись по кладбищу,— возьмите себе цветов на могилы близких, а бабушка добавляла — не думайте, что бог не взял его к себе, бог принял его, ведь помыслы господни неисповедимы; мой сын утешится там, если возьмете цветов и положите их на могилы своих близких.

Я смотрел тогда на людей и, хотя был совсем мальчиком — а может быть, именно поэтому,— замечал, что бабушку слушали недоверчиво, как бы сомневаясь, что бог согласился держать у себя товарища А. В., или моего отца; бабушка тоже, пожалуй, замечала что-то в глазах людей и еще раз повторяла — бог взял его к себе, говорю вам, взял; а потом, чувствуя, что не убедила никого, добавляла — хоть и не верите, что бог взял его к себе, берите цветы просто так, все равно их растащат ночью.

Каждый мальчишка в деревне знал, кто крадет цветы; их крали и прятали в портфели старшие ребята, ездившие автобусом в школу или на работу в город; на следующий день после такого торжества портфели ребят, спешивших на автобус, были пузатыми — кроме бутербродов с маслом и колбасой, в них лежали букеты, которые они «свистнули» поздним вечером с могилы товарища А. В.; ребята уже несколько пообтерлись в городе и переняли городскую привычку дарить цветы девушкам; а что они взяли их — я говорю «взяли», потому что слово «украли» застревает в горле,— с могилы моего отца, так это ничего, ведь если даже самые смелые и доброжелательно относившиеся к матери и бабушке люди взяли немного цветов и положили на могилы своих близких, то на могиле, вернее, на бетонном постаменте все равно оставалось много цветов, пожалуй, даже слишком много, потому что эта груда цветов — так я воспринимаю это теперь, спустя многие годы,— делала могилу надменной и кичливой, она возносилась над другими могилами, особенно теми, на которых не было ни камня, ни металла, а одни лишь деревянные кресты; надо сказать, что эти дорогие букеты, привезенные на машинах из столичных цветочных магазинов и возложенные торжественно на могилу, а также речи, газетные статьи, упоминания в книгах привели в конце концов к тому, что эта одна смерть воцарилась над всей округой, простиралась и дальше и, хотя прошли годы, казалась совсем недавней, будто произошла вчера, а для меня — мне

стыдно признаться в этом — была и остается банковским капиталом, с которого можно брать проценты и брать, а он все равно не убывает, наоборот — растет и растет.

Но не только это я могу сказать о той смерти, я изучаю ее со всех сторон, ведь это она привела к тому, что теперь я хватаюсь за голову и не могу понять, что же я собой представляю, кем я стал, не могу разобраться в себе и не знаю, что я могу и к чему я годен; я не знаю, любят ли меня, ибо не могу распознать любовь и доброжелательность людей ко мне, ибо, хотя мне скоро и тридцать, я все еще дитя той смерти, оправленной в золотые рамы, украшенной цветами и постоянно воскрешаемой в речах, статьях и книгах, дитя, передаваемое из одних заботливых рук в другие.

Ведь как мило улыбался директор, с какой преувеличенной доброжелательностью уверял мать, что я сдам экзамены в среднюю школу, как резко он семенил ногами, когда бежал в учительскую сообщить, что приехал сын товарища А. В., что он находится в стенах школы вместе со своей матерью, и как вскочили сразу же все учителя.

Ты страдал, отец; обвиняемые рассказывают в этой книге все, что произошло тогда; я сижу один в маленькой холодной комнате судебного архива над раскрытым томом актов следствия и протоколов, в которых собраны все показания, но воображение уносит меня к деревянному, крытому соломой дому, я занял удобную позицию для наблюдения, значит, я не стоял неподвижно, а присоединился к группе, которая должна повесить тебя и которой руководит Б. М.

Дверь широко распахнута, теплый вечер, высокое крыльцо с истертыми ступенями, на крыльце ты, отец, сидишь спиной к ночи и лицом к мерцающему свету керосиновой лампы, горящей в доме.

Какая безмятежная картина, отец, открывается глазам незаметно подкравшейся карательной группы, и Б. М. передвигает узел на веревке и делает большую петлю, такую, чтобы в ней уместилась твоя голова, и вот уже петля готова, и он держит ее в обеих руках, будто осязаемый жесткий нимб.

Какая безмятежная сцена, отец, перед этими вытянутыми вперед руками Б. М., перед жестким конопляным нимбом; там в избе мать качает ногой люльку и что-то тихо напевает, а ты время от времени прерываешь ее песенку и говоришь...

Б. М. (суду). А. В. сидел на крыльце своего дома спиной к нам, мы слышали, как он говорил своей жене — пока растет на славу, пока растет на славу...

Речь шла обо мне, в этой огромной книге обо мне сказано много, это уж штучки прокурора, что обо мне столько сказано, ведь известно, что прокурор всегда и всюду, где бы то ни было и когда бы то ни было, делает все, чтобы продемонстрировать сердце преступника, жестокое и безжалостное, и тот факт, что я тогда лежал в люльке и что мать напевала мне песенку, дал прокурору великолепную возможность показать суду каменное сердце командира карательной группы.

Прокурор (к Б. М.). Ребенок и его мать, обвиняемый, не оказали на вас никакого влияния?

Б. М. (молчит).

Прокурор понял, что попал в точку, и повторил вопрос.

Прокурор (к Б. М.). Повторяю вопрос: тот факт, что вы застали в доме А. В. жену, склонившуюся над люлькой, его ребенка, для вас не имел никакого значения?

Б. М. (молчит).

Прокурор (обращаясь ко второму обвиняемому). А что скажет по этому поводу второй обвиняемый?

Второй обвиняемый (суду). Я шепнул Б. М., что в доме жена А. В. и ребенок.

Прокурор (второму обвиняемому). С какой целью вы шепнули это?

Второй обвиняемый. Чтобы смягчить его, мне было жалко.

Отец радовался мне, наверняка радовался, если бы не радовался, если бы не радовался, он мог просто сказать матери что-то о земле, о поле, ведь вдруг объявилось столько земли, столько, что даже страшно; об этом тоже можно прочитать в актах следствия, в показаниях обвиняемых и свидетелей.

О земле сказано очень много в этих протоколах и актах, о том, что у людей ее было совсем мало, а потом им вдруг под нос сунули огромные пространства, а они боялись ее брать, не брали, хотя и хотелось, но никак не могли вобрать в себя столь огромную равнину, которую разрешено было брать, и товарищ А. В. говорил — берите ее... он злился на людей и кричал — берите ее, берите...

Суд (свидетелю). Скажите, что говорил вам А. В., когда земля пустовала и никто, кроме А. В., не решался взять ее?

Свидетель. Он говорил, чтобы ее брали.

Суд (свидетелю). Можете ли вы повторить слова А. В.?

Свидетель. А. В. говорил — берите ее, берите, ведь она ваша.

Суд (свидетелю). Как он это говорил, спокойно или

взволнованно?

Свидетель. Сперва спокойно, а потом неспокойно, а потом нетерпеливо, со злостью, а потом уж кричал — берите ее, берите!

Суд (свидетелю). Значит, кричал...

Свидетель. Кричал так, будто натравливал нас на эту землю...

Тут свидетель — как можно понять из протокола, а из них действительно можно кое-что понять, потому что протокол — это как бы человеческая душа,— тут свидетель разохотился и пожелал высокому суду, который, возможно, того и не знал, обстоятельно разъяснить, каково состояние людей, которые испытывают огромное желание броситься на землю, но которые сдерживаются, потому что боятся, хотят и боятся, и в первый момент может показаться, что страх и желание переплетаются, и неведомо, что возьмет верх; но как только один из них схватит, страх исчезает, и верх берет желание, и это желание превращается в ярость, и тогда все яростно хватают и раздирают.

Суд (свидетелю). Что вы хотите этим сказать?

Свидетель. Я хочу сказать, что А. В. надеялся, что кто-нибудь еще, кроме него — ведь он-то не боялся,— накинется на поле и схватит кусок той земли, он хотел, чтобы мы ее расхватали.

Свидетель вновь пожелал вернуться к тому, о чем говорил ранее,— как можно судить по страницам судебных материалов, он чрезвычайно разохотился и почувствовал себя в суде по-свойски,— но судья прервал его.

Суд (свидетелю). Это уже не вносит в дело ничего нового, пожалуйста, расскажите, что стало с землей.

Свидетель. Землю расхватали.

Стало быть, отец, сидя на крыльце и не ведая, что к нему приближается петля, мог говорить о земле, о поле, но предпочел говорить о своем единственном сыне; единственном, но не первородном, поскольку первый, родившийся задолго до меня, умер еще ребенком; предпочел говорить обо мне, а не о полях, не о чем-нибудь еще, и этот разговор обо мне прервал Б. М., когда внезапно накинул ему петлю на шею, потянул назад и не дал попрощаться с матерью и бабушкой, а также не позволил посмотреть на меня; стало быть, последние слова отца, сказанные дома, были обо мне, ведь «пока растет на славу» — касалось меня, да и последние слова в жизни отца, как я убедился потом, тоже были обо мне.

Но и об умершем брате среди судебных актов сказано также много; чего только не узнал я там в связи со смертью брата, чего только не вычитал на страницах

показаний обвиняемых и свидетелей, касающихся смерти брата.

На глаза мне попалось слово «курокрад» — и я тотчас же пробегаю строки до слова «курокрад» и после слова «курокрад», ибо хочу узнать, что́ это слово вносит в дело; и это дает мне возможность проследить ту часть процесса, в которой защита ведет разговор со свидетелями, разговор, прерываемый вопросами прокурора и судьи.

Адвокат (свидетелю). Свидетель, расскажите суду, какая репутация у А. В. была в деревне.

Свидетель. Хорошая.

Адвокат (свидетелю). Безупречная?

Свидетель. Хорошая.

Адвокат (свидетелю). Что, ни у кого не было к нему претензий?

Свидетель. Может, у Ц. З., потому что однажды ночью А. В. взял у него курицу.

Адвокат (свидетелю). Что значит «взял»?

Свидетель. Взял.

Адвокат (свидетелю). И после этого как прозвали А. В.?

Свидетель. Курокрадом.

Прокурор (свидетелю). Зачем А. В. взял курицу в курятнике Ц. З.?

Свидетель. Чтобы сварить ее для больного сына.

Прокурор (свидетелю). Почему же он не взял свою курицу?

Свидетель. Потому что они сдохли.

Адвокат (свидетелю). И что, у него не было ни одной?

Свидетель. Было несколько, да сдохли.

Прокурор (свидетелю). Когда, до болезни или после болезни ребенка?

Свидетель. До болезни.

Адвокат (свидетелю). Любили ли А. В. в деревне?

Свидетель. Нет.

Прокурор (свидетелю). Почему?

Свидетель. Потому что у него не было, а он хотел иметь.

Прокурор (свидетелю). Что хотел иметь?

Свидетель. Много земли, коров, лошадей, кур, гусей...

Адвокат (свидетелю). Таких не любят?

Свидетель. Таких, у которых нет, а они очень хотят иметь, не любят.

Собственно говоря, лишь одну страницу занимает дело с этой курицей, и мелькают слова «курица», «бульон», «курокрад»; я мог бы осторожно вырвать ее из книги, чтобы она не марала биографию, ведь как это выглядит теперь рядом с этой почетной могилой, рядом с

венками, речами, цветами, рядом со всем этим авторитетом и героизмом, рядом с этими почестями; зачем это впихивать в его биографию; изъять бы эту страницу, ничего не произойдет, если не хватит одной страницы в такой толстой книге, в таком заваленном от пола до потолка книгами архиве, однако все здесь пронумеровано, номера определяют порядок, стоят на страже в архиве; если хоть один номер выскользнет из шеренги, порядок нарушится, и сразу же можно будет догадаться, что что-то не так; может быть, следует обратиться к директору архива, к той необыкновенно любезной женщине, и честно рассказать ей об этой странице, может быть, она согласится на ее изъятие, но стоит ли привлекать к этому внимание, а может, все-таки попробовать уладить дело через вышестоящие инстанции; мне, пожалуй, идти туда не следует, может, надо рассказать об этом матери, может, она пойдет, но изъятие страницы ничего не уладит, ведь живы свидетели, и свидетелям рта не заткнешь.

При всем этом мне чуточку смешно; курица должна была вылечить ребенка, курица должна была свершить чудо, должна была заменить лекарства и врача, а курицы не было; что за дьявольски странный мир.

Но это меня и злит: если не будет навара, ребенок умрет наверняка, а если будет, может выжить, надежда на бульон,—что за дьявольски чудной мир.

Мать рассказывает мне—ребенок был слабенький, лежал в постели, не мог приподнять ручки, они сразу же безвольно падали, вдруг он стал беспокойно шевелить губами, и мы уже знали, что если до этого давали льняное семя и собачье сало, то теперь уж необходим куриный навар.

Что было с братом, я знаю из рассказа матери, а что было с дедом, я видел собственными глазами, ведь дедушка умер недавно, и я сам убедился, что врачи, лекарства, капли, таблетки, уколы не оттеснили извечного льняного семени, извечного собачьего сала и извечного навара и что, когда у нас, на этой огромной равнине, приходит время смерти, тут могут быть и врачи, и лекарства, но должны быть и льняное семя, и собачье сало, и самое изысканное и ароматное—куриный навар; как только вышел врач и заработал его автомобиль, мать вошла в избу с кружкой льняного семени и влила его в деда; у меня тогда завертелась в глазах кровать, в которой лежал дед, замелькало лицо деда и то, на что я смотрел, слилось с тем, что рассказывала мне мать, видимо, я хотел то время приблизить к этому и хотел на постель деда положить брата, передвинуть во времени

его болезнь; ведь теперь ему могло бы помочь льняное семя, ведь теперь его дали после ухода врача, после уколов и капель, ведь теперь, как бы то ни было, по болезни бьет многое, и то, что не помогло деду, могло бы помочь брату; а по той болезни били только льняное семя, собачье сало и навар — что за странный был мир.

Мать рассказывала мне — ребенок все шевелил и шевелил губами, а ночь уже наступила, и необходим был навар, а курицы не было, и тебе следует знать, что нет страшнее на свете минуты, когда ребенок болен и шевелит губами, а навара нет.

Мать рассказывала, а я думал — кто так устроил мир...

Она говорила мне еще — он был необходим, надо было его приготовить, а где взять, наступил такой момент, когда без него обойтись было нельзя, мы с отцом смотрели на ребенка, и этого было достаточно, чтобы ни с чем не считаться, отца вдруг охватила какая-то злость, он распахнул дверь, помчался в сад и сразу же вернулся с курицей, он держал ее за голову и вертел, вертел куриную голову, словно закручивал винт, и хотя курица была уже мертвая, он крутил, крутил ей шею, как бы не ведая, что делает, наконец открутил совсем и бросил на пол; я ошпарила, ощипала и выпотрошила ту курицу и кинула ее в кастрюлю, потом подошла к постели и говорю ребенку — бульончик уже варится, сейчас будет... Тогда в избу вошел Ц. З.

Ц. З. тоже был свидетелем на процессе, но обо всем рассказывал очень коротко.

Ц. З. (суду). Меня разбудило квохтанье кур, я накинул на себя, что под руку подвернулось, и выбежал во двор, я заметил, что дверь курятника открыта, и увидел свет в окнах у А. В.; я пошел туда и только переступил порог, как увидел на полу избы куриную голову, поднял ее, поднес к свету и узнал голову моей курицы; но я простил А. В., потому что знал, что у него хворает мальчишка.

Суд не настаивал на более подробных показаниях, и поэтому в судебной книге протоколов и показаний о той давней ночи сказано немного; но мне это интересно, и я продолжаю рыскать по всем страницам, вслушиваюсь в то, что рассказывает мать, поэтому я многое знаю о той давней ночи и том давнем рассвете, когда умер мой брат.

Мне не нравится то, что отец упал на колени перед соседом, вошедшим в избу со словами — ты украл у меня курицу, голодранец,— но отец упал перед Ц. З. на колени и говорил — я не хотел тебя будить, а курица была нужна, ведь мальчишка хворый, не сказывай никому, я заплачу тебе за нее, когда заработаю.

Ц. З. сжалился и сказал отцу — вставай, вставай, я не скажу, и быстро вышел, может, боялся, что произойдет что-либо страшное, потому что — как можно судить по словам матери — та мольба не была обычной мольбой, она пугала; и Ц. З. наверняка понял, какова была та мольба, и потому сказал — вставай, вставай, не скажу никому, и потому быстро вышел, но потом где-то шепнул об этом, а потом шепнул тот, кому шепнул Ц. З., и вот из всех этих шепотов выросло звучное, округлое слово — курокрад.

Могу представить себе, как выглядела той ночью предсмертная трапеза моего брата, я многое узнал об этом от матери, а также видел предсмертную трапезу моего деда, между этими трапезами есть разница, должна быть, ведь эти предсмертные трапезы разделяют пятнадцать лет, поскольку мой дед жил долго и умер в 1953 году.

Когда Ц. З., напуганный мольбой отца, вышел из избы, аромат бульона был уже во всех углах, он наполнил избу, стлался по полу, прилипал к потолку.

После двух рывков в сторону жизни — после льняного семени и собачьего сала — мальчик вновь стал тихо отплывать в противоположную сторону; но вот ему опять мешают спокойно плыть, дрожащие руки матери подносят к постели миску с ценнейшим, роскошнейшим лекарством, прибывшим как бы из далекого, долгого путешествия через океан; курица в бульоне очутилась перед горячими, спекшимися губами мальчика, сладостный аромат окутал, словно воздушная надушенная шаль, его потную голову и вознесся туманом над липкой постелью; в мальчике проснулся вдруг аппетит, выступил на губах желчной пеной; в мальчика входит мясо, входит аромат, входят листики петрушки и кружочки моркови, в мальчика входит жизнь, он делает резкий поворот на своем пути.

Курица есть курица, навар есть навар, это вам не льняное семя и собачье сало, ничто так не бьет по смерти, как курица в бульоне, ничто так не подминает смерть, как его роскошный аромат.

Но вот аппетит у мальчика вновь стал пропадать, а скоро и совсем пропал. То, что он жадно проглотил, теперь стало выбрасываться — мясо, и бульон, и тот роскошный аромат бульона.

И вот оказалось, что курица в бульоне для него была не чем иным, как вестником смерти.

Аромат рассеивался, мать вскрикивала — какой хороший бульон, такой хороший бульон,— после этого мальчик начал умирать.

Он умер, когда не кончилась еще ночь и не наступил

еще день, на границе мрака и света, а дедушка умер ясным днем, пятнадцать лет спустя.

Второй внук рос молодцом и стал крупным, здоровым юношей; ведь я-то знаю, каков я, высокий, здоровый и сильный, и меня любят девушки, и у меня их столько, сколько захочу, я их раздеваю и могу сосчитать, да не хочется; институт я еще не закончил, перехожу с факультета на факультет, потому что могу, потому что я сын А. В. Вваливаюсь прямиком к секретарю вузовского комитета и говорю — А. В. — это мой отец, могу ли я получить академический отпуск; или — А. В. — это мой отец, мне хотелось бы перейти на другой факультет... потом происходит разговор, секретарь проявляет интерес к моей судьбе и велит написать необходимое заявление.

Через какое-то время я прихожу и узнаю, что моя просьба удовлетворена; но я знаю, что перед этим секретарь заходил к декану или ректору и замолвил слово обо мне; я знаю также, что это «слово» выглядело примерно так — ко мне заходил сын А. В., ну того известного А. В., который погиб сразу же после войны, у него какие-то затруднения, ему хотелось бы...

Заслужил ли я это? Думаю, что имел право на такое преимущество, ведь мой отец был убит, защищая справедливое дело, которое победило; но это было уже не преимущество, а потакание моим капризам.

Я задумываюсь, чтó стало бы со мной, если бы у меня вдруг отобрали эту смерть, если бы мне пришлось рассчитывать на собственные силы; я пользуюсь этой смертью, мне с ней удобно, но она не дает мне возможности испытать собственные силы и разобраться в человеческой искренности.

Отцу пришлось оставить меня в люльке и пойти на веревке с теми, кто пришел за ним, точно установлено, как они шли: впереди шел тот, кто тащил отца на веревке, за ним шел мой отец; отец, ты шел вторым, на шее у тебя была петля, а руки связаны за спиной, ведь, как только тебя оттащили от крыльца, тебе связали руки, ведь для них было очень важно, чтобы ты не жил; следом за тобой шли двое, одним из них был Б. М.

Тебе пришлось покинуть мою мать, свою мать и своего отца и пойти на веревке с теми; теперь нас осталось трое, дед уже умер, мать второй раз замуж не вышла, она не хотела нарушать высокого достоинства печали и после твоей смерти обручилась с памятью о тебе, с твоей могилой. Я уже выскользнул из ее рук и живу себе по городам, но время от времени приезжаю домой, и тогда бывает радость, и бывают клецки, которые я очень люблю и которые мать начинает готовить, как только я

переступаю порог, тот самый порог, с которого тебя стащили Б. М. и его подручные; и за этими клецками мать и бабушка спрашивают меня, остепенился ли я и завел ли хорошую девушку, такую, что годится мне в жены; они хотят, чтобы я женился на такой девушке, которая наладила бы мою жизнь, и, кроме того — я чувствую это,— боятся, как бы не прекратился род... Говорю тебе, отец, можно обхохотаться от того, как они уговаривают меня жениться, а важно им одно, они мечтают — одна о внуке, а вторая о правнуке... В самом деле, от этих уговоров смех разбирает, от этой их агитации...

Говорить тебе позволили только после того, как, миновав сад, все вышли за изгородь, на границу полей и деревьев, как раз там, где идущий впереди дернул за веревку; это значило — надо изменить направление, шагать наискось через поле, чтобы ближайшим путем пойти к пустынному пригорку с несколькими деревьями на вершине.

Судья и прокурор неоднократно обращались к Б. М. и двум другим обвиняемым с вопросом, что говорил А. В., когда оказался на границе полей и садов.

Б. М. Просил даровать ему жизнь.

Суд (к Б. М.).Как он просил?

Б. М. Говорил — даруйте мне жизнь.

Прокурор (второму обвиняемому). Можете ли вы, обвиняемый, повторить слова А. В.?

Второй обвиняемый (надеясь на снисходительность суда по отношению к себе, засыпáл Б. М.). Он говорил так — поляки, даруйте мне жизнь, у меня ведь жена, старуха мать, старик отец, ребенок.

Судья (к Б. М.). Что вы ответили, обвиняемый?

Б. М. (молчит).

Прокурор (обвиняемому, который старался засыпать Б. М.). Что ответил Б. М.?

Второй обвиняемый. Б. М. ответил — теперь уже поздно.

Прокурор (второму обвиняемому). А дальше?

Второй обвиняемый. А дальше — ты, А. В., ты, А. В., не проведешь нас патриотическими попевками; у тебя, А. В., было время опомниться, а ты не опомнился, у тебя было время взяться за ум, а ты не взялся; были письма, а в письмах черным по белому написано — не смей ступать не на свою землю, иначе тебе конец; несколько раз тебе выбивали окна, и это тоже значило — оставь землю в покое; у тебя сгорела рига, и это тоже означало — не тяни руки к земле и других не подбивай; в тебя стреляли из пулемета из-за угла, и это тоже означало — обходи, обходи стороной эту землю, она не твоя...

Иногда, отец, мы сидим за своими клецками, вдруг прерываем разговор о моем будущем, и наступает тишина; я знаю, что в такие моменты мать и бабушка отправляются в прошлое, словно в темноту ночи, и ищут тебя.

— Это упрямство его сгубило, упрямство; если уж он уперся, чтобы кого-нибудь уговорить взять землю, так он шел к нему даже ночью, стучал в окно, входил в его избу, подсаживался к нему на теплую постель и уговаривал, а уж с тем бывало всякое: вот-вот готов был согласиться, и вдруг трепыхнется птица в ветвях, испугает его, и он на попятную.

Из рассказа матери, бабушки и других стариков я узнал, что земля выделывала с людьми всякое, они жаждали ее, как пьяница водки, как бабник женщины, но боялись... и в конце концов желание превозмогло страх.

Всего этого я понять не могу, не могу понять поля, брат ли оно или враг; когда слушаешь стариков и читаешь о тех временах, то узнаешь, что поле шло вслед за богом, вслед за «Отче наш» шло «Поле наше», и лишь потом шли все другие молитвы; но теперь уже не так, только еще у стариков поле идет вслед за богом.

Вы шли еще нашим полем, когда Б. М. читал тебе свою проповедь, помещичьи земли тянулись слева; они тащили тебя на веревке за то, что ты привел на эти нивы людей и превратил их в крестьянские поля.

— Ты, А. В., ты должен был знать, что это пахнет веревкой, но ты был глуп, глупость тебя сгубила и ребячество.— Так закончил Б. М. свою проповедь, но Б. М. этого суду не сказал, поскольку знал, что такие показания не в его пользу и могут усугубить его вину; об этом рассказал второй обвиняемый, который, как можно судить по его показаниям, всячески старался склонить суд к смягчению ему приговора.

Мы сидим за чудеснейшим из блюд, изумительно вкусным, садимся только вечером, когда мир успокаивается, когда ничто не мешает, когда нет никакого ветра и ничто не рассеивает аромата, поднимающегося над клецками; и вот мы сидим именно таким вечером, и мать говорит — он был как ребенок, письма с угрозами воспринимал как что-то несерьезное, твердил, что должна быть справедливость, и еще твердил — и это было похоже уже на проповедь,— у кого было много, тот должен иметь теперь мало; а у кого было мало, должен теперь иметь много; и это должно быть долго, так долго, как было наоборот, не одно, не два, а много поколений; кто жил во дворце, пусть теперь живет в смердящей халупе без пола; а кто жил в такой халупе, должен жить во дворце,

и так должно быть долго, чтобы те, из дворцов, искупили свою вину; должно быть не уравнивание, а наоборот, ибо уравнивание не было бы справедливым, потому что при уравнивании не было бы искупления.

Потом говорит бабушка — в своих проповедях он обращался иногда ко мне, он знал, что я очень набожна, и поэтому говорил — бог того же хочет, а когда человек делает то, чего хочет бог, сразу же получает письма с угрозами, сразу из-за угла стреляет пулемет, поджигают ему ригу; они согласны на «страшный суд», но когда по библейскому образцу устраивается такой земной, людской «страшный суд», так они сразу шлют письма с угрозами и устанавливают пулемет за углом.

Потом говорит мать — он даже гордился этими угрозами, выстрелами, этим пожаром.

Мать и Б. М. говорят — ребячество, а мне кажется, что это была твердость; кто не может понять упорства и твердости, кому они представляются нечеловеческими (ибо такая стойкость может показаться нечеловеческой, сверхчеловеческой, во всяком случае, необычной), кто не понимает такой стойкости, когда говорят — погибнешь, если и дальше будешь упорствовать, а человек отвечает — пусть погибну, а свое буду делать, тогда говорят — ребячество; кто верит, что бог создал его для долгой жизни в спокойствии и счастье, те тоже говорят о твердости — ребячество.

Я знаю это из книг, много их прочитал, знаю и от стариков, я люблю их слушать.

Мать говорит мне — ты похож на отца, у тебя такие же волосы и лоб, как у него, и такие же движения; но внутренне я иной, мне не дано твердости отца, да я и не хочу ее, она не нужна мне, подобная твердость — это мука, а я не хочу мучиться и не должен, подобная твердость идет от того старого чудно́го мира, в котором жил отец, пожалуй, ее уже нет.

Мать говорит — угрозы напугали многих, они попрятались в бо́льших городах, а теперь приезжают с венками... Я видел тех товарищей товарища А. В., видел, как они заискивали перед не своей могилой, как холили эту могилу; еще немного, и они поцеловали бы этот холодный камень, ибо великой благодарностью они были полны к этой полезной для них смерти, ибо их тоже кормит эта смерть.

Мать говорит — Ф. Д. тоже получил письмо с угрозами, он пришел с письмом к твоему отцу и сказал, что должен уехать, ведь у него жена и дети; так было и с К. Т., и с Л. Б., и с Я. М., и с другими; все они подались в большие города; у него тоже были жена и ребенок и старики

родители, а он остался, один против всей деревни.

Из того, что говорит мать, явствует, что отцу предстояло нелегкое дело, но было нечто, чем он мог увлечь деревню, нечто чрезвычайно важное для того времени, что привело к тому, что никто из нашей деревни не поднял на него руку; это был тот подарок, который долго не принимали, который обходили стороной и к которому по-звериному принюхивались издалека, это были те пятьсот гектаров, их можно было взять, ими можно было насытиться; они превосходно понимали, что земля может быть их, стоит лишь потянуться к ней.

Ты остался, отец, остался один против всей деревни; ты был стоек, ты знал людей, знал, что они поддадутся, не выдержат и возьмут поле, ибо как устоять перед таким соблазном — ровным, как стол, и огромным полем, перед таким огромным столом поля.

Я знаю, что говорю сейчас устаревшим языком, языком старомодным, что употребляю слова, которые ни в коей мере не современны, но я знаю также, как обстояло дело с землей, ибо постоянно изучаю душу стариков, и она поражает меня.

В конце концов, отец, тебе удалось привести людей на эти нивы; какими же шуточками перебрасывались вы; как надрывался ты, пытаясь шутить; что это были за шутки, сумел понять один из свидетелей и дал свои показания на суде.

— Эй, сосед, ноги подкосило у тебя, что ли, будто ты вошел в королевские покои...— Так говорил ты одному из тех, кто ступил на ниву, и ты хохотал, хохотал как безумный, хватался за живот и весь сотрясался от смеха.

— Эй, сосед, что тебя скрючило, будто живот схватило...

— А ты, ты что шатаешься, будто с перепою или всю ночь напролет с бабой возился!

Ты говорил, чтобы хоть что-нибудь говорить, ты на ходу сыпал шутками, чтобы развеселить их, и хохотал как безумный.

Плакал ли ты, отец, или не плакал, когда они тащили тебя на веревке сперва через наше поле, а потом через чужие поля? В книге актов и показаний обвиняемых и свидетелей этот факт с точностью не установлен.

Обвиняемый, тащивший тебя на веревке, на вопрос суда, как держался А. В. на том пути к смерти, отвечает — я слышал звуки, похожие на плач, но точно не могу сказать, плакал ли А. В. или нет, потому что было темно и он шел у меня за спиной; а Б. М.— до меня доносилось что-то, что могло быть плачем, но точно не знаю, потому что я шел за ним; а третий обвиняемый — я шел рядом с

Б. М., сзади А. В., было темно, и я не знаю, плакал ли он на поле, если и плакал, то тихо, очень тихо.

И я понимаю — кто бы что ни говорил и сколько бы я ни перелистывал этот огромный том судебных актов, относящихся к процессу, я никогда не узнаю, были ли слезы у него на глазах или не были, когда он шел на смерть.

Если исходить из того, что я до сих пор знаю, что вычитал в книге и что услышал от матери, бабушки и соседей, то можно сказать, что глаза отца были сухими, что слез не было; но поручиться в этом не могу, поскольку никто не заглядывал ему в глаза и не освещал их фонарем, чтобы убедиться, плачет ли он.

Как же не плакать, когда тебя тащат на веревке, словно скотину, и когда знаешь, зачем тащат; и когда тебя уже притащили на середину поля, то заплакать можно; не только заплакать, но и рыдать, причитать, вопить, можно корчиться, биться головой о землю, но это не всегда так бывает; так это было или не так, никто, кроме обвиняемых, этого не знает; они же ничего не сказали, это еще больше отягчило бы их вину, свидетельствовало бы о том, что они были жестоки и что их не смягчило отчаяние А. В.

Если бы Б. М. захотел, возможно, он и рассказал бы мне об этом, возможно, он знает, потому что, как следует из показаний, электрический фонарик у него был — и он мог им время от времени освещать лицо отца; Б. М. жив, смертный приговор ему заменили пожизненным заключением, пожизненное заключение двадцатью годами, а двадцать лет за примерное поведение пятью годами, а дальше амнистия помогла, и он вышел на свободу, наверняка с расшатанным здоровьем, но вышел; я не видел его, не знаю, где он живет, не знаю, должен ли я его разыскать или нет; не знаю, как следовало бы вести себя, вдруг оказавшись лицом к лицу с ним; во всяком случае, он смог бы рассказать мне куда больше, чем судебная книга.

Били тебя, отец, били; есть упоминание об этом в книге протоколов, но сперва там речь идет не о настоящих побоях, а скорее о подхлестывании плеткой; карательная группа хотела выполнить свое задание как можно скорее и подгоняла отца; подгоняла, дергая за веревку, подсекая ноги плеткой.

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, вы били А. В., которого вели на казнь?

Б. М. Не бил, только подсекал.

Судья (к Б. М.). Что значит «подсекал»?

Б. М. Это значит — хлестал по ногам плеткой.

Прокурор (ко второму обвиняемому). Как это выглядело?

Второй обвиняемый (который засыпает Б. М., надеясь на смягчение приговора). Он сильно хлестал, потому что А. В. подскакивал от боли.

Здесь следует припомнить, в каком порядке они шли; первым шел тот, кто тащил отца, он перекинул веревку через плечо и держал ее где-то на уровне пояса; от пояса свешивался еще довольно большой конец веревки, и он мог, обернувшись, изо всех сил полоснуть отца концом этой веревки.

Судья (обвиняемому, шедшему первым). Обвиняемый, вы били А. В. веревкой?

Обвиняемый (молчит).

Судья. Повторяю вопрос, обвиняемый: вы били А. В. веревкой, ведя его на казнь?

Обвиняемый. Я несколько раз хлестнул его, мне приказал командир.

Прокурор (к Б. М.). Обвиняемый, вы приказывали бить А. В.?

Б. М. (молчит).

Прокурор (обвиняемому, который той ночью тащил А. В. на веревке). Что Б. М. говорил вам?

Обвиняемый. Говорил — разбуди его, он засыпает.

Прокурор. Почему вы, обвиняемый, «будили» ударами?

Обвиняемый. Потому что Б. М. сказал — разбуди его, ты знаешь — как.

Прокурор. Вы, обвиняемый, слова «ты знаешь — как» поняли как приказ бить?

Обвиняемый. Я знал, что слова «ты знаешь — как» означают «бей».

Мать (бабушка уже спала) сперва не знала, что отец исчез, она склонилась над люлькой, было темно, и все случилось вдруг; его как ветром сдуло с крыльца, и ему зажали рот, чтобы не кричал; и просьбу разрешить попрощаться с женой, матерью и отцом, то есть моим дедом, а также посмотреть на меня он — как можно судить по актам суда и по рассказам матери — прошептал из-под зажимавшей ему рот руки одного из членов карательной группы уже где-то среди деревьев.

Мать рассказывает и прижимает к глазам кулаки, чтобы стереть слезы,— мне показалось, что он задумался, и я не обращалась к нему, я качала люльку и напевала, чтобы ты крепче уснул, это продолжалось долго.

Это значит, что она напевала «баю-бай» или что-нибудь еще, когда отец уже был в саду, и возможно, это

«баю-бай, сынок» она напевала, когда отца уже провели через сад и вытащили в поле; а может быть, и тогда, когда он молил о жизни, и потом, когда Б. М. хлестнул его по ногам и он подскочил от боли; и возможно, она напевала «баю-бай, баю-бай, ясны глазки закрывай», когда тот, что шел впереди, обернулся и прошелся веревкой по плечам и спине отца.

Ой, как больно, как больно, когда получишь веревкой, палкой так не больно, плеткой так не больно, меня никогда не били ни палкой, ни плеткой, но мне так кажется, а веревкой я один раз получил случайно, когда мы ловили на выгоне испуганную лошадь; ой, как было больно тогда, никогда больше мне не было так больно, как тогда; это была самая сильная боль в моей жизни — та, во время погони за испуганной лошадью.

И вот засело у меня в голове, что в тот вечер в доме было «баю-бай», а на поле в ходу была веревка, которой били отца, и плетка, которой его хлестали по ногам, чтобы шел быстрее; и каждый удар отмеривался словами — это тебе за Л. Ц., это тебе за К. З., это за М. Я., это за изнасилование ясновельможной паненки.

Адвокат (к Б. М.). Попрошу объяснить суду, почему всякий раз, как А. В. ударяли веревкой или плеткой, обвиняемый перечислял — это за Л. Ц., это за К. З., это за М. Я.?

Б. М. Потому что их избили до бесчувствия, и один из них умер от побоев.

Адвокат (к Б. М.). Кто их бил?

Б. М. Приехавшие откуда-то люди.

Адвокат. Что это были за люди?

Б. М. Люди А. В.

Прокурор (к Б. М.). Откуда вы об этом знаете?

Б. М. Все так говорили.

Прокурор (к Б. М.). За что били Л. Ц., К. З., М. Я.?

Б. М. За то, что они говорили людям — на вас падет кара божья, если вы возьмете землю.

Судья (к Б. М.). Но эти речи не помогли, землю все равно поделили.

Б. М. Но поделили не сразу.

В этой книге нет, пожалуй, ни одной страницы, на которой не было бы слова «земля»; и все события, о которых в ней идет речь, и страшные дела, кровавые полосы на коже, кровоподтеки, огромная боль, крики и стоны, смерть, страх и мужество, любовь и ненависть, изнасилование ясновельможной паненки — все это из-за той земли, из-за того, что у кого-то ее было слишком много, а у кого-то мало, что тот, у кого ее было много, не хотел иметь меньше, а тот, у кого ее было мало, хотел

иметь больше; из-за этого не было никакого разумения и покоя, из-за этого были лихорадка и беспокойство, были бессонные ночи; нет счету тому, что творилось из-за полей, по вине полей и благодаря полям; и неправдой было бы сказать об этих полях, что они чудесные, с колышущимися хлебами, ароматные, спокойные, приносящие умиротворение; правда в том, что они никогда не были спокойными и чудесными и никогда не приносили умиротворения, ибо, словно заразой, веяло от них яростью и болью, огромной страшной любовью и огромной страшной ненавистью, превеликим безумием и ужасом; что за странный был мир.

Путь к выжженному сверху солнцем, а по склонам бесплодному пригорку, на котором каким-то чудом сохранилось несколько деревьев, был неблизок.

Это явствует из актов процесса, а главным образом из показаний обвиняемых; ибо что касается пути, которым отца вели на казнь, то они его знали прекрасно.

Они долго шли полем, промерив его из конца в конец, от садов до дамбы у реки.

На краю поля Б. М. распорядился как можно быстрее перейти дамбу, поскольку она высоко поднимается над полями и прибрежными зарослями и хорошо просматривается со всех сторон; стало быть, речь шла о чрезвычайной осторожности.

В дело снова пошла плетка, Б. М. сильно хлестал ею по ногам отца, и — как явствует из протоколов следствия и показаний на судебном процессе — отец и те трое, что вели его, попросту перебежали через дамбу и оказались в ивовых зарослях, которые были, да и теперь продолжают оставаться раем для деревенских ребятишек; дети, особенно летом, резвятся здесь, играют в прятки, вереща, бегают купаться, режут лозу — из тонкой плетут разные красивые вещи, а с толстой осторожно снимают кору и мастерят свистульки.

На краю ивняка Б. М. приказал остановиться.

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, почему вы дали такую команду?

Б. М. Чтобы послушать, нет ли кого случайно в зарослях.

Судья (к Б. М.). Только поэтому?

Б. М. Ну и чтобы оглядеться и найти нужную тропинку.

Судья (к Б. М.). А еще?

Б. М. (молчит).

Прокурор (к Б. М.). Обвиняемый, припомните, на следствии вы говорили и еще об одной причине остановки.

Б. М. (молчит).

Прокурор (второму обвиняемому, который засыпает

Б. М.). А вы помните? Почему остановились?

Второй обвиняемый. Чтобы еще несколько раз хлестнуть веревкой А. В.

Судья (к Б. М.). Почему били на краю зарослей?

Б. М. (молчит).

Второй обвиняемый. Потому что Б. М. сказал — приложи его пару раз веревкой по спине, а то он замедлил бег на гребне дамбы.

Судья (второму обвиняемому). Что такое гребень дамбы?

Второй обвиняемый. Верхняя часть, вершина.

Прокурор (к Б. М.). Замедлил ли А. В. бег на гребне дамбы?

Б. М. Да.

Прокурор (второму обвиняемому). Действительно А. В. замедлил там бег?

Второй обвиняемый. Может, и замедлил.

Судья (второму обвиняемому). Точно замедлил?

Второй обвиняемый. Может быть...

Прокурор (к Б. М.). Что было потом?

Б. М. Потом мы вышли на широкую тропу, ведущую к берегу.

Прокурор (к Б. М.). Как вы себя вели, обвиняемый, когда А. В. тащили по тропе?

Б. М. (молчит).

Прокурор (второму обвиняемому). Как вел себя Б. М., когда вышли на тропинку?

Второй обвиняемый. Он опять хлестнул А. В. по ногам.

Прокурор (второму обвиняемому). Один раз?

Второй обвиняемый. Несколько раз.

Прокурор (второму обвиняемому). И опять перечислялись имена?

Второй обвиняемый. Было такое.

Прокурор (второму обвиняемому). Попрошу вас повторить.

Второй обвиняемый. Опять то же самое — это за Л. Ц., это за К. З., это за М. Я., это за изнасилование ясновельможной паненки.

Прокурор (второму обвиняемому). Только перечисление?

Второй обвиняемый. Ну, еще добавлял, что Л. Ц., К. З. и М. Я. тоже чувствовали боль, когда их били люди А. В., и что К. З. от этих побоев умер.

На этой странице книги судебного процесса, примерно посредине, имеется отступ, а после большими буквами написано — заседание при закрытых дверях.

Заседание должно было быть закрытым, поскольку речь шла об изнасиловании ясновельможной паненки; это

было захватывающее чтиво — я имею в виду не наготу ясновельможной паненки, женской наготой меня не удивишь; да, впрочем, в этой части показаний содержится не столько описание наготы, сколько тщательное расследование факта: принимал ли А. В. участие в изнасиловании, а если нет, то не подговаривал ли других не робеть и добраться до ясновельможной паненки; но все события, связанные с этим,— как можно судить по данному разделу документов — невероятно трудно с точностью восстановить, поскольку происходили они в сумятице, когда недалеко от дворца и дворцовых построек еще шли бои, война еще не кончилась и, хотя немцы временно отступили (а бежали они лишь после ожесточенных боев, когда в течение нескольких часов дворец не раз переходил из рук в руки), еще долгое время пули сыпались на дворцовые постройки; а потом все затихало, и тогда господское имение бывало ничейным.

В той части процесса, которая проходила при закрытых дверях, необыкновенную бойкость продемонстрировал адвокат; по стенограмме чувствуется, что он чрезвычайно ловко охотился за малейшими деталями и за любым словом, которое могло бы дать ему повод заронить подозрение, что А. В. каким-то образом ответствен за то, что случилось с ясновельможной паненкой; кроме того — что тоже можно почувствовать, читая данный раздел протоколов,— это дало бы адвокату возможность показать порочность личности А. В. и еще его деятельности, а в результате появилась бы надежда на смягчение решений суда, включая и приговор участникам карательной группы, которая, действуя под непосредственным руководством Б. М., самым жестоким образом расправилась с А. В. в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое апреля 1945 года.

Что касается того, что произошло с ясновельможной паненкой, то бойкость проявил не только адвокат, но и прокурор, и все члены суда, и главный свидетель, которым — вот чудеса-то! — оказался двенадцатилетний однорукий мальчик, и этот мальчик, несмотря на прифронтовую сумятицу, а может быть, и именно благодаря этому, многое подсмотрел и подслушал.

Не знаю, возможно, я ошибаюсь, а возможно, и нет, но от этого весьма обширного раздела судебных протоколов веет не только желанием добраться до объективной истины, но и нездоровым любопытством, охотой посмаковать, что ни говори, нечто любопытное, такое, что может вызвать не только профессиональный, но и чисто человеческий интерес; и вот сперва многократно пережевывается фраза — может, хотите попробовать господского мяс-

ца,— сказанная якобы в момент наступления неожиданной, внезапной тишины, тишины после долгих часов стрельбы и взрывов, тишины, которая была так внезапна, что показалась громче стрельбы; и все так изменилось, что в этой тишине стрельба казалась тишиной; и вот в этой нетихой тишине кто-то — не установлено, кто и где,— довольно весело, слишком весело для недавней стрельбы и столь внезапной громкой тишины, сказал — может, хотите попробовать господского мясца?

Странная это была фраза, она могла означать что-то связанное с кухней или кладовкой, но позже выяснилось, о каком «мясце» шла речь; речь шла не о чем-то там с господской кухни, а о живой и обнаженной ясновельможной паненке, которая сидела тогда в подвале, под развалинами правого крыла дворца.

Позже оказалось, что изнасилованию, так заинтересовавшему судью и особенно адвоката, предшествовало еще одно изнасилование; иначе почему бы ясновельможная паненка оказалась голой?

Итак, с полной уверенностью можно утверждать — суд тоже пришел к этому заключению,— что ясновельможную паненку раздел и сделал с ней, что захотел, какой-то солдат, который воспользовался кратковременным затишьем в стрельбе, а потом опять разразилась стрельба, и на дворец посыпались снаряды, со стен повалились кирпичи и штукатурка, и все скрылось в дыму и пыли; как ясновельможная паненка могла тогда искать одежду, ну как могла...

Она быстро пронеслась вниз по лестнице и оказалась в подвале.

Жители деревни знают, почему она, когда приближался фронт, не смогла присоединиться к своей семье, не убежала вовремя; дело было в лошадях, ее любимицах, она хотела бежать вместе с ними и начала их спрягать по нескольку и привязывать сзади к повозкам; и, возможно, это удалось бы ей, и она сумела бы убежать со всей своей семьей, да и табун погнать, но неподалеку началась стрельба, лошади переполошились, трудно было успокоить их и привязать к повозкам, а тут еще ясновельможный пан и ясновельможная пани и другие члены семьи стали торопить ее и кричать, чтобы она оставила лошадей и спасалась сама.

Ясновельможная паненка сперва не обращала на это внимания и продолжала возиться с лошадьми, хотя совсем рядом посвистывали пули, она уперлась и хотела спасти лошадей во что бы то ни стало; но пули сыпали все гуще, в довершение всего одну из лошадей ранило, она упала и страшно захрипела; тогда с ясновельможной

пани, матерью паненки, от страха случилась истерика, ясновельможный пан распорядился хлестнуть лошадей, привязанных к повозкам и бричкам, и трогаться; а до этого он еще крикнул дочери — садись и скачи что есть сил за нами!

Тогда и она поняла, что с табуном не справиться, и, вскочив на своего любимого сивку, помчалась за семьей, но сразу же наткнулась на заградительный огонь; он, словно страшная стена, отделил ее от семьи, и она вынуждена была остановить коня; а потом, решив, что минует это препятствие из дыма, огня и взлетающей вверх земли, и не думая о том, что может погибнуть, пустилась галопом через поля и даже добралась до невысокого густого перелеска, но там путь ей преградили люди, бежавшие из пылающей деревни, и убедили ее не ехать в том направлении, потому что деревня горит и там очень опасно.

Она повернула своего коня и поскакала что есть сил краем перелеска, а потом по узкой просеке ближнего леса.

Люди, видевшие все это, рассказывают, как красиво она смотрелась на том коне, в черном костюме для верховой езды, волосы развевались, потому что шляпку, о которой она не забыла, собираясь бежать, сорвал ветер, а может, и какая-нибудь ветка; они рассказывали еще, что иногда она исчезала в клубах пыли и дыма или в зелени деревьев, и тогда им казалось, что она уже не появится, что конь не выскочит из этой завесы, что ее уже нет; однако конь пробивался сквозь заслон, она вновь появлялась; и еще люди говорили, что ясновельможной паненке везло, ведь ничего не стоило тогда погибнуть.

Все эти обстоятельства непосредственно не касались дела, бывшего предметом разбирательства суда, однако, как говорят документы, заключенные в книге, над которой я прокорпел долгие часы, суд охотно занялся ими на открытом, где все могли присутствовать, заседании, и этот интерес суда проистекал скорее из вполне объяснимого человеческого любопытства, чем из профессионального долга.

Судья (свидетелю). Вы сказали, что дочь графа направила коня по краю перелеска на лесную просеку... Что же было дальше?

Свидетель. Потом она попробовала объехать огонь с другой стороны и догнать семью.

Судья (свидетелю). Что было дальше?

Свидетель. Это ей не удалось, потому что огонь тянулся длинной полосой.

Судья. Продолжайте.

Свидетель. Она еще раз попробовала выбраться из этого содома и помчалась к реке, думала, что ей удастся переплыть и по излучине другого берега добраться до колонны помещичьих повозок и бричек, которая сумела проскочить линию фронта; но и эта, третья попытка не удалась ей, река была заминирована, о чем она каким-то чудом узнала во время своего сумасшедшего галопа, кроме того, по реке густо плыли трупы людей и животных, то и дело они наталкивались на мину, как бы на свою вторую смерть.

Свидетель закончил показания этим философским заключением, и суд даже задумался, но любопытство прервало затянувшееся молчание, и вновь последовал вопрос.

Судья (свидетелю). Пожалуйста, продолжайте.

Свидетель. А потом... известно, что было потом, волей-неволей ей пришлось вернуться в усадьбу и спрятаться вместе со слугами.

Возвращаясь к разделу «Заседание при закрытых дверях», а в этом разделе — к моменту, когда изнасилованная каким-то солдатом обнаженная ясновельможная паненка выскочила из разбитого снарядами правого крыла дома и спряталась в винном погребе, следует сказать, что, как только она оказалась в подвале, вновь посыпались кирпичи и она опять чудом избежала смерти.

Но кто-то знал, что она там; возможно, это заметил тот главный свидетель, тот мальчик, безрассудно отважный, столь захваченный войной, столь пораженный превратностями ее, столь наивно увлеченный ее проделками, что стал безоглядным смельчаком и утратил всякую осторожность в течение всего боя, в течение всей ночи вплоть до утра, когда все затихло и вдруг неизвестно откуда взялась шрапнель, эта последняя шрапнель, и один-единственный, острый, как нож, кусочек металла оторвал ему левую руку по локоть; возможно, этот мальчик заглянул сквозь щель в заваленный подвал и увидел там у бочки вина ясновельможную паненку и шепнул об этом кому-то; ведь кто-то должен был знать, что она там, иначе не было бы этой шутливой, но многозначительной фразы — может, хотите попробовать господского мясца?

Мальчик, однако, утверждает, что тогда он еще не заглядывал в подвал, что он заглянул в него позже, уже когда туда кое-кто заходил, а потом наконец туда спустились два старика.

Итак, кто же видел ясновельможную паненку в тот момент, когда она нагая бежала туда из правого крыла дома?

Суд этого не установил, и никто об этом не узнает, как тут узнать, ну как... Также не удалось установить во время судебного разбирательства, кто же сказал — может, хотите попробовать господского мясца, слова сперва непонятные, но после соответствующих пояснений ставшие поразительно ясными и вызвавшие многозначительные покашливания, странные полуулыбки и покачивания головами.

Но ведь надо признать, все было так необычно, что в голове не умещалась столь неожиданная перемена, не мог уместиться столь малый отрезок времени, разделяющий скачку ясновельможной паненки, одетой в костюм для верховой езды, и ее же абсолютную наготу в погребе; еще недавно в узких брюках, в элегантных сапогах, в жакете, сильно затянутом в талии, с хлыстом в правой руке, с дивно развевающимися волосами, на лошади, вытянувшейся в галопе в прямую линию,— и после этого совершенно голая в подвале.

Все это из-за войны, о которой так любят вспоминать старики, не стыдятся и рассказывают, рассказывают, как было на войне, живописуют тот старый, странный мир.

Судья (мальчику). Когда ты заглянул в погреб?

Мальчик. Уже к вечеру.

Судья (мальчику). Что ты увидел?

Мальчик. Ясновельможную паненку.

Судья (мальчику). Как она выглядела?

Судья спрашивал об этом прежде и знал, и все члены суда, и прокурор, и защитники — все, кто принимал участие в закрытом заседании,— знали, что в погребе она была голая; однако судье как бы недостаточно было рассказа о наготе ясновельможной паненки, и он спрашивал вновь и вновь, он как бы в какой-то момент отошел от судебных правил, от судебного мышления, призванного кратчайшим путем, без болтовни установить суть фактов, и влез в шкуру обычного любопытного человека, страшно захотевшего посмотреть на красивую голую девушку.

Мне это пришло в голову во время чтения протоколов и показаний, представляю, как бросилось это в глаза всем присутствовавшим на заседании.

Судья (мальчику). Как она выглядела?

Мальчик. Была без ничего.

Судья (мальчику). Как ты мог это заметить?

Мальчик. В погребе была пробита стена, и сначала туда попадал свет.

Судья (мальчику). Как у погреба, находящегося в земле, может быть пробита стена, сквозь которую проникает свет?

Мальчик. Снаряд разорвал землю и пробил стену,

сквозь дыру в земле и пробоину в стене и попадал свет.

Судья (мальчику). Та девушка была совершенно голая?

Мальчик. На ней не было ничего.

Судья (мальчику). Что она там делала?

Мальчик. Сидела на земле возле бочки.

Судья (мальчику). Она была одна?

Мальчик. Сначала, когда было видно, сидела одна.

Судья (мальчику). Что тогда происходило вокруг дворца?

Мальчик. Трудно было разобраться.

Судья (мальчику). Было ли там какое движение?

Мальчик. Люди бегали, слышны были крики, недалеко что-то горело, иногда свистели пули, иногда они падали рядом, над полями стояли столбы черного дыма, сперва я подумал, что это большущие деревья, а это горели господские стога.

Судья (мальчику). Как долго сидел ты у того окошка?

Мальчик. Долго.

Судья (мальчику). Как долго?

Мальчик. Долго, всю ночь.

Судья (мальчику). И тебя не искали?

Мальчик. Искали, но меня закрывали развалины.

Из последующего раздела, названного «Заседание при закрытых дверях», а также из того, что вспоминают старики — а они по-прежнему охотно рассказывают о войне,— я узнал, что́ война делает с людьми, какие мысли подсовывает им, а также то, что война — это не только выстрелы, смерть, разваливающиеся дома, стоны, превращение человеческого спокойного и гладкого лица в лицо искривленное и обезображенное, но также и разные необычные мысли в самом человеке, разные необычные внутренние голоса в самой душе, а можно сказать, и трещины, взрывы и сдвиги в самой душе, и вот выходит наружу то, о чем человек не знал, может, едва догадывался либо таил в себе; рождается как бы новая, совсем иная душа.

Когда главный свидетель, мальчик, начал рассказывать о том, кто посещал ясновельможную паненку, спрятавшуюся в погребе, он упомянул сперва о двух неизвестных ему подростках; что ж, война, гул, взрывы, и смерть вокруг, и ужасающие стоны, и весь этот перевернутый мир встряхнули, словно спичечные коробки, и одного и другого подростка, опрокинули в них то, что было упорядочено; и то, что было глубоко на дне, пошло наверх и задушило все остальное; и вот сперва какие-то два подростка, в которых из-за всей этой военной сумятицы влилась страшная отвага, подкрались развали-

нами к двери погреба; значит, как-то узнали, что погреб не пустой, что в нем находится не только бочка с вином.

Адвокат (мальчику). Откуда ты знаешь, что это были подростки, а не взрослые, ведь, когда они вошли, было уже темно?

Мальчик. Когда заскрипела дверь и они пробрались в погреб, они зажгли спички, чтобы посмотреть, где ясновельможная паненка, тогда я увидел их, это были не взрослые.

Судья (мальчику). Что было потом?

Мальчик. Потом сквозняком погасило спичку, и стало темно.

Теперь судья, заседатели и общественный обвинитель попали в трудное положение, поскольку главный свидетель, ослепленный темнотой, не мог видеть и мог только, улавливая на слух, представить, что́ происходило в погребе, когда потухли спички, зажженные двумя подростками, которым вдруг в страшном хаосе войны, среди гула, пожаров и ужасающих стонов, среди трупов, плывущих по реке и валяющихся где попало, суждено было внутренне повзрослеть, и в них вдруг заговорили желания, едва осознанные ими; при виде этого перекореженного войной мира у них должно было возникнуть убеждение, что человеку многое — собственно говоря, все дозволено; ибо, если бы это убеждение не родилось у них, им не хватило бы отваги подкрасться развалинами к погребу, к обнаженной девушке; да к какой еще девушке — говоря на языке прежнего, странного мира, в котором земля шла вслед за богом, можно сказать — девушке лучшей породы, высшего круга, ясновельможной паненке.

Изложение главным свидетелем событий в погребе, скрытых мраком, царившим там после того, как потухли спички, еще более затрудняется тем, что свидетелю было двенадцать, ну от силы тринадцать лет (тогда же, когда он притаился у окошка погреба, ему было еще меньше), и нелегко ему было рассказать о том, что происходило в погребе.

Однако суд, желая установить личность непрошеных гостей, которые, невзирая на бой, на свист пуль, нанесли визит нагой — воспользуемся старым определением — ясновельможной паненке, с удивительной настойчивостью ворошил память мальчика и разными путями склонял его к даче показаний.

Эта настойчивость суда в расследовании подробностей визита двух деревенских подростков в погреб хоть и не многое вносила в само дело — раз там подростки, то нет никого из обвиняемых, нет и А. В., — но все же дополнила общую картину.

Но, как я уже говорил, эта настойчивость, возможно, проистекала из того, что судья, заседатели, прокурор и защитник были не только работниками суда, но и людьми, которые, как обычные люди, ощутили страшный вкус этого события и хотели — можно сказать — отведать его не столько в интересах дела, подлежащего рассмотрению, сколько в интересах собственного любопытства.

А возможно, все мы, то есть те, кто был тогда в зале суда, и я, сидящий над этими протоколами, были так страшно поражены той неожиданной переменой, о которой я уже говорил, что трудно было отрешиться от самого события; ведь каких-то два часа назад ясновельможная паненка в элегантном черном костюме для верховой езды, на прекрасной лошади галопом, словно божество, влетала в настоящие перелески и леса и в черный лес внезапно выросших клубов дыма, похожих на деревья, и появлялась вновь из-за этой завесы; божество, которое, казалось бы, ничто не удержит: ни лес, ни дым, ни пламя; она перелетит реку и одолеет все препятствия; а теперь одна, нагая, в погребе, против двух деревенских подростков, которым война вдруг вывернула наизнанку души и которые — можно себе это представить — протягивали руки и крались по темному погребу, словно слепцы; и представилось мне, как я и те, кто был в зале суда, когда пережевывалось это событие, а также мои товарищи по учебе, которым я рассказывал об этом на вечеринке,— как все мы, зачарованные этим странно завлекательным событием, оказались вместе и, пробираясь сквозь развалины, проскользнули в погреб, чтобы посмотреть на голую паненку и двух подростков, души которых в кровавом хаосе войны встали на дыбы, словно озверевшие кони, а потом, словно безумные кони, разорвали все цепи.

О том, что в воображении мы вслед за подростками пробрались в погреб, свидетельствуют неожиданные и довольно долгие минуты молчания в полной сосредоточенности, когда ни судья, ни защитник не задавали вопросов, прекратили свою несносную, настырную осаду памяти главного свидетеля, когда я переставал читать и, подняв глаза от толстой книги протоколов, смотрел на огромный, во всю стену, шкаф архива, не видя его, и когда умолкали разговоры в кругу друзей на вечеринке.

В эти моменты наше воображение, словно лампочка, освещало темный погреб, и мы видели вытянутые дрожащие руки подростков, как бы умоляющие позволить коснуться обнаженного тела ясновельможной паненки.

Эти пареньки с содроганием, благоговейно и в то же время дерзко шли к наготе той — как раньше говори-

лось — высокородной особы, словно служки к алтарю; но в том, что делали подростки с вывернутой наизнанку и до ужаса освобожденной душой, было что-то от посягательства на алтарь, от осквернения его, они как бы хватали белые покрывала, которыми прикрыт алтарь, срывали эти покрывала, хотели искромсать их, наделать из них обычных полотенец или просто тряпок для вытирания посуды.

А после таких долгих минут абсолютного молчания и полной сосредоточенности начиналось прерванное этими моментами заседание суда, и судья в той книге, которую я читаю, спрашивает главного свидетеля, какие звуки, какие звуки доносились из погреба, когда погасли спички? А я, глядя в книгу, вместе с судьей спрашиваю о том же самом; и кто-то из моих друзей выкрикивает на вечеринке — ах, как трудно, как дьявольски трудно приходилось мальчишкам; и после этих слов вся компания, собравшаяся на вечеринку, разражается смехом.

А нахохотавшись над затруднениями тех мальчишек, мой ближайший друг хватает рюмку и призывает выпить, все поднимают рюмки, мы выпиваем...

А потом все с огромным нетерпением обратились ко мне — ну рассказывай, что было дальше в погребе.

Они знали, что́ случилось с моим отцом, ведь они были из моей компании; да, впрочем, трудно этого было не знать; но они не знали всего — от них, ото всех и даже от собственной матери я утаил то, что происходило на последнем этапе пути на казнь и уже под самой виселицей, утаил ту молитву отца ко мне, утаил и кое-что еще.

Должен сказать, что мою компанию тоже очень интересовал и удивлял тот мир, и теперь, то есть во время вечеринки, мою компанию опять заинтересовали затруднения тех мальчишек, которые пробрались в погреб, где спряталась ясновельможная паненка; ведь не было ни света, ни ложа, кругом был мрак, и был влажный каменный, присыпанный землей пол, и в связи с этим были огромные затруднения.

Ситуацию могла немного скрасить бочка с вином, но не в таких условиях — сетовал один мой приятель, подбрасывая кусок ветчины, как мяч, — не для таких условий бочка с вином...

Света бы, хоть чуточку освещения тем подросткам, души которых вздыбились в том водовороте военных событий, но им не везло, в погребе был абсолютный мрак, и они не могли найти ясновельможную паненку.

Они пробовали осветить погреб спичками, но неизвестно откуда бравшийся сквозняк — во время этого столпотворения, вероятно, образовались щели и дыры в

потолке и стенах, отделяющих погреб от других подвалов,— итак, резкий сквозняк тотчас же задувал спички, их ослеплял то свет, то мрак, и трудно было найти ясновельможную паненку, которая прекрасно знала все закоулки подвала и легко могла спрятаться.

В конце концов спички кончились, и в подвале наступила кромешная тьма.

Стало быть, показания главного свидетеля, того безрукого двенадцати-, самое большее тринадцатилетнего мальчика, в силу обстоятельств были основаны на подслушивании, а не на подсматривании.

Судья (мальчику). Какие голоса, какие звуки доносились из погреба после того, как погасли спички?

Мальчик. Искали ясновельможную паненку по всему подвалу.

Судья (мальчику). И нашли?

Мальчик. Нет, не нашли, они все шарили по погребу и шарили и спотыкались о разные вещи.

Судья (мальчику). Говорили они что-нибудь?

Мальчик. Говорили.

Судья (мальчику). Прошу повторить их слова.

Мальчик. «Спряталась где-то, может, перешла в другой погреб, их тут много».

Судья (мальчику). И еще что говорили?

Мальчик. Тихонько звали: «Ясновельможная паненка, ясновельможная паненка...», но никто не отзывался.

Судья (мальчику). И долго они так звали?

Мальчик. Долго.

Судья (мальчику). Как они произносили это — ясновельможная паненка?

Мальчик. Так очень ласково, очень приятно.

Судья (мальчику). Нежно?

Мальчик. Так приятно, так нежно...

Судья (мальчику). Что было дальше?

Мальчик. Потом в погреб вошли другие.

Судья (мальчику). Кто?

Мальчик. Какие-то трое.

Судья (мальчику). Откуда ты знаешь?

Мальчик. Они зажгли зажигалку.

Судья. Их внешний вид?

Мальчик. Взрослые.

Судья (мальчику). Из деревни?

Мальчик. Незнакомые.

Судья (мальчику). Это точно?

Мальчик. Я не видел их в нашей деревне.

Судья (мальчику). Это точно?

Мальчик. Точно.

Судья (мальчику). Что было потом?

Мальчик. Потом сквозняк потушил зажигалку.

Судья (мальчику). Точно так же, как и спички?

Мальчик. Да.

Из дальнейших, чрезвычайно детальных вопросов судьи и прокурора явствует, что в погребе наступило замешательство, весьма забавное; эти трое сориентировались, что в погребе находятся два подростка, и стали выгонять их, покрикивая — что вы тут делаете, чего сюда пришли! — и пытались приблизиться к ним, осветить их лица пламенем зажигалки; но подростки ловко прятались от света, что было нетрудно, поскольку зажигалка светила какие-то секунды и тотчас гасла от сквозняка.

В погребе происходила бестолковая погоня, пришельцы спотыкались о разные предметы, слышны были тихие проклятия, и главный свидетель утверждает еще, что то и дело скрипела железная дверь погреба, а это значило, что гости, пристыженные или напуганные, по одному убегали; и вот через некоторое время в погребе вновь затихло, да и не только в погребе, а, как рассказывает главный свидетель, всюду, вокруг дворца и дальше, на целом свете сделалось вдруг совершенно тихо, так, словно война вдруг закончилась.

Но так продолжалось недолго, далеко за рекой что-то хлопнуло, а потом тихо свистнуло — так иногда многозначительно свистят мальчишки; а позже этот тихий свист перерос в громкий, есть птицы, которые так свистят; а тот свист перешел в стон, а стон в страшный стон, а тот страшный стон в жуткий гул, а тот жуткий гул в пронзительный свет, и свет тот помог двум старым смердилам добраться до того, до чего не могли добраться ни два подростка, ни трое взрослых.

Речь идет о двух пожилых конюхах, которые всю свою жизнь, то есть со времени, когда они были мальчишками, и до минуты этого хаоса, с утра до вечера выгребали навоз из господских конюшен и за пятьдесят, а может, и больше лет пропитались конским навозом; и не только они, не только их одежда, руки, ноги, кожа и волосы, но и их дома, их постели, их жены и дети были пропитаны этим острым запахом конского навоза, он тянулся за ними, словно шлейф, и поэтому в деревне их прозвали смердилами.

Зарево, высветившее разбитые и уцелевшие постройки, было от пожара большой деревянной, крытой соломой риги, в которую попал первый же снаряд, как только начался новый обстрел; зарево сквозь трещины в стенах и потолке погреба ярче любой электрической лампы осветило бочку с вином и все находящиеся рядом с ней предметы, а также плечо, ниспадающие на него светлые

волосы и бок забившейся в угол ясновельможной паненки.

Смердилы — так их прямодушно называл мальчик, единственный свидетель событий в погребе,— желая спрятаться от обстрела, влезли в погреб, наверняка вместе со своей вонью.

Читая эти страницы протоколов, я вновь удивляюсь, зачем суд в полном составе и защита — это следует из вопросов судьи, прокурора, адвоката и даже помощника — пережевывали столько раз события в погребе, хотя сразу же стало ясно, что А. В. там не было.

Мне кажется, что в данном случае суд весьма отклонился от пути, которым Б. М. и его подручные вели А. В., для большего унижения вели на веревке, хлестали плеткой по ногам и веревкой по всему телу, вели к высохшему пригорку на болотистой пустоши, где росли деревья-виселицы; и этот странный маленький кортеж — ведь странно, когда человека ведут на веревке,— «проскочил» уже речную дамбу, и уже не единожды «прикладывали» концом веревки по спине А. В., и уже не единожды хлестали плеткой по его ногам, хлестали, перечисляли имена, и уже ступили на широкую тропу, ведущую сквозь заросли к тому месту на реке, где была приготовлена лодка.

На этой тропе карательная группа ускорила шаги, торопилась скорее добраться до лодки, переплыть на другой берег и направиться к деревьям-виселицам, растущим на сухом островке среди топкого болота, кое-где поросшего камышом и высоким тростником.

Из книги судебных протоколов и рассказов стариков явствует, что в те времена по речным зарослям надо было пробираться быстро и осторожно, в кустах могла быть засада; из этих актов показаний и рассказов людей, которые еще помнят те времена, следует, что быстро и легко, по-звериному, проскальзывали по кустам люди, принадлежавшие и одной, и другой стороне; то есть те, кто был против раздела помещичьей земли и решительно, револьверами, винтовками и виселицами, осуществлял свое дело, а также те, кто всеми силами рвался к помещичьей земле и столь же решительно, револьверами, винтовками, виселицами, проводил свою линию; револьверы и винтовки были нацелены друг на друга, а веревки материализовались в нимб-петлю; поэтому понятно, что люди быстро и осторожно проскальзывали тогда по тропкам в зарослях, ведь в кустах противник легко мог устроить неожиданную засаду.

Карательная группа, тащившая на веревке моего отца, тоже осторожно пробиралась по прибрежным зарослям, пробиралась молча; никаких слов, никаких проповедей Б. М., обращенных к А. В., которые еще допускались в открытом поле, никаких запоздалых поучений — тебе, А. В., тебе, А. В., надо было слушать тех, кто писал тебе, чтобы не брал не свою землю; ты, А. В., ты, А. В., ты не хотел уразуметь ни пулемета, ни поджога риги, ты должен был знать, что это пахло веревкой...

На широкой тропе среди зарослей говорила только плетка; там, отец, твой шаг отмерялся болью, и боль отдавала тебе приказы, ибо Б. М. часто стегал тебя по ногам ниже колен, замахиваясь нешироко, как бы слегка, как бы незаметно, Б. М. хлестал тебя по ногам, а ты наверняка после каждого удара, понимая этот пронзительный приказ боли, ускорял шаг, чтобы не сбивать темп карательной группы, направлявшейся к лодке.

Но иногда карательной группе приходилось останавливаться, чтобы собственные шаги не мешали вслушиваться в шорохи, шум и шелест из кустов, чтобы узнать, не означает ли случайно какой-либо из этих звуков засаду.

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, как вы давали знать А. В., чтобы он останавливался, раз в зарослях нельзя было произнести ни одного слова?

Б. М. Я дергал за веревку, накинутую ему на шею.

Судья (к Б. М.). В каком месте?

Б. М. Сзади, у самого загривка.

Судья (к Б. М.). И этого было достаточно?

Б. М. Достаточно.

В дальнейших показаниях, то есть в ответах на вопросы прокурора, Б. М. пришлось подробно объяснить, почему этого дерганья за веревку было достаточно, чтобы А. В. и вся карательная группа останавливались.

Из показаний Б. М., неизвестно зачем так обстоятельно расследуемых на заседании, следовало, что, когда он дергал, веревка натягивалась — и ее напряжение было знаком остановиться тому, кто шел впереди и держал конец веревки; таким образом, дерганье веревки останавливало сразу трех человек: Б. М., А. В. и того из карательной группы, кто шел впереди; останавливались трое, остальные же догадывались, что следует сделать короткую остановку и вслушаться в заросли.

Я представляю, отец, что, когда Б. М. давал тебе и карательной группе команду остановиться вышеописанным способом, петля сильнее сдавливала твою шею; в эти моменты твое горло, твое адамово яблоко крепко ударялось о край того серого нимба; так это было или нет, но в этот момент веревку на шее ты ощущал сильнее.

Остановки были небольшими и кончались короткими, с небольшого размаха, ударами плетки по твоим ногам.

Тогда, отец, ты бросался вперед, за тобой Б. М., а перед тобой тот, кто вел тебя, ведь для него сигналом было то, с какой силой натянута веревка; остальные догадывались, что начинается марш, и вся группа устремлялась в направлении берега.

Мне было интересно, отец, и я попробовал узнать, насколько болезненны удары плеткой по икрам; я сплел косичку из кожаных ремешков, позвал приятеля, дал ему эту косичку и сказал — хлестни ею по ногам, пониже колен.

А он мне — спятил, что ли...

А я ему — хлестни, я хочу знать, насколько это больно.

И он хлестнул раз и другой, а я ему сказал — сильнее, те, из карательной группы, хлестали наверняка сильнее; и он хлестнул сильно, и тогда я закричал — хватит!

А он — это еще не боль, бывает похуже.

Я ответил ему — знаю, что бывает похуже, но эта боль вела на казнь.

Тогда приятель замолчал.

О разных разностях говорится на вечеринке с приятелями; кто-нибудь ни с того ни с сего начинает рассказывать, что недавно придавил себе палец дверью в трамвае, и хвалится — ой, как это больно, дьявольски больно!

Кто-то в свою очередь заявляет, что это еще не так страшно, и начинается разговор о болях, о которых рассказывали нам старики; начинается перечисление различных видов боли, которые придумали и которые испытали старики; и мы узнаем, что люди очень трудились, чтобы выдумать средство для величайшей боли, что им все было мало боли, и они изо всех сил карабкались по лестнице причинения болей одна страшней другой.

Кто-то встал, откашлялся, как бы собираясь произнести речь, и провел всех, наигранно торжественно сообщив — боль боли рознь; сказал и сел, а все начали хохотать.

Эту значительную мысль попытался продолжить другой, ходивший у нас в медиках-аналитиках,— бывает боль не боль, а, можно сказать, болячка, болячечка, которая только ноет, а бывает боль, болища, пробирающая тебя с головы до пят.

Сначала казалось, что они не будут долго рассуждать о болях, не испытанных ими, о которых они слышали только от стариков, и разговор кончится на заявлении медика-аналитика.

Но не так-то легко остановиться, и до глупости

глубокомысленная болтовня на тему боли перешла в интересный и волнующий разговор, и дошло даже до того, что участники этой вечеринки поделились на три воюющие между собой группы, каждая из которых выбрала себе, как бы сказать, свою боль и твердо стояла на своем, утверждая, что ее боль самая страшная.

Приятель, так, забавы ради, отказавшийся от обычного стула и усевшийся на корзинку, полную мусора, если не ошибаюсь филолог-классик, припомнил, что ему рассказывал его дядя, и похвалялся, будто знает самую страшную боль; он утверждал, что к этой боли его дядю привело милое, ободряющее предложение — ручки на стол; а потом — подвинуть ручки дальше, дальше, к самому краю стола, так, чтобы ладонь лежала на столе, а пальчики свисали вниз; потом распоряжение, адресованное уже не дяде филолога,— спичечки, обстругать спичечки, спиртик, чтобы смочить спичечки, все должно быть гигиенично, чтобы не было заражения; а потом дяде — может, теперь у тебя ротик откроется — и ты защебечешь; а потом — теперь будем загонять спичечки под ноготки; и опять уменьшительно-ласково — щебечи, щебечи, а потом крик и безрезультатные попытки выдернуть руки, прикрепленные специально для этого изготовленными железными скобами, и визг, стоны, слюна и крик — как говорят старики, неизвестно откуда берущийся в таких обстоятельствах, но обязательный — мама, мама, мама, ма... а потом холодная вода на бледное лицо бесчувственного дяди, а потом, когда вернулось сознание,— теперь будем зажигать спичечки, и вдобавок тихо — может, теперь прощебечешь, что знаешь; а потом дядин крик, такой крик, который вознесся выше пирамиды из тысячи готических костелов; и холодная вода на бледное лицо, и снова холодная вода...

У моего дяди — закончил филолог — на концах пальцев красные набалдашнички, а сами пальцы — как бы барабанные палочки.

Кто-то крикнул — будь проклят этот мир, и рюмки, задержавшиеся в воздухе на время рассказа о превращении дядиных пальцев в барабанные палочки, поплыли к губам, и еще, и еще раз...

— Что за странный, что за дьявольски странный был мир...

Как я уже сказал, разговор о болях продолжался долго, после филолога-классика выступил чистый философ с длинным рассказом о величайшей, как он говорил, боли, притом боли дикой — поскольку она была платой за два мешка пшеницы; ну сколько — говорил приятель — мог собрать мой старик со своего клочка земли, как не

два мешка, наверняка не больше; я этого не помню, меня просто тогда еще не было на свете, я знаю по рассказам матери; отец об этом не говорит, поскольку не верит, что кто-то может понять его арифметику, эти его удивительные весы, на которых он взвешивал свое согласие на смерть и два мешка пшеницы; на одной чаше согласие на погибель, а на другой — два мешка пшеницы, и чаши на этих диковинных весах уравновешивались, и та чаша, на которую положено его согласие на смерть, вовсе не опускалась, и вовсе не взлетали вверх те два мешка пшеницы; а по здравому разумению они должны были быть легкими как пух, и чаша, на которой они лежали, должна была взлететь вверх от тяжести чаши, на которой он уместил свое согласие на погибель; тем более что тогда те два мешка, заключенные в колосьях еще не скошенного хлеба, не были единственными мешками, ведь тогда уже была собрана рожь, да и бóльшая часть пшеницы; это было так, словно у него была целая буханка хлеба, а ему хотелось еще ломоть, и за этот ломоть он готов был отдать все; и он действительно ни за какие сокровища не хотел расстаться с этим ломтем, и не помогли мольбы матери, валявшейся у него в ногах, он твердо держался за свою арифметику, которую можно назвать по-разному: и хитростью, и любовью, и ожесточенностью, и упрямством, но нельзя ее определить точно, ибо словами этого не объяснить; ее нельзя и понять, потому что это уже из области иррационального и не поддается никакому измерению, она рушит обычный порядок вещей и выворачивает наизнанку мысли и дела; и он пошел косить оставшийся хлеб, хотя на поле, оказавшееся во фронтовой полосе, падали снаряды, потому что это был день войны; и он косил, не обращая внимания на то, что время от времени на полях взрывались снаряды, а в воздухе рвалась шрапнель; и он скосил, и начал вязать снопы, и вот он уже у последнего снопа, и казалось, что он доберется до того ломтя хлеба и что не придется платить за него огромную цену, за которую можно купить весь хлеб на полях нашей деревни, да и других деревень; здраво, по-человечески рассуждая, ведь нет такого количества хлеба и таких драгоценностей, за которые можно было бы заплатить столь высокую цену, за которую купил мой отец ту «краюшку» хлеба; у последнего снопа, когда он уже наклонился и держал два конца перевясла и хотел стянуть сноп и завязать узел, в тот момент, когда он уже, собственно, мог сказать — слава богу, удалось, недалеко взорвался снаряд, и ему показалось...

Тут уж я могу опираться на слова моего старика; обо

всем том, что происходило до взрыва снаряда, он не хочет рассказывать никому, потому что не верит, что кто-то может понять эту его арифметику; но странно, о своей боли, которую он испытал после взрыва, он рассказывал несколько раз.

Сперва ему показалось, что кто-то сильно ударил его палкой по ноге выше колена, а потом ему стало страшно жарко, он лежал около того последнего снопа, и боли не было; потом он посмотрел и увидел, что ноги нет, что она отрезана большим осколком снаряда; но он решил, что ему чудится, ведь боли еще не было; потом захотелось спать, и он заснул; он рассказывал, что никогда еще так сладостно не засыпал, как тогда; никакой боли еще не было.

Каким-то чудом его нашли санитары, он проснулся на носилках и тогда почувствовал боль; и подумайте только, рассказывал он, что эта страшная боль была тогда как бы не в нем, а рядом с ним, рядом с культей, эта страшная боль была как бы вместо ноги, и как бы эта «боль сверх боли» стала его ногой; из его слов следовало, что страшно болело то, чего у него не было, болело это ничто около культи.

Но что ни говорите, а хлеб не перезрел и не высыпался из колосьев; старик добрался все-таки до своей «краюхи» и все свое загреб; что за странный, что за дьявольски странный был мир.

Теперь слово берет приятель, удобно развалившийся на кровати, психолог, тот самый, у которого на новый костюм нашиты заплатки, чтобы костюм выглядел старым и убогим и чтобы таким образом подчеркнуть богатство духа.

Он говорит, что самая страшная боль — как ему рассказывал один старик, его родственник,— это когда человеку обреют голову, усадят неподвижно посреди помещения и на эту обритую голову сверху капают холодную воду; причем так хитро устроят, что на лысину каждые пять-десять секунд падает капелька, и тот старик, которому пришлось это пережить, рассказывал моему другу, психологу,— не подумай, мальчик, что капелька ничего не значит, пусть тебя не обманет легкая капелька, тебе, может быть, кажется, это просто так — кап, кап; она только сперва легкая, потом делается все тяжелее, а через некоторое время капелька воды становится тяжелой, как камешек, потом — как камень, а в конце концов — как глыба; как будто ты сидишь под осыпающейся скалой; и самое страшное, что этот камень, которого ты ждешь пять-десять секунд, не убивает тебя, в момент этого мощного удара ты хотел бы быть убитым,

но ты должен снова ждать, когда на голову тебе упадет следующий тяжелый камень; ты начинаешь убеждать себя — ведь это капля, ничего больше, только капля воды, чего же ты, глупый, боишься,— но не можешь убедить себя самого, и корчишься, и закрываешь глаза, и снова мощный удар по черепу, который, однако, тебя не убивает; говорю тебе, самое страшное — это капля воды; ни палка, ни дубинка, ни проволочная плеть, ни пуля не страшны так, как капелька воды.

Кому-то из приятелей надоела болтовня о болях, и он прервал психолога и крикнул — выпьем! — и рюмки опять поплыли к губам... Что за странный, что за дьявольски странный был мир...

Разговор вдруг перешел на другие темы, именно с того момента, когда тот, который подбрасывал кусок ветчины, словно мяч, уронил ее и пнул ногой под шкаф, чтобы не портила вида комнаты.

Тогда кто-то из приятелей разыграл возмущение и сказал — ты должен эту ветчину поднять и поцеловать, ты должен извиниться перед даром божьим; тогда тот веселый расточитель дара божьего запротестовал — ну что за слова; а через некоторое время — ну что ты придрался; шутливый выговор показался ему очень неуместным.

Тогда откликнулся я, вспомнив, что́ мне рассказывала бабушка о своем трудном детстве и о трудном детстве отца; а вслед за мной заговорили те из нашей компании, кто слышал об этом от стариков, а потом кто-то что-то добавил, и разгорелась беседа о тяжелом детстве наших отцов и дедов; и выяснилось, что тяжелое детство заключалось главным образом в том, что не хватало хлеба либо его бывало в обрез, так что приходилось прибегать к дележу.

Бывало так, что когда матери или бабушке приходилось отрезать ломоть хлеба и давать его мальчишке, влетавшему с поля или пастбища с единственным воплем — хлеба, то сперва она вглядывалась в него, как бы желая измерить его аппетит; как я узнал из слов моей бабушки, отрезание краюхи от буханки бывало иногда совсем не таким уж простым и легким делом, этому процессу должны сопутствовать осмотрительность и чутье; ведь речь шла о том, чтобы, упаси бог, своей толщиной она не превосходила аппетита и не преступала границ пустоты в желудке, и уж лучше, чтобы она до этой границы не доходила; а потом открывалась тяжелая дверь в кладовку, бывшую как бы храмом хлеба, ибо в ней находились буханки хлеба и зерно в ларях; и хлеб шел под нож, и краюха отправлялась в кричащие руки

мальчишки; а если кто-нибудь, ребенок или старик, ронял кусок хлеба на пол, то следовало его тотчас поднять, сдуть или не сдувать с него пыль, но обязательно поцеловать, извиниться перед ним и тогда уже почтительно съесть.

Чистый философ, сидевший на кровати из-за отсутствия мест за столом, набил рот любимыми сардинками и впал в раздумье о том странном, непонятном мире.

Тяжелое детство наших отцов поражало нас и несколько забавляло, и поэтому разговор быстро не закончился, после проблемы хлеба пришла очередь выпаса коров, ведь известно, что каждому, на долю которого выпадало тяжелое деревенское детство, приходилось пасти коров.

Мог быть и парень что надо, и при этом способный, умел прекрасно считать и, если приходилось что-нибудь подсчитать, мигом справлялся; либо умел из глины лепить человечков или рисовать картинки, либо пел красиво, словно соловей; но что из того, что он мог стать гордостью любой школы, раз ему приходилось брать кнут и пасти коров?

Послышался невнятный голос чистого философа, невнятный потому, что он основательно выпил, и притом словам его приходилось продираться сквозь сардины, которыми он вновь набил рот; он сказал — может, так и было; а ему на это — не может, а было; кое-кто лениво подтвердил мою мысль, пребывая в полудреме; а потом медик-аналитик добавил — о таких способных, кому пришлось остаться при коровах, обычно говорят — из него что-нибудь вышло бы, доведись ему учиться.

После слов медика наступила тишина, все погрузились в раздумье; удивительно, что слова «доведись ему учиться» могли стать поводом для раздумий; в этих словах было что-то такое, что-то такое... возможно, мы восприняли их как печальное свидетельство, печальный диплом, выданный деревней тому способному пареньку, которому пришлось остаться с коровами.

Но раздумья не могли продолжаться долго, они должны были смениться весельем, так и произошло, ибо со стула вдруг поднялся приятель, пнувший ветчину под шкаф, он встал у стола с покаянным видом, а потом подошел к шкафу, лег на пол, выгреб рукой ветчину и с миной раскаявшегося грешника взял ее осторожно, точно драгоценную вещь, кончиками пальцев; а потом поднялся с пола и с тем же неизменным выражением раскаявшегося грешника поднес ветчину к губам, сдул с нее пыль и, запечатлев на ней почти благоговейный поцелуй, положил в рот и торжественно проглотил.

Тогда мы, как по команде, разразились хохотом, и все хохотали и хохотали, так прекрасно он воспроизвел тяжелое детство наших отцов, как артист, как настоящий артист; даже когда мы валились со смеху, хватались со смеху за животы, он сумел сохранить серьезность и мину раскаявшегося грешника.

А после вся компания обратилась ко мне — рассказывай, теперь рассказывай, что было в подвале дворца, когда туда ввалились те два старых конюха...

Это и еще кое-что я мог бы им рассказать, но не все, многое я храню для себя, матери и бабушки, а некоторые факты, касающиеся этого дела, храню только для себя; они настолько мои, что я с большой охотой вырвал бы из книги протоколов те страницы, где это записано, и сжег бы их, чтобы никто и никогда не смог прочесть.

В первую очередь я вырвал бы те страницы, на которых есть упоминание о той странной, богохульной, по мнению Б. М., молитве, которую начал читать отец после слов главаря карательной группы — молись, А. В.,— произнесенных, когда лодка отчалила от берега, уже на реке, ибо эта молитва касается меня, и только меня, и никто не должен ее знать; но о том, что происходило в погребе, я могу им рассказать.

Из показаний главного свидетеля, мальчика, наиболее из всех свидетелей замученного вопросами, следует, что, когда смердилы — так со всей детской непосредственностью вслед за всей деревней он их называет — вошли в погреб, там было уже светло, сквозь щели в потолке и стенах проникало зарево от горящей неподалеку риги и разрывающихся снарядов, поскольку опять начался обстрел.

Стало быть, конюхи легко могли увидеть ясновельможную паненку, притаившуюся за уступом стены.

Судья (мальчику). Как вели себя конюхи, когда увидели ясновельможную паненку?

Мальчик. Они удивились и немного испугались, так, будто произошло чудо.

Судья (мальчику). Расскажи поподробнее.

Мальчик. Они закричали — о-о-о... и как бы собрались убежать.

Судья. Что было дальше?

Мальчик. Потом они стали всматриваться в тот угол, где была ясновельможная паненка, и один из них ее узнал.

Судья (мальчику). Откуда ты знаешь, что узнал?

Мальчик. Потому что он сказал — ясновельможная паненка.

Судья (мальчику). Ка́к он сказал?

Мальчик. Будто не верил своим глазам.

Судья (мальчику). Что было дальше?

Мальчик. Смердилы стали к ней приближаться и по очереди говорили — ясновельможная паненка, бедная ясновельможная паненка...

Судья (мальчику). А она?

Мальчик. Она вышла к ним из-за стены.

Судья (мальчику). Как она выглядела?

Мальчик. Была без ничего.

Судья (мальчику). Голая?

Мальчик. Угу...

Судья (мальчику). Что в это время происходило снаружи?

Мальчик. Страшная стрельба, гул, огонь.

Судья (мальчику). А ты не боялся?

Мальчик. Нет.

Судья (мальчику). Почему не боялся?

Мальчик. Не знаю.

Судья (мальчику). Что происходило потом в погребе?

Мальчик. Один из смердил снял свой пиджак и накинул его на плечи ясновельможной паненке, а другой тогда захихикал.

Судья (мальчику). Они не боялись стрельбы?

Мальчик. Кажись, что нет.

Судья (мальчику). Что было дальше?

Мальчик. Смердила, который снял пиджак, долго стоял рядом с ясновельможной паненкой и все укрывал, укрывал ее...

Судья. А другой?

Мальчик. А другой снова захихикал, а потом посмотрел на бочку и сказал — винцо есть.

Судья (мальчику). Как ты это услышал, коль скоро шел бой и кругом стреляли?

Мальчик. Иногда стрельба затихала, а потом — меня ведь прикрывали развалины.

Судья (мальчику). Что было после слов «винцо есть»?

Мальчик. Смердила, который это сказал, сунул руки в карманы и стал прохаживаться по погребу.

Судья (мальчику). Прохаживаться?

Мальчик. Очень важно, как пан.

Судья (мальчику). А другой?

Мальчик. Другой гладил ясновельможную паненку по голове и говорил — бедная ясновельможная паненка.

Судья (мальчику). Что было дальше?

Мальчик. Тот, который прогуливался, подошел к бочке, наклонился, отвернул кран, приложил к нему губы и начал пить вино.

Судья (мальчику). А другой?

Мальчик. Другой услышал бульканье и закричал — ясновельможная паненка, разогреемся винцом.

Судья (мальчику). Они не боялись стрельбы?

Мальчик. Совсем не боялись.

Судья. Рассказывай, что было дальше.

Мальчик. Потом другой смердила потащил ясновельможную паненку к бочке, оттолкнул того, который пил вино, и сказал — пусть глотнет ясновельможная паненка.

Судья (мальчику). И она пила?

Мальчик. Пила, даже здорово потянула, а потом напился тот, который был без пиджака, а потом тот, в пиджаке, а в конце ясновельможная паненка, ведь вино вовсю лилось из бочки, им, наверно, было жалко, что оно пропадает.

Судья (мальчику). И долго они пили?

Мальчик. Долго.

Судья (мальчику). А потом?

Мальчик. А потом уселись.

Судья (мальчику). Куда?

Мальчик. На землю, прямо в вино, потому что оно все лилось, прямо в грязь.

Судья (мальчику). А потом?

Мальчик. Потом в погребе немного потемнело, но я заметил еще, что тот, который был в пиджаке, снял пиджак с плеч ясновельможной паненки, а потом все стали валяться в грязи и плескаться в вине, как лягушки, потому что вино все текло и текло из бочки.

Эта неожиданная перемена в течение одного дня, человеческая жизнь, с утра она одна, а пополудни совсем другая, этот неожиданный поворот, этот выверт судьбы поражает меня и моих друзей; представляю, как все это должно было поразить членов суда, ведь если бы не поразило, так не было бы столь обстоятельных вопросов главному свидетелю; и представляю себе, как это должно было поразить деревенских жителей, когда они узнали о тех событиях.

Мы сдерживаем дыхание и протираем глаза, ведь совсем недавно она была гордой ясновельможной паненкой, была в элегантном костюме для верховой езды, а если заглянуть немного в глубь дней, возможно, и в длинном платье, в комнате, на персидском ковре, а рядом с ней какой-нибудь ясновельможный паныч, элегантный, надушенный, и он изысканно просил — разрешите запечатлеть поцелуй на вашей белоснежной

ручке; а теперь дворец превратился в развалины, а голая ясновельможная паненка валяется с двумя конюхами в луже вина в погребе.

Юный свидетель говорит — валяются, этим словом он называет то, чего не удалось добиться двум до ужаса отважным подросткам, вырванным вдруг из детства и как бы вторично родившимся с огромной мужской отвагой в сердце и мужским знанием жизни; чего не удалось добиться трем взрослым мужчинам, которые при слабом свете зажигалки, а потом и на ощупь пытались очистить территорию и выгнать из погреба подростков и которые вдруг — возможно, устыдившись столь смехотворного соперничества с подростками, а возможно, испугавшись мысли, что им придется прикоснуться к голой ясновельможной паненке, что их недостойные руки посягнут на наготу слишком высокородной особы, святой особы, возможно, сбитые с толку столь неожиданной переменой, а может быть, и по другим причинам — убежали из погреба.

И вот то, чего не удалось добиться тем пятерым в погребе, свершили два старых конюха, самые вонючие в деревне люди: они, как я уже говорил, с рассвета до заката чистили конюшни породистых лошадей из господского табуна и были как бы прикованы к навозу, от которого освобождались только на несколько часов для сна, и поэтому провоняли навозом, и этой едкой, выжимающей слезу вонью пропиталась не только вся их одежда, но и тела, она расползалась по их избам, проникала в набитые соломой тюфяки, во всю их рухлядь, а также в одежду и тела их жен и детей; так проникла, так слилась с ними, что они, возможно, ее и не замечали, зато замечали другие, иначе откуда бы взялось это прозвище — смердилы.

Люди порой обходили их стороной, чтобы хоть как-то, хоть на самую малость возвыситься над ними; поэтому особенно старательно обходили те, кто совсем немного, ну самую малость вонял меньше их; именно они делали большие круги, сторонясь конюхов, затыкали носы и демонстративно чихали, давая всем понять, как раздражает их вонь смердил; и, желая подняться над ними хоть на миллиметр, говорили им в праздничные дни перед костелом — не входите внутрь, стойте в притворе, чтобы ксендз не почуял, а то прикажет выйти.

Конюхи тогда отвечали — богу мы не воняем.

Но те, кто вонял хоть чуточку меньше, убеждали их — лучше будет, если встанете в притворе.

И уговаривали их, и конюхи привыкли к своему месту в раскрытом настежь притворе, куда слово божье едва

доходило, зато был сквозняк, относивший эту вонь.

Именно эти два старых конюха каким-то чудом, когда произошла внезапная перемена, доплыли, добрались до нагого тела ясновельможной паненки.

Что за странный, что за дьявольски странный был мир; на одном его краю элегантный паныч говорит ясновельможной паненке, одетой в длинное платье,— позвольте запечатлеть поцелуй на вашей белоснежной ручке; а на другом краю ясновельможная паненка летит вниз и, уже без развевающегося платья, без золота на руках и шее, без ничего, совершенно обнаженная, падает в подвал прямо в объятия двух старых конюхов, самых вонючих в деревне; и на другом краю этого мира два самых вонючих в деревне старика плещутся в вине вместе с ясновельможной паненкой.

Ибо тот юный свидетель событий в погребе иногда говорит — плескались, иногда — валялись, так он называет то, что выделывали там с ясновельможной паненкой конюхи.

И можно сказать, что, лишь выкупавшись в вине, они перестали вонять, это, впрочем, подтверждает и главный свидетель; а суд все пережевывает и пережевывает события в погребе, словно они были самыми важными для процесса; мне даже кажется, что этому было посвящено гораздо больше времени, чем той кощунственной и богохульной, как утверждает Б. М., молитве отца, которая началась, когда карательная группа добралась с отцом до того места на реке, где была приготовлена лодка и где Б. М., его подручные и отец сели в нее, а один из карателей группы схватил весло и оттолкнул лодку от берега.

Та якобы кощунственная молитва началась именно в момент, когда Б. М. и один из его подручных проверили, не ослабли ли узлы на руках отца, которого, как самую важную особу во всей группе, посадили на лавку, когда Б. М. и тот его подручный, что шел до этого впереди, встали за его плечами и один из них держал веревку у самой шеи отца, плывущего к своей смерти, а другой — как в подробностях установил суд — левой рукой держал его за плечо, а правой приставил револьвер к затылку и даже слегка постукивал им по голове, наверняка уведомляя о полной готовности карательной группы.

Главное было в том, чтобы отец, ведомый на смерть, не попытался вырваться и прыгнуть в воду, ибо тогда не удался бы план тех, кто приговорил моего отца к смерти; если бы попытка бегства удалась и отец утонул, они лишились бы возможности устрашения других, его могло дать только повешение, чтобы все знали, какая судьба

ждет тех, кто отважится ступить не на свою — как говорил Б. М.— землю.

Поводом к этой молитве послужил — как показывает судебное разбирательство — приказ Б. М. отцу — молись, А. В., немного тебе осталось времени.

Времени оставалось действительно немного, ведь до тех деревьев-виселиц, растущих на сухом островке среди болотистой пустоши, было недалеко.

Мой отец послушался приказа и начал молиться, но он выдумал свою молитву, а может, и не выдумал, на выдумывание не было времени; может быть, та молитва родилась в нем внезапно, неосознанно, а может быть, она не могла быть иной, может быть, она должна быть именно такой, какой была, ибо это была молитва, обращенная к жизни, а не к смерти.

Я знаю, отец, до мозга костей знаю, что ты тогда молился жизни, а не смерти, понимая, что тебя ждет близкая смерть, ты молился своей жизни во мне.

— Сын мой, иже еси в люльке, тебе молюсь я.— Так начиналась та молитва, но лишь начало ее было в словах, продолжалась она в мыслях, и это продолжение я должен домыслить, потому что, кроме начала, нет больше ни одного слова, есть много фактов и слов, связанных с ней, но что касается самой молитвы, есть только ее начало.

Вот, например, слова Б. М., обращенные к отцу,— что за молитву сочинил ты, А. В., и еще другие его слова, но они дают немного, самого завещания они не передают; стало быть, я сам должен домыслить то завещание.

Прокурор (обвиняемому, который для смягчения себе приговора засыпает Б. М.). Что сказал Б. М. после слов А. В.— сын мой, иже еси в люльке, тебе молюсь я?..

Обвиняемый. Б. М. тогда сказал — ты что за молитву сочинил, А. В.?

Прокурор (к Б. М.). Что ответил А. В.?

Б. М. Ничего не ответил.

Прокурор (второму обвиняемому). А. В. действительно ничего не сказал?

Обвиняемый. А. В. ничего не ответил.

Судья (к Б. М.). Что еще, обвиняемый, вы сказали А. В., когда тот начал так странно молиться?

Б. М. Я сказал — А. В., молись богу.

Судья (к Б. М.). И что же А. В.?

Б. М. Повторил то же самое, что и до того.

Судья (к Б. М.). То есть начало своей молитвы?

Б. М. Начало.

Тут суд объявляет перерыв, а я перелистываю несколько страниц вперед в поисках продолжения этой

молитвы; но вновь натыкаюсь на события в подвале дворца, точнее, на завершение того, что происходило в подвале, а потом на то, что делалось, когда два конюха и ясновельможная паненка вышли из погреба во двор, в самое пекло обстрела.

Здесь следует сказать, что события в погребе не представлены в книге протоколов последовательно, страница за страницей, они прерываются другими событиями — то тем, что делалось на реке, то фактами, касающимися самого маршрута к месту казни, от крыльца дома до речной дамбы и от дамбы до берега реки, то фактами, касающимися самой переправы через реку, а стало быть, и молитвы, и разговора А. В. и Б. М. в лодке.

В свою очередь все это перемежается событиями, имевшими место в погребе и позже, когда те трое, изрядно шатаясь, вышли во двор и попали в мир, гудящий и сотрясающийся от взрывов снарядов.

Стенограмма процесса отражает самые разные события, взаимопроникающие друг в друга, цепляющиеся одно за другое и обрывающиеся; ибо суду, тщательно рассматривающему одно событие, не раз, когда возникала необходимость, приходилось переключаться на расследование совсем иных фактов, поэтому и я, описывая все это, придерживаюсь такого же порядка, поэтому одно событие наслаивается на другое, проникает в него.

Отойдя на какое-то время от событий в погребе и обратясь к молитве отца, я вновь возвращаюсь к ним, и вот передо мной продолжение показаний юного свидетеля.

Судья (мальчику). Как долго конюхи валялись с ясновельможной паненкой в вине?

Мальчик. Долго.

Судья (мальчику). Как это выглядело? (Может быть, напрасно судья так подробно допрашивает свидетеля; как на это может ответить мальчик, ребенок?)

Мальчик. Сперва они валялись вместе, а потом по очереди — то один смердила с ясновельможной паненкой, то другой.

Судья (мальчику). Что было потом?

Мальчик. Потом опять пили вино.

Судья (мальчику). А потом?

Мальчик. Потом встали, стали петь и прыгать и шлепать ногами по винной луже, даже запах полез сквозь щели.

Судья (мальчику). Что происходило тогда снаружи?

Мальчик. Шел страшный бой.

Судья (мальчику). А те в погребе вели себя так, словно наверху тихо и безопасно?

Мальчик. Как будто не было боя, как будто была тишина.

Судья (мальчику). Расскажи, как они прыгали в погребе?

Мальчик. Вроде как танцевали.

Судья (мальчику). А какой вид был у танцоров?

Мальчик. У смердил была мокрая одежда и мокрые лица, а ясновельможная паненка совсем голая, потому что на нее еще не накинули куртку.

Судья (мальчику). Что еще можешь сказать о них?

Мальчик. Что им было весело.

Судья (мальчику). И ясновельможной паненке тоже?

Мальчик. Ясновельможной паненке тоже.

Судья (мальчику). Что было потом?

Мальчик. Когда они наплясались и напелись, один смердила накинул на ясновельможную паненку свою куртку, и они вышли из погреба.

Затем главный свидетель рассказывает, что когда они вышли из погреба, то прошли узким проходом между развалинами совсем рядом с ним, но не заметили его, потому что он спрятался поглубже в развалинах, что, впрочем, было нетрудно сделать, поскольку обломки разбитого снарядом дома образовали многочисленные дыры и укрытия; главный свидетель рассказывал еще, что, когда они проходили рядом с ним, до него долетел приятный запах, смердилы выкупались в старом, дорогом вине, и вино смыло с них вонь, которой они были пропитаны с детства, можно сказать, пропитывались в течение нескольких поколений, и так, надушенные, словно важные господа, с обеих сторон поддерживая под руки ясновельможную паненку, эти фантастические шаферы с фантастической невестой вошли в фантастический, ошалевший от войны мир, вошли радостно, словно на веселую свадьбу.

Судья (мальчику). Откуда ты знаешь, что им было весело?

Мальчик. Потому что они весело распевали, размахивали руками и дрыгали ногами, как в танце.

Судья (мальчику). Не припомнишь ли ты слова песни, которую они пели?

Мальчик. Они пели о молодости и любви.

Судья (мальчику). Можешь ли повторить слова этой песни?

Мальчик. Там было — не жалей своих уст, дивчина,— это долетело до меня в перерыве между взрывами.

Судья (мальчику). А еще что-нибудь помнишь?

Мальчик. И еще — приди ко мне лунной ночью,— это я услышал, когда они проходили рядом со мной.

Судья (мальчику). А еще?

Мальчик. Дай сладкие уста свои.

Судья (мальчику). А еще?

Мальчик. Приди в мои объятия и всю себя отдай.

Судья (мальчику). Какой у них был вид?

Мальчик. У смердил был растерзанный вид, рубашки вылезли из штанов.

Судья (мальчику). А ясновельможная паненка?

Мальчик. На ней была широкая расстегнутая куртка одного из смердил, который уже не вонял, но куртка не прикрывала ее.

Судья (мальчику). То есть?

Мальчик. Ну значит, она была совсем голая, была голая.

Судья (мальчику). Что происходило вокруг?

Мальчик. Продолжался страшный бой, снаряды свистели и рвались, недалеко горели дома.

Судья (мальчику). А они не боялись?

Мальчик. Они взялись за руки и, как дети, пели и плясали.

Судья (мальчику). Среди всего этого?

Мальчик. Среди всего этого.

Судья (мальчику). А кто-нибудь с ними еще был?

Мальчик. Никого не было.

Суд тем не менее все жует и пережевывает дело и никак не может оторваться от этого происшествия.

Здесь сказывается обычное человеческое любопытство, ведь события в погребе не вносят в дело А. В. ничего нового; но не одно любопытство заставляет суд задавать бесконечные вопросы главному свидетелю; наверняка суду было важно доказать, что А. В. не имел ничего общего с тем, что происходило в погребе и потом, когда эта тройка вышла прямо на поле боя; таким образом отпадало последнее звено в цепи обвинений, перечисленных Б. М., когда он плеткой подсекал ноги отца, ведя его к месту казни.

Из дальнейших показаний главного свидетеля следует, что, когда тройка оказалась в самом пекле и, не обращая внимания на пули и снаряды, пела и плясала, он прошмыгнул туннелем, образовавшимся в развалинах, поближе к ним и крикнул — возвращайтесь!

Он крикнул несколько раз, потому что испугался за них, но они, вероятно, не слышали, поскольку пели и выкрикивали — гоп, топ, гей, гоп — и очень были увлечены своей забавой.

Из дальнейших показаний главного свидетеля следу-

ет, что конюхи и ясновельможная паненка бой всерьез не принимали, решили, что кто-то дурачится, назойливо пристает, мешает их веселью; ибо время от времени после очередного взрыва — а падали снаряды совсем рядом — конюхи и ясновельможная паненка кривлялись, орали, передразнивали взрывы, и слышно было, как кричали — бух, бах, тарарах...

Из того, что рассказывает суду главный свидетель, складывается такая картина: бой, густо рвутся снаряды, раздаются автоматные очереди, дворец, вернее, его развалины, служебные постройки и деревня оказались в зоне обстрела, огромное пространство опустело, люди попрятались, и лишь во дворе около развалин господского дома танцуют и поют два старых растерзанных конюха и молоденькая ясновельможная паненка; у расщелины среди развалин стоит мальчик и кричит танцорам — возвращайтесь в подвал, возвращайтесь в подвал!

Но криков его никто не слышит, троица в экстазе кружится в вихре танца.

Танцорам бой несколько мешает, они то и дело все вместе или по одному строят гримасы, орут, передразнивая гул канонады, вскидывают вверх руки и кричат нетерпеливо и умоляюще — перестань, перестань...

Они кричат так, словно через минуту примутся отчитывать этого приставалу, который расшумелся,— не валяй дурака, отвяжись, хватит яркого света, разве не видишь, что мешаешь веселиться; мы хотим поплясать и попеть, а ты невесть что вытворяешь, все шумишь, все шумишь.

Они снова берутся за руки, образуют маленький хоровод и кружатся, напевая — станем в круг, станем в круг...

Главный свидетель видит их хорошо, потому что они веселятся на фоне огромного огненного столба, который взметнулся в небо, когда запылала старая плоская рига.

Они разрывают круг, кружатся поодиночке, каждый поет свое, один из конюхов, тот, что накинул куртку на ясновельможную паненку, нагибается и срывает какие-то сорняки с длинными стеблями, сплетает из них нечто вроде венка и надевает на голову ясновельможной паненки, которая в момент коронации сбрасывает с себя старую куртку и вдруг неожиданно — об этом рассказывает главный свидетель — выпрямляется, как струна, и застывает по стойке «смирно».

Тогда два старых растерзанных конюха принялись прыгать и кругами плясать вокруг нее; но из рассказа мальчика следует, что, едва они начали пляску, у совсем уже теперь обнаженной ясновельможной паненки, прямой

и преисполненной достоинства с момента возложения на ее голову этой смешной короны, подогнулись ноги, и она упала на колени на выжженную, черную траву, недалеко от величественного огненного дерева с черной верхушкой; и стояла на коленях прямая, вытянувшись как струна.

А конюхи все водили свой хоровод, продолжали плясать вокруг коленопреклоненной ясновельможной паненки.

Потом она раскинула руки, а конюхи все кружились и кружились вокруг ясновельможной паненки, ставшей вдруг похожей на крест; потом она с раскинутыми в стороны руками упала лицом на черную выжженную землю, как будто хотела поклониться тому величественному огненному дереву; а конюхи какое-то время продолжали водить хоровод вокруг лежащей в черной траве ясновельможной паненки.

Наконец они перестали плясать, наклонились над ней, перевернули навзничь, стали уговаривать подняться, но она ведь не могла их уже услышать.

Потом вдруг один из конюхов понял, что ясновельможная паненка никогда уже не встанет и никогда не пойдет плясать; тогда он повернулся лицом к полям, откуда летели пули, и пронзительно и страшно закричал — перестань, перестань... будто кричал кому-то знакомому несносному насмешнику, который испортил всю забаву, надеясь, что тот услышит его.

Судья (мальчику). Какой вид был в этот момент у конюха?

Мальчик. Лицо было багровое, страшное, рубаха вылезала из штанов, будто он надел бабское платье.

Судья (мальчику). Почему он был страшен?

Мальчик. Глаза, глаза были страшные, и руки.

Судья (мальчику). Почему руки?

Мальчик. Не знаю почему, но были страшные.

Судья (мальчику). Может, попробуешь объяснить, почему руки конюха были страшные?

Мальчик. Они были большие, черные, хотели что-то схватить, а не знали — что, были страшные.

Из дальнейших показаний главного свидетеля следует, что тот конюх, выкрикнув страшные крики-приказы — перестань, перестань, вдруг замолк, присмирел и стал размахивать большими черными руками; и казалось, будто он отгонял рой остервенелых ос; он так вел себя, словно удивлялся, что его руки, отгоняющие ос, двигаются не так, как ему хочется; ему хотелось махать ими ловко и быстро, чтобы избавиться от назойливых ос, а руки не хотели его слушаться.

И он наконец, повернувшись к полям, спросил неизвестно кого, может быть те далекие просторы,—что это, что это, что это?

А потом схватился за грудь, будто на ней уместился весь осиный рой, и казалось, будто он хотел задушить их на своей груди, мял их, бил себя в грудь этими огромными черными руками, сам себя толкал назад и наконец свалил сам себя, упал навзничь рядом с ясновельможной паненкой, головой к ней.

Из дальнейшего рассказа главного свидетеля следует, что второй конюх продолжал уговаривать ясновельможную паненку встать и продолжить танец, тряс ее за плечи; потом стал просить о том же своего товарища; в конце концов встал и так же, как до этого его товарищ, повернулся лицом к открытым просторам, строил гримасы, размахивал руками, словно отчитывал эти просторы за то, что ясновельможная паненка и его сердечный друг не могут встать и пойти в пляс.

А потом с ним что-то случилось, и он склонил голову низко к земле и начал быстро ходить по кругу, словно что-то искал; а потом с опущенной головой завертелся вдруг на месте; он очень хотел выпрямиться, но не мог; он размахивал руками, как птица крыльями, но головы поднять не мог; как ни старался приподнять голову, она все ниже опускалась, так что в конце концов ему пришлось опереться руками о землю.

Какое-то время он шел на четвереньках, словно усталая скотина, в сторону неподвижно лежащих товарищей по веселью, а потом руки и ноги под ним медленно вытянулись, и он распластался на земле и, уже лежа на животе, извиваясь, словно огромный дождевой червь, сумел доползти до них и сумел выбрать прекрасное место для своего лица: он положил его на голую грудь ясновельможной паненки.

Судья (мальчику). Что было потом?

Мальчик. Потом бой стал затихать.

Судья (мальчику). То есть?

Мальчик. Пули щелкали не так часто, и были большие перерывы между взрывами.

Судья (мальчику). В подвал больше никто не входил?

Мальчик. Никто, в перерывах между взрывами было слышно, как из бочки хлещет вино.

Судья (мальчику). Еще не вылилось?

Мальчик. Бочка была огромная.

Судья (мальчику). Что было потом?

Мальчик. Потом бой прекратился, и я вылез из развалин, потому что хотел посмотреть на конюхов и

ясновельможную паненку.

Это его любопытство и привело к тому, что теперь у него нет руки; а ведь он мог еще какое-то время посидеть в развалинах и переждать там тот последний, запоздалый разрыв снаряда; уж столько диковинных вещей он увидел, начиная с пронзительной яркости огненного дерева, поднявшегося в небо, когда снаряд попал в ригу, и кончая смертью конюхов и ясновельможной паненки.

Зачем он спешил к убитым, зачем после предпоследнего взрыва, показавшегося ему последним, он выскочил из развалин и побежал посмотреть на мертвых конюхов и мертвую ясновельможную паненку?

Судья в своем стремлении как можно детальнее восстановить картину совершенно напрасно обратился к безрукому мальчику, свидетелю последних часов жизни двух старых конюхов и их девушки, ясновельможной паненки.

Ну что мог ответить мальчик на этот сакраментальный, продиктованный нетерпением суда вопрос — что было потом? Он мог ответить только — потом было это со мной.

Таков его последний ответ в книге судебных протоколов, да еще взмах обрубком руки — посмотрите, мол, на безрукий бок; наверняка он хотел бог весть в какой раз избавить себя от переживания того, что случилось с ним, когда из-за мглистого горизонта прилетел еще один, на сей раз уже действительно последний в бою за дворец снаряд, несущий в себе ту острую «бритву», тот «тесак» для точного отрезания рук.

И суд сообразил, что следует прекратить допрос главного свидетеля, показания которого, подробно освещая важные события, косвенно помогли показать облик А. В. и сделали беспочвенным последнее звено «перечня», той «литании», которую произносил Б. М., подсекая ноги А. В., ведомого на повешение.

Таким образом выбили почву из-под ног адвоката, который разрывался на части, чтобы стащить смерть А. В. с пьедестала великой и чистой смерти, а можно сказать, и владычицы смерти, распростершей свою власть на огромные пространства земли, смерти, не запятнавшей себя ничем, кроме вступления А. В. и его соседей на ровные, широкие господские поля.

Итак, адвокат был выбит из колеи, ловкость не помогла, ему не удалось низвергнуть смерть А. В. в пропасть пусть неожиданных и насильственных, но все же малых и обычных кончин.

Зачем ты так спешил, мальчик, посмотреть вблизи на

мертвых и не подождал еще минутку, пока не прилетит и не взорвется последний снаряд в бою за дворец?

Собственно, мой вопрос, адресованный безрукому мальчику, не имеет смысла, ведь все уже случилось, он уже выскочил из своего укрытия в развалинах, и в тот момент, когда выскочил, осколок последнего снаряда оторвал ему руку; и он тогда сразу изменил направление бега, истекая кровью, с коротким обрубком помчался к своему дому, но не добежал, упал и потерял сознание; к счастью, бой закончился, его заметили люди, он был спасен и остался жить; а ведь мог бы жить и с рукой, если бы не спешил так к той троице, погруженной в вечный сон.

Что бы он увидел, приблизившись к ним? О том, что он мог увидеть, рассказывает уже другой свидетель, тот, кто первый подбежал к убитым, а потом вместе с другими организовывал похороны.

Итак, главный свидетель, не случись с ним несчастья, увидел бы большой круг черной травы, а на той траве алое рваное полотнище из крови, пролитой троицей в общем веселье; а на этой кровавой постели он увидел бы обнаженную белоснежную ясновельможную паненку, лежащую навзничь с венком на голове; и наверняка увидел бы великое успокоение на лице ее и капельку удивления; ведь пуля настигла ее в момент веселья, беззаботного веселья в зареве пылающего дерева, среди иллюминации и огня.

Из показаний свидетеля, человека пожилого и добродушно-словоохотливого, дававшего показания после однорукого мальчика, следует, что у конюхов, лежавших вместе с ясновельможной паненкой на алой постели, были по-детски обиженные лица.

Суд, однако, не выпускает из рук эту троицу, и не останавливается на пороге ее смерти, и провожает до самой могилы — настолько он заинтересован в доказательстве того, что А. В. был вне событий в погребе, и что даже ни словом, ни шепотом, ни жестом не спровоцировал эти события, и что даже те слова, шутливо-поощрительные, однако способные распалить человека и заставить его пережить внутреннее потрясение, которое выбрасывает наружу, словно горячую лаву, глубоко скрытые желания,— что даже эти слова — «может, хотите попробовать...» — сказал не он.

Но разве важно, кто сказал эти слова.

А может, никто их и не говорил, может, это нашептали деревья, или устланный дымом и огнем простор, или сам

воздух, в котором метались огромные огненные деревья, освещавшие ночь, а может, они прозвучали в самих людях, и они услыхали самих себя, хоть и не говорили; ибо это был странный, дьявольски странный мир, и я, и мои друзья, и вся молодежь знаем, что много трудных для понимания вещей творилось в том мире; стало быть, могло произойти и такое чудо, что человек в самой гуще этого хаоса услышал самого себя, хотя не говорил, хотя у него были сжаты губы.

Вчитываясь в эту огромную книгу судебных протоколов, я прихожу к заключению, что суду важно было подтвердить добрую репутацию А. В., доказать, что А. В. был безупречен, благороден, а ведь речь-то идет не просто о добром имени, не о репутации на сегодняшний день, а о репутации на бесконечные времена, об истории.

Так думаю я, вглядываясь в облик отца, встающий со страниц книги процесса против Б. М. и его группы.

Ты, отец, был таким, что ко всему подходил с меркой истории; между тобой, отец, и Б. М. та разница, что он, как бы сказать, служил «репутации сегодняшнего дня», а в тебе, отец, звучали крики, причитания, молитвы многих поколений, долгой истории.

Б. М., ведя тебя на казнь и шагая рядом с тобой к деревьям-виселицам, говорил тебе — ты, А. В., ты, А. В., зачем ты забрал не свою землю?

Ты мог бы ему ответить, если бы это было время для дискуссий — но какая дискуссия может быть между палачом и жертвой; разве только такая, когда жертва умоляет о пуле, а палач не дает себя уговорить, потому что у него есть приказ повесить и оставить жертву на веревке для устрашения других,— ты мог бы ему ответить, если бы были условия для дискуссии, словами, которые ты говорил своей жене и матери,— у кого было много, должно быть мало, кто жил в гнилой халупе, должен перебраться во дворец, а тот, из дворца, в гнилую халупу, и не должно быть уравнивания, ибо уравнивание помешало бы искуплению, это и по-человечески, и по-божески.

Из материалов книги, и особенно из той ее части, где записаны ответы старого деревенского учителя, вызванного в суд для дачи показаний, следует, что отец не дал себя обмануть наивным благородным равенством и твердо стоял на требовании искупления, ибо для него важна была не репутация на сегодняшний день, на какой бы то ни было «сегодняшний день», для него была важна справедливость, а нет справедливости без обратного неравенства, без искупления.

Ибо — как красиво говорил тот учитель — не умолкли

еще стенания поколений, еще доносится крик из далекого прошлого, и, пока этот крик доносится, должно быть покаяние тех, кто виновен в этих стенаниях и криках.

Б. М., ведя тебя, отец, на казнь, перечисляя твои вины и отмеряя их ударами хлыста, сказал в заключение перечня — это тебе, А. В., за изнасилование ясновельможной паненки.

Ты, отвечая на его последние слова — будь то возможно,— постарался бы установить в его душе как бы весы и на одну чашу поместил бы барахтанье в грязи двух конюхов с ясновельможной паненкой, их купание в вине, а потом тот безумный праздник, который троица устроила в нестерпимом свете величественного огненного дерева, и смерть ясновельможной паненки с венком из сорных трав на голове; а на другую чашу весов поместил бы плату, какую старые конюхи заплатили за эти игры и за свою вековую, передаваемую из поколения в поколение, прикованность к маленькому клочку мира, где царила вонь конского навоза, и еще прозвище, ставшее почти именем,— смердилы; и шлейф едкой вони, волочившийся за ними до самых дверей костела, и слова людей — не входите внутрь, а то ксендз унюхает и выгонит, а то, что богу не воняете, ничего не значит, станьте себе в притворе, там сквозняк; и на самый верх этой второй чаши ты поместил бы их смерть в нестерпимом свете огненного дерева, и ты мог бы тогда спросить Б. М. — что перевешивает, а он мог бы на это ответить — тут особый случай, тут равенство в смерти; а ты, отец, мог бы оказаться великодушным и сказать — ладно, Б. М., признаем, что происшествие с ясновельможной паненкой и прежде всего ее смерть были достаточным искуплением, пусть будет равенство в смерти; а в конце этого воображаемого разговора ты мог бы добавить — к чему была бы вся эта бойня, если бы те смердилы не могли выкупаться в вине вместе с ясновельможной паненкой и если бы не смогли увлечь ее танцем как равную себе; и эти слова были бы как аминь, как печать.

А может быть, они говорили бы, что ты не постыдился бы покровительствовать тому, что случилось в погребе, тому разнузданному барахтанью двух похотливых стариков с ясновельможной паненкой, пьянству той троицы и безумному празднику в нестерпимом свете величественного огненного дерева.

Думаю, суд напрасно с таким рвением старался доказать беспочвенность последних слов литании Б. М., сопровождавшихся ударами плети по ногам отца; лучше бы приложил больше стараний для доказательства, как несправедливо прозвище «курокрад»; ибо это прозвище

совсем не соответствовало его жизни и смерти, пожалуй, куда больше, чем его причастность к событиям в погребе; ибо в этом прозвище есть что-то унижающе-оскорбительное, даже если вспомнить, что тогда у ложа больного брата царило отчаяние, враг величия и достоинства, порождающий мелкие поступки, поступки-уродцы.

Поэтому суду, если уж он так был заинтересован в воссоздании благородного образа отца, следовало бы уделить этому делу больше времени и больше рвения, чтобы рядом с величественным пьедесталом смерти А. В. уж никогда не заквохтала украденная ночью курица, чтобы свернутая куриная шея говорила не о краже, а о несчастье, которое не марает пьедестала смерти.

Поэтому мне хотелось вырвать из книги те страницы, где отражено это событие; но ни на минуту не приходила мне в голову мысль убрать из книги страницы, на основании которых можно было бы заподозрить, что А. В. был причастен к событиям, происходившим в погребе.

Я задумываюсь — почему же... Опьянило ли меня то низвержение с высоты, то страшное падение мира, с которым боролся отец, и то страшное, дьявольски страшное возвышение мира, за который и боролся мой отец: возможно, я счел залитый вином грязный погреб, где столкнулись два мира, и дном, и взлетом; видимо, счел доказательством того, что наступает время искупления для мира, с которым боролся отец...

А может быть, то, что происходило в погребе, я сам уместил в полных доброты, хотя и несколько коварных, мыслях отца — пусть на краю своей гибели вознесутся эти два старых смердилы, вознесутся высоко, словно птицы, пусть удостоятся того, что будет значить больше, чем самое великолепное пиршество в дворцовых залах; пусть в один миг поднимутся на самую вершину, потому что времени у них мало, ибо стоят они на краю своей могилы и вот-вот улягутся в нее.

Так и случилось, ибо вскоре они сошли в могилу, веселые и обиженные на грубого бога войны, не позволившего им подольше побыть на вершине.

Эти мысли приходят мне в голову, когда я вчитываюсь в показания старого деревенского учителя, который хорошо знал отца и рассказал о нем много интересных и волнующих меня до глубины души вещей и так нарисовал его облик, что я мог увидеть не только его, но и время, в которое он жил.

Суд, однако, продвигался по фактам, словно по удобному мосту, перекинутому над бурлящей, гудящей рекой причин, неуловимых, как глубоководные рыбы, не пойманных ни в какие сети унижения и отчаяния.

Я могу сказать это, лишь прочитав показания старого учителя, и радуюсь и благодарен старому человеку за то, что он пролил свет на это дело.

Что же касается того добродушно-болтливого свидетеля, который рассказывал о похоронах конюхов и ясновельможной паненки, то суд закидал его столь же подробными вопросами, как и безрукого мальчика.

Судья (свидетелю). Пожалуйста, расскажите, что происходило после того, как прекратилась стрельба?

Свидетель. Мы вышли из убежищ и сразу же наткнулись на мальчика с оторванной рукой, а потом на убитых смердил и убитую ясновельможную паненку, мы ее сразу узнали.

Судья (свидетелю). Как выглядели убитые?

Свидетель. Необычный вид, необычный вид, высокий суд, они лежали в крови, она была нагая, на голове у нее венок, похожа была на упавшую статую, лицо спокойное, даже как бы немного улыбающееся, как бы счастливое, один смердила лежал головой к ней, рядом, а голова второго была на ее груди.

Судья (свидетелю). Где были следы ран?

Свидетель. Ясновельможной паненке пуля попала в голову, венок был в крови; смердила, который был в рубашке, получил пулю в грудь, а тот, в куртке, в живот.

Судья (свидетелю). Что вы сделали, когда обнаружили их?

Свидетель. Кто-то из женщин снял фартук и прикрыл ясновельможную паненку, а потом мы перетащили их во дворец, от которого остались одни стены, чтобы не лежали на виду, мы спешили, потому что боялись, не начнется ли вдруг опять перестрелка; но перестрелка не начиналась, тогда стали думать о похоронах; первым делом надлежало обмыть лицо ясновельможной паненке и одеть ее; живущая поблизости женщина принесла свое лучшее, воскресное платье, мы осторожненько ополоснули из ведра тело ясновельможной паненки, обмыли лицо мокрой тряпочкой, венка с головы снимать не стали; потом женщины одели ее в то воскресное платье, какое носят наши жены, когда идут в костел; смердилами занялись их семьи; жена того конюха, которому осколок снаряда попал в самую грудь, честила своего мужа, стаскивая с него пропахшую вином мокрую одежду в углу дворцового зала, где не было ни потолка, ни крыши, одни разрушенные наполовину стены, и он напоминал маленькую площадь, обнесенную высоким каменным забором; я должен еще сказать высокому суду, что когда вино и кровь смешались, то вино взяло верх над кровью, и над убитыми поднимался приятный запах; жена того конюха

наверняка обо всем догадалась и, обряжая своего мужа, натягивая на его худое, пропахшее вином тело воскресную одежду, принесенную из дома, ругала его как живого и говорила — ты негодяй, ты бездельник, сидел бы себе в халупе, был бы жив, если бы из дому не выходил, а тебе захотелось черт знает чего... несмотря на затишье, мы все же спешили с похоронами, потому что были научены: после тишины может грянуть; поэтому мы не разводили больших церемоний с гробами и похоронили их в сундуках, которыми вместо шкафов пользовалась господская прислуга; эти сундуки по виду мало отличались от гробов, они были даже просторнее, в каждом могла уместиться вся троица, сундуков было вдоволь, и каждый получил свой, отдельный; ясновельможную паненку мы хотели похоронить в семейном склепе, только это не так-то просто, никак не могли сдвинуть и приподнять кованную медью тяжелую плиту, прикрывающую склеп, мы попытались, но ничего не вышло, если бы была лебедка, но ее не было; к тому же приходилось спешить с похоронами; и похороны удались, даже ксендз забежал и покропил сундуки святой водой; тут я должен сказать высокому суду,— разошелся добродушно-словоохотливый свидетель,— что в первый и, пожалуй, последний раз в жизни видел ксендза с кропилом на бегу; ксендз тоже не доверял тишине и рысью примчался из прихода на кладбище и с кладбища обратно в приход; мы похоронили их рядом, под кустом сирени, ясновельможную паненку посередке, а конюхов по бокам; и так они лежат до сих пор; семья ясновельможной паненки не захотела переносить ее в каменный склеп; ее отец и мать говорят — пусть покоится с народом; они всегда это повторяют, приезжая в день поминовения усопших; тогда у могилы встречаются семьи конюхов и ясновельможной паненки, они здороваются, беседуют, и родственники ясновельможной паненки идут обедать в семьи смердил.

Лодка только что отчалила от берега; отец, та река могла быть для тебя надеждой, если бы не чрезвычайные меры предосторожности, предпринятые карательной группой: петля на шее, руки связаны и в довершение дуло револьвера, постукивающее по затылку.

Если бы руки были свободны, то не так уж страшно, что петля, этот серый нимб, терлась о шею, что дуло револьвера стучало по затылку; возможно, молниеносным движением тебе удалось бы скинуть «нимб» и выбить револьвер, а может быть, и отшвырнуть того, кто держал револьвер, и броситься в воду.

Ты хорошо знал, отец, эту большую жестокую реку и

ласковую реку, тебе были известны тайны ее глубин, ее омуты, обманчивые течения, поверхностные и глубинные; не раз убивала людей эта наша река, так пусть бы она, отец, хоть раз дала человеку спасение, и пусть бы этим человеком был ты.

Ведь, если бы тебе удалось прыгнуть в реку, ты мог бы какое-то время продержаться под водой и, может, попался бы тебе — обычно жестокий, а на сей раз ласковый — водоворот, который помог бы тебе опуститься на дно и на дне изменить направление и выплыть, глотнуть воздуха в другом месте и опять нырнуть.

Пусть бы пули лупили по воде, вода для пуль словно прочная стена, они стреляли бы вслепую, ведь ты бы был невидим, и они могли бы не попасть в тебя, не видя тебя, вполне могли бы не попасть, окажись ты под водой, или промазать, если бы ты вдруг выплыл.

Река наверняка уговаривала тебя и была твоей наперсницей в мгновения, когда ты еще мог подумать о собственной жизни, когда искорки надежды закружились над твоей головой, и ты увидел их, словно проблеск во мраке, ибо твоя жизнь в те минуты, когда лодка отчалила от берега, была уже искрой, оставшейся от пожара твоих дней.

Ты, отец, тогда, когда лодка отчалила от берега и еще не прозвучал приказ Б. М.— молись, А. В.,— ты наверняка вслушивался в зов реки, сулящей жизнь, и это был как бы твой сговор с рекой.

На ее зов тебе пришлось ответить молчанием, а это значило — у меня крепко связаны руки, и веревка на шее, и дуло у затылка.

Но зачем тешусь я той безжалостной для самого себя надеждой отца, которая погасла и сменилась иной надеждой, более трудной, более тяжелой, тяжелее, чем глыба, надеждой жизни в сыне.

Эта смена надежд наступила наверняка в тот момент, когда Б. М. распорядился — молись, А. В., немного времени осталось,— и ты, подняв голову, произнес ту первую, одну-единственную услышанную другими фразу той кощунственной, по мнению Б. М., молитвы — сын мой, иже еси в люльке, тебе молюсь я...

Об этой молитве больше всего мог бы сказать тот обвиняемый, который шел впереди и тянул отца на веревке; ведь в лодке он повернулся и оказался лицом к лицу с отцом.

Судья (обвиняемому). Как вел себя А. В. после того, как произнес первую фразу своей молитвы?

Обвиняемый. Он поднял голову и шевелил губами.

Судья (обвиняемому). Он шептал что-нибудь?

Обвиняемый. Вроде шептал.

Судья (обвиняемому). Можно было что-нибудь понять?

Обвиняемый. Нет, нельзя было.

Этот шепот отца и есть сама сущность, само ядро завещания.

Что завещал он младенцу, когда в сопровождении карательной группы сел в лодку и когда убедился, что напрасно манит его река, что предприняты чрезвычайные меры предосторожности?

Судья (к Б. М.). Вы что, опасались, что А. В. может попытаться спастись и прыгнет в воду?

Б. М. Да, мы учитывали это.

Судья (к Б. М.). Еще на берегу?

Б. М. Да, еще на берегу.

Я снова пробегаю по тем страницам протоколов, где идет речь о шепоте отца после первых слов той его молитвы.

Судья не сдавался и упорно и настойчиво осаждал Б. М. и остальных членов карательной группы и много раз возвращал их к тому моменту, когда они переплывали реку, и заставлял их вслушиваться в шепот отца; но они ничего не уловили в этом шепоте, ни слова, ни полслова; зато начало молитвы, как бы будившее младенца, спящего в люльке, как бы призывающее его, но уже не как младенца, а как взрослого человека, было повторено отцом несколько раз и так громко, что Б. М. вынужден был стукнуть его дулом револьвера по затылку и сказать — замолчи, А. В., богохульствуешь, да еще в полный голос.

Судья (к Б. М.). Замолчал ли А. В. после этих слов?

Б. М. Насколько помню, не замолчал.

Судья (к Б. М.). Он все повторял начало своей молитвы?

Б. М. Не повторял, а только что-то шептал.

Судья (к Б. М.). И вы, обвиняемый, никак не могли разобрать его шепот?

Б. М. Не мог, он шептал тихо и невнятно.

Сын мой, иже еси в люльке, тебе молюсь я... Каково же было продолжение, каким оно могло быть...

...тебе молюсь я, чтобы...

Его тащат на веревке, для большего унижения — на веревке, тащат, как скотину; ведь веревка на шее от порога до дерева-виселицы была накинута не только из осторожности; ведь у него были связаны руки, и достаточно было вести его в центре карательной группы; его хотели унизить; тащить, как собаку, и, как собаку, повесить для устрашения других — так наверняка звучал приказ карательной группе.

Но это не обворовывает смерть, не лишает ее величия, это делает ее более трудной, стало быть, придает ей святости, делает ее мощной и животворной; а что касается меня, то она очень облегчает мне жизнь; я учился в политехническом, перекинулся на биологию, потом бросил биологию, теперь учусь на социолога, всюду меня принимают охотно.

Его волокут на веревке на смерть, его бьют по пути, над ним издеваются; о чем может просить человек, ведомый на смерть и избиваемый, о чем может молиться своему сыну... о жизни в сыне, чтобы...

...и молюсь тебе, и прошу тебя...

Его больно стегают плеткой, как скотину, чтобы шел быстрее и оставил позади себя плодородную равнину, которую он дал людям; тот, кто идет впереди и держит конец веревки, время от времени оборачивается и хлещет его веревкой прямо через плечо.

...молюсь тебе и прошу тебя... за меня...

Они сорвали его с крыльца, не дали проститься с родителями, женой и ребенком, сказали, что это ни к чему.

...и прошу тебя, сын, отомсти...

Он мог так сказать, а может, и не сказал, но я имею право вложить ему в уста это завещание; это мое право и долг.

Эта мысль осенила меня неожиданно во время увеселительной прогулки, когда я беззаботно валялся на зеленой траве на краю городского парка.

Я иду по следу Б. М., настигаю его где-то в тихом доме...

Снова вечеринка в кругу друзей, мы пьем, кто-то, подзаведенный бесчисленными «да здравствует», выкрикивает — да здравствует смерть товарища А. В.!

Это совсем не так уж глупо и дико, ведь она кормит меня и одевает...

Я иду по следу Б. М., пока что в воображении, я вижу его спину, он ускоряет шаг, я тоже, через мгновение я спереди обойду его и спрошу — простите, я имею честь разговаривать с гражданином Б. М.?

Судья (к Б. М.). Что еще происходило на реке?

Б. М. Были только эти начальные слова его молитвы, потом я сказал — что за молитву выдумал ты, не богохульствуй, молись богу, А. В.

Судья (к Б. М.). Были ли при этом побои?

Б. М. Нет.

Прокурор (второму обвиняемому). Были побои?

Второй обвиняемый. Побоев не было, были только удары дулом револьвера по затылку А. В.

Судья (к Б. М.). Таким образом вы доплыли до другого берега?

Б. М. Да.

Судья (к Б. М.). Вылезли из лодки, что было дальше?

Б. М. Мы построились в том же порядке, что и по пути к реке.

Прокурор (к Б. М.). А перед тем, как построиться?

Б. М. (молчит).

Судья (к Б М.). Расскажите суду, что было перед тем, как вы построились и двинулись дальше.

Б. М. (молчит).

Прокурор (второму обвиняемому). Что происходило до того, как вы построились?

Второй обвиняемый. Били.

На другом берегу, отец, тебя били сильнее и дольше, чем по пути к реке.

В воображении я иду по следу Б. М., я нашел его, это пожилой человек, я зашел спереди и говорю — простите, я имею честь разговаривать с гражданином Б. М.? А он мне отвечает — да.

Что я должен теперь делать...

На самом деле было так: уже в книге протоколов я нашел данные о месте рождения Б. М. и месте его жительства до ареста.

Я шел узкой дорогой, пересекающей незнакомые мне поля, я подходил к незнакомой мне деревне, видел перед собой зеленую линию садов, сквозь деревья просвечивали серые и красные дома; потом я вышел на широкую, вымощенную камнем улицу, первого же встречного я спросил о Б. М., он ответил мне, что в этой деревне его нет, что он уехал на западные земли, но что более подробно я могу узнать о нем у его сестры, живущей в предпоследнем доме.

Прокурор (к Б. М.). Почему вы, обвиняемый, не признаетесь, ведь на другом берегу реки вы первым начали бить А. В. и призывали к тому же остальных?

Б. М. (молчит).

Прокурор (к Б. М.). Почему на другом берегу началось избиение?

Б. М. (молчит).

Судья (к Б. М.). Ведь до тех деревьев было недалеко...

Б. М. (молчит).

Судья (к Б. М.). Может быть, А. В. пытался вырваться или, может быть, что-нибудь сказал?

Б. М. О бегстве не могло быть и речи, выйдя из лодки, он ничего не говорил.

Судья (к Б. М.). Так почему же вы, обвиняемый, стали

хлестать его плеткой не только по ногам, но и по спине?

Б. М. (молчит).

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, постарайтесь припомнить — почему.

Б. М. Я вспомнил К. З.

Судья (к Б. М.). Кто это — К. З.?

Б. М. Был такой.

Судья (к Б. М.). Что значит «был»?

Б. М. Был, потому что теперь его нет в живых, он был моим другом, его избили люди А. В., и он умер.

Судья (к Б. М.). Откуда обвиняемый знает, что это были люди А. В.?

Б. М. А кто же еще.

Понятно, что К. З. — подходящий случай для адвоката; поэтому он сразу же вслед за прокурором и судьей подключается к допросу.

Адвокат (к Б. М.). Расскажите высокому суду, что связывало вас, обвиняемый, с К. З.

Б. М. Он был моим близким другом.

Адвокат (к Б. М.). Как подействовала на вас смерть К. З.?

Б. М. Я был в горе, я был потрясен, я не знал, что со мной происходит.

Адвокат (к Б. М.). Долго продолжалось у вас это состояние?

Б. М. Долго.

Я понимаю линию защиты, она для меня ясна: адвокат хочет квалифицировать действия Б. М. и его группы как оправданную месть, совершенную в порыве большого горя по утраченному другу, когда возможность трезвой оценки поступков исключается.

Адвокат неутомимо старался привлечь внимание судьи и прокурора к избиению К. З., повлиять на суд, чтобы рядом с избиением и смертью А. В. оказались избиение и смерть К. З.

Адвокат вел к тому, чтобы поставить в один ряд стонущего от побоев А. В. и стонущего от побоев К. З., грызущего от боли землю А. В. и грызущего от боли землю К. З., умоляющего о пуле А. В. и умоляющего о пуле К. З., смерть А. В. и смерть К. З.

На другом берегу реки карательная группа истязает А. В.

Б. М. стегает отца плеткой, тот, кто шел впереди, хлещет его веревкой, остальные бьют толстыми ивовыми прутьями.

Адвокат (к Б. М.). Обвиняемый, вы утверждаете, что К. З. был избит и умер от побоев?

Б. М. Да.

Адвокат, таким образом, ставит на одну доску истязание К. З. с истязанием А. В. и первое подсовывает как причину второго.

Где-то люди, которые так же, как и А. В., считали, что имеют право на эту огромную землю без межей, истязали К. З., били его, может быть, веревками, палками и чем попало...

А. В. падает под ударами тех, кто запрещает вступить на эту огромную землю без межей; из показаний свидетелей явствует, что на другом берегу отец зашатался и упал, но избиение продолжалось.

Где-то раньше К. З. падал под ударами, но побои не прекратились; А. В. грызет от боли землю, К. З. грыз от боли землю; рот А. В. полон земли, рот К. З. был полон земли; А. В. выплевывает землю и умоляет о пуле.

Из протоколов суда следует, что отец трижды просил о пуле; первый раз, когда карательная группа вывела его в поле; второй раз, когда коснулся рукой другого берега реки.

Прикосновение к другому берегу реки, с которого он мог уже видеть свою величественную виселицу, означало для него последнее прощание с надеждой на спасение, он наверняка хотел, чтобы все кончилось скорее и не так позорно, поэтому он, как и до этого в поле, сказал — зачем вешать, нельзя ли пулю; и, надеясь, что слова его возымеют действие, выпрямился и пошел торжественным шагом, но пули не дождался, вместо нее были побои.

Третья просьба о пуле была высказана тут же на земле, она прерывалась выплевыванием грязи; третью просьбу продиктовала боль.

Короткая пауза, наступившая после этой третьей просьбы о пуле, давала ему возможность надеяться на выстрел; отец лежал лицом в мокром прибрежном песке и ждал, полный надежды, лежал, подставив затылок, и как бы уговаривал Б. М., а Б. М., словно превозмогая себя, раскачивал правой рукой, в которой держал револьвер, и в этом раскачивании, напоминающем движение маятника больших часов, рука его не раз оказывалась над головой А. В; но на курок он так и не нажал.

Где-то К. З. тоже, возможно, просил о пуле, лежа в грязи; но пули не дождался и умер.

А все из-за безмолвного и глухого простора земли без межей, на которой в тишине и, можно сказать, в блаженном неведении, так, словно ничего серьезного не происходит, каждый год созревали хлеба.

Равнина, равнина опасна, ибо когда на нее смотришь, то упиваешься простором, поражаешься ему, а когда придет час, когда кто-то скажет тебе — она твоя, и ты

сперва в это не поверишь, но в конце концов убедишься, что это не шутка, и поверишь, тогда ты идешь по краю этого простора, и ты уже готов ступить на этот простор, но кто-то говорит тебе — она не твоя, и тогда душа твоя двигается по границе этой земли, как по краю пропасти; а потом ты снова слышишь — она твоя, и тогда душа твоя разрывается, и ты, долгое время мучительно раскорячась, продвигаешься по краю этого простора земли без межей.

Я невольно погружаюсь в эти размышления, ибо книга судебных протоколов завладела моим воображением; и наступают мгновения, когда мысленно мне рисуется огромная «паутина», а в ней большая дырка, словно кто-то внезапно продырявил ее в этом редкотканом «материале»; и я вижу, как все «пауки» всей тьмой-тьмущей двинулись к краю этой большой дыры и как все полчище окружает ее, остановившись на краю, будто на краю глубокой и бездонной пропасти; а потом они бросаются на дыру и покрывают ее, чтобы заткать паучьей сетью.

Она не твоя — говорит тебе К. З., и за эти три слова — побои, мучения и в конце концов смерть.

Нива, нива опасна, ибо стоит забраться на плетень, и перед глазами у тебя все ее созревающие хлеба.

Воображение уносит меня, а тем временем Б. М., указывая револьвером на темнеющие под луной деревья-виселицы, приказывает отцу — вставай, А. В., ты должен дойти туда.

Каратели вдруг неожиданно услужливо и заботливо помогают ему подняться, и начинается медленное шествие к деревьям-виселицам.

Это уже последний этап на пути к смерти; когда я разделяю эту трассу на этапы, то первым считаю отрезок пути от дома до границы садов, это — можно сказать — этап безмолвия, когда надо было молча (отцу запретили говорить) проскальзывать между постройками и деревьями.

Вторым этапом был путь через поля, отцу позволено было говорить, и там он, подчиняясь порыву, просил даровать ему жизнь, хотя таким образом он давал некоторое удовлетворение Б. М. и остальным участникам карательной группы, возвеличивая их до хозяев его жизни и смерти; но когда Б. М. в своей долгой проповеди категорически заявил, что просить уже поздно, отец, желая избежать позорной смерти, умолял о пуле; стало быть, путь через поля можно назвать дорогой двух просьб.

Дорогой молчания можно назвать тропу, пересека-

ющую прибрежные заросли, на этом отрезке пути не разрешалось говорить ни А. В., ни кому бы то ни было из карателей, поскольку речь шла о соблюдении мер предосторожности ввиду возможной засады.

Потом был водный путь, переправа через реку; это был путь надежды, родившейся при мысли о бегстве, и путь утраты надежды, и одновременно путь молитвы к сыну.

Отрезок пути за рекой можно назвать дорогой невыслушанных просьб о пуле.

Карательная группа, ведущая отца на казнь, шла прямиком к деревьям-виселицам, это было шествие спокойное, избитый отец не мог идти быстро, это был как бы торжественный марш, он совершался в молчании, все каратели были серьезны; у них пропала охота издеваться, умствовать, поучать А. В.

Его уже не били, даже Б. М. не хлестал плеткой по ногам; то, что должно было свершиться через неполный час, словно возвысило, облагородило их; безропотно приноравливались они к замедленной поступи отца, они отказались уже от тех двух способов, ускоряющих его шаг, идущий впереди уже не бьет его концом веревки, а сам командир не пускает в ход плетку.

Можно сказать, что на этом последнем отрезке пути темп ходьбы определяется уже не окриками, не веревкой, не плеткой, не неожиданной резкой болью, а свободной волей отца; они как бы поменялись ролями, отец стал командиром, и всю карательную группу во главе с ее главарем он принудил к повиновению.

А причиной было то, чему предстояло свершиться без малого через час.

Это еще не произошло, но уже как бы свершилось, ибо видение, возникшее перед глазами карателей, дошло до их сознания и заставило их подчиниться воле отца.

Повешение произойдет без малого через час, а их уже коснулась смерть, уже началось ее владычество, они вели его еще живого, но уже как бы мертвого, а мертвому все можно.

На этом этапе шествия появилось великодушие: когда отец вдруг опять повторил уже известное начало своей странной молитвы и сказал — сын мой, иже еси в люльке, тебе молюсь я, Б. М. не одернул его и не выпалил свое — А. В., что за молитву ты выдумал, молись богу, А. В.

Не только не выпалил, но даже подошел к отцу и ослабил веревку на шее, словно хотел помочь в молитве сделать так, чтобы слова свободнее проходили через горло.

Где-то К. З. умирал — возможно, с бинтами на ранах, наложенными заботливой рукой тех, кто избил его.

Судья (старому учителю). Свидетель, вы утверждаете, что иногда кое-кто забирался на плетень или на дерево, чтобы охватить взглядом весь простор господских полей, на которых дозревали хлеба.

Старый учитель. Случалось, что А. В. подбивал на это.

Судья (старому учителю). Как подбивал?

Старый учитель. Сам забирался на плетень, стоял на нем, держась за ветки деревьев, и смотрел вдаль; а когда кто-нибудь проходил мимо, говорил — залезь сюда и увидишь всю равнину; иногда несколько взрослых мужчин стояли на плетне или сидели на дереве и смотрели вдаль.

Судья (старому учителю). Что же, это была вроде бы игра?

Старый учитель. Как бы детская игра, как бы...

Судья (старому учителю). Говорилось что-нибудь при этом?

Старый учитель. Достаточно было только смотреть, а смотреть было на что.

Нива, нива опасна, достаточно влезть на плетень, и всю ее охватишь взглядом.

Если даже по наивности душевной смерть отца принять как месть за смерть К. З., то третьим звеном в цепи мести должен стать я, и я должен пойти по следу Б. М.; это прежде всего проистекает из завещания отца, которое я домысливаю.

...прошу тебя, отомсти за меня — эти слова приходят мне в первую очередь.

Я иду по следу Б. М.; после тюрьмы он совсем недолго жил в родном доме; это следует из слов его сестры.

Сухая женщина средних лет с выступающими скулами стояла посреди двора и внимательно смотрела на меня, а потом вместо ответа спросила — а зачем вам знать, где живет Б. М., вы что, знакомы с ним?

Я ответил — знаю, тогда она — вы молоды, а он уже старик.

Я повторил вопрос — не могли бы вы мне сказать, где теперь живет Б. М.?

Она ответила уклончиво — не знаю, где-то на западных землях.

— В каком городе?

— Где-то на западных землях.

— Как это, вы сестра — и не знаете, где живет брат?

— Не знаю.

Она вошла в низенький белый дом и захлопнула передо мной дверь.

Местные власти, к которым я направился после этого и сказал, что ищу Б. М., поскольку меня, как социолога, интересуют судьбы переселенцев, сообщили лишь название городишка, в котором он теперь живет.

Я поеду в тот городок, я должен поехать, я еще не знаю, как будет выглядеть моя месть, но я поеду в тот городок и буду искать там Б. М., я пойду по его следу.

Убить его... Убить человека... Как это делается... Мы знаем, как убивают людей, из книг, газет, из рассказов стариков, прошедших большую, страшную, охватившую весь мир войну, но ведь это только слова.

Что же касается практики, то мы, молодые, в основной массе (я не говорю об исключениях, или — если сказать по-научному — спорадических случаях) можем иметь дело лишь с животными, поскольку не прошли своей большой, страшной, охватившей весь мир войны.

Можно, например, помочь родственникам в деревне забить свинью или теленка, а можно даже, набравшись смелости, попросить родственника — дай топор и нож, я попробую; и родственник согласится, не откажет, чего бы ему отказывать.

Можно, скажем, отправиться на бойню и посмотреть, как там убивают быков, огромных быков, в которых жизни так много, ну как в сотне людей; нас взял с собой на бойню один приятель, сын работника мясокомбината; скотобойцы не могли тогда справиться с огромной жизнью в одном быке, у того в голове уже сидела специальная пуля, угодившая ему в середину лба, чуть пониже косматого клока между рогами, его уже пырнули ножом, а он все бегал и бегал, так чудовищно много было в нем жизни.

Тогда скотобойцы, подловив удачный момент, всадили в него вторую пулю и еще пырнули ножом, а он все прогуливался по бойне неторопливым, полным достоинства шагом и спокойно, мудро смотрел на мир несколько потухшими глазами.

Когда тот бык медленно и достойно шел по бойне, скотобойцы легко могли всадить ему еще одну пулю и еще раз полоснуть ножом, и они это сделали, попросту вынуждены были сделать.

Но и после этого бык не свалился, а только остановился и все стоял и смотрел на мир, вернее, на бойню, еще более мудрым взглядом, будто ему не было жаль той огромной жизни, заключенной в нем.

Скотобойцы уже не всаживали в него новой пули и не пускали в ход нож, они окружили его, стояли в его

теплой, дымящейся крови и ждали, когда он упадет.

Это и есть сущность профессии скотобойца — ждать момента падения.

Скотобойцы — как я сумел заметить — любят эти минуты; они все собрались поближе к голове быка, словно хотели увидеть себя в его глазах, увидеть себя в этих коричневых выпуклых зеркальцах; они уже не боялись его твердых рогов и его тяжелых ног; они подошли ближе, и мы с ними, мы смотрели в выпуклые коричневые глаза быка, видели себя как бы в глубине его огромного тела, видели себя, уродливых, вспухших, безобразных, в выпуклостях этих зеркалец — и все же смотрели в его глаза с любопытством, с любопытством присматривались к своим раздутым карикатурам.

Мне стукнуло двадцать семь лет, и мне не чуждо слово «месть», не только слово, но и переживания, с ним связанные.

Я мог отомстить, например, так: по окончании учебы поселиться в том городке на западных землях и каждый день смотреть на Б. М., который знал бы, что на него смотрит сын А. В.

Я не знаю еще, какой будет моя месть, у меня их большой выбор.

Великодушие, помилование тоже может быть как бы местью, да и не «как бы», а действительно местью, местью изощренной, утонченной и очень болезненной. «Он может меня убить, — думал бы Б. М., — у него есть моральное право сделать это, но он великодушен, он дарует мне жизнь, он великодушно дарит мне мою дальнейшую жизнь, моя жизнь зависит от него, с этой минуты я обязан ему каждым прожитым днем, моя зависимость от него — это его месть; как тяжело жить с мыслью, что я полностью принадлежу ему, что я его собственность, как бы его раб; как жалка такая жизнь, я предпочту смерть такой жизни...»

Способен ли Б. М. так думать и так переживать...

Возможности выбора огромны, я могу, например, при каждой встрече с Б. М. говорить ему довольно громко — как поживаете, убийца моего отца...

Он мог бы мне на это ответить — прошу вас, оставьте меня в покое; или — за это я уже понес наказание; или мог бы просто промолчать; но, думаю, нелегко бы ему жилось с вечным напоминанием; он приходил бы в отчаяние при мысли, что вновь услышит это от меня; он мог бы даже помешаться от этого, и напоминание для него стало бы мукой горшей, чем смерть; но подходящий ли он материал для такой муки...

А что, если на мои слова — как поживаете, убийца

моего отца — он скажет — а как поживают убийцы К. З.; какой будет тогда моя роль...

Естественно, я стану на сторону правосудия и отвечу — то, чего хотел отец, было справедливо, а то, чего хотел К. З., было несправедливо.

А если я его этим не собью с толку и он ответит мне — боль одинакова, и смерть одинакова, смерть — владычица всего, и все подвластно ей: справедливость, несправедливость, земля, все поля...

Я на это скажу — это отговорка, уважаемый убийца.

А он мне ответит — стон подобен стону, как два одинаковых скрипичных тона.

Что будет, если я позволю втянуть себя в эту нечеловеческую область философии и оторвусь от земли, от поля моего отца, деда и всех предыдущих поколений, что будет, если я совсем выкину из себя поле...

Я знаю, что́ случилось бы, выкинь я из себя, следуя советам разных философов, отцовское наследие; тогда философы, специалисты по так называемым высшим истинам, похлопывали бы меня по плечу и говорили — ты уже теперь наш, и хвалились бы перед другими — он уже наш.

Но я не в состоянии был бы понять ни отца, ни мать, ни дедов, ни всех наших предков и не умел бы читать в сердцах кладбищ и учиться у могил, и меня не волновали бы умершие мечты; тогда отец показался бы мне смешным человечком, несерьезным воробышком, сидящим на плетне или на ветке дерева и смотрящим на огромную равнину, на которой дозревают хлеба; а равнина, если бы я позволил сбить себя с толку тем философам, была бы для меня только названием, а не опытом моего отца и моим собственным.

Так расшифровываю я шепот отца, его завещание, переданное невнятным шепотом, одним движением губ, а по существу — криком.

Месть — это лишь одна часть завещания, а земля широкая, плодородная нива без межей — другая.

Она ваша — сказал А. В. соседям, за это его тащили на веревке и повесили.

Я учусь у старого времени и стараюсь понять его, и все же оно представляется мне странным; у полей я тоже учусь, у матери, но больше всего у бабушки, и я уже многое знаю о поле и могу сказать, что оно уже во мне; бабушке удалось вложить землю мне в душу, она сумела попасть в меня стрелой, а ты, отец, вогнал эту стрелу еще глубже.

Я знаю, отец, тебя настолько, что могу представить тебя живым сегодня; ты был бы озабочен судьбой этой

нивы и убеждал бы тех, кто уезжает в город,— такая ровная, как стол, земля, а вы уезжаете, такая плодородная земля, а вы от нее бежите.

Старого Ф. Н. уже нет в живых, отец, он умер недавно, этой весной, ну знаешь, тот, который... как же ты можешь не знать, ведь он так помог тебе; разве удалось бы тебе уговорить людей ступить на простор без межей, если бы не старый Ф. Н., я говорю — старый, а тогда ведь он был в расцвете сил.

Он сразу же вслед за тобой, вторым, ступил с кольями под мышкой на эту землю, и вы стали отмерять поля себе и людям; а перед этим он сказал — не боюсь; и еще раз повторил — не боюсь; и еще раз, потому что боялся; и поэтому он нападал на свой страх, забрасывал свой страх словами; словами «не боюсь, не боюсь» убивал его в себе.

Я могу говорить так, ибо знаю от бабушки, как было с этим «не боюсь» в том вашем странном, очень странном мире.

При вступлении на эту большую землю заклинание «не боюсь» не отгоняло страха; рядом со словами «не боюсь», произносимыми громко, со смехом, с высоко поднятой ногой, приготовившейся совершить большой шаг,— рядом с этими словами был страх; ибо в том, кто остановился на краю этой большой земли и готов был вступить на нее, кто уже отбился от своей межи и вступил на эту землю, его накопилось много; его собственный страх, страх его отца, деда и всех прежних поколений; ибо в нем был страх целого рода, но один он отважился сказать — не боюсь; а род вовсе не спешил помочь ему; наоборот, когда тот, кто стоял на краю этой большой земли, готовился вступить на нее, прислушиваясь к могилам, то из могил доносился только вопль — побойся бога, сын, внук, правнук, и этой огромной земли бойся.

Бабушка рассказывала иными словами, а я представляю это по-своему — и добавляю еще, что тот, кто отбился от своей межи и вступил на эту огромную землю, тот обманывал, хитрил, облекал в мужество свой страх, он как бы хотел предстать перед своим страхом в пышном одеянии мужества; он как бы хотел этим одеянием устрашить собственный страх.

Он так страшно боялся и тем не менее вступил на землю; почему вступил один, второй. третий, почему вступили многие?

Я жду. что́ на это ответит мне бабушка, ведь я опять заскочил домой, мы сидим в кухне за столом, придвинутым к окну. за окном деревья. за ними маленький пруд;

уже вечер, мать готовит наши бессмертные клецки в молоке, эту королеву блюд; она нарезала крутое тесто на маленькие кружочки и уже держит лоток с клецками и всматривается в большой чугунок с молоком, стоящий на раскаленной плите; она ждет момента, когда молоко начнет подниматься, чтобы вовремя забросить в него клецки.

Я смотрю на мать и знаю, что в этом ожидании скрыта любовь к сыну, который обожает это блюдо.

А теперь я смотрю на бабушку; наступили молчаливые мгновения после долгих воспоминаний о том времени, когда по примеру отца Ф. Н. и другие соседи вступили на большую плодородную землю.

Почему же вступили, хотя так страшно боялись?

Бабушка пока не отвечает, ее лицо сосредоточилось, заострилось, мягкие, свободно лежащие морщины напряглись, морщина к морщине, щеки словно порублены мечом, она ищет ответа и не может его найти; она прищурила глаза, как бы желая заглянуть далеко в глубь времени; потом ее лицо вдруг расслабляется, морщины ложатся спокойно.

Столько работы на этом лице, и столько работы за этим лицом, а ответ простой — вступили, потому что очень хотели этой земли; она сказала — хотели, а думала наверняка — жаждали.

Жаждать — вот к чему все сводится, из чего все проистекает; это та подземная река, которая течет и бурлит под страхом и затем пробивает его кору; жаждать — вот слово, вершина слов, полководец слов и действий; это чувство проявляется, когда вступают на большую, плодородную землю, хотя в уши бьет предостережение — побойся бога, сын, внук, правнук, и этой огромной земли бойся; погибнешь попусту, погибнешь как собака, пуля или петля ждут тебя, если вступишь; жаждать — из того все рождается и все гибнет, все справедливое и все несправедливое, все, что находится между колыбелью и гробом.

Мать, видимо, задумалась, молоко чуть не убежало из чугунка, и она едва успела бросить в него первую горсть клецок, успокоивших молоко; потом уж готовка была недолгой, и вот на столе появились тарелки, наполненные этим роскошным блюдом.

Итак, Ф. Н. уже нет в живых, отец; а знаешь, как он умер, я расскажу тебе об этом; утром жаркого дня он отправился окапывать картошку, остановился с мотыгой на краю большого поля и сказал — навались; он наверняка сказал так, потому что говорил это, принимаясь за любое дело; он словно хотел навалиться с этим словом

на работу и испугать ее, пусть работа напугается и подчинится ему.

Навалиться — это действенное оружие стариков, тогда по-другому ходят коса, мотыга и грабли, когда прошепчешь — навались; видишь, отец, как приходится вооружаться старикам, чтобы не причинить зла земле.

Мать рассказывала мне, что за частое повторение этого слова старый Ф. Н. получил прозвище Навались.

И вот Навались стоял на краю поля и сказал — навались; а потом вбил мотыгу в землю и начал сечь осот, лебеду и прочие сорняки, поле просветлело, между рядами картошки показалась чистая, рыхлая земля.

Люди, видевшие, как он начал окапывать, сказали — навалился старый Ф. Н., ибо он двигался весьма энергично и наклонялся в меру, не слишком, и голова не свисала, будто шар, непрочно связанный с шеей, как бывает при сильной усталости; люди не заметили слишком малого наклона его тела, того незначительного отклонения от вертикали, что тоже свидетельствует о чрезмерной усталости и боязни наклониться пониже из-за невыносимой боли в пояснице или ослепляющего прилива крови к голове.

Твоя мать, отец, а моя бабушка, когда учила меня полю, уже в юности помогла мне это постичь.

Навались быстро продвигался вперед, но, когда он оказался в середине третьего ряда, кто-то заметил, как изменилась его поза, голова ниже склонилась к земле, что было вызвано — вещь, понятная тебе, мне, а больше всего твоей матери, а моей бабушке,— расслаблением поясницы, что в свою очередь было вызвано неожиданным давлением на спину воздуха, который превратился внезапно в глыбу свинца.

Теперь я расскажу тебе, отец, как продвигался старый Ф. Н. от середины до конца третьего ряда картошки; мы знаем это из рассказов малых, наивных детей, которые не могли объяснить некоторые факты и то, что было грустным, посчитали смешным и даже то, что произошло в конце, посчитали развлечением, специально им предназначенным спектаклем, сыгранным Навались в их честь; поэтому происходившее со старым Ф. Н. они воспринимали со смехом, весело подпрыгивая.

То, что дети видели, они рассказали потом взрослым, весело хохоча и подпрыгивая.

Они начали смеяться — как можно судить по их рассказу — в тот момент, когда Навались, притягиваемый землей и сгибаемый тяжелым свинцом воздуха, встал на колени, чтобы удержать равновесие и не боднуть поле; и, стоя на коленях, он сказал себе — навались; нет сомне-

ния, что Навались, оказавшись на коленях в третьем ряду картошки, бодро сказал — навались, ведь этого требовал момент.

Дети весело смеялись, видя, как Навались на коленях окапывает картошку и ползет на коленях вдоль третьего ряда картошки, словно набожный человек к ковчегу для святых даров; ковчег Навались сверкал тогда в конце третьего ряда картошки.

Он полз на коленях, и работы убывало, и все ближе было до конца третьего ряда.

Дети, стоявшие на меже, отделявшей картошку от пшеничного поля, снова звонко расхохотались, когда в том, что выделывал Навались, произошло что-то еще более смешное, нежели окапывание картошки на коленях; этим невероятно смешным был сам Навались, уже не коленопреклоненный, а сидящий на земле в третьем ряду картошки и окапывающий ее сидя.

Когда он сел, то наверняка опять сказал — навались, ибо момент как никогда требовал этого.

Смешное дело — сидеть и окапывать картошку, а еще смешнее передвигать зад, подтягиваясь черенком мотыги, поглубже всаживая ее в землю; дети, увидев подтягивание Навались, разразились еще более громким хохотом.

А старый Ф. Н. продвигался вперед и даже добрался до конца третьего ряда и весь этот ряд окопал; а потом лег на живот с вытянутыми вперед руками, удлиненными мотыгой.

Именно этот громкий и продолжительный детский смех и привлек внимание людей, и они пришли на поле Навались и приблизились к лежащему, которого всего облепили мухи; ведь мухи, неся караул над любой головой, над гордой, смиренной, мудрой, глупой, лучше всех живых созданий разбираются в кончинах.

Люди, а среди них был сын Навались, вернувшийся с фабрики, поспели лишь к моменту, когда оставалось только утихомирить детей да согнать мух.

Нива, нива опасна, она убивает преданных ей.

Если бы ты, отец, был жив, ты наверняка произнес бы речь на похоронах Навались.

Откуда бы ты прибыл на эти похороны? Лимузином издалека или пешком из деревни.

Не знаю, могу ли я, представляя тебя живым, усадить в лимузин, а может быть, должен представить тебя идущим пешком по дороге, построенной — как это теперь говорится — по общественному почину с помощью государства.

Я то сажаю тебя в лимузин, то высаживаю из него; ты стоишь над гробом Ф. Н. то как пан из крестьян, то как

крестьянин из крестьян.

Некоторые соседи говорят, что твоя смерть хоть и жестока, но спасла тебя от трудной жизни; некоторые даже осмеливаются говорить, что от этой смерти ты имеешь больше, чем имел бы от жизни и от смерти в глубокой старости.

Ведь твоя смерть царит, кормит твою семью и твоих друзей, которых у тебя теперь больше, чем было при жизни; ведь ты погиб в исторический момент, погиб за справедливое дело и избежал сложного моря будней.

Брались бы в расчет твои заслуги, будь ты жив? Возможно, многие обошли бы тебя в заслугах, а оставшиеся с тобой даже вспоминать не захотели бы те времена, когда ты вытряс из них страх и покорность.

Что бы ты делал со своей справедливостью в том море будней? Может быть, и твоя справедливость взбрыкнула бы? А может быть, кто-нибудь приказал бы тебе взбрыкнуть, и ты пошел бы на это.

Я пытаюсь сочинить речь, которую ты мог бы произнести над могилой Навались, будь ты жив; и помогает мне в этом то, что я знаю от матери, бабушки и твоих прежних соседей, а также то, что я уже сам пережил.

— Мы собрались здесь в горестный час и стоим над гробом человека, который с начала и до конца своей жизни оставался верен земле...

Так бы, пожалуй, ты начал, но что дальше; траурная речь должна быть возвышенной, патетической, и, когда ее произносишь, нельзя вдаваться в мелочи.

— Эта наша,— возможно, так надлежало бы продолжить первую фразу,— плодородная равнина была ему колыбелью и смертным ложем...

Затем следовало бы подпустить что-нибудь из биографии, однако моменту отвечает не все, поэтому следовало бы сказать по-современному — он был человеком борьбы...

Навались, насколько я знаю, боролся с несправедливостью, но большую часть жизни убил на борьбу с пыреем на своем небольшом клочке земли, отвоеванном у сырого овражка на краю урожайных полей; мне кажется, отец, что если уж говорить всю правду о Ф. Н., то следовало бы упомянуть, что его борьба с пыреем, которую он вел с детских лет и до зрелого возраста, была как бы его школой, именно она сформировала неуступчивую, стойкую душу Навались.

Ты, отец, прекрасно знаешь, как бывает, когда пырей вцепится в землю: пашешь поле, выдираешь пырей бороной, трясешь борону, не останавливая лошадь, потом останавливаешь лошадь, ставишь борону торчком и рука-

ми сдираешь пырей с ее зубьев — и снова боронишь, и у тебя уже столько пырея, что им можно было бы покрыть десяток крыш, а он все еще в земле, и ты не можешь смириться с этим — я знаю это от бабушки — и кричишь — чтоб он провалился, этот проклятый овраг, потому что не можешь справиться с пыреем, этой пиявкой, присосавшейся к земле; никому, отец, не удалось бороной и руками оторвать пырей от поля, а Навались удалось.

Бабушка рассказывает, что в результате пятидесяти лет борьбы с пыреем пашни Ф. Н. сверкали чистотой, блестящей чернотой, с них исчез пырей, та огромная разветвленная пиявка, дающая о себе знать невинными зелеными стебельками.

Это была великая победа Ф. Н., и ты должен отметить это в своей траурной речи.

Чего только не выделывает мое воображение; оно воскрешает отца, гроб Навались опять ставит на краю могилы, призывает отца на похороны; но откуда призывает...

В лимузине из столицы или воеводского города, а может, из деревенской избы, идущего пешком?

Какое из всех этих воображаемых воплощений мне понравилось бы больше всего? Не могу поручится, что ты не раздражал бы меня, развалившись на заднем сиденье черного лимузина или сидя на переднем, как бы братаясь с шофером; ничто так не раздражает нервы, как ясновельможный пан из крестьян; а этих ясновельможных панов из крестьян расплодилось множество; интересно, отец, как бы ты относился к ним, будь ты жив; с одной стороны, тебя, возможно, радовало бы, что они пошли в гору, а с другой — тебя злили бы их охоты, их бигосы на лоне природы и вся их чванливость.

А как бы ты отнесся ко мне, отец, будь ты в живых? Думаю, я не понравился бы тебе, и ты не раз читал бы мне проповеди; я даже могу представить, что́ бы ты говорил — когда ты наконец возьмешься за ум и перестанешь быть дармоедом, ты совсем не думаешь о будущем и живешь словно ясновельможный паныч...

И он был бы прав, ибо я живу именно как ясновельможный паныч; такие имеют все — машины, заграничные тряпки, апельсины; о таких говорят — «банановая молодежь».

«Тот, кто жил в гнилой халупе, должен жить во дворце, а тот, кто жил во дворце, должен жить в гнилой халупе» — вот твоя чистая программа, отец, основанная на законах человеческих и божеских, записанных в псалмах; это означает, что когда забирали господскую землю, то помогали людям и богу.

Ездить в лимузине и жить во дворце и при этом остаться крестьянином — вот что было важным для тебя, отец, но именно это и есть самое трудное; тебе, может быть, удалось бы это, и ты не раздражал бы меня, приехав в лимузине на похороны Навались, но я предпочел бы видеть тебя идущим пешком по деревенской дороге, построенной по общественному почину.

— Все мы помним, как Ф. Н. тяжелым, многолетним трудом возвращал плодородие своему маленькому полю...

Без этих слов траурная речь не может обойтись.

— Одним из первых ступил он на господскую землю, чтобы поделить ее и дать трудящимся крестьянам...

Этот момент в траурной речи необходим; а вот то, что Навались — как рассказывала мне мать — ступил на господскую землю, тихо напевая, вернее, мурлыкая веселую песенку, следует опустить; ибо не бойся он, то не мурлыкал бы веселую песенку; он так упорно мурлыкал, что тебе стало жаль его, и ты сказал — не бойся; а он возмутился и ответил — я не боюсь, что это тебе взбрело в голову; а ты ему — так чего же ты поешь; тогда он — пою себе, потому что не боюсь; ты рассмеялся, а он стал повторять — не боюсь, не боюсь; а потом подпрыгнул несколько раз, словно молодой козленок, и сказал — видишь, я не боюсь; а потом сделал небольшую пробежку и остановился рядом с тобой с теми же словами — видишь, не боюсь; а потом сел на землю, а потом лег и, лежа, убеждал тебя — видишь, не боюсь; и тогда ты сказал спокойно — вставай, вставай и пой себе, я же знаю, что не боишься.

Но этого включать в траурную речь не надо.

— Смерть Ф. Н. является лучшим доказательством его силы воли, благородства, любви и верности земле, труду и родине; он погиб на посту, как солдат, пусть же земля, такая тяжелая в жизни, будет ему пухом после смерти.

Так, отец, ты должен закончить траурную речь, родившуюся в моем воображении, речь, произносимую на воображаемых похоронах над гробом Навались.

Если бы тебе захотелось поговорить о деревне, то ты мог бы сказать, повторяя за стариками, что в ней теперь меньше деревьев и что зелень уже не так бушует и не прикрывает домов, потому что их уже невозможно прикрыть, они большие, их разноцветные стены и крыши проглядывают сквозь зелень деревьев; в твои юные годы, если посмотреть на нашу деревню со стороны, хотя бы с разбитой дороги, ведущей в город, домов не было видно, только деревья; и если кто не знал, что под этими

клубами зелени — как говорил старый учитель,— под этими огромными зелеными перинами скрыты халупы, так мог бы подумать, что их вообще там нет.

А сейчас, когда смотришь на деревню с дороги, зелень кажется дырявым решетом, сквозь которое просматриваются разноцветные дома, и уж верхушки деревьев не всегда теперь выше труб, некоторые дома высокие и с балконами, чтобы все было как в городе. С этих балконов, собственно, не на что смотреть, разве что на мотоциклы, машины и телеги на дороге да на коров и лошадей на пастбище тут же, сразу за дорогой.

Дома эти — творения сыновей Навались, работающих на трех фабриках, построенных недалеко от деревни.

Если внимательно присмотреться к нашей деревне с той разбитой дороги, то можно заметить разрыв в порядке домов поближе к нижнему концу деревни, где есть небольшое озеро; этот просвет образовался там, где пастбище сужается в узкую, незастроенную и не засаженную деревьями горловину и переходит в другое пастбище, небольшое, окруженное молодыми тополями.

Этот маленький выгон служит местом развлечений для сынков Навались, работающих на ближайших фабриках и приезжающих к своим семьям на воскресенья и в праздники.

На небольшом пятачке пастбища каждую неделю после вечерни происходит нечто вроде выставки, вроде публичного показа сынков, там выносится оценка их внешнему виду, их лицам, костюмам, карманам.

Отцы стоят под топольками, похожие на старых усталых птиц, опустившихся на землю, и наблюдают за развлечениями сынков, сверля их поблекшими, в красных ободках глазами.

По небольшому выгону кружат их сынки в новых костюмах с оттопыренными от заработанных денег карманами, там пухлые бумажники не дают соприкоснуться подкладке с подкладкой; приятно радуют отцовские глаза эти раздувшиеся карманы сынков; а сынки танцуют, толкутся у буфета, запускают руки в пасти карманов и, небрежно вытащив деньги, швыряют их с безразличием на стойку буфета; случается, кто-нибудь, увидев отца под молодыми тополями, отнесет ему кружку пива или подаст знак подойти к буфету; тогда сердце старика наполняется радостью, он сдувает белую пену с пива так, словно сдувает собственную старость; на лице его появляются краски, а в глазах блеск, он поднимает голову, ощущает себя ровесником сына — хо-хо, сынок, тащи свой карман в город, на фабрику, а я как-нибудь сам...

Постоит немного старик у буфета и отойдет под топольки, окружающие маленький загон, как бы опять возвращаясь в собственную старость.

Теперь карательная группа продвигается совсем медленно, великодушие доходит до предела; тот, кто идет первым и держит конец веревки, оборачивается и спрашивает — не слишком ли натягиваю веревку?

А Б. М. добавляет — если тебе тяжело идти, иди медленнее.

Плетка спокойно свисает вдоль его правой ноги; позади осталась узкая песчаная дюна, та странная дюна, которая днем серая, а ночью становится белой, чуть ли не сверкает серебром.

Я отправился в тот городок, еду поездом, кругом однообразный, страшно однообразный пейзаж, поля, перелески, дома, вокзалы, поля, перелески, дома, вокзалы, все одно и то же...

В купе напротив меня сидит молодая красивая девушка, она читает газету, но время от времени посматривает на меня; я ей явно нравлюсь.

Не искушай меня, девушка, я отправился в незнакомый мне далекий город, чтобы свершить месть.

Вот уже озерцо, легкий ветерок поднял на нем небольшую зыбь; мне кажется, что по воде плавают стеклянные льдинки, а возможно, оно покрыто мертвыми всплывшими рыбами; за озером лес, дремучий, насупленный, спесивый; вдали очертания гор, они похожи на огромную старую щербатую пилу, давным-давно брошенную какими-то великанами на свалку; горы — признак того, что поезд приближается к городку, в который я еду, чтобы разыскать Б. М. и отомстить.

Думаю, что уже само мое появление будет местью, оно нарушит покой Б. М., если он у него есть, им овладеет страх.

Паровоз протяжно просвистел, скоро вокзал; поезд вдруг влетает из света в мрак, будто из дня в вечер, вот он уже под железным навесом перрона.

Городок безлюден, дома раскинуты далеко друг от друга, между ними пустыри, улицы с выбоинами; мне известно лишь, что Б. М. живет в этом городке, но я не имею представления, где именно он живет и работает.

Угрюмая и подозрительная сестра Б. М. наверняка знает его точный адрес, но она не назвала мне даже города, сказала только — уехал на западные земли, и

захлопнула перед носом дверь; а представитель местных властей сообщил мне лишь название города.

Перед одним домом на скамейке сидит старик, я останавливаюсь и спрашиваю о Б. М.; старик поднимается со скамейки, подходит ко мне, несколько раз повторяет имя и фамилию, которые я назвал ему, напрягает память, даже глаза прищуривает от этого напряжения памяти и воображения; наверняка он мысленно перебирает людей, которых знает и встречает здесь.

Это продолжается довольно долго, но усилия его напрасны; он втягивает голову в плечи, весь сжимается, сгибает ноги в коленях, размахивает руками, качает головой, поворачивается всем туловищем; я вижу муки его тела и души, что означает и желание, и невозможность помочь мне.

Иду дальше; мне страшно хочется увидеть убийцу моего отца; любопытно, как он выглядит, как одет, как ходит, меня интересует все, его лицо, а в лице каждая деталь, глаза, лоб, нос, рот; какие у него волосы, если он не облысел, как говорит, какие у него руки, правая рука у него какая, та, которая работала плетью, дулом револьвера, тянула за веревку; пальцы руки, особенно указательный, который не поддавался на мольбы ни в поле, ни на другом берегу реки, когда отец коснулся песчаной дюны и когда после этого упал под ударами.

А ведь речь шла не о выборе между смертью и жизнью, а о выборе между смертью и смертью, речь шла о замене веревки пулей; но даже этого не сделал указательный палец и неподвижно покоился на курке, самое большее, может быть,— лишь слегка дрогнул, когда отец давился и плевал землей и когда вместе с песком вырывались слова — умоляю, пулю; указательный палец был так безжалостен, ему была недоступна даже жестокая жалость, он не позволил совершить выбор между двумя видами смерти.

Я брожу по городу уже добрый час, навстречу мне идет пожилой мужчина, может быть, это Б. М.; спрошу его, не знает ли он гражданина Б. М.; а если он и есть Б. М. и ответит мне — это именно я? Нет, я предпочту, чтобы мне его указал кто-нибудь другой; а может, все-таки спросить, но поздно, он прошел мимо; я смотрю на его спину, он может быть Б. М., возраст подходящий.

Прежде чем я отомщу, мне хотелось бы насмотреться на Б. М.; я никогда еще не видел человека, который лишил жизни другого человека; возможно, я на такого и смотрел, не зная, что он кого-то убил; возможно, он не раз был рядом со мной, проходил мимо меня, касался меня, улыбался мне, возможно, подавал мне обед в

ресторане, возможно, меня учил тот, кто убил человека; да разве трудно встретить такого; их в большом количестве производил тот странный-престранный мир юности наших отцов.

Но здесь особый случай, здесь речь идет не об убийстве незнакомого мне человека или знакомого, но безразличного мне, здесь речь идет об убийстве моего собственного отца.

Так, пожалуй, нет ничего удивительного, что, прежде чем я отомщу и, собственно, уже начав мстить, я хочу насмотреться на Б. М.; хочу даже коснуться его; я приложил бы, пожалуй, даже ухо к его груди, чтобы послушать, как бьется его сердце.

Никогда я не касался убийцы, зная, что он убийца; но, пожалуй, касался, не ведая того; возможно, не единожды я пожимал руку человеку, который совершил нечто такое — пусть незначительное, но достаточное для того, чтобы лишить другого жизни, ну хотя бы легкий толчок, легкий удар, вышибающий подставку из-под ног, которые после этого уже никогда не коснутся земли.

Если бы я свершил возмездие, такое, какому учит Ветхий завет, тогда я смог бы сказать, что видел двух людей, которые лишили человека жизни; ибо одним из тех, кого я увидел бы, был убийца моего отца, а второго я мог бы увидеть в любую минуту, встав перед зеркалом.

А постаментик, находившийся под ногами отца, прежде чем Б. М. ловким, быстрым движением развалил его, был наскоро сложен из торфяных брикетов, сушившихся на болотистой пустоши вокруг слегка вздыбленного над болотом сухого островка, на котором росло несколько старых деревьев, удивительно пригодных под виселицу, готовых в любой момент предоставить свои раскидистые ветви любой карательной группе, желающей провести свою работу без шума; а поскольку болото доставляло еще и сухие торфяные брикеты для постаментика под ноги, то и раньше к этому месту охотно направлялись разные карательные группы.

До сего дня стоят эти старые жестокие деревья и словно скучают и удивляются легкости своих ветвей, распростертых на все четыре стороны света и как бы молящих о тяжелых плодах, которых теперь нет и которых было предостаточно в том странном, дьявольски странном мире юности наших отцов.

Та ночь была довольно светлая, месяц пробивался сквозь тучи, и уже издали можно было увидеть деревья-виселицы; а когда каратели, медленно продвигаясь и соревнуясь в доброжелательности и почти изысканной вежливости к пленнику, дошли до края болота, тогда стали

видны и черные пузатые холмики, заботливо сложенные из торфяных брикетов.

Судья (к Б. М.). Какую команду, обвиняемый, вы отдали своим людям, когда оказались на краю болота?

Б. М. Я распорядился каждому взять по нескольку брикетов.

Судья (к Б. М.). Для чего были нужны эти брикеты?

Б. М. (молчит).

Судья (к Б. М.). Повторяю вопрос: для чего были нужны эти торфяные брикеты?

Б. М. Известно — для чего.

Прокурор (к Б. М.). Это не ответ, попрошу ответить суду, для чего были нужны торфяные брикеты?

Б. М. (молчит).

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, я прошу вас ответить, для чего был нужен торф.

Б. М. Под ноги А. В.

Судья (к Б. М.). Вместо скамейки?

Б. М. Вместо скамейки.

Прокурор (к Б. М.). Слышал ли приговоренный к смерти команду, какую вы дали людям из карательной группы?

Б. М. Пожалуй.

Судья (к Б. М.). Говорилось ли что-нибудь во время сбора торфяных брикетов?

Б. М. Нет.

Прокурор (к Б. М.). И никто не спрашивал, сколько брикетов взять?

Б. М. Известное дело: одним брикетом больше, одним меньше — разницы никакой.

Судья (к Б. М.). Почему никакой разницы?

Б. М. Это неважно.

Прокурор (к Б. М.). Почему неважно?

Б. М. (молчит).

Прокурор (второму обвиняемому). Почему неважно?

Второй обвиняемый. Потому что неважно, какой под ногами постаментик.

Прокурор (к Б. М.). Почему это неважно?

Б. М. Можно регулировать иначе.

Судья (к Б. М.). Как — иначе?

Б. М. (молчит).

Прокурор (к Б. М.). Обвиняемый, объясните, как — иначе?

Б. М. (молчит).

Прокурор (второму обвиняемому). Что имеет в виду обвиняемый Б. М., когда говорит — неважно, какой под ногами постаментик, можно регулировать иначе?

Второй обвиняемый. Он имеет в виду, что можно

регулировать веревкой.

Судья (второму обвиняемому). Что?

Второй обвиняемый. Ну то.

Судья (второму обвиняемому). Что значит: ну то?

Второй обвиняемый. Ну известно — что, ну...

Судья (второму обвиняемому). Попрошу говорить яснее.

Второй обвиняемый. Ну то, что стало с А. В.

Прокурор (второму обвиняемому). А что стало с А. В.?

Второй обвиняемый. Известно, что стало.

Прокурор (второму обвиняемому). Обвиняемый, назовите то, что стало с А. В.

Второй обвиняемый. А. В. был повешен.

Услышав команду Б. М. собрать материал для постаментика, карательная группа остановилась; остановился идущий впереди, за ним отец, за отцом Б. М.— эта тройка осталась на месте, остальные побежали к черным пузатым холмикам, чтобы набрать брикеты.

В какой-то момент Б. М. сказал — дайте и мне несколько штук; ему тотчас же принесли несколько черных кирпичиков, он подхватил их левой рукой; правая рука не могла заниматься этим, она принадлежала револьверу.

Тогда тот, кто шел впереди с перекинутой через левое плечо веревкой, беря пример с командира, обратился к кому-то из карательной группы и сказал — можешь и мне принести несколько кирпичиков, и тот, к кому он обратился, принес ему брикеты, и он подхватил их правой рукой, потому что левая рука принадлежала веревке.

Карательная группа, добравшись до места, где уже не было необходимости соблюдать меры особой предосторожности, почувствовала себя свободнее; раз засады не было в прибрежных зарослях, то ее уж не будет и теперь; и раз уж не было попытки отбить А. В. раньше, то ее не будет и теперь.

Стало быть, кто-то из карателей может перешагнуть на упругую, «резиновую» землю болота и отделиться от командира и головной группы в поисках более крупных и хорошо высушенных брикетов.

Здесь уже нет условий для засады, местность открытая, нет зарослей, можно не опасаться внезапного нападения; можно быть спокойным, ничто не помешает работе; поэтому можно быть еще более великодушным к осужденному, уже не только под воздействием того, что вскоре произойдет, но и как бы из чувства благодарности к ведомому на повешение за то, что путь, проделанный с ним, оказался безопасным, что он не стал причиной неожиданного нападения на карательную группу.

Эти минуты на краю болотистой пустоши можно считать самыми спокойными за все время пути, от порога дома до дерева-виселицы.

И вот головной шествия стоит себе спокойно, правой рукой прижимает несколько легких кирпичиков торфа, а левой легко, ради развлечения похлопывает себя по ноге концом веревки, которая совсем недавно задавала шествию темп.

За ним стоит отец, ему никто не мешает, и он может шевелить губами, произнося в глубине души молитву к сыну; этот неразборчивый шепот и есть сущность, ядро его завещания; месть, земля — так продолжил я его молитву; а теперь добавлю — сын.

Месть, земля и я — вот три главных звена завещания, в них заключено все, они и есть само завещание.

За отцом, удобно расставив ноги, стоит командир; левой рукой он прижимает несколько торфяных брикетов, а в свободно висящей правой руке держит плетку (револьвер заткнул за пояс), тоже переставшую быть регулятором шествия; тонко сплетенный конец плетки, этот виновник самой пронзительной боли, запутавшись в чахлой траве, похож на невинное растение.

Остальные члены карательной группы разбежались по болоту, выбирают наиболее подходящий материал для сооружения подставки, на которую вскоре поднимется отец.

Ночь тиха и тепла, ветра нет, довольно светло, сквозь редкие тучи проглядывает месяц.

Долго длится эта спокойная минута, словно все ее ждали; она длится, эта минута тишины, как будто никто не спешит, как будто все хотят дождаться утра; а предвестник зари уже вспыхнул на востоке; это еще не рассвет, а лишь намек на рассвет.

Возможно, этот намек на рассвет или появление болотных огней привели к тому, что в пронзительной тишине, насытившей все вокруг и как бы воздвигшей гигантское здание покоя, послышался негромкий, но торопливый голос командира — пора.

После слова «пора» все изменилось, и уже не было великодушия, не было неторопливости.

И это сыграло свою роль в том, что, идя по следу Б. М., я направился сперва к его дому, а потом сел в поезд и приехал в незнакомый мне городок и спросил сидящего на скамье перед домом старика, не знает ли он Б. М.; и не спросил мужчину средних лет из опасения, а вдруг это и есть Б. М., то есть из страха перед неожиданной, неподготовленной встречей с ним; еще через минуту я обращусь к полной пожилой женщине, идущей навстре-

чу по ухабистой улице городка.

Я смотрю на нее, и мне кажется, что она относится к разряду тех женщин, которые обо всех все знают, кто и где живет, знают даже, кто как живет, что ест, как спит.

Поэтому, когда мы поравнялись, я извинился и с невинно-озабоченным видом спросил, не знает ли она случайно, где живет гражданин Б. М.; и сразу я заметил, что вопрос мой обрадовал ее; возможно, потому, что ей представился случай кое-что рассказать о своем городке и его жителях.

После короткой паузы, во время которой ее мысли и воображение интенсивно работали, она ответила мне, что слышала такую фамилию, но человека — если так можно сказать — и знает, и не знает; и хотя она его и знает, и не знает, ей известно, где он живет; она, правда, не может назвать его точный адрес, но может указать улицу; он живет на Аллее 10 февраля (день освобождения городка), это третья улица направо.

Когда кого-нибудь ищешь в маленьком городке и знаешь хотя бы название улицы, на которой он живет, считай, что сидишь в квартире того, кого ищешь.

Третья улица направо была еще более ухабистой, чем та, по которой я шел, выйдя с вокзала; новые, высокие дома, похожие на огромные, поставленные торчком спичечные коробки, построенные на значительном расстоянии друг от друга; некоторые дома, более плоские, напоминали огромные, но тоже поставленные торчком, книги.

К счастью, домов было немного, в крайнем случае я мог войти в любой из них и в каждом подъезде прочесть списки жильцов; делать этого мне не пришлось, поскольку один из прохожих показал на дом и сказал, что Б. М. живет в нем.

Я уже совсем близко, но еще не знаю, какой будет моя месть; но я отомщу, я должен отомстить, это не подлежит сомнению.

Когда я читаю последнюю часть книги протоколов, начиная с того места, где тишина, впитавшаяся во все вокруг: в жалкую траву, в каждый стебелек болотного мха, в каждый клочок неба над болотом, была прервана негромкой, но торопливо произнесенной командой — пора,— когда я читаю это, то все больше прихожу к выводу, что я обречен на месть просьбой отца, а точнее, приговором того странного-престранного мира и что смерть отца щедро одарила меня, но и покарала, обязав мстить.

После того как необыкновенная тишина была прервана командой Б. М., все изменилось, исчезла доброжелательность, исчезла неторопливость, началась спешка; словно карательная группа вдруг стала опасаться, что опоздает с исполнением того, что должна свершить.

Плетка сразу перестала изображать невинное растение и снова взяла на себя роль регулятора шествия, снова обожгла ноги узника.

Головной группы перестал забавляться виновником пронзительной боли, то есть концом веревки, веревка напряглась, опять исполняя свою старую роль регулятора шествия. Серый «нимб» перестал быть просторным воротничком и резким рывком сдавил шею.

Карательная группа быстро пошла по тропке, похожей на толстый шрам, словно кто прошелся по болоту гигантским батогом; или на толстую жилу, вздувшуюся под старой, задубелой кожей земли; жилу, которая, однако, была тропкой, позволяющей добраться к деревьям, не замочив ног.

Теперь это шествие являло собой особенно странное зрелище; все каратели несли под мышками торфяные брикеты, самый подходящий в тех условиях материал для сооружения подставки, на которую вскоре встанет отец; с этими брикетиками, которые несли все каратели и даже их командир, группа потеряла свой грозный вид и стала похожа на горстку туристов, задумавших разжечь костер в сухом месте под деревьями.

Деревья виднелись теперь уже совершенно отчетливо, деревья, готовые предоставить себя в их распоряжение, готовые всегда; деревья, жестокие, молчаливые создания, примут каждого, кого карательная группа пожелает сделать их тяжелым плодом.

Пройдет еще несколько минут, и карательная группа окажется на месте, под выбранным заранее деревом.

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, обращался ли А. В. на тропке, ведущей через болото, к вам с просьбой о помиловании?

Б. М. Нет.

Судья (к Б. М.). Точно нет?

Б. М. Нет.

Прокурор (второму обвиняемому). Значит идя по тропе, А. В молчал?

Второй обвиняемый. Молчал.

Судья (второму обвиняемому). И молитву уже не шептал?

Второй обвиняемый. Не шептал.

Судья (второму обвиняемому). И вы к нему не обращались?

Второй обвиняемый. Нет.

Прокурор (к Б. М.). А. В. не произнес ни одного слова?

Б. М. Лишь в конце...

Судья (к Б. М.). Когда именно?

Б. М. Когда уже стоял...

Прокурор (к Б. М.). На чем?

Б. М. (молчит).

Прокурор (к Б. М.). Обвиняемый, вы сказали — когда уже стоял, я спрашиваю — на чем?

Б. М. (молчит).

Прокурор (второму обвиняемому). На чем?

Второй обвиняемый. На постаментике из торфяных брикетов.

Прокурор (к Б. М.). Обвиняемый, почему вы не хотите сказать — на чем?

Б. М. (молчит).

Отец молчал на тропке, ведущей через болото, он либо отдавал себе отчет в том, что никакое слово, обращенное к карательной группе, уже не имеет смысла, либо уже настолько отдалился от слова, что, если бы нужно было произнести его, ему пришлось бы проделать огромный, мучительный путь. Перед тем деревом его путь к слову был страшно далеким, и все же он его проделал; но лишь тогда, когда стоял на постаментике из торфяных брикетов; он проделал его ради меня.

Должен сказать, что признания обвиняемых на 745-й странице старой пожелтевшей книги протоколов свидетельствуют о молчании отца и о его далеком, тяжком пути к слову, о его странствии сквозь пустыню собственного молчания, проделанном ради меня, о восхождении к одному-единственному слову, о том восхождении из пропасти тишины к вершине одного-единственного слова; эти показания более всего приблизили меня к свершению мести и привели к тому, что я оказался перед новым, высоким домом, в котором, как я узнал от случайного прохожего, живет Б. М.

Перед домом на небольшом газоне в песочнице играли ребятишки, за ними издали наблюдала девочка постарше. Я подошел к газону и обратился к девочке с вопросом о Б. М., она оказалась столь разговорчивой, что я еле-еле освободился от нее и отошел, естественно, с целым багажом нужных и ненужных сведений.

Я узнал все, что интересовало меня: что в этом доме находится квартира Б. М., что он живет здесь со своей семьей, то есть с женой, тремя взрослыми детьми и двумя внуками; что вот уже несколько недель его нет дома, поскольку он тяжело заболел и сейчас находится в больнице.

Когда я уходил, девочка, обрадованная тем, что смогла мне так много рассказать о Б. М., и не уверенная, что сказала достаточно, вытянула руку и указала на низкое белое здание в конце улицы, как бы загораживающее улицу, делавшее улицу тупиком, и повторила несколько раз — там больница, больница...

Моя миссия сразу же обрела иной характер; казалось бы, мысль о смерти должна была сойти с пути, который меня вел к Б. М.— здоровому, нормальному, отвечающему за свои действия, сохранившему память.

Не знаю, что случилось со мной, но я быстрыми шагами направился к плоскому белому зданию; словно опасался, что опоздаю и не успею схватить убегающую от меня жизнь.

Я шел очень быстро, почти бежал, на меня стали обращать внимание прохожие.

Сперва я еще видел удивленных моим бегом-маршем прохожих; потом у меня уже не было ни времени, ни возможности замечать удивленные лица и думать о них; и людей, и городок, и весь мир я видел как в тумане, словно сквозь белую мглу, сгущавшуюся с каждой секундой, и, наконец, сквозь реальную белизну-желтизну последних страниц книги судебных протоколов, исписанных ровными строчками.

Царило полное молчание, никто ничего не говорил, никто никому не приказывал, никто никого не уговаривал, и все же карательная группа, идущая через болото по вздувшемуся шраму к сухому островку, с каждой секундой ускоряла шаг так, словно гналась за убегающей от нее смертью пленника и боялась, что не сумеет догнать эту смерть; мы спешим — каратели и я.

Белое плоское здание, я уже различаю его детали, широкие пологие ступени, до половины застекленную веранду по фасаду, где — это видно сквозь стекла — много цветов; я вижу прямоугольные окна; некоторые открыты и пусты, в некоторых, как в рамах, виднеются фигуры больных в печальных больничных одеяниях; эти окна и силуэты людей в них — словно готовые картины, повешенные на белой стене.

Плетка снова в работе, она слегка подсекает ноги отца, и веревка уже не свисает, она натянута; это подхлестывание, это подергивание веревки ничем уже не обусловлены, и плетка и веревка работают как бы машинально, непроизвольно; торопливое передвижение по болоту совершается почти автоматически, в результате то один, то другой из карательной группы роняет на

ходу торфяные брикеты, необходимые для сооружения постамента отцу под первым, самым близким к тропке деревом.

Еще несколько, самое большее несколько десятков шагов, и все окажутся на сухом островке.

Я не поднялся по ступеням, а перелетел через них одним прыжком и оказался в зелени веранды, напротив широкой двустворчатой двери, открывающейся в обе стороны; ее створки в тот момент, когда я стоял перед ней, еще легонько покачивались, еще не успели прийти в состояние покоя после недавнего посетителя.

Я толкнул дверь и с жаркой, душной веранды вошел в большое прохладное помещение, расходящееся двумя длинными коридорами от бело-серой, полого поднимающейся лестницы; и сразу же убедился, что дверь отделяет не только полную цветов веранду от вестибюля больницы, но и один мир запахов от другого; ибо на веранде пахли цветы, а большой вестибюль был наполнен уже тем как бы неземным, присущим каждой больнице запахом, который взывает к смирению перед могуществом смерти.

Женщина в белом, сидевшая на стуле у стены справа, сказала, что сегодня пятница, то есть день, когда посещения больных не разрешены; но, вероятно, я так запыхался и был так нетерпелив, что она спросила, к кому я пришел; я ответил — к гражданину Б. М., и этого было достаточно, она совершенно изменилась, из сурового стража, решительно заявившего — сегодня пятница, она превратилась в мягкое, понятливое и соболезнующее существо; без единого слова, только с добродушным ворчанием, означающим полное согласие, она указала мне на бело-серую лестницу; а когда я уже был на лестнице, крикнула — двадцать пятая, двадцать пятая палата, второй этаж; и еще добавила — по коридору направо, наверняка заботясь, чтобы я не слишком долго искал нужную палату; ее слова подхватил мужчина в белом халате, поднявшийся уже до второго этажа и, словно эстафету, перенявший от нее заботу обо мне; пожалуйста, за мной — обратился он ко мне; а когда я поднялся на второй этаж, он указал рукой направление и сказал — в конце коридора, предпоследняя дверь направо; когда я подходил к двери, то — как будто мало было той заботы — молодая женщина в бело-черном головном уборе странной формы, вероятно услыхав слова мужчины в белом халате, остановилась около палаты и, встав словно дорожный указатель, протянутой рукой указала

мне дверь; а когда я нажал на дверную ручку, шепнула — там уже вся его семья.

Сперва я увидел голые ноги Б. М., белые, как бы выструганные из молодого дерева, с которого только что ободрали лыко.

В зеленых, сильно суживающихся книзу брюках — это тоже интересовало судью и прокурора, — в сапогах, эти ноги маршировали сразу же вслед за отцом на протяжении всего пути от порога дома до дерева-виселицы.

Эта белая, с чуть потемневшими теперь пальцами правая нога начала приобретать исключительное значение, когда карательная группа вступила на сухой островок посреди болотистой пустоши; этой белой, слегка подрагивающей — словно в том дереве, из которого она была выстругана, отозвалось еще какое-то эхо жизни, — этой голой, белой, а тогда в узких зеленых брюках и в высоких узких сапогах ноге выпадет на долю решающая роль, когда карательная группа соорудит для отца постаментик.

Та нога, а точнее, ступня, и сделает самое главное и все решит, именно этой ступне командира вся карательная группа будет обязана точным выполнением порученного ей задания; та ступня в сверкающем — и это вытянули из обвиняемых и свидетелей судья и прокурор — сапоге нетерпеливо ковыряет мягкую землю и подстерегает момент, когда сделать решающее движение.

До конца книги протоколов осталось всего несколько страниц, на них все пережевывается и пережевывается то, что непосредственно предшествовало решающему движению этой ступни; вплоть до последнего слова отца, слова, которое он произнес, а точнее, прокричал, уже с самой высокой точки опоры, перед самой потерей, почти одновременно с потерей точки опоры, когда отец был еще на земле, но, собственно говоря, уже между землей и небом, когда ступня командира еще его не сделала, но, собственно говоря, уже сделала тяжелым плодом дерева.

Только теперь я заметил, что все на меня смотрят — стоящая возле кровати Б. М. группа людей, заслоняющая от меня его лицо, и больные с других коек.

Только теперь я заметил темный тонкий наконечник кислородного баллона.

Я поймал на себе взгляды двух женщин, старой и молодой, и трех мужчин, когда перестал смотреть на голые ноги Б. М., поднял голову и приблизился к его кровати; и во всех взглядах обступивших меня в двадцать пятой палате больницы я читал вопрос — кто ты, молодой

человек, что привело тебя сюда, что связывает тебя с умирающим...

Кто знает, как долго смотрели бы они на меня изумленными взглядами, томясь неведением и желанием узнать обо мне, если бы из-за этой стенки, воздвигнутой его близкими, не донесся плаксивый голосок; тотчас все глаза и все головы согласно отвернулись от меня и обратились к кровати больного.

Ноги Б. М. были открыты до колен, дальше их прикрывало одеяло, на нем покоились руки, отделенные одна от другой складкой одеяла; поэтому я видел только краешек левой руки, зато правая, то есть как раз та, которую я так хотел увидеть, лежала на виду — желтая, набрякшая, скрюченная, большая рука лесоруба.

На отрезке пути от порога дома до края полей в ней был револьвер, на полях револьвер пошел за пояс, а его место заняла плетка; в прибрежных зарослях плетка перешла в левую руку, а правая сжала револьвер.

В лодке плетка пошла за пояс, потому что левая должна была придерживать петлю на шее, а в правой по-прежнему был револьвер.

Когда отец лежал в сыпучем песке на другом берегу и, выплевывая его, последний раз умолял о пуле, она также держала револьвер; она даже сулила надежду отцу, лежавшему в ожидании желтых круглых пятен, какие — как говорят знающие люди — являются взорам людей, которым выстрелили в затылок, в ожидании того «полета» на руках собственной матери, который тоже — как рассказывают умудренные старики — привилегия тех, кому выстрелили в затылок.

Но та рука, раскачивающаяся над головой отца, отказала ему в благодатной смерти от пули; самым жестоким оказался тогда указательный палец, тот толстый ленивый палец, свободно лежавший в ободке курка; а достаточно было, чтобы сочувствие и милосердие, убегающие из тела и души, задержались бы в указательном пальце, который сейчас необыкновенно подвижен, он как бы говорит вместо больного, ибо у того на слова уже нет сил, его хватает только на невразумительный тихий стон.

Те пятеро по-прежнему заслоняют от меня его лицо, я вынужден подойти к Б. М. со стороны ног, чтобы увидеть его лицо.

Что я могу сказать о его лице; оно уже принадлежало не ему, а кислородному баллону, с которым оно было соединено специальными трубочками, воткнутыми в ноздри; оно как бы перестало быть лицом человека и

превратилось в часть кислородной аппаратуры.

Когда я внимательно присмотрелся к нему, то заметил, что не только его лицо прикреплено к специальному аппарату но еще и в левую руку воткнута толстая игла, соединенная тонкой трубкой с большим сосудом, наполненным красной жидкостью, вторая игла воткнута в вену левой ноги и закреплена пластырем; он был подвергнут той жестокости спасения жизни, обреченной на уход, жестокости, которая помогает смерти испробовать разные приемы, например поиграть в мимолетную благосклонность или поиграть с жизнью так, как играет кошка с мышью.

Когда он время от времени раздувал щеки, что делало его маленькое лицо похожим на рожицу капризного ребенка, это тоже была шутка смерти; шуткой были и набегавшие и сбегавшие морщины на его высоком лбу, отчего его редкие волосы вставали ежиком; смерть, играя, милосердно дарила ему крупицы жизни, чтобы дать возможность широко открытыми глазами спокойно, сознательно посмотреть на окружающих его людей.

Он увидел меня, удивился и молча спросил — кто ты, молодой человек? И всех заставил смотреть на меня с тем же немым вопросом.

А мысль моя тотчас улетела к постаментику из торфяных брикетов, на которых стояли ступни отца, я мысленно пробежал путь от ступней отца, стоящих на постаментике и ожидающих, пока кто-то из карательной группы закончит манипуляции, которые не позволят его стопам коснуться земли, когда Б. М. быстрым ударом ноги развалит под ним опору.

Итак, я мысленно пробежал путь с минуты, когда правая нога Б. М. в высоком сапоге подстерегала момент для удара по торфяным брикетам, до минуты, когда игравшая смерть подарила Б. М. полное сознание.

Итак, я могу сказать, что я настиг Б. М. и свершил месть, не мною найденную, ибо я не сумел ее выбрать, хотя и пробовал и мысленно обдумывал много ее вариантов, хотя, памятуя первый пункт завещания отца, который в моем представлении призывал к мести, я рядился в доспехи грозного мстителя.

Я не сумел выбрать месть, я не знал, что я должен — разжечь ли в Б. М. боль души, или нанести ему телесную боль, или же, ни с чем не считаясь, взять за основу тот старый принцип — око за око, зуб за зуб?

Я мчался к Б. М. вслепую, не имея никакого плана возмездия; с одной стороны — опасаясь, что, настигнув его, я окажусь беспомощным, а с другой — надеясь, что, когда окажусь перед ним, месть определится сама.

И наконец я настиг Б. М., передо мной спокойные глаза человека, находящегося в сознании; но находящегося в сознании благодаря шуткам и — можно сказать — ироническим проказам смерти, которой вот-вот наскучит игра в мимолетную благосклонность; поэтому я не должен медлить, я должен спешить.

Человек из карательной группы, забравшийся на дерево, сказал — готово, и правая нога Б. М. в высоком сапоге быстро отлетела назад, поскольку дело решал хороший размах; через какую-то долю секунды она стремительно уткнется в препятствие, развалит его, рассыплет, превратит в груду разбросанных по земле черных торфяных брикетов.

— Я сын А. В., перед вами Я. В., доктор социологии.— Так ответил я на немой вопрос Б. М. и членов его семьи; и этим ответом наверняка воспользовалась смерть, приобщив его к своим играм и забавам, одарив умирающего еще одной минутой сознания; Б. М. сделал головой едва заметный утвердительный кивок и замер; зато правая рука долго еще не могла успокоиться: она то выпрямлялась, разгибала ладонь, как бы желая пожать руку, то вновь сжималась, словно хватала оружие; указательный палец выбился из шеренги пальцев и двигался сам по себе, как бы находясь в ободке курка.

Правая ступня Б. М. с широкого размаха ударила по торфяному постаментику; но прежде чем ударила, а возможно, и одновременно с ударом либо после удара, когда ступни отца, потеряв точку опоры, начали тянуться вниз и кончиками пальцев дотянулись только до верхушек хилых высоких стебельков,— в какое-то из этих мгновений вверху, в ветвях, послышался крик — сын! Словно прокричало дерево.

Когда была та секунда, тот миг, в который голосом отца крикнуло дерево, я теряюсь в догадках, ибо в протоколах об этом написано кратко; судья, прокурор и защитники не растягивают, не разбивают на секунды и тем более на доли секунды ту границу жизни и смерти; они отбрасывают воображение, они стремятся к незыблемым, четким и неопровержимым фактам и не могут дробить время на слишком короткие мгновения и тем более молоть его в муку.

Таким четким, неопровержимым фактом было сооружение постаментика.

Судья (к Б. М.). Кто сооружал подставку из торфяных брикетов?

Б. М. Несколько человек.

Судья (к Б. М.). Обвиняемый, вы помогали?

Б. М. Нет.

Прокурор (к Б. М.). Что вы делали в это время?

Б. М. Стоял сзади А. В.

Судья (к Б. М.). А где был револьвер?

Б. М. В руке.

Прокурор (к Б. М.). А где была рука?

Б. М. (молчит).

Прокурор (к Б. М.). Повторяю: где была рука?

Б. М. У головы.

Прокурор (к Б. М.). Прошу точно сказать суду, у чьей головы.

Б. М. У головы А. В.

Судья (к Б. М.). Зачем?

Б. М. На всякий случай.

Вторым таким четким фактом было восхождение отца на торфяной постаментик, когда его голова скрылась в листве, а третьим — карабканье одного из обвиняемых на дерево и его манипуляции с серым нимбом, который раз и навсегда перестал определять ритм шествия.

Четвертым фактом, не подлежащим сомнению, доказанным судом и записанным четкими черными, хотя уже и несколько поблекшими, но все же бьющими в глаза буквами в середине предпоследней страницы, на двадцать четвертой ее строке, был крик отца в листве дерева — сын! — который для членов суда, защиты и для протоколиста, точно зафиксировавшего его, был криком смерти; для меня же, жаждущего воссоздать завещание отца и выполнить его, он не может и не должен иметь такого смысла.

Этот крик в листве, этот крик «сын!», который так гремит над книгой протоколов, я считаю вторым рождением отца, рождением во мне.

Я должен взять на себя ответственность за такое толкование его крика; и я уже взял на себя эту ответственность в ту минуту, когда умирающему, но еще находящемуся в сознании Б. М. я сказал — я сын А. В., перед вами Я. В., доктор социологии.

Я взял на себя ответственность, ибо то, что явилось в сказанных мною словах ложью, я сделаю правдой; именно в этом в первую очередь и должна заключаться моя месть; а также и в том, чтобы на крик отца в листве дерева, на крик «сын!» ответить — я здесь, отец, я здесь, на земле, для того, чтобы доказать, что и постаментик из торфяных брикетов, и ветка дерева, принявшего тебя как свой тяжелый плод, и серый нимб не возымели действия.

РАССКАЗЫ

СОСТАВЛЕНИЕ В. СЕЛИВАНОВОЙ

РАССКАЗ «ХОЗЯЙСТВО БАБКИ ЯДВИГИ» — РЕДАКТОР М. КОНЕВА

ХОЗЯЙСТВО БАБКИ ЯДВИГИ

I

Плот остановился, и все сошли на берег; одни отряхивались, другие разминали ноги, собирались вместе и расходились, сбивались в кучки и снова разбредались, то и дело поглядывая на воду, по которой только что плыли.

Долго они молчали, не проронили ни слова даже тогда, когда, осторожно ступая, ощупывали ногами в темноте зыбкую почву и решили, что этот болотистый берег — подходящая опора для ног и для дальнейшего пребывания; но вот один из них подошел к самой воде, плюнул в нее и почему-то сказал: «Эта вода все равно что земля». Точно подметил, раз все подтвердили это, когда пригляделись к воде и к берегу, с минуту только и слышались такие вот, с восторгом и страхом повторяемые слова: «Правду говорит, правду говорит, эта вода и впрямь как продолжение земли».

Потом один из тех, кто сошел на берег, поднял мягкий, склизкий ком, швырнул его далеко в воду, и тотчас из бездонной темноты долетел всплеск, и люди сказали: «Вода».

И снова они долго молчали, потому что никто не знал, о чем говорить и что делать. Ждали, пока рассветет; тогда кто-нибудь приплывет или приедет и скажет, как им быть дальше.

Но вот молчание было прервано, кто-то из них спросил: «Где бабка Ядвига?»

И тогда люди, напоминавшие в сумерках большие, округлые тени, снова закружили и зачавкали сапогами по грязи. Петляя во мраке у берега, одни спрашивали: «Где бабка Ядвига?», а другие: «Где Старый Соловей?» И это было одно и то же, так как речь шла не о двух, а об одном человеке, о бабке Ядвиге, которую люди давным-давно прозвали Старым Соловьем. Сперва эти вопросы: «Где Старый Соловей, где бабка Ядвига?» — звучали более-менее спокойно, но когда тихие, молчали-

вые поиски на берегу, а затем и довольно громкие оклики ничего не дали, вопрос: «Где Старый Соловей? Где бабка Ядвига?» — стал вырываться у них словно из утробы, с каким-то странным призвуком.

И когда долгий и очень тщательный осмотр берега ни к чему не привел, вопросы эти и оклики перешли в протяжный, словно пение, зов, который покатился далеко по воде, отразился от ее поверхности, чтобы потом улететь невесть куда и сгинуть, не воротясь ни эхом, ни хриплым, как на последнем вздохе, голосом бабки Ядвиги.

После этих напевных вопросов и криков, еще с замирающей на устах напевной речью люди подбегали к берегу и молча вглядывались в воду, но что могло им это дать, что могла поведать им вода, она и днем-то все таит в себе, а уж тем более ночью. Тщетно тянулись они телами и мыслями к воде, еще раз переплывали водный простор и доплывали до того большого старого тополя, на ветке которого сидела бабка Ядвига перед тем, как спуститься на плот.

И тогда, перебивая друг друга, торопясь, они стали снова и снова воскрешать те недавние события, когда вода уже вошла в село, а люди, спасаясь от нее, взбирались на крыши и деревья.

II

Людям необходимо было воскресить ту картину, потому что после долгих поисков бабка Ядвига не отозвалась ни на чей зов. Им необходимо было все это представить себе, мысленно еще раз проплыть на плоту весь путь, чтобы обнаружить тот миг, до которого Старый Соловей, бабка Ядвига, еще была с ними и после которого ее уже с ними не было. Словом, они искали границу между еще бытием и уже небытием Старого Соловья, пытались установить, когда же это случилось, в час ли, когда плот еще скользил по воде или же когда пристал к берегу, добрался до тонкой линии, разделяющей сушу и воду, либо уже после того, как они сошли и стали кружить по пустынной, голой и болотистой земле, а солдаты, отталкиваясь баграми, поплыли дальше.

Они решили начать с того времени, когда вода уже угомонилась и лишь где-то вдали еще клокотали ее потоки, валы и круговерти, а люди уже сидели над большой водой на крышах и деревьях, и у бабки тоже было свое место — на ветке большого тополя.

Люди припомнили, как плот подплыл под дерево, на

котором восседала бабка Ядвига, как вспотевшие солдаты отложили в сторону большие багры, встали плечом к плечу и окликнули ее: «Прыгай, бабка, мы поймаем!» А она им ответила так: «Снимите сперва вон того, с железной крыши, у него от страха в чем душа держится, и других, которые боятся, а меня можно и потом».

На эти ее слова солдаты, задрав головы вверх, к сухим ногам Старого Соловья, сердито ответствовали, что обязаны перво-наперво снимать с крыш и деревьев стариков, женщин и малых детей, а за мужчинами пришлют другой плот. И добавили, что нечего зря тянуть время, оно понадобится для спасения остальных.

Тогда бабка Ядвига ухватилась за два торчащих сука, подтянулась и встала ногами на ветке, на которой перед тем сидела. Встала она вот так, наклонилась и зычным голосом молвила этим сильным молодым солдатам, стоявшим на плоту под деревом и сердито глядевшим на нее, на ее худые, белые, донельзя обесцвеченные старостью ноги и просвечивающее кое-где из-под юбок старческое тело, молвила она вот что: «Не упрямьтесь, забирайте сперва тех, которые боятся, не видите их разве, не видите того, на железной крыше, не слышите, как он изо всех сил лупит пятками по железу, вас призывает? Разве не видите за ним того, на стрехе, вон он выдирает из нее клоки соломы да бросает вверх, чтоб вы его заметили, неужто не видите над той стрехой клубы черной пыли? А там, на дереве, сидит баба, сняла с себя рубаху, привязала к палке и машет ею, просит спасти ее, неужто не видите ее, голую, на дереве? А на той вон крыше отец с матерью бьют детей, чтоб кричали и пищали и тем криком вас призывали. Или не видите всех их, чуть живых от страха, не слышите, как причитают?»

Бабка Ядвига умолкла, а те на плоту нехотя, ворча и чертыхаясь, покорились ей, потому как был им дан бабкой вроде даже и не совет, а приказ; они перестали ворчать и с минуту вслушивались в причитающие голоса.

А бабка Ядвига меж тем что есть мочи закричала людям: «Угомонитесь! Плот идет к вам!» Солдаты на плоту и в самом деле уже плыли к ним, подчинившись воле Старого Соловья.

Повеял легкий ветер, по воде пробежали неглубокие борозды, и желтая вода стала похожа на пашню, ловко вспаханную детским игрушечным плугом. Потом подул другой ветер, и вода покрылась частой рябью и смахивала уже на пашню забороненную. А от третьего ветра рябь стала еще мельче. И наконец последний ветер сдул и смыл с воды всю рябь, она перестала быть пашней, а стала опять водой.

III

Тем временем первый плот уже скрылся из виду, за ним двинулся второй, на котором сидели мужчины и с ними бабка Ядвига. Мужики бесстыдно дрожали и стучали от страха зубами. Они, как дети, не стыдились ни своего страха, ни того, что сквозь изодранную одежду, сквозь прорехи в местах, которые они, убегая от воды на крыши и деревья, забыли застегнуть на пуговицы, сквозь эти прорехи видно было, как дрожит у них все, что только может дрожать. И бабке Ядвиге, которая последней сошла со своего тополя на плот, пришлось прикрикнуть на них, призвать к порядку: «Застегните порты, а то причиндалы вывалятся». И тогда эти крепкие небритые, заросшие мужичины, послушно вняв ее приказу, стали дрожащими руками застегивать на штанах пуговицы.

А бабка Ядвига отвернулась от них и встала на краю плота, встала так, что все оказались у нее за спиной, а впереди, почти у самых ее ног, была одна вода. И когда она так стояла — а людям хорошо запомнилась эта минута,— на воде уже не было никаких полосок, прежде придававших ей подобие земли, она стала гладкой водой, и ничем больше, сверху ее затянуло ровной мутной глазурью, и все ее фигли-мигли, все грехи и злодейства были теперь прикрыты приличным бежевым, насквозь обманным плащом.

Люди хорошо все это запомнили, помнили они и бабкину спину в ту самую минуту, как вода из серой превратилась в бежевую. Когда бабка Ядвига стояла вот так на краю плота, ее узкие плечи, покрытые линялой шалью, ее в дугу согнутая полевыми работами спина дрожали мелкой дрожью. Все молча таращились на эту спину, и лишь у одного хватило духу шепнуть: «Да она смеется над нами».

Когда он уже здесь, на вязком болотистом берегу, повторил эти свои шепотом сказанные на плоту слова, в воспоминаниях и воскрешении того, что недавно произошло, наступил перерыв. Люди вновь стали кружить, молча и беспокойно, все беспокойней топтались они по вязкому болотистому берегу, все быстрее совершали свои круги. Но пора было наконец и остановиться, они поймали себя на том, что чересчур уж долго молчат и заняты своими мыслями. До них дошло, что раз уж им понадобилось уловить ту минуту, когда исчезла бабка Ядвига, то лучше вспоминать всем вслух. И вот они собрались кто откуда в одно место и снова стали вспоминать, начиная с той минуты, когда узкие бабкины плечи задрожали и один из них шепнул: «Да она смеется над нами».

Сбившись в кучу, они загалдели: «Да, смеялась, и знаем, отчего смеялась, над нашим визгом на крышах и деревьях смеялась, над нашим страхом, над нашим истошным „спасите!“».

— Над тем, как махали мы шапками, рубахами и клоками соломы.

— Над тем, как тряслись у нас руки, когда мы застегивали порты и рубахи.

— Было над чем смеяться, вот и смеялась. Плечи, спина ее выдавали.

— По спине многое можно узнать, ее спина сразу сказала, что она смеется.

За такими вот рассуждениями последовали другие, бессвязные, обрывистые:

— Плот как раз проплывал тогда меж верхушками, меж ветками деревьев.

— А мы все глядели в спину Старому Соловью.

— Но уже порядком стемнело.

Последние слова были дружно подхвачены. Люди жадно уцепились за них: «Точно, было уже совсем темно» — и даже вроде бы радовались этим словам.

А когда они так и сяк обмозговали эти слова, то стали говорить вот что:

— Помните, какой она в ту минуту была, бабка Ядвига?

— Мы никак глаз отвести не могли от этой ее спины.

— Казалось, будто она раздается в плечах, распрямляет спину и запрокидывает голову.

— Плыли мы как раз в густых ветках.

— Темно было.

— Голова ее виднелась над верхушками верб.

— А мы все как один глядели ей в спину, совсем близко была ее спина от нас.

IV

Тут все вдруг надвинулись на того, кто сказал: «Совсем близко была ее спина от нас», они ели его глазами, душили жарким прерывистым дыханием, так, что он даже попятился. А попятившись, проговорил: «Очень темно было». Тогда они расступились, а он продолжал:

— Под большим вязом она нагнулась.

— Съежилась, стала ниже за большим вязом.

— Темно же было, откуда вы знаете, съежилась, распрямилась или согнулась? Не могли вы этого видеть.

— Не могли мы этого видеть!

— Плот как раз вплывал в самую гущу веток.

— А была она еще на плоту, когда мы вплывали в эту гущу?

— Была.

— Она как раз уселась на доску у края.

— Уселась, когда плыли мимо верхушки большой вербы.

— Тогда ли, раньше, факт, что за большой вербой она уже там сидела.

— Это точно!

— Голову вниз опустила, руки над водой свесила, вся над нею склонилась.

— Не мог ты этого видеть.

— А помните, за верхушкой вербы кто-то крикнул: «Берег!» И все кинулись в ту сторону и зашумели: «Берег, берег!» Солдаты, баграми толкавшие плот, даже разозлились.

— И тут мы пристали к берегу, но ее уже не было.

— На берег она не сошла.

— А может, сошла?

Люди сбились в кучу еще плотнее, и норовили один другому и каждый каждому заглянуть в лицо, в глаза, и говорили:

— Коли сошла, то живая ли, мертвая, а была бы здесь.

— А если побрела себе куда-то берегом?

— Я далеко забегал, кричал, никто не отзывается.

— А я подался в другую сторону и тоже звал, и никто не отозвался.

— А я обегал все кругом и ни обо что такое вроде тела не споткнулся.

— Так куда же она сгинула?

— Когда мы проплывали большую вербу, она еще была.

— Была, но уже сидела на доске.

— А когда мимо вяза плыли, то еще стояла, прямая как жердь, башку вверх задрала.

— Не башку, а голову, повтори: голову.

— Да чего там, ладно, голову.

— Она всегда держалась прямо, никогда головы не опускала.

— Старуха, а ходила как струнка и голову всегда вверх держала.

V

Теперь они зачем-то вернулись еще дальше, к третьему дню, и вечеру, и к ночи, которую они провели на

ногах, потеряли от радости сон и бродили по садам, бродили и веселились, потому что большая река стала спадать сантиметр за сантиметром и казалось, вода уже не доберется до полей и не войдет в село.

Люди припоминали друг другу ту вечернюю или скорее уже ночную пору, когда они увидали бабку Ядвигу, похожую на узкую, стоймя поставленную тень, она стояла у ворот с крошечным, почти как обман зрения, фонариком в руке. Потом видели ее, прямую, с запрокинутой кверху головой, как она шла к коровнику, как вошла туда и закрыла за собой дверь. Нашелся один, который вызвался пойти за нею и подкрасться к коровнику, и они его не отговаривали. Мало того, даже подбивали потихоньку пробраться к дырявой стене и сквозь щель подглядеть за Старым Соловьем. Они наказывали ему: «Поди глянь, что она там делает, а увидишь — нам расскажешь». Так они тогда науськивали Шутника, ибо, как только стало им известно, что вода в большой реке спала на несколько сантиметров, жизнь снова в них взыграла, и теперь им до всего было дело. Вспомнили и любимые свои проказы и розыгрыши, а заодно и привычное подглядыванье за бабкой Ядвигой.

Шутник тихо, на цыпочках подкрался к стене коровника, из пазов которого повыпадал мох, и прильнул глазом к щели. Вскоре он вернулся к ним с первым донесением: «Повесила фонарь на стенку, подошла к корове, пнула ее ногой и сказала: „Вставай, хворый мосол, надобно тебе встать, дохлятина ты этакая, завтра проверка скота“ ».

Люди снова послали Шутника к щели, любопытно им было, что там, в коровнике, делается, страсть как охочи были они до всяких, самых мелких мелочей, а все потому, что на насыпи у реки уже лишь кое-где мелькали огни фонариков, да и крики на берегу утихли, а это значило, что вода спала на несколько сантиметров. И снова Шутник легко, на цыпочках подскочил к щели со свисающим из нее мхом, прелым-перепрелым, спрессованным годами так, что конопатка стала напоминать широкий и твердый, давший усадку клин.

Какое-то время спустя, когда уже стемнело, Шутник вернулся доложить по второму разу: «Фонарь висит на стене, а она пристроилась супротив коровы, лоб в лоб, глядит ей в выпученный глаз и спокойно так втолковывает: ,,Надобно встать, завтра проверка скота“ ». От этих ее слов, повторенных Шутником, людям стало очень весело, долго они ждали, когда же к ним вернется способность веселиться, и вот она вернулась, дождались они, ведь на насыпи поредели огни фонарей, а это значило, что вода понизилась на несколько сантиметров.

И они снова погнали Шутника зыркнуть глазом в коровник. А ему того и надобно, на то он и Шутник; не долго думая, он бесшумно подскочил к щели, а люди остались в саду. Одни расселись на траве и так, сидя, расправив кости, расслабив мышцы, вольготно дыша, тихо веселились. Иным же не сиделось на месте, распирала их радость, потому как все тише становилось на берегу большой реки, а это значило, что вода спала еще на сантиметр-другой. Они сновали вкруг деревьев, ненамного отличаясь в темноте от яблоневых и грушевых стволов, и своим хождением вовлекали весь сад в плавный хороводный танец.

Когда Шутник вернулся, те, что ходили, остановились, сбились в кучу вокруг него, а он рассказывал: «Все там же, наедине с хворой животиной, стоит перед ней на коленях, лоб в лоб, глаз в глаз, чудно́ такое видеть, человек с животиной с глазу на глаз, глядят не отрываясь друг на друга, будто глазами разговор ведут».

Люди стали смеяться и в который раз погнали Шутника назад к щели. И снова он послушно, по-кошачьи двинулся к дыре в стене и немного погодя вернулся к ним той же своей мягкой звериной поступью.

— Орала на хворую свою скотину: «Вставай, завтра проверка скота! Сама вставай, сыночки мои тебя не поднимут, а я слаба стала, сыночки мои не почистят тебя скребком, далеко они отсюда, в городах, не придут они сюда к тебе, не подсунут холстину под бока, не поднимут тебя, самой придется встать. Вставай, пока не рассвело, пока не проснулись соседи, ни к чему добрым соседям видеть тебя хворой».

Потом Шутник рассказывал, как бабка Ядвига разозлилась, схватила вилы и стала бить корову. Лупцевала ее почем зря и кричала: «Вставай, вставай!» И случилась при этом такая минута, когда глаза человека и животного снова скрестились, и тогда бабка Ядвига приставила вилы к стене, загасила фонарь и тихо вышла из коровника. Но перед тем проговорила несколько раз: «Добрые соседи, соседские хари», а после добавила: «Сыночки мои не могут воротиться, я и без сыночков справлюсь».

— Но все это чепуха,— захлебывался Шутник,— все это чепуха по сравнению с тем, как они смотрели друг другу глаз в глаз, как впивались один в другого глазами, эти сцепившиеся взгляды человека и коровы, остальное чепуха.

Люди смеялись, а Шутник схватился за голову и побрел в поля, и все твердил на ходу: остальное чепуха, все чепуха, кроме этих сцепившихся глаз человека и скотины.

VI

А теперь люди, стоя на болотистой земле, которая совсем недавно превратилась в берег, и глядя на темную, металлом отливающую воду, стали ворошить самые разные подробности той ночи. Вспоминали даже, о чем говорили в ту минуту, когда бабка Ядвига загасила фонарь и под прикрытием сумерек выбралась из коровника, а Шутник, охватив голову руками, побрел в поля, твердя те самые слова о сцепившихся взглядах скотины и человека.

Они тогда еще какое-то время потешались над бабкой Ядвигой и Шутником, а потом завели разговор о своем мягкосердечии и доброте, о неусыпной заботливости, какой они окружили бабку Ядвигу, так что ничто не ускользнет от их добрососедских ушей и глаз, как не ускользнуло тогда и то, что бабке Ядвиге пришлось на полпути к коровнику опустить ведро с водой на землю.

Недреманное око соседей заприметило не только эту ее неожиданную остановку с полным ведром воды, но и то, как она его поставила — почти выронила от резкой боли в спине. А большие уши добрых соседей, ушки на макушке, сразу же уловили тихий стон, уловили прежде, чем она успела залиться своей «соловьиной» трелью — хитроумным, давно уж придуманным ею прикрытием таких вот стонов.

И сразу все эти бдительные, горящие глаза, ушки на макушке и все безжалостно добрые лица хлынули через все ходы в плетне к ней во двор, устремились к Старому Соловью и подступили так близко, что она могла увидеть в людских глазах, точно в маленьких зеркальцах, отражение деревьев и плетня, могла заметить, как шевелятся у добрых соседей уши, как соседи сопят и шлепают губами, хорошенько их разминая, перед тем как изречь ими благой совет.

А когда все эти глаза, уши, лица и губы надвинулись на нее вплотную, посыпались добрые, сочувственные слова и сложились в монотонное песнопение:

— Это уже не для таких сил.
— Это уже не для таких рук.
— Это уже не для такой спины.
— Это уже не для таких лет.
— Носить ведра из колодца.
— Поить корову.
— Управляться со всем этим.
— Тут не обойтись без помощи.
— Тут не обойтись без молодых сил.
— Тут не обойтись без кого-нибудь еще.

— Без кого-нибудь сильного.

— Без кого-нибудь крепкого.

Вот так молитвенно заливалась в саду возле колодца доброта, всегда безжалостная к старикам.

Безжалостным был и тот резвый бросок, тот пылкий порыв к бабкиному ведру какого-то парнишки, пришпоренного юным своим благородством, и его похвальное, пышущее улыбкой и молодеческой удалью сочувствие к старческой немощи, и эта его готовность сей момент оттащить бабке ведро к коровнику; жестокой была и та легкость, с которой он его поднял — играючи, не перекосив в напряжении рот, не выпучив глаза, не покраснела у него и не вздулась на висках и на шее ни одна жилка, словом, не видать было никаких следов усилия. И жестокой, и унижающей была на деле эта помощь старухе с ее коровой, ведь шла она не только от благородства, но и от забавы, шутовства, да при этом еще и сводила воедино вещи несводимые — самое силу и самое слабость; такая вот помощь свела их тут, в саду у колодца, дабы до отвала накормить человеческую доброту, дабы напоить воздух человеколюбивым чавканьем добродеев, дабы раскрылись сердца и напитались добротой всласть.

И вот уже парнишка шествовал с ведром по голому, укатанному двору, бодро так шествовал, грудь колесом, будто налегке, а бабка Ядвига бестолково наскакивала на него сзади, а то и забегала наперерез, загораживала дорогу и знай себе бубнила: «Поставь ведро, сама донесу, поставь ведро, сама донесу». Норовила даже ухватиться за дужку и тянула к себе, чтоб отнять, и все талдычила: «Поставь ведро, сама донесу, обойдусь без помощников».

А он на нее ноль внимания, этот донельзя пригожий и донельзя добрый молодец, он уже с азартом впрягся в лямку доброты, уже вошел во вкус служения доброму делу и понял, что при том раскладе ролей, когда возле несгибаемой, спокойной и твердой в своей доброте силы суматошно вертится нетерпеливая слабость, лично ему досталась выигрышная роль.

И вот, преисполненный гордости, питаемой сердечной добротой, великан в глазах глядевших ему вслед людей, шагал он, нет, бесшумно плыл, держа ведро на отлете, что тоже свидетельствовало о его силе.

Перед бурой, заляпанной навозом дверью коровника, перед сбитым, выщербленным порогом бабка Ядвига раскинула перед ним руки и закричала: «Поставь ведро, дальше не пущу, не имеешь права, это мой сарай, моя корова, не имеешь права, я сама напою свою хорошую, здоровую корову, проваливай отсюда, не имеешь права!»

А когда и это не подействовало и парень, набычившись от доброты, продолжал напролом переть на дверь и на порог, бабка Ядвига ухватила прислоненные к коровнику вилы и наставила их прямехонько на доброго парнишку и на сбившихся у него за спиной добрых соседей.

И тогда уж все отступились от нее и ушли, а бабка Ядвига, на всякий случай не выпуская вилы из рук, плюхнулась на порог и прислонилась к косяку; рядом с нею, в ведре, покачивалась вода. Дождавшись, когда люди скроются из виду, она отворила дверь и вошла с ведром в коровник напоить свою корову.

VII

Но все это было третьего дня. Сегодня же, сию минуту, есть только этот новый берег, это болото — призрачное творение разлившейся воды, у которого сейчас, ночью, нет даже своего цвета, как не бывает его у бесцветной грязи.

Люди, невидяще уставившись в землю, в воду и в ночь, льнули мыслями к самым недавним часам и минутам. В молчании петляли они по берегу, а потом тот или иной, поколесив туда-сюда, бормотал, что вода вовсе не тихая и спокойная, как кажется, что она еще наступает, и поднимается, и окружает берег.

Остальные принимали это бормотанье без тревоги, ведь стоило оторваться взглядом от воды и обернуться назад, как перед ними открывалась большая, уходящая вдаль земля, куда они в любой момент могли направить свой путь. Но они не уходили, потому что те молодые солдаты, которые привезли их сюда на плоту, наказали ждать тут, на берегу, пока за ними не приплывут или приедут и не вывезут их кратчайшим путем на большой тракт, а оттуда уже и в сухие жилища, где их напоят, накормят и определят на постой до той поры, пока не уйдет из их села и с полей вода.

Немного погодя кто-то проговорил: «Так что же все-таки стряслось с бабкой Ядвигой?» Людям сразу почудилась в его словах забота человека о человеке и не захотелось от него отставать. Они снова взялись разбираться и выяснять, когда же исчезла бабка Ядвига. Должно быть, надеялись, что по второму заходу удастся выгородить во времени тот промежуток, в который это произошло.

И потому они сызнова вернулись к той минуте, когда плот проплывал мимо вяза, а бабка Ядвига стояла на

самом краю плота. Все согласно подтвердили: «Да, тогда она еще стояла, еще была».

Потом вновь припомнили, что от вяза плот направился к верхушке большой вербы. А бабка Ядвига как раз уселась на доску на самом краю плота и засмотрелась вниз, на воду.

— Еще можно было разглядеть,— проговорил кто-то,— как она села на доску, сгорбилась и свесила голову вниз.

А другой добавил:

— Сидела на одном ее конце, а другой пружинил, качался и стучал о плот.

А третий на это сказал:

— Много чего тогда стучало о плот.

Другие тотчас же поддержали его:

— Весла стучали о плот.

— И наши ноги стучали.

— И наши пожитки.

— И волны стучали о плот.

— И наши руки.

Тот, кто сказал, что один конец доски пружинил и постукивал о бревно, скреплявшее плот, ответил на их слова вот как:

— Много было всяких стуков, но доска стучала иначе, чем все остальное, и нельзя было не отличить этот стук от других, и мы его отличали, потому что, хоть и темно было, не выпускали из виду бабку Ядвигу и доску, на которой она сидела.

Все обступили того, кто так сказал, окружили плотным кольцом и стали напирать на него телами, будто, так вот окружая его и напирая на него, хотели от чего-то предостеречь, будто считали, что, окружая и напирая на него своим жарким, спертым дыханием, они тем самым предупредят его, преподадут ему урок.

Но, не полагаясь на один только натиск и напор их заряженного полезными предостережениями дыхания, они зачастили:

— С чего ты взял, что доска стучала иначе?

— Разве мы различали?

— Почему ты так решил?

— И отчего это мы не выпускали ее из виду?

— Ее и эту доску?

Но тут кто-то вскричал: «А берег-то все закругляется!» А другой подхватил: «А ведь берег закругляется все больше!» И тотчас люди позабыли про того, который говорил о стучавшей доске, разбежались в разные стороны и подступили к прибрежной кромке.

Вода тихо пульсировала и, очищаясь в своих глубинах,

выбрасывала к терпеливым человеческим ногам всякие нечистоты, мазут и грязь, охватывая берег мутным и ржавым воротником.

Все заметили, что береговая линия, еще недавно напоминавшая еле натянутый лук, теперь больше смахивает на полуокружность. Но стоило им отвернуться от воды, как их сразу овеяло надеждой с расстилавшейся перед ними земли, болотистого, а все же твердого грунта. Еще маячила распахнутая дверь, через которую можно было уйти от воды восвояси. Но люди не воспользовались ею, ибо боязно им было брести куда-то впотьмах, лучше уж обождать солдат. И они знай себе твердили: «Когда же за нами приедут, когда нас отсюда заберут?»

Потом все стали обсуждать, что с ними будет, когда солдаты их увезут, строили догадки, куда их доставят, где разместят и когда можно будет вернуться в родные места, которые сейчас под водой.

Но кое у кого языки были словно заведены на разговор о прошедшем, и они перевели его с того, что будет, на то, что было. Им легко удалось переключить мысли и речи остальных с близкого будущего на недавнее прошлое, ибо в их речах и мыслях оно настырно домогалось своего места.

Сожалея о тогдашних несбывшихся ночных надеждах, люди к ним и вернулись, к тем минутам, когда у них, воспрянувших духом после небольшого спада воды, расслабились мышцы, когда они вновь задышали глубоко и ровно и стали прогуливаться по садам, снова падкие до всяких проказ и розыгрышей, когда совсем незначительное понижение воды сняло с них страх и они, слушая рассказ Шутника, подглядывающего за бабкой Ядвигой, вмиг переключились с протяжных вздохов и печали умудренных жизнью людей на глупый пискливый смех, когда сдвиг водомерного столбика всего на несколько сантиметров вызвал в их душе сдвиг от глубокого, въевшегося в закоченевшие мышцы отчаяния к детской писклявой радости.

VIII

Вспоминая то недавнее время, они не могли не вспомнить и разговор о своей к бабке Ядвиге доброте, разговор, зашедший после того, как Шутник понесся в поля, твердя о сцепившихся взглядах человека и коровы, а бабка Ядвига, погасив фонарь, куда-то себе побрела.

Потом всплыли у них в памяти минуты тишины, залегшей после разговора о доброте. То были минуты совершенной тишины и совершенно бездумного молчания, пустые, выпавшие из времени минуты, никому и ни к чему не пригодные, отходы, отбросы времени, когда человеческие мысли и стрелки часов соскакивают со своих пружин и безжизненно зависают.

Но вот со стороны реки и насыпи донеслись частые, громкие крики, и сразу же время и людские мысли снова подключились к шестерням и пружинам и люди в одно мгновение пережили обратный сдвиг — от писклявой детской смешливости к глубокому, до мозга костей отчаянию, потому что очень скоро эти надсадные, беспорядочные крики, вначале ничего, кроме неопределенного страха, не внушавшие, слились в один красноречивый вопль: «Насыпь прорвало!»

Вскорости голоса, несущиеся с берега и с насыпи, смешались с криками гулявших по садам и тех, кого этот шум настиг на полпути от насыпи к саду, а также с протяжным ревом скотины.

К этим людским крикам и коровьему мычанию добавился то ли шум, то ли треск, похожий на душераздирающие вздохи измученного человека или животного, странный такой звук, то сухо шелестящий, как опавшая листва, то размеренный, как галоп коня, а то глухой, как стук кидаемых один на другой туго набитых мешков; это был голос мчащейся на село воды.

После людские крики слились воедино с голосом подступающей воды и полилась одна широкая, разбитая на разные лады музыка страха.

Уже светало, когда эта музыка страха зазвучала в полную силу, когда голоса воды заглушили все остальные звуки, а ее потоки подобрались к изгородям, отделявшим сады от полей. Все, кроме бабки Ядвиги и Шутника, сидели к тому времени на кровлях и деревьях и сверху взирали на несущуюся воду.

То была вода не обыкновенная, какая бывает в озерах или реках, то были пенистые языки воды, они звучали каждый в своей тональности и наперегонки мчались к селу.

Все, кто сидел на кровлях и деревьях, могли видеть и бабку Ядвигу, удиравшую от этих языков. Было от чего смеяться, можно было бы лопнуть со смеху от одного вида удиравшей бабки Ядвиги, кабы не удирала она от той самой воды, которая прорвала насыпь и угрожала затопить село.

Бабка Ядвига невольно проделывала на бегу всякие уморительные притопы и подскоки на своих худых ногах,

обтянутых белой кожей, до того белой, что она отдавала голубизной, такая окраска больше приличествует царству цветов и небес, ею кичатся воздух и растения, а человеческое тело ее стыдится и прячет под ворохом одежек, потому что такой цвет вызывает страх или смех или то и другое вместе, а кроме того, оповещает о приходе старости.

Но случаются минуты, когда человек ничего и никого не стыдится и открывает во всей красе синюшные свои ноги, не смущаясь ни цветом кожи, ни наготой. Так бывает, когда человек удирает от настигающей его воды, потому что голыми ногами бежится быстрее; так было, когда бабка Ядвига бежала от наступавших на село языков воды. Задрала кверху широкую юбку, стеснявшую движения, и мчалась, закидывая голые ноги.

И хотя могло показаться, что бабкины ноги задают такого стрекача от страха, лицо ее ничего, кроме спокойствия, не выражало, а она его всем успела показать, потому что бежала запрокинув голову.

Всем было дано увидеть этот бег под музыку страха, сложенную из людских воплей, стенаний и скрежета зубовного, из гула воды и треска изгородей, из хруста ломаемых и уносимых потоком ветвей, этот великолепный, свободный от всяческих приличий, условностей и стыда, вольный, можно сказать — бесстыдный, ликующий бег бабки Ядвиги.

После люди могли также увидеть, как бабка Ядвига, не стыдясь и не смущаясь, пренебрегая условностями и приличиями, карабкается на старый тополь, видели и самое важное, самое нужное ее движение — как она ухватилась за сук в тот самый миг, когда вода ударила в дерево, потом раздвоилась и в долю секунды обе ее половинки схлестнулись за стволом в дружеском, но и враждебном яростном объятии, вступив в союз любви и ненависти воды к воде.

IX

Когда первая волна разбилась о тополь, Шутник еще боролся с водой, настигшей его у изгородей.

Он бежал, намного отстав от бабки Ядвиги, бежал, вытянув руку вперед и показывая на бабкину спину, непонятно почему показывал на ее спину; люди, сидевшие на деревьях в конце села, могли это видеть.

Но Шутник не успел уйти от воды, ему не хватило всего нескольких секунд или даже доли секунды, одного лишь сокращения какого-нибудь мышечного или нервного

волокна, а может, одной-единственной капли крови, которая позволила бы сердцу сделать еще один толчок, и Шутник тогда вовремя добежал бы до дерева. Не хватило самой малости, и вот волна настигла его прежде, чем он добрался до дерева. Вода хлынула ему под ноги и заставила покачнуться назад, но он еще не упал, еще, святая простота, попытался накрениться вперед, точно с этой бешеной, хищно сопящей водой можно затевать игру, пробуя удержать равновесие.

Как только он подался вперед, вода сразу преподала ему урок послушания, дабы не нарушал извечного правила, гласящего, что человек, бегущий от воды и настигнутый ею, должен падать навзничь.

Тут же волна покрупнее подкрепила первый удар следующим, в ступни и икры, подсекла ему ноги, и Шутник, опрокидываясь с раскинутыми руками, издал пискливый, но негромкий, этакий птичий звук, ибо только-то и нашлось у него сил, что на птичий щебет. Но надо отдать ему должное — этот щебет и был, собственно, его криком, воплем даже, и Шутник издал бы его как полагается, хвати у него на это сил.

Но сдался Шутник не сразу, хотя вода и уложила его на лопатки; еще, взбодренный купелью, он силился выскользнуть из ее объятий, словчить. Бултыхался в белой пене, стараясь оттолкнуться ногами от плотных слоев течения, одной рукой зачерпнул, как большим черпаком, горсть воды, а другой замахал в воздухе и таким манером смог перевернуться на живот. А дальше ухватился за колоду для рубки дров, которую несла с собой вода и которая как раз подвернулась ему под руку.

Он обнял эту колоду как брата, прижал к груди и какое-то время еще держал голову над водой и даже успел взглянуть вверх, на людей, но не узнал их, они предстали перед ним чужаками, неведомо какого роду-племени — вроде бы и похожи на тех, кого он знал, а вроде и нет; невесть откуда взялись и расселись на крышах и деревьях, на том ярусе поднебесья, который всегда был отведен для птиц.

А людям виделся Шутник с их мест вроде знакомым, а вроде уже и чужим, как будто близким, а как будто уже и далеким от них. Когда в село вступила вода, человек увидел в человеке существо другого, неизвестного ему порядка; пытаясь пробиться друг к другу сквозь эти новые личины, они долбили и долбили их, пока наружу не проступал не тронутый мыслью облик какой-нибудь прадавней твари вроде собаки, кота, лисицы или крысы.

Ворвавшаяся в село вода развалила изгороди, повырывала деревья помельче, перевернула старые, отдан-

ные на волю волн сараи и дома. Она разрушила все давние узы побратимства, кумовства и соседства и создала вместо них новые, дотоле невиданные братские и сердечные союзы: человека с деревом, человека с крышей, человека с крутым пригорком, с полюбившейся ему верхушкой этого пригорка, с трубой большого кирпичного дома.

А Шутник побратался с колодой, и этот обрубок стал ему закадычным другом, и оба они очень быстро уподоблялись один другому, очень быстро между ними стиралась разница — ведь еще в минуту, когда легковерный, не теряющий надежды Шутник, оттолкнувшись от плотных слоев воды, перевернулся на живот, ухватился за плывущую колоду и бросил взгляд кверху, на людей, еще тогда разница между двумя дружками была и люди могли отличить человека от бревна, могли кое-как разглядеть, где человек, а где бревно.

Но вскорости вода, потешаясь над этими побратимами, над закадычными корешами, захлестнула их и, применив свой излюбленный, когда разыграется, прием — поверху накат вперед, а понизу вспять,— заставила неразлучную пару в этом ее горизонтально-круговом движении проделать несколько головокружительных кувырков.

Пока они так кувыркались, разница между человеком и бревном стерлась напрочь, и непонятно было, человек ли на колоде или колода на человеке, все сбилось в один серый, вращаемый водой ком.

Немного погодя показались кверху торчком раскоряченные, еще напряженные в мышцах ноги, и разница вновь стала видна, на какую-то секунду видно было, что там человек, а все потому, что воде надоело крутить свое колесо, она дала волю постоянному, горизонтальному течению, которое распрямило человеческое тело, а слегка приторможенная круговерть вынесла на поверхность раскоряченные, еще напряженные в мышцах ноги. Но стоило воде слегка, потехи ради, огладить их волной, как они тут же обмякли и скрылись, и человек свернулся калачиком вкруг бревна; тут возвратилась круговерть, а вместе с ней и кувырки, и разница между человеком и колодой опять совершенно стерлась.

Теперь вода надолго усадила двух корешей в гнезда своих воронок и, раскручивая их по красивой, рифленой водной тверди, несла по впадине, пересекающей сады, вплоть до старой вербы. К этому времени различить их уже не представлялось никакой возможности, остался один серый, как когда они кувыркались, мокрый ком. Никто в нем не разевал и не закрывал рта, не заглаты-

вал воздух, не пускал пузыри, не мелькала в нем человеческая голова. Тех, последних, рывков к жизни и к смерти уже не было, было согласное смирение побратимов, одного из которых смерть подсекла неведомо еще когда, а другого — только что.

Вода подогнала их к большой вербе и, перебрав запас самых разных своих течений, таких, которые то подстегивают друг друга, то скрещиваются, то взаимодействуют или, напротив, взаимоборствуют, выбрала из них резкое движение снизу вверх и в последний раз показала Шутника всего целиком, нежно притулившимся к бревну; его голова покоилась на колоде, а руки и ноги сжимали ее, обнимали. Но это последнее явление Шутника народу длилось очень недолго, вода пустила в ход одну из своих воронок, втянула в нее человека и бревно и укрыла своим мутным покровом.

После, употребив самый грубый и безотказный прием, бросок вперед, она швырнула это странное существо, получеловека-полудерево, на могучий ствол вербы. Но разлучить их уже не могла, не удалось ей разлучить двух этих побратимов, ибо за что уж человек ухватился в смертной своей судороге последней мертвой хваткой, того и вода не отнимет.

И вот они вместе, бревно и судорожно вцепившийся в него человек, отчалили от ствола и поплыли себе дальше как одно серое существо, то ли человек, то ли дерево, полудерево-получеловек.

Позже Шутника найдут прильнувшим к бревну, найдут где-то в иле. Расцепят ему пальцы, разогнут плечи и наконец разлучат его с колодой.

X

Люди, недавно высадившиеся с плота на болотистый берег, вспоминая смерть своего любимца Шутника, умудренно рассуждали о том, что его непременно найдут где-нибудь в иле. Умудренность их была следствием долговечного опыта обитателей широкой низменной равнины, отданной во власть больших рек, именно потому они нисколько не сомневались, точно знали, что Шутника после спада воды отыщут где-нибудь в иле.

Освежив в памяти все кувырки и выкрутасы, все виражи и коловращения побратавшегося с колодой Шутника и доказав друг другу, что его непременно найдут в иле, люди вдруг замолчали; они словно давно ждали этой паузы для того, чтобы сразу ринуться к берегу — проверить, как там дела с водой и точно ли она

продолжает слизывать берег. Нетрудно было заметить, что неровный полукруг превращается в столь же неровный круг, но сказать друг другу: «Вода нас окружает» — у них не поворачивался язык, будто они боялись тем самым ее раздразнить и подзадорить, к тому же на них еще веяло надеждой из распахнутой двери, видневшейся в стене воды, она хоть и сузилась, а все ж, как и прежде, вела на большую землю, на твердый грунт. Авось скоро с той стороны войдут, авось приплывут к ним по воде и отвезут в какое-нибудь село, в сухие жилища. А пока есть еще время вспоминать.

И они в который раз стали перебирать недавние события, побывали под тополем, на котором сидела бабка Ядвига, когда вода вошла в село, а потом по второму заходу подступились к тому времени, когда они уже сидели на плоту.

Все-то их тянет воскрешать недавние события, вытаскивать из памяти каждую подробность, выискивать такие, которые ими еще не обговорены, без устали пробиваться к тому моменту, когда бабка Ядвига куда-то запропастилась.

Им удалось припомнить кое-что из сказанного Старым Соловьем на плоту; сейчас эти ее слова у них, окруженных водой, но все же спасенных, вызывали удивление. Удивляло их, как бабка Ядвига говорила об утонувшей своей корове, о своем дворе и хозяйстве, которое теперь вместе с другими хозяйствами затоплено водой.

Все как один подтвердили, что бабка Ядвига говорила о своей корове вот что: «Там, под водой, осталась моя ладная гладкая корова, моя здоровая гладкая корова».

Люди припомнили даже, что бабка Ядвига, говоря это, показала рукой вниз, в воду, где осталась эта, по ее словам, ладная и гладкая корова.

Когда она так сказала, все замолчали, на плоту наступила тишина, прерываемая лишь ударами весел о воду и хлюпаньем пены, взбитой веслами и летящей на мокрые бревна плота.

Но здесь, на болотистом берегу, повторив ее слова, они стали увязывать их с услышанным этой ночью от Шутника, который подглядывал за Старым Соловьем сквозь щель в коровнике. Повторили тогдашние ее слова, принесенные им Шутником для забавы и потехи в сад, а говорила она тогда так: «Вставай, хворый мосол, вставай, дохлятина ты этакая, завтра проверка скота».

Люди вслух задавались вопросом, с какой это стати Шутник, убегая от воды, показывал на бабку Ядвигу, бежавшую впереди. Может, следил за нею после того, как она вышла из коровника? Может, наткнулся на нее

где-нибудь в поле или на насыпи? Или видел ее у реки? Что он о ней такое узнал? Почему в коровнике в сердцах говорилось: «Вставай, хворый мосол, вставай, дохлятина», а на плоту сказано было с гордостью: «Там, под водой, осталась моя гладкая здоровая корова»?

Кто-то засмеялся, да так громко, что какое-то время далеко вдоль берега и по воде раскатывался хохот этого весельчака, а потом он заговорил и всем открылась причина его веселья: «Кому интересно знать, тощая или гладкая, пусть плывет обратно, нырнет и общупает корову, тогда и узнает. Теперь уж Старый Соловей не захлопнет у вас перед носом дверь, плывите, а то поздно будет».

Этому весельчаку не надобно было им объяснять, почему будет поздно,— кто живет у большой реки, тот знает, что вода там, на дне, быстро уравнивает и откармливает всех утопших тварей, и тощих и гладких, все одинаково вздуваются и распухают, как и положено утопленникам.

Перебирая в памяти первые свои минуты на плоту, люди вспоминают и то, как бабка Ядвига говорила о своем хозяйстве: мол, все так складно у нее там шло, и пусть не думают, что дела у нее шли плохо. Она буравила их взглядом и твердила: «Там все шло хорошо, понятно? Все там хорошо было». Приговаривала так до тех пор, пока головы у них не пришли сами собой в движение и не закачались вверх-вниз, что означало: «Да-да, там все шло хорошо, все там хорошо было!»

И тогда она отвернулась от них, подошла к краю плота, нагнулась и провела ладонью по мутной водной глади. Еще не настолько стемнело, чтоб люди не увидели, как она склонилась и погладила воду.

В ту минуту, на плоту, они только и кивали головой как заводные куклы, а здесь, на болотистом берегу, у них развязались языки, и, поумнев задним числом, они теперь смекнули, что никому из них не взбредет в голову так вот, как она, дотронуться до воды. Ежели хотят узнать, не холодная ли, то макают палец, а не проводят по ней раскрытой ладонью, не гладят. А бабка Ядвига так дотронулась до нее рукой, как дотрагиваются до кота, до собаки или ребячьей головы, когда хотят погладить. Так прикасаются к домашним тварям или детям, а не к воде, затопившей село.

Кто-то припомнил еще, что, разогнувшись после этого своего прикосновения к воде, она снова повторила, имея в виду свое хозяйство: «Там все было в порядке». Потом, быстро зыркнув на людей своими запавшими глазами, бросила: «Моим сыночкам незачем было возвращаться,

слышите, я управлялась и без сыночков, там все шло хорошо». А чуть позже проронила, опять же про свое хозяйство: «Но все это уже под водой, никто не увидит».

Далее из воспоминаний людей, очутившихся на болотистом берегу, следует, что бабка Ядвига после задорного, можно сказать, ликующего своего заявления насчет того, что хозяйство ее теперь под водой, загляделась вдаль на воду.

Люди постепенно возбуждаются, говорят все быстрей, причем из этой хоровой многоголосой скороговорки чаще и отчетливей всего выбиваются те воспоминания и наблюдения, которыми они хотят неопровержимо доказать, что бабка Ядвига глядела на воду так, словно гордилась этим разливом, словно он был ей по сердцу, этот разлив, поглотивший коней и коров, кур, снопы, изгороди и Шутника.

Сейчас люди, ведя речь о том, что они видели на плоту, уже не отговариваются темнотой, на которую ссылались, как только высадились на болотистый берег, уже не прикрываются удобной, спасительной отговоркой: «Было темно, было очень темно».

Они теперь снова хотят уловить ту секунду, когда исчез Старый Соловей, хотят окружить и зажать ее в тиски соседних с нею секунд, заодно зажав в тиски соседних событий и саму пропажу Старого Соловья, чтобы память их наконец поймала с поличным тот миг, когда бабка Ядвига сгинула. Но прежде они, похоже, хотят переворошить и освежить в памяти все, предваряющее этот миг, чтобы кое в чем получше разобраться.

Так, они задались вопросом, почему это бабка Ядвига, старуха, больше других перевидавшая на своем веку, не испугалась воды.

Стыдясь друг перед другом недавнего своего страха и взаимно оправдываясь, они говорили, что ей, старой, было все едино. По их словам, смерть и так была у нее не за горами, ходила с нею, как кто-то пошутил, в обнимку.

Так благодушно и даже с усмешкой рассуждая о смерти, тулившейся к бабке Ядвиге еще до разлива, они своим благодушием и шутками как бы улещали и обезоруживали ее, благо такое панибратство могли себе позволить, стоя на твердом, хоть и болотистом грунте.

Кто-то вдруг засомневался в таком ответе на вопрос, отчего это бабка Ядвига не боялась воды: «Да ведь она бежала от нее!»

Но многие, слыша эти слова, так ему говорили: «Но как бежала! Ты видел, как она бежала?»

И сами отвечали на свой вопрос: да, перебирала она

синюшными своими ногами быстро и наверняка хотела убежать от воды, но на лице ее особого страха не было, скорей даже что-то от издевки, от удовольствия, а как влезла она на тополь и как стихла вода, так сразу стала заправлять перепуганным селом.

Теперь люди, точно судьи или прокуроры, вознамерились дойти до всего и заодно понять, отчего это их вдруг со сбивчивых, случайных, какие только на язык придут, толков потянуло раскидывать мозгами над той или иной подробностью, дотошно в каждую вникать. Почему, скажем, они так долго обмозговывают вопрос: «С чего это бабка Ядвига не боялась воды?» Их не устраивал ответ, гласящий, что не боялась, потому как незачем было бояться, все едино они со смертью ходили в обнимку. Мало им такого объяснения, потому и возвращаются снова к Шутнику, к сказанному им о бабке Ядвиге и корове, за которыми он тогда подглядывал, и к словам, сказанным на плоту самой бабкой о своих затонувших корове и хозяйстве, о своих сынках. Вспоминают, что Шутник говорил о тощей корове, а бабка — о гладкой.

XI

И снова люди разбрелись кто куда, чтоб собраться с мыслями, и вот один из них, тот, что дальше всех забрел в сторону перешейка, отделявшего воду от воды и совсем недавно соединявшего их с широким миром, примчался, еле переводя дух, и, тыча рукой туда, где была твердая, открытая суша, только и выдавил из себя: «Там вода!»

Было темно, заря только еще занималась, но все разглядели в той стороне что-то неопределенное, белесое, цвета шелудивого пса. То была вода, так она выглядит в один-единственный миг, на переломе от ночи к рассвету.

Они подошли к воде, отрезавшей им выход в широкий мир, надеясь, что это все-таки земля. Но там была вода, вдаль и вширь разлившаяся вода.

В полной тишине, разве что посапывая и почти беззвучно постанывая, да еще чавкая сапогами по болоту, разбежались они по берегу в поисках выхода.

Им довольно было бы узкого перешейка, этакой стежки в полмежи, какая разделяет поля жадных до земли соседей, еле заметной полоски, достаточной, чтоб гуськом пробраться по ней и уйти отсюда. Но ничего такого не было уже и в помине.

Несколько раз им казалось, что вот она — эта полоска. Но едва они ступали по ней шаг-другой, как она

уходила под воду, и им ничего не оставалось, как возвращаться обратно. В этих поисках и застала их заря, развеявшая обман зрения, а вместе с ним и всякую надежду. Рассвет медленно, но верно возвращал воде ее настоящий, бронзовый цвет паводка, какой бывает у большой реки, когда она прорывает насыпь и захлестывает село. Но они еще долго не могли поверить в очевидное, долго еще рыскали в поисках хоть клочочка, хоть самой узенькой полоски земли, которая позволила бы им ускользнуть от ненасытного паводка и убраться как можно дальше. А не найдя ничего такого, стали искать брода.

Страх поселил в них спокойствие и сосредоточенность, и они внимательно всматривались в водную гладь, пытаясь по малейшей игре теней и волн, по прямым и спиральным линиям, по чуть заметным изгибам распознать, где глубоко, а где мелко. А потом брели кто прямо в обувке, а кто разувшись и радовались, что вода им только по щиколотку, только по колено. Но дно уходило все глубже, вода поднималась все выше, уже была выше колен, уже холодила до судорог в паху, от озноба сводило животы и спины, и люди, порядочно отойдя от суши и завидев вокруг себя одну лишь воду, спешили вернуться на свой остров, который оставался еще надежной опорой для ног; для ног, но не для мыслей, способных забегать вперед и предугадывать беду, а потому уже не видящих этого острова или видящих его под водой.

Именно это предвидение и способность заглядывать вперед велели им, как и тогда, в начале паводка, осмотреться вокруг в поисках деревьев. Раз уж не нашлось никакого перешейка, никакого брода, живучая, схороненная в уголках глаз надежда заставила их выдохнуть: «Деревья!»

Как пригодились бы сейчас те высокие тополя, но они далеко, за большой, глубокой водой. Люди показывали на них руками, всем телом тянулись к высоким тем тополям, как тянутся дети к жестоким, бессердечным мачехам; а вот сучья верб, что торчали поодаль над разливом, не годились, тонкие и хрупкие, они человека не выдержат.

Оставался один остров, а он все уменьшался. Они видели, но не говорили об этом, речь у них от страха отнялась и канула куда-то на самое дно мыслей.

О бабке Ядвиге не вспоминали теперь ни единым словом.

Наступающий рассвет обрисовал их фигуры в обвисшей одежде, опущенные плечи, ноги, вымешивающие

грязь в болото и болото в хлябь, и всю эту землю, крохотный пятачок земли, остров-болото, на которое судьба в случайном порыве жалости забросила несколько сухих палок.

Теперь, с рассветом, им стало куда как понятно, что с этого острова им не выбраться никаким, даже самым узким перешейком, потому что никакого перешейка нет. Они уже убедились, что и мелей нет, поэтому и вброд им от разлива не уйти.

А еще убедились, что нет и больших деревьев, до которых можно добраться вброд или вплавь и схорониться на них.

Как только все эти три возможности отпали, надежда — на сей раз она угнездилась в уголках дрожащих губ — обратила их внимание на плавающие у берега жерди и штакетины. И тогда с губ у них сорвалось и воссияло перед ними драгоценное, животворное слово — «Плот!».

Они кинулись лихорадочно подсчитывать плавающие обломки и пришли к выводу, что их хватит на совсем маленький плот, но все же принялись за постройку.

Кто-то спросил: «Чем будем связывать жерди и штакетник?» Глупый, пустой вопрос задал, ибо не успел он его договорить, как уже кое-кто из самых сообразительных снял с себя порты и стал их рвать на полосы. Делали они это уверенно и даже гордо, хотя какая уж тут гордость; напяленная на перепуганные лица людей, затравленных водой и суетящихся в грязных мокрых подштанниках,— смеху подобна такая гордость.

Остальные последовали их примеру, и над болотистым островком поднялся треск раздираемых грязных одежд и исподнего, замелькали руки, свивающие шнуры и веревки для вязки плота.

XII

По берегу сновали полунагие, сраму не имущие люди, и повторилась та минута, когда они, такие же вот расхристанные, потерявшие от страха стыд, ступили на тот первый свой плот, на котором приплыли за ними солдаты.

Но стоило им еще раз пересчитать плавающие у берега обломки, как стало ясно, что их едва хватит на такое сооружение, которое и плотом-то не назовешь, ибо он вряд ли кого выдержит.

Однако ж они не отказались от своей затеи, но прежде вбили на берегу, на границе между болотом и

водой, несколько палок, чтобы проверять, быстро ли она поднимается. И только тогда вошли в воду и стали прилаживать одна к одной жерди и штакетины, связывая их тряпьем из разодранных штанов и рубах.

Люди быстро управились с работой, потому как ни на что больше не теряли времени — ни на вздохи, ни на разговоры, ни на пустое безделье. Если что и говорили при этом, то только самое необходимое, то, что касалось работы и их спасения.

Кроме всплесков, производимых ногами, кусками дерева, кроме шлепков рук об воду слышались лишь такие слова: «Свяжи тут, тут надо связать, подвинь жердь, подвинь штакетину».

А когда плот был готов, когда они взглянули на этот крохотный, тонкий ломтик, им ничего не оставалось, как удивиться собственной наивности и спросить себя: «Как оно получилось, что мы так рьяно кинулись сбивать эту пластинку, эту пену, годную лишь уткам на забаву, но никак не для спасения людей?» И все-таки они пытались взойти на плот, оттесняя друг друга, карабкались на него. Пустое дело — плотик, связанный из тонких, намокших жердей и штакетин, уходил под воду, стоило только опереться на него рукой. Да и непрочная тряпочная вязка распозлась, и плот на глазах рассыпался на части. Скоро он снова стал тем, чем был прежде: порознь плавающими жердями и штакетинами.

Может, так оно было к лучшему — останься плот на плаву, вряд ли на нем удержался бы порядок, каждый старался бы влезть первым, стащить другого, отвоевать себе место. Пихались бы и цеплялись один за другого. Посрывали б друг с друга последние клочки одежды, если эту рвань еще можно было так назвать. Наверняка дошло бы до драки, и не одного втоптали бы в болото, и никто бы даже не заметил, что под ногами у него человек выдыхает последние остатки жизни.

А и прозвучи чей-нибудь благородный голос, какая-нибудь проповедническая нота, напоминающие о любви к ближнему и о сохранении порядка, враз бы эти голоса втоптали вместе с их владельцами в грязь, в воду, и благородные сии ноты обернулись бы невразумительным бульканьем.

Так бы оно и случилось, окажись плот хоть мало-мальски пригодным, поскольку уже тогда в их глазах сверкнул недобрый огонь, когда они впервые взглянули на эту игрушку, на это с таким тщанием и азартом изготовленное ими детское сооружение,— ведь мысленно они уже прикидывали, и отпихивали, и колотили друг друга, пока не уразумели собственной наивности.

И уж если из-за этого мыльного пузыря, который и назвать-то плотом мог разве что последний бедолага или безумец, уж если из-за него они готовы были пихаться, толкать друг друга и драться, то, окажись на воде не детская игрушка, а что-нибудь похожее на плот, способное удержать одного-двух человек, наверняка дело обернулось бы худо.

Но раз ничего такого у них не получилось, они дружно заспешили к тому месту, где у них были вбиты колышки, и убедились, что те уже торчат из воды, а это значило, что вода поднялась и остров все уменьшается.

Удостоверившись в таком деле, они и в этот раз не вспомнили о бабке Ядвиге, а стали казнить себя зряшными, бесполезными сожалениями. «Зачем мы не поплыли с солдатами дальше, зачем сошли здесь, зачем послушались солдат?»

Они призывали, возвращали из прошлого ту минуту, когда могли еще заупрямиться и не сойти на берег, а плыть дальше, в сухое, надежное место, как те, на первом плоту.

А потом часть из них крепко уверовала в то, что за ними все-таки приплывут прежде, чем остров затопит, что там, далеко за разливом, о них думают, может, уже плывут сюда, и пусть пока их не видать, но с минуты на минуту они будут здесь.

Другие в это не верили, доказывали обратное, утверждали, что никто за ними не явится, надобно самим как-то выкручиваться, хотя вряд ли это удастся.

Один даже крикнул, что слышит вдалеке зов. Все сразу притихли и вслушались, после чего согласились, что и впрямь долетают какие-то голоса. Но по существу то были не настоящие голоса — зов, услышанный тем человеком, а за ним и другими, на самом деле родился в них самих и они сами выслали его в далекие просторы с тем, чтобы он вернулся к ним чужими голосами, голосами плывущих спасателей. С ними сыграла шутку неравнодушная к иллюзиям надежда, которая, как ни мал был уже остров, все еще блуждала по их лицам, находя себе приют в уголках то губ, то глаз, то вдруг расслабляла и озаряла все лицо. О бабке Ядвиге по-прежнему никто не вспоминал.

XIII

Они подошли к самой воде и загляделись на нее, а вернее, на большие, далекие от них деревья. Которые помоложе небось примеривались и прикидывали про себя

расстояние между ними и островом и соображали, не добраться ли им до тех деревьев вплавь. Они должны были, понятное дело, устрашиться этого расстояния; такая безысходность заставила их отступить от берега, смешаться со старшими; окружающая людей бескрайняя вода вдруг уравняла всех в возрасте, перечеркнула прожитые лета и превратила их в выпавших из времени сверстников.

Вода быстро надвигалась на остров и быстро его поглощала. Уже и без вбитых колышков стало заметно, как она поднимается. Достаточно было взглянуть, как лижет она берег и откатывается назад, словно не может взобраться, а все-таки неуклонно взбирается; хоть по самой малости, по узкой полосочке, да отнимает у людей пядь за пядью.

Но под ногами у них еще была земля: еще ее хватало, чтобы пройтись по ней взад-вперед. И они прогуливались, придерживая сваливающиеся остатки одежды и грязного белья.

Именно тогда, обратив внимание на эту свою прогулку и друг на друга в грязных портах и рубахах, они пережили короткий, мимолетный взрыв веселья.

Но потом люди глянули друг на друга иначе, так, что сразу пришла им на память та минута, когда Шутник, опрокинутый водой и приросший к колоде, поднял глаза кверху и посмотрел на них, сидящих на крышах и деревьях, а они, опустив глаза вниз, посмотрели на Шутника. Им вспомнилось это, ибо они сейчас глядели друг на друга, с трудом узнавая, будто не в силах сообразить, откуда они друг друга знают, будто каждый, разглядывая остальных, терзался вопросом: «Что это за люди, я знаю их, а точно ли я их знаю?», будто каждый хотел спросить знакомых, близких и соседей: «Кто ты, откуда здесь взялся?»

Настал час, когда каждому захотелось обойти другого, избежать чужих глаз, и они прохаживались друг мимо друга, отворотив лица.

Но долго так длиться не могло, ведь остров знай себе уменьшался, и им приходилось уже протискиваться мимо встречного, и отвести глаза было все труднее. Вода поднималась все выше и выше, и люди уже терлись друг о дружку, а вскоре ходить и вовсе стало невозможно, ибо от острова остался крошечный пятачок.

Пришлось им сойтись плечом к плечу, сгрудиться, и стали они как вязанка камыша, крепко схваченная перевяслом и поставленная в воде на попа.

В час, когда людям больше всего хотелось избежать друг друга, они вынуждены были встать телом к телу,

лицом к лицу, взглянуть глаза в глаза.

Вода, взбираясь вверх, щекотала пятки тем, кто стоял по краям плотной людской кучки, и крайние напирали на середину, еще плотнее уминая эту вязанку.

И так случилось, что люди в своем взаимном отвращении, в страхе и бессилии оказались тесно повязаны между собой.

Они глядели соседям в глаза и лица и ненавидели самих себя и остальных за бессилие. Пожалуй, и весь род человеческий ненавидели за то, что нет у человека ни крыльев, ни плавников, ни жабер, а есть только груда розовой плоти, которой и воздух и вода брезгуют, а лакома она лишь для земляной утробы. И пожалуй, именно потому, распираемые охотой насолить себе и другим за то, что они люди, а не птицы или рыбы, а еще потому, что терзали их вина и возмездие, они и высказали всю правду.

Случилось это тогда, когда вода прикрыла им ступни, а может, уже и к икрам подобралась.

— К чему была вся эта болтовня про то, как и куда запропастился Старый Соловей? — сказал кто-то в этой вязанке людей, обрыдших друг другу, а все же жаждущих сохранить как можно дольше эту великую давку, ищущих спасения в неустанном напирании один на другого, в притирке тел в плотную вязанку, а еще в общем признании вины.

И сразу же за этими словами неудержимо хлынули другие. Один говорил соседу, тот всем остальным, а порой все говорили за кого-то одного — лишь бы успеть выговориться, признать вину, ведь вода уже ледяным обручем схватывала икры и неотступно подбиралась к чувствительным местам под коленками.

— К чему было гадать, когда пропал Старый Соловей?

— Ведь ты же знал, как оно все случилось.

— И ты знал.

— И ты.

— Мы все знали, как это стряслось.

— Ты же знаешь, как было с той доской, которая стучала о плот.

— Которая хлопала по плоту.

— Да и ты знаешь.

— Все знают, что бабка Ядвига сидела на одном ее конце.

— А мы на другом.

— Ты еще сунул ногу под тот конец, который стучал о плот.

— Ты тоже.

— И ты.

— Все мы подсунули ноги под доску, которая хлопала.

— Все мы знали, что там, под ветками, будет самая темень.

— И ждали, когда доплывем до них.

— А как плот вошел в гущу веток и поднялся шум, тут мы разом и смекнули.

— И подняли ногами край доски.

— А другой конец опустился к воде.

— А на том конце сидела бабка Ядвига.

— К чему было гадать, когда это сгинула бабка Ядвига?

XIV

Вода была им уже выше колен и ползла к окоченевшим бедрам, а солнце как раз показалось над водной равниной, когда они услыхали вдалеке песню. А вскоре разглядели и плывущий к ним паром с солдатами, которые ладней всего поют, когда идут выручать из беды.

И сразу расслабилась людская вязанка, сразу же все поворотились к парому, к солдатской песне. Немного погодя люди, поддерживаемые молодыми паромщиками в форме, взобрались на паром и укрылись солдатскими одеялами.

Они с головой завернулись в грубую дерюгу, упрятали лица и только зыркали друг на друга сквозь щели из-под натянутых одеял.

Долго таились они так под одеялами, как в норах, и лишь глазами оттуда поблескивали.

Здесь на пароме, в безопасности, их снова потянуло друг к другу, потянуло искать в другом опоры и оправдания всему, что они учинили на плоту. Укрытые грубыми одеялами, они жались сосед к соседу и, посапывая в проделанные по краям дерюг окошки, приглушенно, шепотом договаривали все, чего недосказали на острове.

— Это она разрыла насыпь.

— Это она пустила в село воду.

— Радовалась ей.

— Утопила Шутника.

— Затопила село.

Поднялось солнце и залило воду приглушенным блеском, не тем ослепительно ярким блеском, каким покрывает чистую воду, а именно приглушенным, какой бывает при отражении солнца от закрашенных глинистым

цветом, бронзовых вод половодья.

Разлив застыл и затих, не было на нем ни борозд, ни зарубок, ни спиралей. Вода плотно себя укутала и не выдавала себя ни единой волной. Потеплело, и люди высунули из-под одеял лица и головы.

Чуть погодя они уже всматривались в новый далекий берег, к которому медленно двигался их паром, ведомый напевающими солдатами.

Люди могли уже разглядеть на новом берегу деревья и кое-какие сооружения. Они разглядели ленты дорог и на них скопления красивых автомобилей, от которых солнце отражалось не приглушенным, а чистым блеском.

По мере приближения к этому чистому, нарядному берегу пассажиры, столпившиеся у края парома в накинутых на плечи серых дерюгах, различали на прибрежной полосе красиво одетых людей, в шляпах, в белоснежных рубахах и при галстуках, а рядом солдат из спасательной дружины в зеленых мундирах, схваченных новыми желтыми ремнями, и в башмаках, тоже из желтой кожи. Все ближе надвигалась на них эта сверкающая всем новехоньким земля. И люди стали плотнее укутывать свои грязные тела, прикрытые жалкими клочьями верхнего и исподнего белья.

Когда они сошли на берег, к ним ринулись резвые молодые люди и стали щелкать фотоаппаратами.

Потом их отвели к большой машине, у которой выдали новую одежду, белье и мыло. Но перед тем,как облачиться в эти полученные ими наряды, перед тем, как влезть на грузовики, они отошли в сторонку, в безлюдные места у берега, чтобы помыться.

Ополаскиваясь в мутной воде, они поглядывали на красивые автомобили и видных из себя людей, увешанных какими-то приборами, сумками и фотоаппаратами, снующих на берегу в местах, откуда начинались хорошие, ровные дороги.

Когда они так озирались на эти сухие пятачки земли и на красиво одетых людей, кто-то из них вскрикнул: «А вон сыновья бабки Ядвиги!»

И сразу все распознали в двух высоких представительных мужчинах в светлых костюмах и светлых шляпах ее сыновей — те стояли, облокотившись о крышу автомобиля, и зорко вглядывались в разлив.

БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ

Он поднял эту прямоугольно обтесанную балку за один конец и положил себе на плечо, а потом осторожно передвигал ее, пока другой конец не оторвался от земли и вся балка, чуть покачиваясь сверху вниз, снизу вверх, не улеглась у него на загривке.

Тогда люди, которые были возле него и которые прекрасно разбирались в тяжестях и на глаз умели определить вес разных предметов, удивились и, слегка подавленные этим своим удивлением, произнесли нараспев, протяжно, словно бы песню начинали,— силен...

А потом они удивились еще больше и пропели — ну и ну,— когда он с этой балкой прошагал через весь сад и подошел к стене дома и только там сбросил ее на землю, умело наклонившись, а затем откинувшись в сторону.

О его силе сразу же стало известно в деревне, потому что слухи об этом расходятся среди людей, да и как им не разойтись...

И одни старики говорили — этот Новый здоров как бык; а другие старики — он чертовски крепок; а молодые — что сила у него нечеловеческая...

Он приехал в эту деревню, потому что его деревня пошла под город и завод; купил постройки и кусок поля у старого крестьянина, у которого так ослабели ноги, что он не мог уже ходить и должен был перебраться к детям; и теперь этот старик, эта охапка старых сучьев, живет где-то из милости у сына-инженера и его жены, а может, у дочки-учительницы и ее мужа, из милости, которая — как говорят некоторые — сладка, словно мед с перцем.

Так вот, сначала об этом Новом, об этом пришлом на разные лады говорилось, что он страшно сильный; а потом — что он разбирается в плотницком деле и знает, как привести дом в порядок, потому что этот купленный им дом требовал ремонта.

Хозяйственные постройки — конюшня, коровник, хлев, да и овин тоже — были в хорошем состоянии, но низ у дома, хоть сам он был большой и внутри просторный и удобный, прогнил, стал трухлявым, надо было его заменить.

Сначала через изгородь, а потом и открыто, подходя совсем близко, люди смотрели на Нового, который чинил стены дома; они видели, как он с большим пониманием дела выстукивал топориком старые балки, и как топорик легко в них «тонул», и как с нижних венцов осыпалась светлая труха, а из сердцевины бревен вытекала черная жижа.

А потом они могли видеть, как он вырывал из-под дома старые венцы и подводил новые и как этот дом опоясало снизу белое новое дерево.

Они стали по вечерам приходить к нему, усаживались на старом или на новом бревне и беседовали с ним о старых домах, которые еще кое-где уцелели, и о домах новых; они испытующе разглядывали его, хотя, если говорить о наружности, они его уже изучили: это был высокий, хорошо сложенный мужчина со смуглым лицом и густой шевелюрой; они знали, что он сильный и умеет привести в порядок дом; на их глазах он умело заменял нижние венцы дома; но людям было всего этого мало, им бы хотелось застать его еще за чем-нибудь и еще за чем-то...

Кое-кто помогал ему немного в работе — тот стукнул в клин при подбивке балок, другой подержал ватерпас или вместе с ним подтолкнул бревно на низкие козлы и закрепил его перед обтесыванием.

За всякую малую помощь Новый всегда долго и как-то прочувствованно благодарил и заверял, что при первом же случае он за это отработает у того, кто ему помог.

И это тоже стало известно в деревне, потому что все о пришлом расходилось среди людей, да и как же могло быть иначе.

И так случилось, что где-то в саду, на дороге или через щель в изгороди один сказал другому, а может, и нескольким, что, когда у Нового что-то подтолкнешь, когда просто от скуки что-то ему подвинешь, подашь или разок стукнешь по бревну, которое он обтесывает, он умиляется и долго благодарит.

Не обошлось без того, чтобы кто-то не вставил — такой здоровый, а ведет себя как ребенок; а один из молодых добавил — мужик как бык, а раскисает, будто младенец, и благодарит аж со слезой.

Эта его слеза была большим открытием, и деревня за нее уцепилась, и люди почувствовали себя свободней, а

кто-то даже отважился сказать — какой-то он смешной, этот Новый.

Когда он подвел под дом четыре венца и законопатил щели и когда навел порядок в хозяйственных постройках, то сказал соседям, что отправляется за скотиной, что приведет две коровы и лошадь.

Пока его не было, деревня без устали о нем судила и рядила, и в конце концов люди порешили, что он и впрямь смешной.

К этим пересудам приложили свою руку и деревенские шутники, «взяв в оборот» его слезу, которая появлялась, когда он произносил слова благодарности, и его лапищи, протянутые к помощнику, и умиленную его физиономию.

Молодые шутники так умели повести разговор, что люди начинали смеяться, и все громче, все громче...

Кто-то, однако, припомнил, как он тащил ту тяжелую балку, как сам поднял ее на плечо, и тогда наступила тишина; но один из шутников прервал молчание словами — тоже мне, большое дело — поднять такую балку.

Тогда то один, то другой стали припоминать разных деревенских силачей, и в конце концов назвали нескольких человек, которые могли бы сами, без всякой помощи поднять себе на плечо такую балку.

Потом деревня переключилась на самую близкую ей тему — о скотине пришлого, о тех трех животинах, которых она еще в глаза не видела, а посему раз за разом видела в воображении то такими, то этакими, чаще всего это были две замызганные, тощие, как тени, коровенки и одна кляча.

Шутники сразу же подключились, и один из них сказал — что-то долго нет Нового, верно, на самых трудных местах дороги он переносит эту скотину на своем горбу.

Все стали смеяться, а потом вгляделись в эту широкую, исчезавшую среди молодых тополей дорогу, на которой должен был появиться Новый со своей худо́бой; и тогда словно по заказу из зелени деревьев возник человек верхом на лошади и две коровы, которых он вел на веревках.

Наступила мертвая тишина, и все впились взглядом в эту процессию, которая вышла из тополиной рощи, и, сразу же узнав Нового, стали молча следить за его приближением.

И вот перед ними появился Новый верхом на прекрасном огромном першероне седой масти, а рядом сверкающие на солнце чистой шерстью две темно-бордовые коровы.

Он остановился со своей скотиной и широко улыбнулся, а люди стояли перед ним, не зная, что сказать, они словно онемели, потому что про себя наверняка подумали, что не может быть смешным человек, у которого такие коровы и такая лошадь. Эта тишина была невыносимой, и кто-то сказал наконец — скотина что надо, тогда Новый тронул лошадь каблуком в бок и процессия медленно двинулась к его двору.

Оставалась еще земля, тяжелая, капризная, лежавшая в низине.

Деревне было любопытно, как он подступится к этой почве, как он будет ее обрабатывать; люди даже рассказывали ему о ней и советовали то и это, но одно дело слова, а совсем иное, когда берешься за эту самую землю.

Люди давали советы, но про себя думали, что эта почва посмеется над пришлым и не покорится ему; и они его прихватят в такую минуту, когда он не сможет понять эту землю, когда он схватится за лохматую свою голову и шепнет сам себе — что же это такое, что же такое с этой землей...

Они давали хорошие советы Новому, но в то же время желали, чтобы их земля, словно верная собака, почувствовала чужие руки и чужой плуг и не позволила себя задобрить.

Но когда Новый стал делать стоки для воды, которой еще не было и ничто ее не предвещало, потому что год был на дожди скупой, они поняли, что он разгадал их почву и не обожжется на ней.

Потом они убедились, что Новый знает, как подойти к этой почве, чтобы она дала хороший урожай, и не поймали его на ошибках ни во время пахоты, ни при севе и других работах, за которые он взялся после того, как привел скотину.

Когда же, закончив неотложные дела, он привез разный домашний скарб, кто-то шепнул — интересно, как у него там все в доме устроено, и первый любопытный немедленно заразил своим любопытством других, и многих прямо-таки заколотило от желания переступить порог его дома, войти в сени и все высмотреть, а потом проскользнуть в кухню и в большую комнату и увидеть все, что там есть, и своими глазами удостовериться, какую мебель привез Новый и как он ее расставил.

Это любопытство нетрудно ведь удовлетворить, легко было улучить такой момент, когда он сидел дома, и пойти к нему одолжить какую-нибудь мелочь — спички или тот ладный топорик, которым он обтесывал балки, или же отвес.

Так оно и произошло, и те, кто первым осмотрел его дом после того, как он привез и расставил всякие вещи, разнесли по деревне, что в сенях прибита к стене деревянная вешалка, на которой висит старая одежда, и что в кухне стоит широкая, удобная лавка со спинкой, а в комнате — шкаф с блестящими дверцами, стол, накрытый бледно-голубой скатертью в цветочек, четыре тяжелых коричневых стула и широкая деревянная кровать с большой периной и двумя большими подушками.

Большая кровать, большая перина и две большие подушки, то есть кровать, рассчитанная на двоих,— это было самое интересное из увиденного; и сразу же нашелся один такой, который прочел мысли всей деревни и уловил ход людских рассуждений и сказал — что же это ее до сих пор нет; а другой, слегка даже дрожа от любопытства, словно у него внутри моторчик стучал, сразу подхватил — любопытно, как она выглядит; третий же, более спокойный, чем эти двое, заключил — может, она уже завтра приедет, и мы ее увидим.

И наступило время, когда люди стали часто поглядывать на широкую деревенскую дорогу, всматривались в тополиную рощу, потому что подстерегали момент, когда из этой чащи светлой зелени, светлой до белесости, появится фигура чужой женщины, и, миновав три первых дома, свернет с главной дороги, и направится ко двору Нового.

Но по дороге проходили и из тополиной рощицы появлялись только знакомые женщины, те, что жили в деревне, или же такие незнакомые, которые не сворачивали к дому Нового.

Узнав, что в углу комнаты у Нового стоит большая двуспальная кровать, деревня еще зорче, чем прежде, стала наблюдать за Новым; и соглядатаи скоро высмотрели кое-что очень важное — что он иногда оставляет самую срочную работу и подходит к изгороди, останавливается в том месте, откуда хорошо видна дорога и тополя, и смотрит; он даже прикладывает руку козырьком ко лбу, чтобы слепящий блеск солнца не мешал обозрению, и смотрит.

— Он ждет свою женщину,— сказал какой-то старик пискливым голосом, едва скрывая радость, и эти его слова сразу разнеслись по деревне, и тут же нашелся один такой, который добавил — он никак не дождется своей женщины.

Тогда шутники, на какое-то время притихшие после того, как увидали завидную скотину Нового и удостоверились в его хозяйской хватке, опять словно пена всплыли на поверхность, и один из них с едва скрываемой улыбкой

отозвался — кровать есть, перина есть, подушки есть, на что другой, прервав его и уже вслух смеясь, сказал — он устроил себе в углу неплохое гнездышко, а третий — они словно распели на три голоса это короткую байку — добавил: гнездышко есть, а женщина не приходит.

Деревня, наслаждавшаяся теперь домыслами и вымыслами, пришла к выводу, что неплохо бы в тот момент, когда Новый, держа руку козырьком, уставится на дорогу и тополиную рощу, кому-то подскочить к нему неожиданно и сказать прямо, без всяких подходов — не видать женушки, не видать...

Для чего-то такого лучше всего выбрать человека постарше, потому что возраст будет ему защитой, если Новый рассердится; для такого дела еще лучше выбрать старую женщину; и выбор пал на одну старушку.

— Не видать женушки, не видать,— как-то проскрипела старая, и лицо Нового внезапно побледнело, он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но ничего не мог произнести, лишь развел руками, словно хотел себе помочь ими, но руки, испуганные, упали и не помогли ему.

После того как Новый от слов старушки побледнел, и не смог ничего сказать, и беспомощно развел руками, деревня ободрилась, ободрились и шутники.

А еще больше ободряло их то, что дни сменялись днями, а женщина к нему не приходила.

И потому, что Новый никак не мог дождаться своей женщины, то один, то другой загорались желанием разыграть его шутки ради, ибо в деревне было скучно и не происходило ничего интересного.

В такие дни по вечерам люди, которым хотелось посмеяться, тоскующим взором посматривали на своих шутников, ожидая от них всяких веселых прибауток и розыгрышей; а не дождавшись, прямо, безо всякого подходили к тому или другому шутнику и назойливо требовали — скажи что-нибудь смешное, ну скажи; или еще так — потешь чем-нибудь, ну потешь, ведь скучно до чертиков в этой нашей деревне; или даже так говорили — что это с тобой, сдал ты, братец, и разленился, а может, мозги у тебя высохли...

Припертому к стенке и задетому в своем самолюбии шутнику надо было что-то придумать, чтобы не потерять уважения деревни.

И тогда ему чаще всего приходило в голову, что Новый все еще ждет свою женщину, а она все не кажется и что ведь это еще как следует не использовано для забавы людей; и шутник напрягал все свое воображение, и вот наконец вошел во двор к Новому как раз тогда, когда тот выводил на веревках свою скотину,

собираясь вести ее на луг; и этот шутник будто сам себе, а на деле Новому сказал — какая-то незнакомая женщина идет по дороге...

И тогда Новый выпустил из рук эти веревки так внезапно, словно они превратились в раскаленную докрасна проволоку, и подбежал к изгороди, и уставился на дорогу; кто-то не выдержал и хихикнул, но так сдавленно, будто это был не смех, а писк какой-то зверюшки или, скажем, звякнуло металлом о металл.

Новый, видя дорогу пустой, сказал — я никого не вижу; на что шутник серьезно — шла женщина, но, верно, свернула в сторону и теперь ее не видно.

Шутники скоро пришли к выводу, что такую шутку крупным розыгрышем не назовешь, что это просто детская забава, да и то для немногих непритязательных зрителей, у которых смех всегда наготове, им только палец покажи.

А ведь этот Новый, в ожидании женушки приготовивший большую двуспальную кровать с большой периной и двумя огромными подушками — а женушка меж тем сидит себе в городе и не является,— ведь это просто находка для большого розыгрыша: из этого можно устроить театр для всей деревни, большое веселое представление под открытым небом с участием многих людей, полей, дороги, огромного луга и тополиной рощи.

Эти шутники были люди с размахом, поэтому они резво взялись за работу и обмозговали дело и так и сяк; и, верно, придумали что-то получше прежнего, потому что хоть и держали до поры до времени свои планы в секрете, однако то один, то другой намекал, что готовится нечто такое, чего еще никогда не было.

Да они уже одними своими самоуверенными минами, одним своим кичливым, молодцеватым видом, улыбочками и посвистыванием словно бы сообщали — нам такое пришло в голову — ахнете.

Для задуманного нужно было еще раз разыграть Нового, но не затем, чтобы повеселить людей, а чтоб заполучить необходимые сведения для того веселого театра, в который скоро превратится вся деревня.

Нужно было дознаться, как выглядит, как держится и во что одевается эта его женушка, которая сидит себе в городе, а сюда глаз не кажет, не забирается в эту огромную кровать, под эту большую, словно белое облако, перину.

Новый ведь такой человек, что он все расскажет, если его по-умному провести; и вот главный шутник подошел к нему и шепнул с серьезным видом — какая-то чужая женщина справлялась о тебе.

Тогда Новый на это — что за женщина, как она выглядела; но шутник был умен и не ответил на его вопрос; а Новый нетерпеливо — высокая, худощавая, в шелковом платье крупными цветами, с длинными темными волосами, схваченными желтым шарфиком?.. Тогда только шутник ему — нет, эта была не такая.

Так значит, эта его женушка высокая, худощавая, носит шелковое платье крупными цветами, у нее длинные темные волосы и шарфик на голове; самое главное уже известно, а посему можно распределить роли и начать приготовления.

Никаких неуместных шуточек и хихиканья и никакой болтовни загодя — распорядился главный шутник; и добавил — чтобы Новый ничего не пронюхал; и еще будто невзначай, вскользь бросил — когда придет время, смеху будет предостаточно.

Это должен быть такой розыгрыш, что не только люди будут за животы держаться, надрываясь от хохота, но даже скотина — лошади, коровы и собаки — весело затрясет головами и зайдется смехом, даже деревья и изгороди будут трястись от хохота.

Представление состоится вечером, когда еще не совсем стемнеет, но дали и фигуры уже будут расплываться в сумерках; для того, что должно произойти, нужен вечер, чтобы большой розыгрыш раскрылся не слишком быстро, как можно позже, когда Новый подойдет совсем близко, почти что на расстояние этих его лапищ; чем позже обнаружится истина, тем больше будет потехи.

Шутникам трудно сохранить серьезность; стоит им подумать о том, что они готовят, как тут же у кого-нибудь лицо краснеет и щеки надуваются от сдерживаемого смеха, а иногда смешок все же вдруг сорвется с непослушных губ и глухо булькнет.

Но если уж действительно хочешь устроить небывалое веселье, нужно готовиться солидно, сохраняя терпение и серьезность, потому что иначе можно спортачить розыгрыш, и тогда веселье на полпути замрет, а смех превратится в недовольное ворчание.

Чтобы розыгрыш удался на славу и вызвал невиданное до сих пор в деревне веселье, мужчина переоденется женщиной и будет изображать женушку Нового, которая возвращается из города к своему муженьку, живущему в деревне.

Главный шутник — он довольно худ, у него ловкие движения и к тому же дробный шаг — дал себя уговорить шутникам-помощникам и соблаговолил принять эту роль.

То один, то другой, до кого дошел слух о готовящемся

большом розыгрыше, приставал к шутникам и настойчиво выспрашивал — ну когда это будет, ну когда же... так охота посмеяться; а шутники в ответ отмахивались — держи язык за зубами и не болтай, дай срок — все будет.

Когда наступил долгожданный теплый вечер, по деревне далеко разнесся звук трубы, и Новый, не понимая, что происходит, выскочил из дома; и тут же высокая, худощавая женщина в шелковом платье крупными цветами, с желтым шарфиком на темных волосах вышла из тополиной рощицы и ступила на дорогу; и сразу же, как было договорено, шутник-помощник подошел к Новому и сказал спокойно — дети где-то раздобыли трубу и играют; а потом уставился на дорогу и сказал — кто-то идет в деревню.

Новый долго смотрел на это белеющее на опушке под тополями место, на это белое ущелье рощицы, из которого выходит и куда впадает главная деревенская дорога, а потом схватил стоявшую у дверей метлу и начал сметать мелкую щепу около дома.

— Рыба клюнула,— буркнул сам себе шутник-помощник и юркнул за изгородь; там он дал знак другому шутнику-помощнику, а тот — третьему, и по этому живому телефону весть, что Новый попался на крючок, дошла до главного шутника, который в женской одежде семенящим шагом подходил к деревне.

Новый тем временем оставил метлу и вбежал в дом, разгладил на кровати перину и подушки, стряхнул крошки со скатерти и выбежал во двор — и снова загляделся на дорогу, которую вечер не затемнял, а выбеливал, выделяя из всего остального мира.

Внезапно ему показалось, что за изгородью кто-то хихикнул, но это, пожалуй, не человек засмеялся, а какая-то птица издала звук, напоминающий смех; есть такие птицы, которые вечером перекликаются, словно смеются; такие смеющиеся птицы наверняка есть.

Новый окинул взглядом свой двор, и стал выливать грязную воду из стоящей возле калитки лохани, и сдвинул с дорожки в глубь сада срезанные с яблоньки ветки.

Вечер сгущался и заполнял последние светлые пятна среди деревьев и между домами; и шутник снова проскользнул в калитку, и подошел к Новому, и шепнул — эта женщина идет к тебе, ее ведет сын соседа, сейчас они свернули в сторону, чтобы сократить путь, и теперь они на полевой тропинке, она войдет к тебе в сад со стороны поля через большие ворота; а потом шутник-помощник добавил — не бойся, парень приведет ее, а ты пока убери солому и навоз в проходах возле овина и коровника.

Прекрасно справлялся со своей задачей этот шутник; а поручено ему было задержать Нового во дворе до того момента, когда в широко раскрытых воротах появится переодетый женщиной и изображающий его жену главный шутник.

Хоть Новый и любил слушать людей и, можно сказать, слепо следовал каждому совету, словно ребенок верил каждому обращенному к нему слову, все-таки задача у шутника-помощника была трудной и, не справься он с нею как следует, готовившийся с таким усердием розыгрыш превратился бы в жалкое и скорее грустное зрелище.

Однако Новый — на радость шутнику и зрителям, тем, что спрятались поближе,— послушно убирал солому и навоз с прохода под широкими навесами овина, коровника и конюшни, а потом, как ему было сказано, переставил козлы для распилки бревен и отнес в сарай короткие обрезки балок.

Когда он выполнял эту работу, ему снова показалось, что он слышит смех, и он даже обратился с вопросом к шутнику, который теперь уже ни на шаг не отступал от него,— это мне кажется, или же в самом деле кто-то засмеялся; но шутник, в душе взбешенный преждевременным смехом какого-то нетерпеливого дурака, ответил — это не человек, это какой-то зверек, а может, и птица...

Теперь уже очень трудно удержать Нового во дворе; правда, шутник его уговорил и он наводит порядок перед коровником и конюшней, но тоскующий взгляд его устремляется к широким, настежь открытым воротам сада, за которыми раскинулись поля; он еще послушен и делает то, что говорит ему шутник, но как бы он не бросил наводить порядок во дворе и не побежал самовольно в сад.

Снова раздался резкий короткий сигнал трубы, и Новый, услышав его, сказал — отчего это дети все еще бегают по садам; а шутник ему — хватит уж наводить порядок, все равно сегодня твоя женщина ничего этого не увидит, потому что темнеет; и они направились в сторону сада — Новый впереди, а шутник за ним — и вышли на широкую прогалину среди деревьев; медленным, степенным шагом они двигались к широко раскрытым воротам сада, а со стороны ворот к ним шла высокая худощавая женщина в шелковом платье крупными цветами, длинные темные волосы схвачены желтым шарфиком.

Люди, без конца обсуждающие то происшествие, рассказывают, что взрыв хохота раздался в тот момент, когда, несмотря на сумерки, Новый опознал по-женски

умиленное лицо главного шутника, готового произнести ласковые слова, а главный шутник по страшно изменившемуся лицу Нового понял, что тот разгадал правду.

И люди рассказывают еще, что этот хохот стал еще громче, когда Новый быстро обежал вокруг переодетого, пересек ему дорогу и закрыл ворота сада, отрезав шутнику путь безопасного отступления и бегства в поля.

Но можно сказать, что этот большой розыгрыш и смех достигли своих высот в тот момент, когда главный актер, перед глазами которого, несомненно, стояло страшное лицо Нового, пустился бежать в шелковом своем платье и прятаться за деревьями, а Новый бросился за ним; и на этой высоте веселье удерживалось, пока шло преследование, до самой той минуты, когда розыгрыш и веселье не стали постепенно превращаться в свою крайнюю противоположность — в угрюмую серьезность и горестную тишину.

По словам очевидцев это случилось тогда, когда главный шутник, убегая от страшного лица и сильных рук Нового, пытаясь как-то выбраться из сада и не имея другого выхода, решил перепрыгнуть через изгородь.

Наверняка этот прыжок удался бы ему, если бы на нем не было длинного и стесняющего движения платья; из-за этого платья ему и не удалось перескочить островерхий гребень изгороди, его задержала острая штакетина, которая вонзилась ему в правое подреберье.

Смех еще бушевал, но уже заметно утратил первоначальную силу, потому что люди, прятавшиеся возле того места, где произошел несчастный случай, внезапно смолкли, а кое у кого из тех, кто услышал тихий стон главного актера и его призыв на помощь, вырвался вздох.

И настала минута, когда столкнулись две крайности — с одной стороны сада в темноту позднего вечера рвался и разносился среди ветвей деревьев громкий смех, а по другую сторону слышались идущие низом, вдоль самой земли, похожие на мяуканье испуганные вздохи людей, внезапно низвергнутых с высот смеха непредвиденным оборотом дела.

И в этом столкновении вздохи стали одерживать верх, так как весть о том, что приключилось с главным актером, быстро бежала вдоль изгороди и скоро обошла весь сад.

А потом настала такая горестная тишина, что стало слышно, как на верхних ветках деревьев устраиваются на ночь маленькие птички; но шутник снова застонал и закричал — на помощь; а Новый в ответ на этот зов — минутку терпения, девушка, я сейчас.

Зрители, все еще оставаясь в своем укрытии и боясь

войти в сад, карманными фонариками осветили место происшествия и при этом освещении прекрасно видели сцену снятия с изгороди.

Они видели сильные обнаженные руки пришлого, поднимающие вверх наряженного в женскую одежду главного шутника; в этом ярком свете появилось на мгновение его бледное покорное лицо, накрашенные губы и подведенные углем глаза, сдвинутый на лоб и небрежно свисающий темный парик; видели они и как шутник упал на плечо Нового.

Резкий свет фонариков позволил им также разглядеть темное пятно на платье актера, и как оно поползло на обнаженное плечо Нового, и как оно расползлось по его плечу вплоть до валика на засученном рукаве.

И наступил такой момент, когда Новый остановился в углу сада возле толстого ствола старой яблони, с главным шутником, который лежал у него на вытянутых руках; и тогда только кто-то крикнул — положи его на траву, не то он умрет у тебя на руках; а Новый, ослепленный ярким светом, словно бы этого не слышал, потому что сказал — вы думаете, моя женщина не придет ко мне; и добавил — она придет сюда непременно; тогда кто-то крикнул снова — неси его к доктору, иначе он умрет у тебя на руках; а Новый на это — может, уже завтра вы увидите, как моя женщина выходит из этой вашей тополиной рощицы.

СВАДЕБНЫЙ МАРШ

I

И все-таки однажды ночью ничто не смогло удержать Анну, прозванную степенной: она подошла к большой низкой печи и протянула руку к лежащему на ней спичечному коробку, в котором при ее прикосновении брякнули спички. Наверняка в тот момент что-то попыталось удержать руку этой степенной, рассудительной женщины, ибо на какое-то время после того, как Анна прикоснулась двумя пальцами к коробку, она так и замерла с протянутой рукой, но она лишь ожидала решения, и вот оно пришло, и рука Степенной Анны согнулась в локте, и спички исчезли в большом кармане фартука; а на то, чтобы закутаться в темный платок и выйти из дому, потребовалось гораздо меньше времени, чем на то, чтобы взять спички и положить их в карман.

Ночь была темной; вначале темным казалось все пространство ночи, и Анна, прозванная степенной, постояла у дома до тех пор, пока шар ночи не разделился на темное дно и более светлые его верхние слои, так что вблизи уже можно было различить очертания домов, деревьев и заборов; тогда она пошла через сад, и когда уже вышла из калитки, опять остановилась, и повернула голову назад, и посмотрела туда, где остался ее дом; видимо, опять что-то заставило ее помедлить, и опять это что-то пыталось вернуть ее домой; видимо, что-то хотело помешать ее давнему решению отправиться со спичками туда, куда она решила пойти, видимо, это что-то ее уговаривало: вернись домой, Анна, ведь ты степенная, рассудительная женщина, не ходи туда, куда собралась, вернись домой, и ложись спать, и живи достойно, и спокойно ожидай, когда опять к тебе приедут дети из города; вернись домой, ведь в деревне тебя знают как степенную, рассудительную женщину, сумевшую вывести детей в люди — они теперь в городе на хороших должностях; так что вернись домой, Степенная Анна, вынь из

кармана фартука маленький коробок и положи его на место, на печь.

Долго стояла она за калиткой сада, на краю поля, слушая этот голос в себе самой, и, слушая, смотрела на дом Хромого Бартоломея, ныне уже покойного; тогда, в те давние времена, он первый заговорил с ней о тишине, стоявшей в костеле во время ее венчания после того, как она поднялась с колен у алтаря и торжественно направилась со своим, ныне тоже покойным, мужем Владиславом к выходу, к главному выходу из костела.

Хромой Бартоломей первый спросил, почему было тихо в костеле, когда она венчалась. Что она ему тогда ответила? Что она тогда ответила? Ну что она должна была ответить, что она могла ответить?

Она должна была вытерпеть этот вопрос старого Бартоломея, она должна была найти силы и вытерпеть его вопрос. Она только кивнула, подтверждая, что действительно в тот момент, когда завершился обряд венчания и когда она и ее муж Владислав поднялись с колен, в костеле стояла тишина; тихо было в костеле, и не заиграл орган, и не грянул, сотрясая стены, свадебный марш.

Анна хорошо помнит тот день, все еще слышит тишину в костеле, все еще испытывает стыд, какой испытала тогда, идя от алтаря, иначе не стояла бы она сейчас в темноте за калиткой сада, на краю поля, а вернулась бы домой, так что напрасен совет вернуться домой, и Анна, поправляя сползающий платок, отходит от калитки.

Она идет вдоль плетней, и ночь уже кажется не такой темной, а маленький коробок спичек бодро бренчит в большом кармане ее фартука.

— Вернись домой, Степенная Анна, сделай это ради детей, немедленно возвращайся, и пусть спички опять окажутся на печке, пусть ночь закончится как обычно, пусть ничто не нарушит этой ночной тишины, и пусть придет обычный спокойный рассвет; и это нужно не столько тебе, старухе, сколько твоим детям, это им нужно, чтобы ночь закончилась как обычно.

Анна опять останавливается; но как тут вернуться, если в темноте она разглядела дом маленькой Михаськи, этой суетливой, любопытной Михаськи; когда Анна после венчания вышла из костела со своим мужем Владиславом, Михаська бросила ей в глаза: «Не было свадебного марша, не было свадебного марша».

Свадебного марша не было, Анна со своим мужем шла по тихому костелу мимо примолкших, удивленных гостей, и в тишине слышались лишь шаги молодых, слышался лишь стук их каблуков по длинным доскам пола в

костеле, а ведь сейчас неуместен этот стук, его должен заглушать гремящий, все заполняющий собой свадебный марш, и тут вообще любые звуки сейчас неуместны, кроме громких звуков органа, играющего свадебный марш, и неуместны никакие другие лица, кроме довольных, радостно улыбающихся лиц, пусть даже усталых и изнуренных, недостаточно хорошо выбритых, с оставшейся в глубоких складках щетиной, пусть отупевших от наслоившихся на них горестей, но все же в такой момент радостно улыбающихся, непривычных к улыбкам — не до улыбок им, да и времени нет на улыбки — и все же улыбающихся.

Но Анна, прозванная впоследствии степенной, видела вокруг себя лишь удивление и любопытство, удивление, вызванное тишиной в костеле, и любопытство — чем же объясняется эта тишина?

Все время с той минуты, как она поднялась с колен после заключительных слов венчального обряда, и до последнего шага перед порогом у выхода из костела она надеялась, что молодой органист все-таки взбежит на хоры и заиграет на органе, и собравшиеся перестанут молчать и удивляться, а их серьезные, удивленные лица будут веселыми и радостными.

Все время, пока шла по тихому костелу, она украдкой поглядывала вверх, на хоры, но никакого движения там не было, Анна видела лишь неподвижную стену из огромных труб органа и торчащий рычаг для подачи воздуха.

Она надеялась, что молодой органист все-таки придет, может, опоздает, но придет, вот сейчас, когда она уже прошла половину пути к выходу из костела, и, может, сейчас, когда до дверей уже ближе, чем до алтаря, может, сейчас органист взбежит на хоры и заиграет.

Она думала, что он шутил, говоря, что не придет, а оказалось, не шутил, ибо орган молчал.

Память об этой несбывшейся надежде, а еще вероятнее, память о том, что органист отнюдь не шутил, что он и в самом деле решил не играть ей свадебный марш, как видно, удержала Степенную Анну от того, чтобы вернуться сейчас домой.

Она идет вдоль заборов, и по одну сторону остаются дома и деревья, люди, спящие в домах, животные, спящие в коровниках, конюшнях и конурах, а по другую сторону — открытое пространство полей.

Стоит тишина, как тогда, в костеле, и, возможно, эта тишина, нависшая над деревней и над полями, еще более укрепляет Степенную Анну в ее намерении идти туда, куда она решила идти, а бренчащий в кармане коробок спичек, должно быть, напоминает ей о том, что́ предстоит

сделать и почему она вышла из дома темной ночью, почему она не спит, когда спит вся деревня, почему прячет лицо под платком, почему крадется в темноте, все более удаляясь от своего пустого дома, куда время от времени приезжают ее взрослые дети, и тогда он наполняется их голосами и смехом.

Много раз видела она, как подъезжают к родному дому ее сыновья и дочка, и теперь перед ее мысленным взором они входят в дом и потом покидают его, снова оставляя ее одну.

Когда ожидается их приезд, она сидит в кухне и смотрит в окно и выжидает, что вот-вот на белесом повороте дороги покажется автобус и из него выйдет кто-нибудь из ее детей или все вместе; потому что иногда они приезжают отдельно, а иногда получается так, что они все приезжают одновременно.

Потом, когда дети входят в дом и здороваются, она не говорит им, что долго смотрела в окно, сначала на белесый пустой поворот дороги, потом на автобус, а потом на них, и встречает их так, как будто для нее это неожиданность; не говорит она им и того, что каждый раз, как они уезжают, тайком смотрит им вслед и видит, как постепенно уходят все дальше и дальше: старший сын, инженер, младший сын, учитель, и дочка, тоже учительница; она не говорит им, что провожает их взглядом до самого поворота и смотрит вслед до тех пор, пока они не скроются в автобусе; она не говорит этого своим взрослым детям, считая, видно, что детям не следует знать всего о матери.

Не следует им знать и того, что у их матери не было свадебного марша, что в костеле во время ее венчания стояла тишина, что в ее жизни ничего не было хуже, чем эта тишина в костеле, когда прозвучали последние слова обета и когда положено грянуть свадебному маршу.

Она считала, что ее дети не должны этого знать, и она никогда не говорила, но дети узнали. Сначала узнал старший сын, узнал еще мальчишкой. Как-то весной, в пору цветения садов, ему сказал об этом Хромой Бартоломей, сказал, а точнее — выкрикнул в сердцах, когда мальчишка запустил в него гнилым яблоком. Бежал за мальчиком старый Хромой Бартоломей, бежал и хромал, но, ясное дело, не мог догнать, добежал только до ворот. Тогда многие из деревенских видели за перекладинами ворот вымазанное вонючей бурой жижей разъяренное лицо Бартоломея и его сжатый кулак и слышали его ругательства и напоследок: «Ты! Ты! Ты!.. Такой-сякой... твоей матери даже свадебного марша не сыграли...»

Мальчик хорошо это расслышал и потом расспраши-

вал мать, почему молчал орган, когда она венчалась, а она, глядя в открытое окно на цветущий сад, ответила ему, что это пустяк, не стоит и говорить; но мальчик все допытывался и, в то время как она, продолжая смотреть на цветущий сад, повторяла, что это пустяк и что об этом не стоит и говорить, мальчик стал вспоминать, кто из деревенских девок недавно венчался, и перечислять их, и спрашивать, играли ли им свадебный марш.

Анна, которую позже люди прозвали степенной, помнит фамилии, которые перечислял ее сын, тогда девятилетний мальчик, теперь уже инженер.

И, наверное, особенно отчетливо все это всплывает в ее памяти теперь, когда она в темноте идет вдоль заборов. Первой ее сын назвал толстуху Стефку, что жила недалеко от них, а потом расспрашивал и о других. Толстухе Стефке играли марш, когда она венчалась, у толстухи Стефки был свадебный марш, и, как только она и ее муж Томаш поднялись с колен, органист ни секунду не медлил, и громкий свадебный марш наполнил костел. Толстуха Стефка и ее муж Томаш шествовали по гремящему маршем костелу, а вокруг толпились веселые люди.

У Марыськи, что живет на краю деревни, был свадебный марш.

У Ядвиги, прозванной бродяжкой, был свадебный марш.

У кого не было свадебного марша? Для всех играли свадебный марш во время венчания, всем сыграли свадебный марш, на свадьбе должен быть свадебный марш, плохо, если его нет.

Тогда она сказала своему сыну, что это пустяк, что не важно, сыграют или нет свадебный марш, что об этом не стоит и говорить, сказала так, чтобы не огорчать мальчика, но ведь сама-то она знает, как важно, чтобы свадебный марш был, и знает, что Хромой Бартоломей говорил правду, а он говорил, что свадебный марш — очень важная вещь.

Подбоченившись и притопывая хромой ногой, он говорил: «Должен быть свадебный марш на свадьбе». Подбоченившись и все притопывая ногой, сверля людей пристальным взглядом своих страшных, запавших глаз, он говорил: «Что это за свадьба без свадебного марша, как это может быть, чтобы на хорах было тихо после венчания, чтобы после венчания в костеле было тихо?»

Иногда приходил Большой Анджей, и высмеивал Хромого Бартоломея, и говорил: «Перестань молоть ерунду, что ты все об этой свадебной музыке, перестань топотать и проваливай, Бартек, не морочь людям голову».

В таких случаях кое-кто нападал на Большого Анджея

и пенял ему: «Что ты затыкаешь рот Бартоломею, что ты затыкаешь рот убогому?»

У людей было много времени, и они любили слушать Бартоломея, им даже нравилось, когда он их пугал; нравился им страх, нравился тем, кому во время венчания играли свадебный марш.

Степенная Анна вынуждена была признать, что всем играли свадебный марш, у всех женщин на свадьбе был свадебный марш, не было только у нее одной.

Даже придурковатой сухорукой Веронике и ее мужику играли свадебный марш.

Степенной Анне наверняка припомнилось, как придурковатая Вероника встала с колен и обратила свое придурковатое лицо к людям, к выходу, к хорам, и тут сверху на собравшихся обрушилась музыка. Степенная Анна хорошо помнит, что, когда эта музыка обрушилась сверху вниз и поднялась снизу вверх, разинутый рот придурковатой Вероники немного прикрылся, ибо придурковатая Вероника улыбнулась, и потом слегка побледнела и какой-то миг под этим водопадом музыки казалась совсем не придурковатой, а обыкновенной бледной, худенькой девушкой.

И пусть люди говорят, что Анна рассудительная и степенная, что она вывела в люди всех своих детей, пусть качают головами с умным видом и умными жестами подкрепляют свои слова, пусть им даже приснится Степенная Анна, и пусть даже во сне она будет для них степенной — все равно она не вернется домой этой ночью, может, только ненадолго задержится у околицы, да и то лишь затем, чтобы отогнать неизвестно откуда и неизвестно зачем примчавшуюся мысль-совет: «Вернись домой, Степенная Анна».

Не может она вернуться домой, не побывав там, куда задумала идти, ибо слишком жива в памяти та минута, когда она шла от алтаря в полной тишине и видела вокруг себя удивленные и грустные лица, слишком жива в памяти та минута, когда переступила порог и вышла из костела, минута, когда исчезла всякая надежда, что с хоров обрушится на людей громкая музыка.

Всякая надежда исчезла, ибо, стоя на бетоне открытого, поддерживаемого лишь колоннами крыльца костела, она увидела луг, а на лугу органиста, который косил траву. Сразу же узнала его, он это был; лишь глянул украдкой издалека на молодых и людей, которые вышли за ними из костела, и продолжал косить, даже ни на секунду не прервался; не отрывая глаз от травы, с преувеличенным усердием, согнувшись и распластавшись над травой, все косил и косил... А ведь так немного

потребовалось бы времени, чтобы прервать косьбу, вбить косу острием в землю, войти в костел — пусть даже в рабочей одежде, взбежать на хоры и заиграть.

Так думала она тогда, стоя на крыльце костела, но это были напрасные мысли, ибо уже отошла в прошлое минута, когда органист мог это сделать.

Но долго еще не могла она освободиться от подобных напрасных мыслей и, по сути дела, окончательно так никогда и не освободилась; и то, что вот сейчас она, как тать в нощи, пробирается по деревне в тени заборов со спичками в кармане фартука, опять-таки свидетельствует о том, что она не освободилась от давних напрасных мыслей, что пронесла их в себе через всю жизнь, до старости, и не просто пронесла — растила их в себе, добавляя другие мысли, подкармливая другими мыслями, и, подобно скульптору, придавала тяжелой бесформенной глыбе определенную форму.

Тогда она недолго стояла на крыльце костела, чтобы не задерживать свадебного поезда, и хотя тут же весело загремели колеса повозок, Анна пребывала в печали и гневе. Была грустной, хоть и весело помчались, задрав морды, лошади, запряженные в повозки; бедные мужицкие лошади, в день свадьбы их с особым усердием окладывали кнутом, и сдерживали поводьями, и опять били кнутом, и опять сдерживали поводьями, добиваясь, чтобы они как можно выше задирали головы и как можно дальше выбрасывали передние ноги; тем самым с помощью кнутов и поводьев из старых заморенных кляч они превращались в легконогих диких скакунов, ибо положено, чтобы в день свадьбы даже старая кляча неслась легко и гордо, чуть касаясь земли копытами, чтобы не ступала тяжело по пыльной деревенской дороге, чтобы не вязла в пыли, а летела как птица.

Свадебный поезд мчался к дому Анны, гости ехали пить, есть и веселиться, и постепенно с их лиц сошли удивление и грусть, вызванные тишиной в костеле, а она сидела угрюмая и злая, ей хотелось спрыгнуть с повозки и побежать на луг, где органист косил траву, и спросить его: «Почему ты не пришел сыграть мне свадебный марш?»

Хотелось ей туда побежать, хотя она и без того знала, что бы он ей ответил, знала, что он ответил бы ей так: «Я говорил тебе, что не приду, ведь я тебе ясно сказал, что сначала деньги, а потом марш».

Органист и в самом деле так ей ответил, когда перед венчанием она пошла к нему заказать свадебный марш и когда она сказала ему, что деньги отдаст только после свадьбы, потому что сейчас их у нее нет. Услышав это, органист покачал головой и ответил: «Сначала должны

быть деньги, а потом марш, а не так, чтобы сначала марш, а потом деньги».

После чего он протянул руку и, тыча пальцем другой руки в раскрытую ладонь, повторил: «Вот тут сначала должны лежать деньги, тогда и будет марш».

Еще он говорил, что его многие обманывали, если он соглашался на то, чтобы сначала был марш, а потом деньги, и теперь он не даст себя больше обмануть.

Она пригрозила, что пожалуется ксендзу, но органиста это не испугало; он только улыбнулся: «Ксендз тоже любит, чтобы сначала были деньги, а потом венчание, а не наоборот; ксендз тоже хочет сначала сунуть полученные деньги в ящик стола, а уж потом венчать».

Она думала, что органист просто потешается над ней, когда тот заявил, что не придет в костел сыграть ей свадебный марш, если ему не заплатят наперед, она думала, что он шутил, протягивая руку и требуя денег.

Если бы она знала, что он не насмехается, что не шутит, из-под земли достала бы деньги, чтобы у нее, как и у всех, был свадебный марш, чтобы не оказаться однойединственной во всей деревне без свадебного марша.

Когда повозки остановились перед ее домом и она сошла на землю, ей хотелось крикнуть гостям: «Вот перед вами та, которой не сыграли свадебного марша, перед вами та, одна-единственная во всей деревне, у которой не было свадебного марша, та, что хуже всех в деревне, та, что хуже даже придурковатой Вероники, худшая из худших; так идите-ка по домам, возвращайтесь к своим делам и не ходите на ее свадьбу, ибо не было у нее свадебного марша; почему вы стоите и ждете, чтобы вам отворили двери, зачем вам проявлять доброту к худшей из худших, той, что хуже даже придурковатой Вероники? Не нужна мне ваша доброта, ваши неискренние улыбки и ваша неискренняя готовность переступить порог избы той, которой не сыграли свадебный марш; уйдите от моего дома, разойдитесь по своим дворам, скройтесь в темные избы и темные сараи, скройтесь и повторяйте по сто, по тысяче раз то, что наверняка уже твердите сейчас, стоя перед моим домом: „Анне не играли свадебного марша“».

И тем не менее Анна должна была открыть им дверь своего дома, ибо еще перед тем, как ехать в костел, они нанесли в ее дом всякой еды и выпивки; свадебное веселье должно было идти своим чередом, с выпивкой и танцами, у них уже пересохло в горле, а ноги сами собой пускались в пляс, и весь их вид красноречиво говорил — мы будем пить и плясать.

Гости ввалились в избу и начали угощаться вином, а

потом, когда уже лица их покраснели, с громким, как будто бьющим из-под земли, проходящим по ногам сквозь все тело и рвущимся из горла визгом бросались в пляс.

Анна сидела за столом рядом с пожилыми женщинами не как новобрачная, а как человек, который прошел долгий путь и теперь отдыхает и смотрит на то, что вытворяют другие, смотрит, как другие подпрыгивают и дурачатся.

К столу подбежал один, потом другой, а потом эти двое, а может, и трое, что подбегали к столу, опять смешались с толпой танцующих, послышался отчаянный крик, а потом кто-то грохнул по лампе стулом.

Драка длилась недолго, но захватила всех. В темноте кто-то свалился на стол, но тут же сполз на пол, слышались хриплые выкрики мужиков и бабий визг, а когда вновь зажегся свет, небольшие лужицы крови на неровных досках стола стали вытягиваться, и кровь тонкими четкими линиями пролилась на пол.

Анна смотрела на медленное движение крови по столу, но ничто не изменилось в ее лице; когда же она подняла глаза, увидела расплющенное на оконном стекле, растянутое в ухмылке лицо Хромого Бартоломея, который через окно смотрел на свадебное веселье; ей показалось, что его глаза на морщинистом опухшем лице смотрели на нее и видели, как она наблюдала за лужицами крови на столе и струйками крови, стекающей на пол, и ей показалось, что его расплющенный на стекле рот выговаривает слова: «Не было у тебя свадебного марша, на хорах никого не было, когда ты венчалась».

Потом среди гостей она увидела Большого Анджея, увидела на его лице добрую улыбку. Верно, она подумала, что Большой Анджей знает обо всем, знает, что не было на ее свадьбе свадебного марша, знает, что она страдает, хоть лицо ее спокойно, знает, что ее страшат предсказания Хромого Бартоломея, страшат его слова: «Свадебный марш — это важная вещь, плохо придется той, которой не сыграли его».

Наверняка хромой пророчит это даже тогда, когда ничего не говорит, когда лишь притопывает своей хромой ногой, отбивая такт не сыгранного в костеле свадебного марша, и этим своим притопыванием и подергиванием в такт неслышной музыке дает понять, как важен свадебный марш для предстоящей после свадьбы жизни.

Большой Анджей смотрел на нее с доброй улыбкой, своим добрым взглядом он хотел сказать ей то, что потом повторял не раз: «Глупая ты, Анна, свадебный марш совсем не такая уж важная вещь, можно жить и без свадебного марша, можно спокойно ходить и спокойно

смотреть на мир, даже если во время венчания в костеле стояла тишина; а драка на свадьбе — обычное дело, на свадьбах кровь брызжет на стены и на столы, даже если в костеле гремели трубы органа, и была музыка, и костел сотрясался от свадебного марша; на свадьбах дерутся потому, что трудно удержать кровь в жилах, независимо от того, была музыка в костеле или нет».

«Кому из них поверить, кому из них поверить?» Теперь ответ уже не имеет значения, ибо Степенная Анна пробирается в ночной темноте по задворкам деревни и не собирается возвращаться домой, она уже решилась, хотя иногда и останавливается у плетня, как бы колеблясь, как бы раздумывая, не вернуться ли домой, но не возвращается и не вернется, она придет туда, куда решила идти, и сделает то, что намерена сделать, и даже больше, и случится то, чего она не могла предвидеть, когда протянула руку за спичками.

«Кому из них поверить?» Сейчас это уже не важно, но тогда, на свадьбе, и потом, в течение долгих, долгих лет, на этот вопрос так и не было ответа.

II

Не было ответа в те месяцы, когда Анна ходила беременной, когда ожидала первого ребенка. Почувствовав в себе это дитя, она мысленно обратилась ко дню свадьбы, и опять увидела костел, и услышала тишину в нем, и увидела пустые хоры и удивленные, даже перекошенные удивлением лица людей, собравшихся в костеле; а потом она опять вспомнила ухмылку и притопывание Хромого Бартоломея и его слова: «Не было у тебя свадебного марша» — и его молчание, которое было вовсе не молчанием, а весьма красноречивой речью: «Не было у тебя свадебного марша, у тебя, одной-единственной во всей деревне, не было свадебного марша, это сулит несчастье».

Много раз она мысленно задавала Хромому Бартоломею один и тот же вопрос: «Какое может быть несчастье, в чем будет это несчастье?» И, убоявшись ответа, бежала в сарай или в коровник и там ощупывала свой вздувшийся живот, чтобы ощутить в нем движение плода, чтобы убедиться, что ребенок в ней живет и что она родит живого, а не мертвого ребенка.

А когда наступили роды, испытывая муки родов, то и дело спрашивала деревенскую акушерку: «Ребенок жив?» И когда акушерка отвечала: «А с чего ему не быть живым?», она, Анна, прозванная позже степенной, недо-

вольная таким ответом акушерки, который, собственно говоря, был и не ответом вовсе, а вопросом, кричала: «Я тебя спрашиваю: жив ли ребенок?» И тогда напуганная ее криком акушерка вынуждена была дать ответ: «Жив».

Но и потом, когда уже появился на свет ее старший сын, когда новорожденный издал первый человеческий крик, Анна словно не доверяла своим ушам и говорила акушерке: «Я хочу убедиться, что ребенок жив».

Усталая и злая акушерка сказала: «Ведь орет же!» А Анна на это упрямо и с непонятным подозрением в голосе: «Я хочу видеть, что ребенок жив». И пришлось акушерке еще не обмытое дитя поднести к ее глазам, и только когда она собственными глазами увидела его, и прикоснулась к нему дрожащими пальцами, и почувствовала липкую теплоту живого тела, то успокоенно сказала: «Ребенок жив». И уснула.

Ребенок хорошо рос и развивался, и Степенная Анна уже как будто меньше вспоминала многозначительную ухмылку Хромого Бартоломея, меньше вспоминала его вывернутую наружу стопу, выбивающую такт марша, все больше склонялась к тому, чтобы поверить серьезному, спокойному Анджею, который, даже когда молчал, одним своим видом, казалось, говорил: «Несчастье само по себе, свадебный марш сам по себе, тишина в костеле во время венчания и несчастье — разные вещи. Несчастье приходит само по себе, неизвестно, с какой стороны его ждать, и совсем не обязательно оно обрушится на того, кого оглушила тишина в костеле после венчания».

Все это Степенная Анна пыталась прочитать на лице Большого Анджея, и такому прочтению помогло чужое несчастье — сначала несчастье в одной семье, а потом и во всей деревне.

Сначала несчастье Агнешки, которую в деревне называли веселой и которая жила на лугу недалеко от большой реки.

Однажды в самый полдень, в жаркий летний полдень, Веселая Агнешка стояла у плетня и смотрела на двух псов, которые резвились на лугу, и смеялась над их проделками, так смеялась, что не могла удержаться на ногах и ухватилась за плетень, и плетень шатался и трещал оттого, что Агнешка так и тряслась от смеха.

А в это время шел к ней через луг мужик, живший по соседству у той же реки. Веселая Агнешка заходилась от смеха и, смеясь, крикнула этому мужику, когда он был еще далеко: «Посмотри, как собаки забавляются, как они потешно забавляются!» Ибо ей хотелось к своему веселью присоединить хотя бы еще одно веселье, веселье хотя бы еще одного человека, ей очень хотелось поде-

литься с кем-то весельем, которое вызывал вид резвящихся собак, она хотела щедро поделиться весельем и тем увеличить свое собственное.

Но когда она крикнула этому мужику: «Посмотри, как собаки забавляются», мужик посмотрел не на собак, а на нее, и, хотя она снова и снова кричала ему: «Смотри, как забавляются собаки», он и не взглянул на собак, как будто ему не до них было, не оглядывался на собак, а все смотрел на нее и повторял: «Погоди, перестань!», а она все смеялась и все громче кричала ему: «Да смотри же, как забавляются собаки!»

А он, не отрывая глаз от нее, повторял все тише, так как приближался к ней: «Погоди, погоди, перестань».

Когда он подошел к ней совсем близко, а она продолжала смеяться, просто заходилась от хохота и с трудом выкрикивала сквозь смех: «Ну что ты не смотришь на псов, смотри, как они потешно забавляются!», он сказал ей: «Перестань, твой сын утонул».

В ответ на это она еще раз прыснула, ибо разошлась и не могла сразу остановиться, но этот последний смешок уже переломился где-то внутри, и от смеха остался вдруг лишь раскрытый рот, который она так и не закрыла, ибо, оставив его раскрытым, она как бы приготовила его для выражения отчаяния, ведь смех самым лучшим образом подготовил ее лицо к отчаянию, которому необходим такой раскрытый рот, чтобы через него вырывались хриплые нутряные стоны.

С таким застывшим раскрытым ртом она пробежала мимо резвящихся собак и помчалась к реке, где на берегу лежал ее мертвый сын, вытащенный из воды рыбаками. Там, на берегу, Агнешка, прозванная веселой, бросилась к своему единственному сыну, начала трясти и тормошить его и говорить с ним как с живым: «Стась, скажи что-нибудь, ну скажи что-нибудь, Стась, ведь ты живой».

А потом Агнешка отбежала от своего мертвого сына и стала издали разглядывать его и затем сказала, обращаясь к людям: «Он живой, видите, моргнул, он живой, видите, он же дышит, он живой...»

Потом она повторила это людям в более торжественной форме: «Мой сын, Станислав Гончар, жив»; а потом уже без слов «мой сын», только: «Станислав Гончар жив, почему вы говорите, что он утонул?»

Люди подняли тело утопленника и понесли его, а Агнешка, прозванная веселой, шла за ними и тихо говорила: «Почему вы его несете? Ведь он же живой».

Один старый рыбак посоветовал тело утопленника положить в погреб, ибо дни стояли жаркие; так они и сделали.

И все-таки не помогло Степенной Анне несчастье Агнешки, прозванной веселой, у которой все было как полагается во время венчания, и прежде всего был свадебный марш, для которой весело и громко играл орган в костеле, и люди улыбались этой мощной, сотрясающей стены музыке, и, хотя они были в костеле, ноги их сами собой потихоньку притопывали, а пальцы рук шевелились в такт музыке.

Не очень-то помогло, как видно, Степенной Анне несчастье Агнешки, ибо вот теперь крадется она в темноте от плетня к плетню, от дерева к дереву, от стены к стене, придерживая рукой коробок со спичками, чтобы не бренчали.

А то, что она вот так, ночью, крадется со спичками в кармане и старается, чтобы ее никто не увидел, говорит о том, что верх взяли слова и гримасы Хромого Бартоломея, его красноречивое молчание и хромая нога, выразительно притопывающая в такт неслышного марша, повторяющая своим притопыванием одно и то же: «Не было у тебя свадебного марша, не было у тебя свадебного марша, несчастье подстерегает тебя, и оно дождется своего часа, несчастье обязательно постигнет того, у кого не было свадебного марша, оно подождет, пока над твоим домом не пролетят один за другим пять черных воронов, пока кому-нибудь из вас не приснится змея, ползущая в крапиве, пока в вашем дворе петуху не отрубят голову, а тот, без головы, с хлещущей из шеи кровью, вырвется из рук и помчится к засохшей яблоне; несчастье подстерегает таких, оно ждет своего часа — и дождется».

И хотя какое-то время несчастье Веселой Агнешки помогло Степенной Анне пересиливать пророчества Хромого Бартоломея, хотя какое-то время помогал ей вой матери, у которой утонул единственный сын, а ведь ей, Агнешке, играли на свадьбе марш, играли так, что сотрясались стены костела, Степенная Анна все-таки не могла полностью забыть о пророчествах Хромого Бартоломея и полностью довериться словам Большого Анджея.

III

Многому также — хотя опять напрасно — научило ее несчастье всей деревни, беда всей деревни, пришедшая однажды поздним летом, когда зарядил бесконечный дождь, мелкий-премелкий, такой мелкий, что казалось, вот-вот прекратится, и все не прекращающийся.

Дождь этот шел изо дня в день, а хлеб на полях был

убран и сложен в бабки и суслоны и оставлен для просушки, а дождь все не прекращался, и хлеб мог прорасти.

Это было несчастьем для всей деревни, а значит, и для тех, кому играли свадебный марш после венчания, и для Анны, прозванной степенной, которой, одной-единственной во всей деревне, не сыграли свадебного марша; несчастье для тех, над домом которых пролетели один за другим пять воронов, и для тех, над домом которых не пролетали вороны, несчастье для тех, кому снилась змея в крапиве, и несчастье для тех, из рук которых вырвался петух с отрезанной головой, и несчастье для тех, у кого зарезанный петух не вырывался.

Дождь все сыпал и сыпал, и нельзя было свезти снопы. Бабки и суслоны стояли под дождем и мокли, постепенно теряя чистый цвет соломы и покрываясь из-за избытка влаги черным гнилым налетом.

Сколько раз люди смотрели на снопы, а потом на небо, потом опять на снопы и опять на небо и, глядя на небо, говорили: «Проясняется, завтра покажется солнце». Но белые тучки, тянувшиеся по небу рядом с темными тучами, эти светлые тучки, вселявшие надежду, обманывали людей, ибо дождь все сыпал и сыпал, так что люди возненавидели эти тучки, вселявшие надежду, эти обманчивые тучки, и плевали на них снизу, и грозили кулаками.

Иногда темные и светлые тучи так смешивались, так клубились и перемещались, что сквозь них можно было разглядеть кусок чистого неба.

Тогда все говорили: «Проясняется, проясняется». Но не прояснялось, и все сыпал и сыпал мелкий дождь, а бабки и суслоны стояли на полях и мокли.

Люди ожидали, что погода переменится, но она не менялась; светлые тучки и участки чистого неба обманывали людей, и случилось так, что люди возненавидели сильнее всего эту свою надежду, и уже никто не отваживался сказать: «Проясняется, проясняется, будет погода».

Но люди все равно, сами себя стыдясь, задирали головы, ибо не хватало уж сил, чтобы сохранить хоть остаток гордости, которая запрещала им смотреть на тучи и пытаться по ним предсказать перемену погоды.

Ночью, когда спускалась темнота, им не было нужды притворяться и стыдиться, не надо было заботиться о соблюдении своего достоинства; ночью в них обнажалась душа рабов растений, животных и погоды; они внезапно просыпались и шли к окнам, наталкиваясь в темноте на столы и стулья; они прикладывали теплое со сна ухо к холодному оконному стеклу и слушали, слушали, надеясь, что, может быть, это не дождь, а ветер так шумит, надеясь, что это ветер издает такой тихий шум.

Они открывали окна и высовывали руки, но тут же отдергивали их и с мокрыми от дождя ладонями возвращались в кровать и ждали прихода дня.

Днем они натягивали на себя свой стыд и смотрели на тучи.

Потом, утопая в грязи, они шли на поля, а следом за ними брели дети, ибо дети должны разделять печали взрослых. Придя на поля, они совали руки в снопы, сложенные в бабки и суслоны, и убеждались, что там, внутри, тепло; это означало, что зерно прорастет, если не перестанет идти дождь; а дождь все моросил.

Иногда из середины бабки или суслона они вытаскивали один колос, а из этого колоса вылущивали одно зерно и клали его на ладонь, как на маленькое блюдечко, и рассматривали это зерно, эту кроху, набухавшую жизнью; все головы склонялись над этим зерном, и люди приходили в ярость и проклинали эту жизнь в зерне, эту проклятую жизнь, которая распирала зерно, которая выйдет из зерна, если не прекратится дождь; а дождь все не прекращался.

Если бы дождь перестал лить и появилось солнце, жизнь в зернах замерла бы, и из этих немного разбухших и слегка посветлевших зерен еще можно было бы сделать муку, сделать хлеб. Но это могло произойти лишь в том случае, если дождь прекратился бы через несколько часов или хотя бы к концу дня, то есть еще было время, время еще было; и тогда они первый раз — и последний — улыбнулись друг другу и весело заговорили, как будто в небе уже сияло солнце, как будто солнце сияло и грело.

Можно было слышать, как они говорили друг другу такие слова:

«Ты еще поешь хлеба из этого зерна, поешь».

Но тут же смех оборвался, ибо все сыпал и сыпал мелкий, непрекращающийся дождь; и можно было слышать такие слова:

— Ты еще пожрешь хлеба.

— Еще пожрешь.

— Как свинья.

— Как боров.

— Будешь жрать этот хлеб, это дерьмо из проросшего зерна.

— Будешь жрать это вонючее дерьмо.

— Как голодный боров из корыта.

Они замолкали, и с отвращением сдували с ладоней разбухшее, белесое, больное жизнью зерно, и обращали лица к Хромому Бартоломею, который, как говорили в деревне, что-то видел над горизонтом перед тем, как начаться этому мелкому, затяжному дождю.

Тогда он видел что-то в небе над горизонтом, поэтому они спрашивали у него, не видит ли он чего-нибудь такого, что предвещает конец дождю, ибо они опять преисполнялись надеждой, которую ненавидели.

Их покрасневшие глаза и разгоряченные лица, казалось, вопрошали: «Ты видишь что-нибудь? Видишь?»

Некоторые даже показывали рукой на горизонт и спрашивали: «Видишь ли ты что-нибудь, видишь?»

А те, которые держались Большого Анджея, успокаивали тех, кто не сводил глаз с Хромого Бартоломея, и говорили им: «Дождь — обычное дело, дождь — обычное дело».

Но деревня не желала слушать Большого Анджея и тех, что были с ним заодно.

Люди все не сводили глаз с застывшего в кривой усмешке лица Хромого Бартоломея и заклинали его: «Ты видишь что-нибудь, ты видишь что-нибудь, ты видишь что-нибудь?» Но Хромой Бартоломей ничего не отвечал на это, только дрожала его хромая нога, так дрожала, что из-под нее брызгала грязь.

Тогда люди стали напирать на него молча, окружая его этим молчанием, а один толкнул его, крепко толкнул, так что хромой зашатался и упал, а другой наступил ему ногой на горло и спросил: «Долго ли еще будет дождь, ты видел что-нибудь?» И остальные хором повторили за ним: «Ты видел что-нибудь?»

Большой Анджей крикнул: «Что вы делаете, что делаете?» И, подбежав к ним, оттолкнул того, кто держал ногу на горле Бартоломея, помог хромому подняться с земли и велел ему идти домой. Тогда люди улыбнулись и сказали: «Да это только так, мы пошутили». И стали расходиться; возвращаясь в деревню, они шли, опустив головы и глядя в землю, как будто чего-то искали там, внизу, в грязи. И опять за ними следом шли дети, ибо дети должны разделять печали деревни, дети не могли оставаться непричастными к ее печалям, когда шел такой неустанный, затяжной дождь.

Взрослые, хотя на них и свалилась беда, все-таки украдкой следили за детьми, чтобы убедиться, что все обстоит так, как должно быть, что дети тоже опечалены, что они ходят опустив головы или тоже поглядывают на небо, что они не веселятся и не шалят, а во всем подражают взрослым и, как взрослые, видят только землю или небо, и, как взрослые, боятся низко стелющихся туч, и, как взрослые, дрожат при одном взгляде на них; а если дети боятся, если просыпаются ночью от страха, испытывают страх, видя этот непрекращающийся мелкий дождь,— тогда все в порядке, все обстоит так, как и должно обстоять с детьми в такие лихие времена.

Взрослые ведь всегда увидят, как ведут себя дети, хотя те и прячутся у них за спинами и стараются избежать их взгляда и рук, которые часто били детей в ту пору, когда зарядил мелкий, затяжной дождь.

Порой детей били даже тогда, когда те вели себя как следует, то есть горевали и боялись туч; может, взрослым казалось, что дети только притворяются, а на самом деле им хочется играть и веселиться, а горестное выражение на их лицах появлялось лишь тогда, когда на них смотрели взрослые.

Поэтому, пока шел этот непрекращающийся дождь, были биты даже печальные дети, даже те из них, кто действительно боялся низко стелющихся туч.

Были биты также собаки, и чаще всего тогда, когда они ластились к людям, когда вставали на задние лапы, а передними доверчиво упирались в людей.

Недоброй была для детей и собак та пора, когда моросил мелкий, мельчайший, похожий на туман, дождь.

IV

И все-таки то, что происходило в деревне в пору затяжных дождей, не смогло окончательно отвлечь Анну, прозванную степенной, от мыслей о Хромом Бартоломее, о его лице и пронизывающем взгляде, не помогло ей забыть его слов, перестать им верить, перестать верить в пророчества хромого, иногда произносимые им вслух, а чаще всего укрытые в его красноречивом молчании и выразительном притопывании хромой ногой в такт марша: «Не было у тебя свадебного марша, не было у тебя свадебного марша, а такую подстерегает несчастье, несчастье подстерегает такую, оно подождет, оно не торопится, но дождется своего, подождет, но дождется».

То, что случилось с Агнешкой, прозванной веселой, которой играли свадебный марш, и то, что происходило в деревне и на полях, когда сыпал этот мелкий, похожий на туман дождь, не настолько повлияло на Анну, прозванную степенной, чтобы она могла раз и навсегда поверить словам Большого Анджея, который часто говорил Хромому Бартоломею: «Не мели ерунды, Бартек, перестань пророчить. Чем молоть ерунду, лучше займись делом».

Случались, однако, такие минуты и дни, когда Степенная Анна, казалось, целиком верила Большому Анджею, верила его словам, но и тогда, когда она с доверием смотрела на его доброе, серьезное лицо, ее не оставляли сомнения: «Кому из них поверить?» Ибо рядом с серьезным и добрым лицом Большого Анджея в ее воображении

сразу возникало красное гримасничающее лицо Хромого Бартоломея, и сомнения вновь одолевали ее.

Пока сыпал мелкий, затяжной дождь, она склонна была верить Большому Анджею, хотя и тогда ее не оставляли сомнения: «Кому поверить?» Но она все-таки склонна была поверить Большому Анджею, ибо этот мелкий, непрекращающийся дождь принес несчастье всем — и тем, кому при венчании играли свадебный марш, и ей, хотя во время ее венчания в костеле стояла тишина.

Когда же дождь прекратился, ею с удвоенной силой овладели сомнения: «Кому из них поверить?»

Тот непрекращающийся, мелкий, как туман, дождь наконец прекратился, прекратился внезапно, тучи выровнялись и стали гладкие, как стол, и стали светлые, и в этих посветлевших тучах появилась дыра, сквозь которую было видно небо; а потом быстро, одна за другой, появились еще такие дыры, и вот их уже стало больше, чем белых туч, похожих на огромный гладкий стол, и вот показалось солнце; и было небо и солнце.

Но солнце пришло слишком поздно, ибо зерно уже проросло, скирды покрылись зелеными ростками; дождь погубил зерно, и было бы лучше, если бы солнце не появилось вовсе.

Люди злились на это опоздавшее солнце, и люди плевали на это опоздавшее солнце; они задирали головы и плевали в это яркое солнце, или прятались в тень и плевали на те участки земли, которые освещало солнце, просвечивающее сквозь листья и ветви деревьев, или, стоя на солнце, грозили ему кулаком.

Наступили солнечные погожие дни, но люди ненавидели эту солнечную погоду, ибо знали, что́ произойдет с их зерном, сложенным в бабки и суслоны на полях; они знали, что это зерно ни на что не годится, в лучшем случае пойдет на корм свиньям, а солома засохнет и почернеет.

Долго стояли солнечные дни, и некоторые люди из деревни подходили к почерневшим скирдам на полях и, нарушая правильную форму скирды, выдирали из ее середины пучок соломы, черный, ломкий, рассыпающийся пылью пук. Они размахивали этими пуками, как факелами, факелами, лишенными огня и только дымящими пылью, и, издеваясь над солнечной погодой, говорили: «На что нам теперь солнце?» И швыряли эти «факелы» на подсыхающую землю, а оставшуюся на руках пыль и черную труху, тоже постепенно превращающуюся в пыль, вытирали об одежду.

Но когда они вот так горько издевались над солнеч-

ной погодой, откуда-то, из какого-то далекого будущего, являлись к ним и наваливались благословенной тяжестью дни, которым суждено явиться, и они видели свою землю, какой ей суждено стать, эту самую землю, но обновленную, ибо покроет ее чистый, неиспорченный хлеб; и, ощущая на себе приятную тяжесть дней одолженных, вымоленных у будущего, они шли в сараи, брали плуги и начинали пахать подсохшую землю и этой пахотой просили у солнца прощения.

В те дни, когда они грозили солнцу дымящими факелами без огня, и потом, когда они своей пахотой просили у солнца прощения, Анну, прозванную степенной, с новой силой одолели сомнения, кому поверить — Хромому Бартоломею или Большому Анджею, ибо уже прошли дни, когда казалось, что она полностью уверовала в спокойные и веские слова Большого Анджея.

Она опять стала метаться между ними, видимо, еще и потому, что как раз на эту солнечную погоду пришлась болезнь ее сына, тогда ее единственного ребенка, который так хорошо рос и развивался вот до этой самой болезни.

Болезнь началась с того, что мальчик сначала сильно побледнел, потом его стало трясти мелкой дрожью, так что пришлось уложить его в постель, где он еще какое-то время дрожал от холода, а потом его тело начало пылать в горячке.

Она сидела у постели больного, который то забывался сном, то просыпался; когда он засыпал, тихо становилось в избе, и было слышно только учащенное дыхание мальчика; а когда он с плачем просыпался, она клала ладонь на его горячий влажный лоб и говорила: «Не плачь, не плачь».

Мать успокаивала сына этими простыми, немудреными словами, первыми, которые приходили ей в голову, чтобы ребенок замолчал и чтобы она могла опять заняться своими мыслями: «Он где-то там, он где-то там кружит, может, у забора стоит, а может, у старой яблони, а может, сидит в своей избе, а может, в сарае поит корову, он где-то близко, этот Хромой Бартоломей, он где-то близко, и он твердит одно и то же, хотя и молчит, но красноречиво говорят его усмешки и искривленная нога, красноречиво говорит каждое движение его руки и даже само его существование: «Не было у тебя свадебного марша, не было у тебя свадебного марша, тебя подстерегает несчастье, оно выжидает, но дождется своего, это так же верно, как то, что несчастье постигнет всякого, над чьим домом пролетят один за другим пять черных воронов, того, кому приснится змея, ползущая в крапиве,

того, кто отрубит петуху голову, и он без головы, с хлещущей из шеи кровью вырвется из рук и помчится к засохшей яблоне; таких подстерегает несчастье, оно ждет, но дождется своего».

Когда больной мальчик с плачем просыпался, Анна успокаивала его первыми пришедшими в голову, первыми попавшимися и потому равнодушными словами: «Не плачь, не плачь». Чтобы поскорей вернуться к другим мыслям: «Он где-то близко, где-то совсем рядом, может, в саду, а может, пашет в поле, а может, стоит во дворе своего дома у плетня или сидит дома, но и он, Большой Анджей, где-то близко, и он повторяет одно и то же или вслух, или с сомкнутым ртом, или жестом: «Чушь несет Бартоломей, не мели ерунды, Бартек, иди домой и не каркай».

И опять успокаивала то и дело просыпающегося мальчика своим монотонным «Не плачь, не плачь».

Потом мальчик заснул и долго спал, а она подошла к окну и смотрела на деревья и на землю сада; и вдруг она увидела, как вышел из-за сарая и идет по дорожке к дому ее муж Владислав, вернувшийся из дальних краев, куда он давно уехал на заработки.

В саду не было никого, только он, муж, медленно идущий к дому, да еще гусь, который неизвестно почему не ушел со всеми гусями к воде, а остался на траве под деревьями и теперь злился и шипел на человека с маленьким деревянным сундучком в руках; человек протягивал руку, чтоб погладить его, а тот все больше и больше злился и пятился, все ниже опуская и все вытягивая свою длинную гусиную шею, и все шипел, шипел, не преступая, однако, границы между страхом и желанием напасть на человека.

Анна все стояла у окна и ждала, когда войдет муж, чтобы встретить его так, как будто он уехал только вчера и сегодня вернулся, чтобы сообщить ему случившееся за день, сказать ему: «Мальчик болен, дело плохо». И сразу замолчать, и это выразительное молчание скажет ему и другое, тесно связанное с первым: «Не было у нас свадебного марша, не было у нас свадебного марша». И это выразительное молчание заменит злые, резкие слова: «А ты, мой муж, ты, мой работящий, заботливый муж, ты, уезжающий в чужие края, чтобы заработать деньги и прикупить немного земли, ты, мой муж, мог бы тогда договориться с органистом, чтобы он сыграл нам в костеле свадебный марш, ты мог бы сказать ему: сыграй нам пока без денег, я тебе заплачу потом, у меня крепкие руки, ты ведь знаешь, у меня крепкие руки, не бойся, я тебе заплачу. Но ты, мой работящий муж, не сделал

этого, а мог бы сделать, мог бы поговорить с органистом как мужчина с мужчиной, мог бы сказать ему: что это за свадьба будет без свадебного марша, что это за жизнь будет без свадебного марша? Тебя он бы послушался, он бы послушался мужика, уговаривающего его сыграть свадебный марш; наверняка он бы испугался, если бы мужик стал умолять его сыграть свадебный марш, ибо одно дело, когда умоляет баба, и совсем другое, когда умоляет мужик; если бы скулил мужик, органист бы послушался, ведь мужик редко когда скулит».

А потом Анна, прозванная степенной, вместо того чтобы поздороваться с давно отсутствовавшим мужем, вместо того чтобы обнимать его и говорить слова, какие говорят мужу, которого давно не было дома, вместо того чтобы с радостным удивлением восклицать: «Вот и ты! Приехал наконец! Так неожиданно!», вместо того чтобы окружить его заботой и лаской, сделав его добровольной и беспомощной жертвой своей радости, вместо того чтобы показать ему спящего мальчика и сказать: «Малыш спит, он немного приболел, но скоро все пройдет, у детей такие вещи проходят быстро»,— вместо всего этого после слов «Мальчик болен, дело плохо» и после своего выразительного молчания она преодолела робость и все-таки сказала мужу, которого давно не было дома и который только что возвратился: «Ты ведь мог бы тогда, перед нашим венчанием, договориться с органистом насчет свадебного марша».

И тут же спохватилась, что эти слова, пришедшие из ее собственного, сокровенного мира, странно звучат в обычном мире обычных людей, поэтому не стала ждать, что́ ответит ей муж, а заставила себя сказать: «Поставь сундучок и иди поешь, пока сын спит».

Ее муж Владислав подошел к кровати и долго смотрел на спящего сына, потому что давно его не видел, а потом прошел в кухню, где Анна приготовила ему поесть.

Мальчик спал долго, а когда проснулся, опять плакал, но меньше; на следующий день он проснулся уже совсем спокойный, а через несколько дней уже смеялся, так как к нему быстро возвращалось здоровье.

Вскоре мальчик уже бегал и играл в саду, а его мать Анна могла убедиться, что выздоровел сын той, которой во время венчания в костеле не играли свадебного марша, когда она со своим мужем Владиславом шла от алтаря; что выздоровел сын той, которая во время венчания слышала только тишину и видела недоумевающие, удивленные и даже страдающие от этого удивления лица людей.

А если мальчик выздоровел, может, предсказания Хромого Бартоломея немногого стоят, если мальчик выздоровел, может, следует поверить Большому Анджею?

Следовало поверить Большому Анджею, и Степенная Анна очень старалась поверить ему; чтобы поверить, она мысленно даже ругала себя, мысленно кричала на себя, когда в ней снова начинало шевелиться сомнение: «Почему ты не веришь тому, что говорит Большой Анджей, этот умный, серьезный мужик? Почему ты не веришь ему, хотя у тебя родился здоровый ребенок, а заболев, сразу же — как это обычно и бывает — выздоровел, почему ты ему не веришь, если беда постигла Веселую Агнешку, во время венчания которой играл орган и музыка заполнила весь костел, почему ты не веришь ему, если во время затяжного дождя плохо было и тем, которым играли свадебный марш, и тебе, единственной, которой его не играли? Почему ты не веришь Большому Анджею, ведь пророчества Хромого Бартоломея не сбылись?»

Потому что Хромой Бартоломей говорит: «Таких подстерегает несчастье, оно не торопится, оно выжидает, оно подождет, но дождется своего». В предсказаниях хромого есть словечко «подождет», то есть говорится о том, что несчастье обладает большим терпением, что оно набирается большого терпения, когда подстерегает человека, говорится о том, что зло не торопится.

Но ведь до сих пор не сбылись пророчества Хромого Бартоломея, а сбывается то, что повторял Большой Анджей, и, следовательно, это его слова правдивы, это его мир правдив, и лицо его правдиво, и ему можно верить, а слова Хромого Бартоломея лживы, лжет и его лицо. Так почему же ты не можешь полностью поверить Большому Анджею? Не могу поверить, ибо Хромой Бартоломей говорит: «Зло подождет», ибо он все время намекает, что несчастье любит выжидать, что оно любит подстерегать человека и своего дождется.

Так что, хотя, с одной стороны, все склоняло Анну, чтобы поверить Большому Анджею, с другой стороны, ее продолжали мучить сомнения: «Кому из них верить?»

Эти сомнения так заполняли все ее нутро, что, когда ее муж Владислав опять уезжал в чужие края на заработки, она даже не попрощалась с ним; склонившись над горшком с дымящейся горячей картошкой, которую толкла, она даже не распрямилась, услышав, как муж захлопнул приготовленный в дальнюю дорогу сундучок; муж, видя, что она занята, сказал: «Ну, я пошел». И ушел.

Проститься с мужем не было ни времени, ни возможности, ибо, пока ее муж собирался в дорогу и потом

уходил из дому, Степенная Анна толкла картошку, а в голове ее лихорадочно билась мысль: «Во что поверить, в то, что говорит Хромой Бартоломей, или в то, что говорит Большой Анджей; с какими словами отправить Владислава в путь — с мрачными пророчествами Хромого Бартоломея или с разумными речами Большого Анджея?»

Вот почему не осталось времени на прощание, даже на «Счастливого пути, да хранит тебя господь», даже на это, ибо короткое, быстро промелькнувшее время расставания было похищено мыслью-вопросом: «Кому поверить?»

Поверить Бартоломею — значит поверить, что может случиться плохое с покидающим ее мужем, а поверить Большому Анджею — значит приободриться и верить, что с ее мужем ничего плохого не случится.

На поиски ответа, на эти сомнения ушло все время, отведенное для расставания; на сомнения, а может быть, на неизменный упрек мужу, идущему сейчас полем со своим деревянным сундучком: «Ты, мой муж, ты, мой муж, ты мог бы договориться с органистом, чтобы он сыграл свадебный марш, когда мы венчались, но ты не сделал этого, и марша не было».

Этот упрек, разумеется, уже ничего не мог изменить, как ничего не могло изменить ее вечное сомнение: «Кто говорит правду, Хромой Бартоломей или Большой Анджей?», и подтверждение тому факт, что вот теперь она крадется по задворкам деревни, и уже обогнула большой сарай, который выдается из общего ряда сараев, и сейчас торопится пройти мимо плетня из молодых гибких ивовых прутьев, и скоро уже будет там, куда решила идти, когда неуверенно нащупывала на печке коробок со спичками и повязалась большим платком.

Но тогда, когда ее муж Владислав второй раз уезжал в чужие края на заработки,— тогда еще были сомнения и вопрос: «Кому поверить?»

Ее муж Владислав еще идет полями к железной дороге, а Анна думает: «Что ждет тебя там? Ведь у нас не было свадебного марша».

Владислав садится в поезд, Анна терзается: «Кому поверить?»

Владислав едет в чужие края, Анна думает: «Я видела у конюшни Хромого Бартоломея, он притопывал ногой, тем самым напоминая, что не было у нас свадебного марша, а это сулит несчастье».

Владислав едет в чужие края, Анна думает: «Я видела Хромого Бартоломея, он стоял у плетня, и лицо у него блестело и было красным, он ничего не говорил, но лицо его само говорило: «Зло любит выжидать, зло

находит в этом наслаждение».

Владислав уехал в чужие края, Анна думает: «Я должна поверить Большому Анджею».

Владислав таскает кирпичи для строящегося французского дома, Анна говорит своему сыну:

— Смотри не наступи на ржавую проволоку.

Владислав таскает кирпичи для французского дома, Анна думает: «Только бы чего не случилось с тобой на этой французской стройке».

Владислав таскает кирпичи на французскую стену, Анна думает: «Не было у меня свадебного марша» — и наставляет сына:

— Смотри не порань себя, смотри не лезь в холодную воду.

Владислав таскает кирпичи на французскую стену, Анна думает: «Я должна поверить Большому Анджею».

Владислав добывает уголь на французской шахте, Анна думает: «Хоть бы что не случилось там, на французской шахте».

Владислав добывает уголь на французской шахте, Анна ощупывает свой живот и убеждается, что ей предстоит рожать еще раз.

Лицо и руки Владислава покрывает французская угольная пыль, по лицу Владислава текут черные капли пота.

Анна рожает второй раз и в перерывах между схватками успевает подумать: «Не было у меня свадебного марша» — и крикнуть: «Ребенок жив?» И потом опять: «Ребенок жив?!»

Владислав надрывается на французской шахте, Анна узнает, что ребенок жив, и засыпает. Ей снится Хромой Бартоломей, во сне она видит, как он выглядывает из-за нового забора и ласково ей улыбается; и еще она видит, что лицо хромого не красное, а обыкновенное здоровое лицо, и еще она видит во сне, что обе ноги Бартоломея в порядке, что нет уже скрюченной хромой ноги, что он вовсе не хромой.

Дальше ей снится, как этот здоровый Бартоломей говорит ей: «Не переживай из-за того, что у тебя не было свадебного марша, не имеет никакого значения, играли во время венчания свадебный марш или нет, не переживай».

Во сне увидела она также Большого Анджея, он подошел к Бартоломею, подал ему руку и сказал: «Правильно говоришь, Бартек, я рад, что ты поумнел». И они оба смеялись, стоя у новенького плетня, и она тоже смеялась, стоя по другую сторону плетня.

И с этим смехом она проснулась и огорчилась, что все

это было только сном.

Потом она разглядывала новорожденного, второго сына, который станет учителем, когда вырастет, и думала о словах Бартоломея, не о тех словах, которые говорил в ее сне крепко стоявший на двух ногах Бартоломей, она думала о словах: «Зло не торопится, зло любит подождать, оно выжидает, чтобы обрушиться на ту, у которой не было свадебного марша, или на детей той, которой не играли свадебный марш, или на мужа той, которую после венчания в костеле окружили тишина и удивление собравшихся гостей».

Второй ребенок Степенной Анны тоже рос здоровым, хорошо развивался и начал ходить, когда ему не исполнилось и года.

Оба мальчика бегали по саду и по полям, а когда прибегали к ней, нарушали течение ее мыслей, среди которых выделялась одна и та же: «Зло выжидает».

Вид сыновей, здоровых, крепких мальчиков, весело играющих в саду и на поле, хорошие письма, что приходили от мужа Владислава, и добрая улыбка Большого Анджея все дальше отодвигали навязчивую мысль: «Ты одна-единственная во всей деревне, кому во время венчания не играли свадебного марша, ты должна быть осторожной, должна смотреть в оба, ибо зло выжидает».

И получалось так у Степенной Анны, что по одну сторону в ее мыслях были оба ее крепких, здоровых сына, Большой Анджей, письма от мужа, а по другую— один Бартоломей.

Выпадали такие минуты, когда она совсем была готова поверить рассудительному Большому Анджею. В такие минуты Степенная Анна обычно говорила: «Как красивы поля, и как тут тихо, я и не знала, что поля такие красивые и такие тихие».

И казалось, что только в эти минуты она видит мир таким, каким видела его до своего венчания, что только теперь она по-настоящему видит поля, луга и сады.

Но короткими были такие минуты, и Анна успевала лишь прикоснуться к этому обычному миру с его обычными мыслями, свободными от преследующих ее навязчивых слов: «Не было у тебя свадебного марша, зло выжидает». Она только прикасалась к обычному, нормальному миру, и тот сразу же исчезал, убегал от нее, и тут же появлялся мир, где на первом плане возвышался старый покосившийся плетень, а за плетнем стоял старый Хромой Бартоломей, мир, над которым все кружится одна и та же оса и все жужжит, жужжит: «Не было у тебя свадебного марша, не было у тебя свадебного марша».

Та же оса, видимо, жужжит над ней и сейчас, когда

она ночью крадется от плетня к плетню, от угла одного сарая к углу другого.

Были все же в ее жизни минуты, когда эта оса замолкала; замолкла она, например, в тот день, когда с подросшим уже младшим сыном Анна отправилась на луг, чтобы посмотреть, как там корова, все ли с ней в порядке, не перелезла ли она через загородку из толстых ивовых жердей и не забралась ли на чье-нибудь поле.

Анна спокойно стояла на лугу и смотрела, как пасется корова и как весело носится по лугу мальчик, носится кругами вокруг коровы, подбегает к ней и смеется. Эта большая, пасущаяся на свободе корова и расшалившийся здоровый ребенок, весь этот погожий день заставили умолкнуть надоедливую осу, жужжавшую над Анной и в ней самой, но умолкнуть так, как она обычно умолкала, не совсем, не полностью, только так, как будто она улетела куда-то и вот-вот вернется.

Жужжание невидимой осы стало снова громким, когда Анна вдруг увидела, как по лугу к ней идет староста, а с ним несколько мужиков и баб. Анна явственно слышала, как оса жужжала: «Не было у тебя свадебного марша, зло не торопится, а всегда дожидается своего часа».

Она не сомневалась, что староста и мужики идут именно к ней; и, значит, случилось что-то важное, раз идет сам староста в сопровождении мужиков и баб.

Она поняла, что это должно быть что-то очень важное, раз они не кричали ей издалека, а шли к ней, чтобы сказать это важное, глядя в глаза, как сообщают только важное известие.

Они подошли и окружили ее, так что она оказалась в тесном кольце людей; и это было первое кольцо, потому что потом она еще два раза оказывалась на лугу под вербами в кругу мужиков и баб, и это навсегда осталось в ее памяти. Но только в двух первых случаях в центре круга, образованного мужиками и бабами, была она; в третий раз в центре был Хромой Бартоломей.

Второе кольцо вокруг нее мужики и бабы образовали через девять лет после первого, а третье, вокруг хромого и уже очень старого Бартоломея, только через тринадцать лет после второго.

Что касается двух первых кругов, в центре которых была Анна, то, хотя их и разделяло столько лет, образовывались они одинаково: так же она была на лугу и так же подходили к ней люди, различны были лишь вести, которые сообщались ей, стоящей в центре круга.

Так же шли они по лугу, и не кричали издали, а подходили к ней вплотную, и окружали ее, и не спешили

сказать, с чем пришли, только продолжали молча, с любопытством глядеть на нее.

И может быть, первые слова людей, которые окружили Анну на лугу в первый раз, были точно такие же, как первые слова людей, которые окружили ее на лугу второй раз, девять лет спустя.

Они начали разговор с глупого и ненужного вопроса: «Пасешь, Анна?» Как будто сами не видели, что она пасла корову, и все-таки задали этот вопрос; а потом еще сказали: «Хороша трава в этом году».

Вместо того чтобы сразу сказать, сразу выложить то, с чем пришли, они начали говорить о траве, а потом, когда уже совсем тесно окружили ее, когда ей уже совсем невмоготу было ждать, чтó же они ей сообщат, и ее глаза все шире раскрывались от страха, когда они, казалось, уже вот-вот скажут ей то, что собирались сказать, они все еще неизвестно почему медлили со своей вестью, и принялись разглядывать корову, и стали говорить о корове, и говорили что-то в таком духе: «Хорошая у тебя корова, большая корова у тебя, много молока, должно быть, дает».

Потом они оставили корову в покое и повернулись к Анне, и она была уверена, что уж сейчас-то они скажут, с чем пришли к ней. Она была уверена в этом, ибо люди замолкли, закрыли рты и так сжали челюсти, как обычно сжимают перед тем, как сообщить что-то очень важное.

Но даже после этого молчания они не сообщили ей вести, с которой явились; один из них рассмеялся, и толкнул другого, и показал на загородку, окружающую луг, а тот, кого толкнул мужик, который рассмеялся, принялся рассуждать о загородках и о том, что одних только толстых ивовых веток, прибитых к редко стоящим столбам, одних только этих жердей, мало для загородки, что для некоторых коров это не препятствие; некоторые коровы, те, что помоложе, особенно телки, научились перепрыгивать через эту жердь, а старые коровы сгибаются, и подлезают под эти толстые жерди, и пролезают под ними, а так как жерди гибкие и гладкие, то никакого вреда корове не причинят, разве что пощекочут ее по спине.

Когда тот, что рассуждал о жердях и о загородке, закончил говорить, опять наступило молчание, и Анна опять нетерпеливо смотрела на них, на каждого в отдельности; а чтобы так смотреть, ей, стоящей в середине круга, пришлось все время поворачиваться, чтобы заглянуть каждому в лицо, но вдруг она остановилась, и они поняли, что больше тянуть нельзя.

Если говорить о двух людских кольцах, окружавших

Анну на лугу и разделенных интервалом в девять лет, то до того момента, когда она перестала вертеться и заглядывать каждому в лицо и в глаза, все было одинаково и в первый, и во второй раз; ибо и в первый и во второй раз они медлили с известием и вели ненужные разговоры; только известия были разные.

В первом случае староста сказал Анне, что ее муж Владислав отличился на французской шахте, что он спас людей во время аварии, что получил за это много денег и отпуск и что, наверное, скоро приедет к ней; а договорив, он вручил ей письмо, в котором это сообщалось.

Люди, уже узнавшие все от старосты, внимательно наблюдали за Анной, ибо им хотелось застать ее в момент счастья.

Во втором случае весть была совсем другой, во втором случае Анне сообщили о смерти мужа, которого придавило огромной глыбой угля.

Люди тогда тоже пришли на луг и тоже окружили Анну, ибо люди любят наблюдать за несчастьем других и даже охотно стараются облегчить человеку горе, чтобы тем самым дать выход распирающей их самих радости, потому что их несчастье обошло.

V

Те девять лет, которые разделяли первую весть от второй, вместили приезд ее мужа Владислава и его отъезд, его последний приезд и последний отъезд перед смертью.

На эту пору, отделяющую счастье от несчастья, приходится рождение ее дочери, которая станет учительницей, когда вырастет.

Во время третьих родов Анна сквозь раздирающие ее муки будет опять допытываться, жив ли ребенок, и успокоится только тогда, когда услышит плач младенца.

Эти девять лет, разделяющие хорошую весть от плохой, уже не так густо заполняли прежние мысли: «Не было у тебя свадебного марша, зло затаилось».

Но случались и такие минуты за эти девять лет, когда что-нибудь мелкое, незначительное вдруг напоминало Анне о проклятой тишине в костеле в день ее венчания, и тогда сразу же вспоминались притопывания скрюченной ноги Хромого Бартоломея и то, что означало это притопывание, самое плохое, самое страшное: «Зло не торопится, оно выжидает».

Такие минуты, однако, случались нечасто, чаще быва-

ли дни, когда верх брали слова Большого Анджея, сказанные старому Бартоломею: «Не дрыгай ногой, Бартек, не доказывай этим, что на свадьбе обязательно должен быть свадебный марш, не морочь людям голову, ибо свадьба может быть и без свадебного марша, иди домой и не дергайся».

Эти добрые минуты и успокоенность, которую они привносили в душу Анны, способствовали тому, что ее прозвали степенной; как-то раз в начале этого девятилетнего отрезка ее жизни кто-то сказал о возвращающейся с поля Анне, что она идет степенно, чинно, что она несет себя с достоинством; другие это подхватили, ибо, присмотревшись к Анне, увидели, что она и в самом деле держится степенно, с достоинством.

Через какое-то время прозвище прижилось, и об Анне говорили не иначе как «эта степенная Анна». Так оно и осталось за ней и позже, когда, получив известие о смерти мужа, она вышла из окружения людей, воздев вверх руки со сжатыми кулаками, даже тогда люди, рассказывая шепотом о ее воздетых руках, говорили так: «Степенная Анна богохульствует, она грозит небу кулаками».

И потом, когда она опустила руки, и грозила кулаками, и посылала проклятия в ту сторону, где стоял дом органиста, и в ту сторону, где стоял дом Хромого Бартоломея, люди шептали: «Степенная Анна грозит кулаком дому органиста, а теперь она грозит кулаком дому Хромого Бартоломея».

Пристало к ней это прозвище — «степенная», и люди, говоря «Анна», добавляли при этом «степенная», а говоря «степенная», добавляли «Анна», и даже когда она после проклятий и угроз разжала кулаки и закрыла ладонями лицо и глаза, люди говорили: «Степенная Анна не хочет смотреть на мир». И потом, когда она, кружа по своему саду, повторяла: «Даже туда проникло зло, даже туда, под землю, в эту французскую шахту, и там притаилось, и там выжидало, чтобы обрушиться на него и на меня»,— то и тогда люди шепотом передавали друг другу: «Степенная Анна говорит сама с собой, Степенная Анна говорит о французской шахте, Степенная Анна говорит сама с собой о том, что зло спряталось и под землей подстерегало его и ее».

В начале тринадцатилетнего периода, который разделял второе кольцо людей вокруг Анны и кольцо вокруг Хромого Бартоломея, Степенная Анна говорила часто: «А все этот старик натопал, этот старый оборванец, своей хромой ногой он натопал смерть».

Она говорила это даже тогда, и притом с особым

ожесточением, когда Большой Анджей пытался ее успокоить, пуская в ход всю свою рассудительность, всю свою доброту и терпение, когда он объяснял ей, что работа на шахте очень тяжелая и опасная, что там часты несчастные случаи, что несчастье постигло сорок горняков, что ее муж Владислав был одним из сорока человек, погибших тогда на французской шахте, что не мог же Хромой Бартоломей натопать своей хромой ногой смерть всем сорока шахтерам, да и одному не смог бы натопать, и что смерть никак нельзя натопать хромой ногой.

Даже тогда, когда Большой Анджей так хорошо ей все разъяснял, Степенная Анна твердила бессмысленно и упрямо: «Это старый колдун натопал ему смерть, это хромой накликал на него смерть, это старый побирушка притопывал и дергался и своим дерганьем завалил шахту».

Когда она так упрямо и бессмысленно повторяла одно и то же, Большой Анджей прибегал к другим способам, чтобы ее успокоить, и говорил ей: «Подумай о детях, Анна, подумай о детях, Анна».

Когда Большой Анджей пытался переключить ее мысли на детей, Анна переключалась, но опять на свое, опять на свое прежнее: «Не было у меня свадебного марша, а этот хромой побирушка все притопывает ногой, все наигрывает своей хромой ногой свадебный марш, и это его притопывание означает, что зло все еще выжидает, зло сделает свое, а потом опять затаится и опять выжидает».

Тогда Большой Анджей шел к Хромому Бартоломею, и входил на его убогий двор, и кричал на старика, и отгонял его от плетня, а тот упирался, кривил лицо и говорил: «Я стар и убог, я должен притопывать ногой, я должен все время наигрывать ей свадебный марш моей хромой ногой, потому как я нищий». А Большой Анджей, отталкивая его от плетня, говорил: «И вовсе ты не должен, не должен».

Большой Анджей заталкивал хромого в его жалкую, крытую соломой хибару, а хромой все упирался.

А Анна, прозванная степенной, говорила Большому Анджею: «Что из того, что ты загонишь его в дом, он и там будет притопывать».

К тому времени люди, говоря о ней, уже всегда прибавляли к ее имени прозвище «степенная», даже тогда, когда она вела себя не степенно, когда была вспыльчивой и резкой.

И если бы кто-нибудь из деревенских увидел ее сейчас, когда она крадется ночью, стараясь поскорее пройти открытые места между домами и сараями, он бы

тоже сказал: «Степенная Анна крадется за плетнями и сараями».

А она, стараясь проскользнуть незаметно в тени плетней и сараев, уже добралась до последних домов деревни; пройдя их, выйдет на большой луг, где будет в большей безопасности, чем за плетнями и сараями, ибо ночью на лугу легче убедиться, что ты один, чем в деревне, среди плетней и построек.

Но прежде чем наступит эта ночь, пройдет еще много лет, и Анне, прозванной степенной, еще предстоит прожить тот тринадцатилетний период, который закончится смертью Хромого Бартоломея, окруженного тесным кольцом людей, на траве этого луга.

VI

В начале того периода, который начался с получения известия о смерти мужа, Степенная Анна отправила одного за другим своих детей в город учиться; так ей посоветовал Большой Анджей, и она послушалась его. Сначала она отправила в школу старшего сына, который уже был инженером, когда старый Бартоломей умирал на лугу; потом она отправила учиться младшего сына, который к тому времени, когда Хромой Бартоломей навсегда перестал дергать своей скрюченной ногой, уже стал учителем.

Последней Анна отправила в город свою дочку, которая, как и ее брат, стала учительницей; она уже была учительницей, когда Хромой Бартоломей навсегда перестал притопывать своей ногой.

Каждый раз, как Степенная Анна отправляла в город своих детей, Хромой Бартоломей появлялся у плетня, или в дверях своей хибары, или у ворот, и каждый раз, когда со двора Степенной Анны трогалась подвода, отвозящая детей в город или к поезду, он находил время глазеть на отъезжающих и вслед подводе «сыграть» хромой ногой свадебный марш.

Когда дети Степенной Анны приезжали повидаться с матерью, опять где-нибудь на видном месте появлялся Хромой Бартоломей, стоял так, чтобы его видели, и кривил свое красное лицо в многозначительной гримасе и многозначительно притопывал хромой ногой.

Тогда Анна говорила: «Мало ему, что он натопал смерть одному, мало ему одной смерти, он хочет накликать и вторую смерть, он хочет свадебный марш сделать для кого-нибудь из нас похоронным».

Дети улыбались и говорили матери, что не надо

обращать внимания на Хромого Бартоломея, на его беззвучное наигрывание свадебного марша; и хорошо, что ее дети тогда улыбались, потому что их улыбки да еще рассудительные слова Большого Анджея доставили Степенной Анне много спокойных минут в те тринадцать лет, что разделяли день, когда на лугу люди во второй раз окружили ее, и день, когда на лугу люди окружили старого, уже очень старого Бартоломея.

Хорошие, здоровые дети и добрый Большой Анджей помогали Анне время от времени забывать пророчества Хромого Бартоломея; и лишь время от времени возвращалась она к вопросу: «Кому верить?» И даже были минуты, когда на этот вопрос она сама себе отвечала так, что казалось, возвращается ее вера в слова Большого Анджея.

Что было самым главным в жизни Степенной Анны в этот тринадцатилетний период? Пожалуй, приезды и отъезды детей, ожидание их приезда и расставание с ними; в течение этих тринадцати лет она жила прежде всего их приездами и отъездами — удаляющимся или приближающимся стуком колес подводы, отвозящей и привозящей детей, а позже затихающим или нарастающим шумом автобуса, в котором ее сыновья и дочь уезжали к поезду или приезжали с железнодорожной станции.

Когда подвода въезжала во двор и с нее спрыгивал старший сын, Степенная Анна, наверное, думала, спеша к нему: «Вот ты и приехал, мой сын, мой красивый, весь в отца, высокий и сильный сын, хорошо, что я вижу тебя здоровым и красивым».

С такими мыслями она спешила обнять своего старшего сына, и в то же время в ее голове появлялись и другие мысли: «Этот старик уже стоит за плетнем и притопывает ногой и напоминает тем самым: „Не было у тебя свадебного марша, зло притаилось и выжидает, зло не торопится“».

А когда приезжал второй сын, она, наверное, думала так: «Вот и ты, мой румяный, здоровый и сильный сын»; и сразу же вслед за этой мыслью приходила другая: «Хромой Бартоломей стоит у осевшей стены своего дома и наигрывает свадебный марш своей скрюченной ногой».

Дочь она встречала так: «Дай обниму тебя, моя красивая, веселая дочь». Дочь она встречала и с такими мыслями: «Вижу старика у сарая, его скрюченная нога отбивает такт свадебного марша, он хочет накликать смерть кому-то здоровому и румяному, радующемуся жизни».

Рядом с такими мыслями: «Мои дети хорошо учат-

ся» — были и такие: «Хромой Бартоломей отбивает такт марша. Зло выжидает».

Вот так одна мысль сменяла другую:

Мой старший сын стал инженером.

Не было у тебя свадебного марша.

Мой старший сын хорошо зарабатывает.

Зло притаилось и выжидает.

Мой младший сын стал учителем.

Зло не торопится.

Люди говорят, что мой младший сын хороший учитель.

Хромой притопывает.

Хорошо, что опять вижу тебя, моя дочь.

Откуда у этого Хромого Бартоломея берутся силы, чтобы без конца топать своей хромой ногой?

Здравствуйте, дети, хорошо, что вы приехали.

Почему, когда Большой Анджей кричит на него, этот старый Хромой Бартоломей отвечает ему: «Я должен так делать, потому что я беден, потому что я старый, убогий нищий»?

Так перемежались мысли Степенной Анны вплоть до того погожего дня, когда на просторном лугу люди образовали поначалу большой и свободный, потом более плотный и наконец очень плотный и тесный круг, в середине которого сначала стоял, а потом лежал старый, тогда уже очень старый Хромой Бартоломей.

VII

День стоял погожий и ясный, и далеко было видно вокруг — горизонт был чист, и даже легчайшая дымка не омрачала его.

В тот день можно было отчетливо разглядеть самые дальние деревья, которых не увидишь в другие дни, и различить очертания самых дальних холмов.

Хромой Бартоломей вышел со своего двора через калитку на маленький луг, поросший ивняком, который был еще не настоящим лугом, а как бы только преддверием настоящего, большого, ровного, как стол, луга.

Должно быть, уже тогда, в то время как Хромой Бартоломей своим медленным старческим шагом плелся еще по тому, маленькому лугу, составлявшему как бы преддверие настоящего луга, к хромому подошел кто-то из деревенских мужиков и сказал: «Что-то ты поскучнел, старик».

Потом этот же человек спросил хромого: «Так чего ты такой грустный?»

Не получив ответа, он принялся пристально рассмат-

ривать хромого, стал буравить его глазами и говорить: «Утром я видел, и другие тоже видели, как ты вышел за ворота и осматривал поля, как ты смотрел вдаль, как ты таращил глаза и смотрел аж туда, где земля сходится с небом».

Потом тот, что заговорил с хромым, принялся размахивать руками и говорить все громче: «Мы видели, старик, как ты смотрел туда, вдаль, мы видели, видели».

Потом тот, что подошел к хромому, наверное, вспомнил кое-что, ибо на полях сушились снопы, сложенные в бабки и суслоны, и он затрясся как в лихорадке и стал кричать: «Что ты там видел, старик, что ты видел там, вдали?»

Хромой ничего не ответил на это, только одно «эх, эх», и шел себе дальше, шел к большому лугу.

Только «эх, эх» было ответом на все вопросы мужика, который говорил с хромым на малом лугу, а это был такой мужик, который свою пшеницу называл «мое золото», свое жито — «мое серебро», а о своем просе говорил так, как и о пшенице,— «мое золото», который говорил так: «Я иду косить мое золото, мое серебро; иду вязать мое золото, мое серебро; я свожу мое золото, мое серебро».

Он не отставал от Хромого Бартоломея, шел следом за ним и все спрашивал: «Что ты там видел?»

На каждое «эх» хромого он: «Что ты там видел?» Или: «Ты что-то знаешь, старик». Или: «Скажи, старик, что ты там увидел, скажи, что ты увидел там, вдали, скажи, что ты знаешь».

А Хромой Бартоломей отвечал на это только одно «эх», так что мужик, который поначалу спрашивал сердито, угрожающе и сердито требовал ответа, не получая его, постепенно становился менее сердитым и настойчивым и все более растерянным и несчастным, и вот он стал плаксивым голосом звать на помощь других людей: «Идите сюда! Старик смотрел вдаль, старик что-то знает, старик не хочет сказать, что он знает, а говорит одно только „эх, эх"».

Тогда к Хромому Бартоломею стали подходить другие люди, а среди них Большой Анджей и Степенная Анна, и они, как и тот мужик, что созвал их, шли за Хромым Бартоломеем и вместе с ним пришли на настоящий, большой луг.

Хромой Бартоломей хотел идти дальше, ему нужно было пройти весь луг, и он уже ступил на узкую тропинку, ведущую на другой конец луга, туда, где сразу же за лугом тянется сад ксендза и отделенный от него проволочным забором сад органиста. Бартоломей говорил идущим за ним, рядом с ним и даже перед ним людям,

что ему надо пройти на тот конец луга, что он идет за мукой, потому что органист сказал ему: «Приходи, Бартоломей, я опять дам тебе муки».

Хромой Бартоломей все твердил: «Я иду за мукой, органист ждет меня»; он видел, что по наущению того мужика, который называл пшеницу «мое золото», люди преградили ему путь, и не давали пройти, и не слушали Большого Анджея и еще нескольких молодых мужиков, пришедших с Большим Анджеем, которые пытались образумить людей, со всех сторон окруживших хромого, говоря им: «Пустите его, пусть идет, не задерживайте его, ведь он идет к органисту за мукой».

Но люди слушали того мужика, который называл жито «мое серебро», и преграждали путь хромому, и допытывались у него: «Скажи, старик, что ты видел утром, там, вдали, когда смотрел на поля, скажи, что ты знаешь».

Люди не переставая спрашивали и спрашивали хромого, который уже не мог вырваться из круга; хромой напирал на окруживших его людей, и тогда круг прогибался и даже немного продвигался по лугу, но не пропускал старика.

В конце концов Хромой Бартоломей перестал напирать на это живое кольцо и остановился, и кольцо остановилось тоже.

И люди со злостью спрашивали старика: «Скажи, что ты видел там, вдали?»

День был погожий и солнечный, а на полях сушился недавно сжатый хлеб, и поэтому они со злостью говорили старику: «Ты что-то знаешь, ты что-то знаешь, скажи, что ты знаешь, ты знаешь, будет ли дождь, потому что утром ты что-то видел, скажи, будет ли дождь».

Вновь и вновь повторяли они со злостью, ибо на полях сушился их хлеб: «Ты знаешь, будет ли дождь, скажи нам, будет ли дождь».

А потом они замолкали и расширяли круг, потому что Большой Анджей кричал на них: «Пустите его, пусть идет за мукой к органисту, пусть принесет себе муки»; слыша слова Большого Анджея, люди лишь немного отходили от старика, но кольцо не размыкали, не оставляя ни малейшего прохода, ни малейшей дыры, сквозь которую старик мог бы ускользнуть.

Все это происходило в полдень знойного дня, людям было жарко, по их лицам грязными каплями струился пот, но они не отступали от Хромого Бартоломея, не давали ему уйти и все спрашивали, все спрашивали о дожде и не слушали Большого Анджея и тех молодых, которые стояли с Анджеем в стороне и говорили смеясь: «Отпустите его, а сами идите в тень, под ивы на малом лугу».

Некоторые послушались их и вышли из толпы, окружившей Хромого Бартоломея, и направились к малому лугу, где росли ивы, но на полпути остановились, и обернулись, и смотрели на Хромого Бартоломея и окруживших его людей, среди которых больше всего суетился тот мужик, который пшеницу называл «мое золото», а жито — «мое серебро». Он не отступал от старика, говоря ему: «Ничего нам от тебя не надо, старик, ты только скажи, будет ли дождь»; а хромой в ответ: «Эх, разве я знаю, пустите меня, я иду за мукой к органисту».

Тогда мужик, дотрагиваясь потихоньку до старика, говорил ему: «Мы отпустим тебя, как только ты скажешь, будет ли дождь».

Солнце пригревало все сильнее, и лица у людей стали красными, липкими, а рты пораскрывались от жары, и грязные рубахи липли к спинам, а некоторые из людей восклицали: «Господи, как припекает солнце, господи, как припекает». Но в тень не уходили и смотрели, что делает с Хромым Бартоломеем тот мужик, который свою пшеницу называл «мое золото».

А он уже не просто дотрагивался до Бартоломея, не просто клал руку ему на плечо, а стал его потихоньку тормошить, стал тыкать старика пальцем под ребра и, слыша его смех, сам смеялся и говорил: «Ну скажи же, как там будет с дождем, скажи, а то буду тебя щекотать».

Он наскакивал на старика, и щекотал его, и все громче смеялся, а старик тоже смеялся все громче, и люди, окружившие хромого, громко смеялись и кричали: «Щекочи старика, щекочи нищего, сразу скажет, будет ли дождь».

И вот уже все покатывались со смеху, за исключением Большого Анджея и тех, что были с ним; услышав смех других, они сами сразу же перестали смеяться, они сразу же стали серьезными и серьезно говорили людям: «Идите в тень, идите в тень, а старика отпустите, пусть идет себе за мукой».

И наступил такой момент, когда большой, настоящий луг заполнился громким смехом, и сквозь этот смех прорывались слова-окрики:

— Идите в тень!
— Щекочи его, сразу скажет!
— Господи, как печет солнце!
— Отпустите старика, пусть идет к органисту!
— Господи, как печет солнце!
— Щекочи его, сразу скажет!
— Как же печет это солнце!
— Щекочи его!

— Господи, это солнце!

— Отпустите его!

Некоторые, будучи больше не в силах выносить жару, выскакивали из толпы, и отирали пот с лица, и бормотали, думая вслух:

— Почему я стою здесь, почему не иду в тень?

— Почему я, глупый, стою здесь, на солнцепеке?

— Ну почему я такой глупый, почему не иду в тень?

И, однако же, те, что так бормотали, не уходили в тень под деревья, а возвращались в толпу взопревших на солнце и истекающих потом людей и кричали: «Щекочи его, щекочи, сразу скажет, будет ли дождь».

Большой Анджей все уговаривал людей уйти в тень под ивы на малом лугу, так что все время слышался его мягкий и в то же время решительный голос: «Идите в тень, ведь солнце палит, Бартек не знает, будет ли дождь, не бойтесь дождя».

Те, которые решились было спрятаться в тени деревьев, никак не могли отойти от Хромого Бартоломея и так отвечали Большому Анджею: «Мы знаем это, но не хотим уходить в тень, потому что здесь весело; мы знаем, что глупо приставать к старику, глупо щекотать старика, но мы не можем оторваться от этой глупой забавы».

Нашлись такие, что послушались Большого Анджея и, шатаясь от жары и то и дело оглядываясь, поплелись в тень и там под ивами улеглись на земле и отдыхали.

Но отдыхали они неспокойно, ибо все время поднимали головы и поглядывали на большую луговину, где тот мужик, что называл свой хлеб золотом, все сильнее щекотал старого Бартоломея и без конца повторял: «Скажи, скажи, скажи».

И другие, смеясь оттого, что смеялся старик, повторяли: «Скажи, скажи, скажи...» А иногда это свое «скажи» прерывали словами: «Господи, солнце, как печет это солнце!»

И вот, когда они в который уже раз повторяли эти слова, старый Бартоломей согнул в колене свою здоровую ногу и пал перед людьми на одно колено, продолжая смеяться и гримасничать, и, строя глупые, смешные мины, медленно лег на траву.

Лежа на траве, он сказал: «Отойдите, а ко мне пусть подойдет Степенная Анна».

Неохотно, но все-таки послушались люди Бартоломея, неохотно отступили от него, ибо думали, что он станет говорить о дожде, а Степенная Анна подошла к Хромому Бартоломею и наклонилась над ним.

Но многие из тех, что отошли от старика, начали снова потихоньку приближаться к нему, чтобы послушать,

о чем он станет говорить со Степенной Анной.

И тогда они смогли уловить некоторые слова Хромого Бартоломея и повторить их для тех, кто стоял дальше и не мог слышать.

Сначала они сообщили, что старик говорит со Степенной Анной не о дожде, а об органисте, а потом повернулись к людям, стоящим сзади, и сказали: «Старик сейчас скажет то, что ему говорил органист».

И потом они стали повторять слова старика, а вернее, давно сказанные слова органиста, и вот стоящие сзади услышали: «Не захотела стать органистихой, так пускай боится. Притопывай ей: „Не было у тебя свадебного марша, не было у тебя свадебного марша". Она поверит, она поверит. Не было у нее, одной-единственной. Не захотела стать органистихой, так пускай боится. Притопывай в такт марша, когда приедет ее старший сын, натопай ему смерть. Она его очень любит, натопай ему смерть. Она поверит. Ей одной я не сыграл свадебного марша. Дам тебе муки, дам тебе мяса, дам тебе яблок. Притопывай, притопывай: „Не было у тебя свадебного марша, не было у тебя свадебного марша"».

Потом на лугу стало тихо, и Степенная Анна поднялась, и выпрямилась, и сказала людям: «Хромой Бартоломей умер». И тогда кто-то крикнул: «Боже, почему мы не спасали его?» А кто-то другой: «Мы думали, что он хочет сказать Степенной Анне о дожде и что он просто хочет отдохнуть».

И еще кто-то сказал: «Надо унести его с луга». А другой, которого испугала эта внезапная смерть, накинулся на мужика, что щекотал хромого, и стал кричать: «Это из-за тебя, ты его защекотал насмерть, ты его защекотал, и он умер от смеха».

Тот, что щекотал, защищался так: «Ведь вы же сами говорили: щекочи его, тогда он сразу скажет, будет ли дождь».

А первый опять сказал: «Надо его унести, а то коровы унюхают и сбесятся». И другой, похваляясь своими знаниями, подтвердил: «Лошади любят мертвых, а коровы сбесятся, если понюхают мертвого, я знаю; лошадь подойдет к мертвому, и склонит над ним голову, и пойдет себе, а корова, как только унюхает что-нибудь мертвое, сразу сбесится, я знаю».

А тот, что накинулся на мужика, который щекотал хромого, опять крикнул: «Ты его защекотал до смерти, старик умер от смеха».

Тот, что стоял рядом с ним, прикрыл ему рот ладонью и сказал: «Будет тебе». И другие его поддержали и говорили: «Не надо теперь вспоминать о ще-

котке, при мертвом».

А тот, который говорил о щекотке, оправдывался так: «Да ведь это было совсем недавно».

Потом люди прекратили разговор и стали расходиться, а несколько человек взяли умершего и понесли его домой. В тишине слышно было, как кто-то опять воскликнул: «Господи, как печет солнце!»

А Степенная Анна, воздев руки, слала проклятия в ту сторону, где находились сад и дом органиста, в ту сторону, куда она идет теперь, ночью, и вот она дошла уже до загородки из ивовых ветвей, через которую нужно перелезть, чтобы попасть на большой луг, прилегающий к саду органиста, окруженному проволочным забором.

Этот луг пересекают две тропинки, из которых одна ведет к усадьбе органиста, а другая, закругляясь,— к дороге, проходящей через деревню.

То место на лугу, где пересекаются эти две тропинки, как видно, много значило для Степенной Анны, потому что она остановилась тут; перед ней были две тропинки, и она могла выбрать ту, что закруглялась, и тогда двор органиста остался бы в стороне, а она вернулась бы домой и легла спать, чтобы утром встать как обычно.

Наверное, ей хотелось пойти по этой тропинке, и может быть, она даже ступила на нее и сделала шаг-другой, но если она даже и сделала эти шаги, то вернулась и пошла по той тропинке, что вела к забору из колючей проволоки, окружающему сад органиста.

Она перебралась через загородку и, прячась за старыми деревьями, подошла к самому дому.

Но еще и теперь, когда она стоит у стены дома, она может незаметно отойти и спрятаться за сараями, а потом проскользнуть в ту часть сада, которая ведет к окруженному тополями пруду, а потом, прячась в тени этих высоких деревьев, выйти на дорогу, и вернуться домой, и лечь спать, а утром встать как обычно.

Но она все-таки должна вынуть спички из кармана фартука и сделать то, что решила сделать.

Прежде чем наступит рассвет, Степенная Анна, стоя под старым тополем на берегу пруда, увидит горящий дом органиста; а потом она увидит то, чего не ожидала, чего не предусмотрела: она увидит, как искры подхватит ветер и перенесет их с горящего дома органиста на крышу костела; а потом она увидит огоньки на этой крыше, а потом всю крышу и весь костел в огне.

Прижавшись к старому тополю, она услышит крики: «Дом органиста горит! Костел горит!»

И тогда она шепотом спросит: «Мои дети, где вы?» Но рядом с ней будет лишь это старое дерево.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НА СТРОЙКЕ

Деревня исчезала постепенно, можно сказать, это делалось методично: сначала тяжелые ножи бульдозеров срéзали с полей всю растительность; когда прекратился наконец надсадный, всепроникающий, немного глуховатый, как дребезжание треснувшего колокола, грохот этих машин, дома и окружающие их деревья оказались как бы на берегу плоской бурой пустыни, прикрытой только воздухом, которая с каждым днем становилась все более безжизненной, ибо все, что было в ней живого, все, что жило в земле, ходило и бегало по земле, что летало над землей, спешило выбраться на еще зеленые окраины пустыни: земляные твари, испуганные страшной наготой пустыни, пытались спрятаться, ввинчиваясь в глубь земли, и, быть может, прорывали там подземные туннели, терпеливо и настойчиво пробираясь туда, где кончалась пустыня, прокладывая ходы для всего кротового и червячьего племени; все умеющие бегать убегали, а все те, что имели крылья, отталкивались от земли, как от раскаленной плиты, и поднимались высоко в воздух, так высоко, чтобы не видно было этой пустыни.

Все это продирание сквозь землю, передвижение по земле, полет над землей можно было назвать бегством с голой, превращенной в пустыню земли.

Вскоре, однако, пограничная зеленая дуга садов и лесов, а также заросли ивняка по берегу реки перестали быть землей обетованной для насекомых, зверей и птиц, потому что дошла очередь и до садов со стоящими в них маленькими старыми домами, и до леса, и до зарослей прибрежного ивняка.

Ибо для того, что предстояло здесь построить, пустыня, созданная первым нашествием бульдозеров, оказалась недостаточно длинной и широкой, и нужно было пригнать множество других машин, больших, средних и маленьких, таких, которые смогли бы как можно скорей

разрушить и убрать деревенские дома, а также вырвать с корнем и убрать сады, лес, заросли ивняка и увеличить таким образом пустыню.

И такие машины прибыли, они издавали разные непривычные звуки — то страшные, то смешные,— и рушили дома, и выдирали деревья; благодаря этому пустыня значительно увеличилась, и в то же время длиннее стал путь к той земле обетованной, к которой устремились все твари, жившие в земле, на земле и летавшие над ней.

В связи со значительным удлинением пути к зеленым окраинам пришлось всем этим тварям запастись еще бо́льшим терпением, особенно тварям, жившим в земле; не вынеся ужасающей пустынности и сухости, устремились они к зеленым и влажным окраинам по проделанным ими самими с величайшим трудом и терпением подземным ходам.

Увеличенная пустыня имела форму неправильного круга и была неоднородна по цвету, ибо к бурому цвету той части пустыни, что образовалась в результате первого нашествия бульдозеров, прибавились темно-бурые и даже совсем темные, а местами просто черные полосы по краю круга, возникшие после второго раунда нашествия, когда были разрушены дома и истреблены деревья.

Какое-то время на всем этом пространстве царила мертвая тишина, такая, что можно было услышать то, чего обычно даже при самой полной тишине не услышишь: казалось, что слышишь, а может быть, и в самом деле слышалось, как трескается высыхающая земля, как буравят ее маленькие существа, прокладывая подземные ходы к далеким влажным окраинам.

И все-таки не все прежние обитатели этих мест покинули их, один из них добровольно остался жить в иссохшей пустыне: это была птица с ярким, красивым оперением; специалисты-орнитологи наверняка сумели бы правильно ее назвать и определить семейство, к которому она относится; если же говорить об обычных людях, далеких от орнитологии, то они считали, что этот единственный обитатель искусственно созданной пустыни похож на дятла, хотя и для них необъяснимо было его пребывание в этих местах, ведь дятлы и подобные им дятлообразные, если можно так выразиться, любят пребывать в больших тенистых лесах, в которых растут старые высокие деревья с толстой, отставшей от ствола, потрескавшейся корой.

Что же могло привлечь представителя отряда дятлообразных на этой пустынной, сухой земле? Трудно предположить, что ему доставляло удовольствие долбить твердую корку ссохшейся земли, отдаленно напоминав-

шую потрескавшуюся кору дерева.

Птица эта была и похожа, и непохожа на дятла: похожа была цветом оперения, тоже яркого и бросающегося в глаза, величиною же она намного превосходила дятла — и грудка пышнее, и хвост длиннее, зато голова и клюв были меньше, чем у дятла, так что если бы кто-нибудь взялся утверждать, что эта птица походит на фазана, тоже был бы в чем-то прав, хотя и в этом случае было необъяснимо пребывание птицы на этой твердой, как подошва, земле, ведь всем известно, что фазаны и птицы семейства фазановых охотнее всего селятся в светлых, пронизанных солнцем рощах и невысоких перелесках по соседству с возделанными полями, где они находят себе пропитание; летают фазаны тяжело, низко; отрываясь от земли, они поднимаются в воздух по длинной наклонной линии, а это трудно сделать среди высоких деревьев густого леса.

Но независимо от того, к какому отряду или семейству она относилась, птица вызывала удивление каждого, кто видел ее среди иссохшей пустыни.

Что же еще можно сказать об этой птице? Можно предположить, что она была очень упрямая, или что ею руководили какие-то непонятные людям соображения, или что она была очень привязана к этим местам, просто до самозабвения любила эти места, которые вскоре превратились в совсем мертвую пустыню.

Человеку, незнакомому с планами и задачами нашествия машин и механизмов, то, что творилось дальше на опустошенной земле, представлялось сплошным хаосом, который ничего уже не в состоянии создать, разве что еще больший хаос.

И тем не менее этот хаос, рев моторов, крики, шум, скрежет, вой, тарахтенье, быстрая езда, быстрые удары железных молотов по вбиваемым в землю опорам и ленивые движения ажурных стрел подъемных кранов,— весь этот хаос породил высокие и ровные, похожие на гигантские книги, стены и еще более высокие кирпичные трубы, напоминающие статные деревья своими безупречно округлыми формами.

Самым удивительным, однако, представляется не то, что такой великий всеобъемлющий хаос мог вызвать к жизни творения, обладающие вполне определенной формой с четкими линиями и правильными окружностями, а то, что начавшаяся на пустоши громадная стройка не спугнула птицу, что она осталась среди всех этих машин, кранов и стен.

Непонятное упорство или глубокая привязанность, любовь к родным местам, где в былые времена она вила

гнезда среди зелени, удерживали птицу на стройке и заставляли ее бесцельно бродить по земле или совершать полеты над стройплощадкой; разные это были полеты — свободные, непринужденные, круговые, когда птица возносилась горизонтальными кругами в горизонтальной плоскости или, снижаясь, описывала вертикальный круг в вертикальной плоскости, а были полеты и вынужденные, стремительные, когда она резко взмывала вверх, в воздух, и так же стремительно опускалась.

Люди, которые прибыли сюда вместе с машинами и которым гораздо привычнее стал вид вращающихся колес, чем восходящего солнца, хорошо относились к птице, с теплотой говорили о ней и всегда ласково обращались с ней, они кидали ей крошки хлеба, позволяли садиться на край огромной железной бочки и пить из нее воду и не сгоняли ее с железных машин и механизмов, когда она усаживалась на них.

Можно было бы даже утверждать, что люди на стройке испытывали тайную радость оттого, что рядом с ними живет это красивое летающее существо; не всегда удавалось им скрыть эту радость, и тогда они проявляли ее совсем по-детски.

Происходило это чаще всего, когда они говорили между собой или только думали о том, что ведь эта птица, у которой есть крылья и которая умела летать, могла при желании улететь отсюда в далекие, еще зеленые леса, окружающие пустыню, на которой с грохотом разворачивалась огромная стройка, или еще дальше — в чащу пусть чужой, но буйной и сочной зелени, туда, куда уже переселились — а если еще не переселились, то находились на пути к ней — все твари живые, привыкшие из поколения в поколение жить среди трав и деревьев.

Она осталась на этой земле, одетой в железо и камень, она не испугалась земли, с которой содрали скальп и оставили на какое-то время один на один с небом, звездами, солнцем и дождем, так что земля попеременно становилась то пустыней, то болотом.

Птица не испугалась адского шума: грохота и стука, скрежета, и воя, и громкой человеческой речи, нашпигованной проклятиями и ругательствами, без которых не обходится ни одна большая стройка.

Стройка подобна прожорливому человеку, которого трудно насытить. Ибо территория, которая поначалу представлялась достаточной для большой стройки, со временем уже не удовлетворяла своими размерами, так что от зеленого кольца окраин приходилось отщипывать новые куски, истреблять на них всю зелень, потом

тщательно скальпировать и опустошать, а потом придавливать железом и камнем, застраивать стенами и трубами, то есть следовать трем главным и старым как мир законам малых и больших строек, выдержать три обусловленных этими законами этапа обращения с землей: сначала содрать с нее кожу, потом плодородие заменить бесплодием и наконец до смерти забить ее каменьями.

Но если даже допустить, что какая-нибудь большая стройка поместится в первоначально отведенных для нее границах, все равно самим своим воздействием она уподобит себе окраины; воздействие это проявляется сначала незаметно, или почти назаметно, для глаза, а в некоторых случаях, когда оно становится заметно, воспринимается только как игра воплощенного в материальной форме солнечного света, то есть как нечто интересное и даже привлекательное внешне, но со временем становится все более ощутимой его истинная суть.

Имеется в виду пыль, с помощью которой стройка захватывает прилегающие к ней территории даже тогда, когда они ей вовсе не нужны, более того, даже тогда, когда она вовсе не хочет их захватывать.

Воздействие пылью не запланировано, оно носит, так сказать, самопроизвольный характер: окружающая стройку кромка зелени блекнет и выцветает, постепенно тоже превращаясь в пустыню, хотя это никак не входит в задачи, поставленные перед стройкой.

Происходит это тогда, когда первоначальное кажущееся отсутствие или как бы отсутствие пыли переходит в заметное глазу ее присутствие — на одежде, на теле, на гладкой поверхности металла, на стекле, на листе дерева.

Справедливости ради следует отметить, что пустыня, образующаяся в результате воздействия пыли на зеленые массивы, существенно отличается от пустыни, созданной в результате нашествия машин на будущую стройплощадку.

Эта последняя быстро сменяет плодородную землю, ей предшествует массовое истребление, массовое уничтожение зелени, ее быстрое стирание с лица земли; можно сказать, что этот вид опустошения достигается путем скоропостижной смерти растений и мелких организмов, смерти, которая исключает — и это понятно, ведь здесь действуют машины,— медленное увядание, постепенное умирание, предагональное состояние, предшествующее гибели и смерти: поникшие, с каждым днем все ниже клонящиеся к земле стебли и ветви.

Превращение зеленой земли в пустыню под воздействием пыли происходит, как легко понять, совсем

по-другому; в этом случае с земли уже не сдирают кожу, прежде чем забить ее до смерти каменьями, как поступают с землей, предназначенной под большую стройку. Вымирание растительности от разрушительного воздействия пыли наступает постепенно, медленнее медленного, почти незаметно, ведь вначале эту пыль можно принять за поток золотистого солнечного света, струящийся на зеленые леса и рощи.

Но эти золотистые полосы, протянувшиеся между деревьями, на самом деле состоят из частичек пыли и несут в себе гибель для зеленой растительности, в них изначальная причина умирания, начало длительной агонии, симптомы которой явственно проявляются в том, что сначала обесцвечиваются и свертываются листья, потом обвисают ветви, затем ослабевают и клонятся верхушки деревьев, и постепенно шум еще живых деревьев сменяется тихим потрескиванием деревьев мертвых.

Возвращаясь к птице, следует сказать, что ее добровольный отказ от зелени и примирение с тем фактом, что эта зелень с каждым днем все более удаляется от нее, трогали даже людей суровых, много перенесших в жизни, которых трудно было растрогать.

И еще надо добавить, что незаметное глазу воздействие пыли отразилось в первую очередь на птице: яркое многоцветное оперение как будто чуточку потускнело, как будто слегка стерлись границы между ярчайшими — пурпурной, голубой и золотой — полосами, между безупречно белой и абсолютно черной, а также другими полосами ее оперения.

Поначалу никто этого не заметил, ибо на первых порах человеческий глаз не в состоянии этого заметить, но вот однажды кто-то сказал: «Кажется, птица немного потускнела».

Тогда люди, возводящие стены на этой пустынной земле, стали присматриваться внимательно к птице и делиться наблюдениями, которые сводились к тому, что чуточку стерлась граница между красным и желтым, а также между черным и синим и между белым и желтым, что теряется безупречная чистота красок ее оперения.

И можно было заметить, что эта потеря былой безупречной чистоты красок в оперении птицы огорчила строителей, что они с тяжелым сердцем уходили от птицы и грустные возвращались к своим машинам и кирпичам.

Уже несколько высоких труб торчало и дымило на этой пустынной земле, и уже было построено несколько домов поселка, когда один из рабочих воскликнул: «Кажется мне, что наша птица посерела!»

Серость в окраске птицы проявилась уже отчетливо;

правда, она еще не стала однородной, так что можно было различить отдельные цвета, но цвета эти потеряли прежнюю яркость; казалось, на птицу была наброшена густая серая вуаль, плотно прилегавшая к перьям.

Кто-то задал вопрос: «Почему это произошло?» Тогда остальные стали растерянно улыбаться, а один не выдержал и горячо заговорил: «Как можно не видеть этого, как можно?» — и закончил свою тираду словом пыль.

А за ним и все стали повторять: «Пыль»; а он еще: «Пыль покрывает все вокруг», а остальные вслед за ним: «Пыль покрывает все вокруг»; он: «Пыль проникает всюду», остальные: «Пыль проникает всюду»; он: «От пыли не спасешься», остальные: «От пыли не спасешься».

После этой литании они на минуту отвели глаза от птицы и посмотрели в небо; на вид воздух был прозрачным и чистым, но они знали, что он полон пыли.

Потом они посмотрели на недавно привезенную часть стальной конструкции какой-то большой машины: сталь сияла и блестела, в ней отражались огни горевших на стройке сигнальных — или аварийных — ламп, но, хоть эта сталь и блестела и в ней отражались огни, они видели, что ее покрывает пыль.

А потом они опять посмотрели на птицу, и один из рабочих сказал: «А что, если посадить тут для нее дерево, а над деревом соорудить крышу на высоких столбах, что-то вроде зонтика, который бы защищал дерево от сыплющейся сверху пыли. И чтобы эту крышу можно было снимать, когда идет дождь, и опять устанавливать, когда сухо».

Кто-то стал мечтать вслух: «Как было бы хорошо, птица бы сидела на дереве под зонтиком».

Эти слова рассердили того, кто начал литанию о пыли, и он сказал: «Глупые, вы не знаете пыли».

Понятно, о чем он думал: защита от сыплющейся сверху пыли — это еще не все, потому что пыль падает не только сверху, она движется во всех направлениях, проникает всюду, все насыщает собой; пыль вездесуща.

Тот, кто начал литанию о пыли, хотел сказать, что пыль проникнет и под крышу, она покроет дерево и птицу, ибо пыль так же легко распространяется по горизонтали, как и по вертикали, она не только может падать сверху вниз, но и, преодолевая силу тяжести, подниматься снизу вверх. Однако тот, кто предложил посадить дерево под зонтом, защищая свою идею, возразил ему: «Дерево можно поливать водой, и можно это делать часто».

Тот, кто начал литанию о пыли, рассмеялся, услышав эти слова, как бы давая понять, что он, дескать, лучше

знает, что такое пыль, и стал покачивать головой и жестикулировать в знак того, что все равно не верит, что его не убедили, но в конце концов он уступил и сказал: «Попробовать можно, попробовать всегда можно...»

И, таким образом, было принято решение — сначала группой рабочих, а потом и руководством — о том, чтобы посадить дерево и над ним соорудить навес.

За деревом отправилось несколько человек, понимающих в деревьях, а также несколько механиков, умеющих обслуживать удивительную машину, которая могла выкопать довольно большое дерево с корнями и землей и пересадить его в другое место.

Для того чтобы найти зеленое и здоровое дерево, в котором не было бы ни малейшего изъяна, в котором не было бы ни малейших признаков ненормальности в развитии или хотя бы самого пустякового недомогания, в котором ничто не свидетельствовало бы о замедленном росте, наоборот, которое всем своим видом — стволом, ветвями, каждой своей частичкой — выражало бы нетерпеливое стремление вверх, развивалось в соответствии с объективными законами роста и развития деревьев, — чтобы найти такое дерево, специалистам пришлось пересечь довольно широкий пояс лесов, окружающих стройку и как бы состоящих из трех зон, отличающихся одна от другой степенью умирания растительности.

Когда специалисты вышли из проволочного ограждения, они оказались в зоне лесов, непосредственно примыкающих к территории стройки с ее уже во многих местах дымящими трубами, в зоне, которую можно назвать зоной полного вымирания; то, что прежде было деревьями, предстало здесь как толстые столбы, тонкие палки и очень сухие пластинки листьев, такие сухие, что при малейшем прикосновении они рассыпались в прах.

Путь через зону полного вымирания проходил как в сухом тумане, и в том тумане из пепла одни мертвые стволы сменяли другие.

За зоной полного вымирания следовала зона, в которой умирание достигло своей последней фазы, но еще не самого конца, оно еще не завершилось, и поэтому здесь еще оставалось что-то напоминающее о лесе живом, настоящем.

Жизнь еще теплилась здесь в островках зелени, но уже не было для нее спасения, и поэтому единственным желанием, возникшим в душе специалистов, было порожденное разумным состраданием желание, чтобы конец наступил как можно скорее, то есть чтобы как можно скорее эта зона сравнялась с первой, где царило полное вымирание. Когда это произойдет, зона полного вымира-

ния станет намного шире.

А если станет шире зона полного вымирания, то тем самым намного увеличатся и зона умирания, и следующая за ней третья зона, в которую вступили специалисты после того, как пересекли вторую зону, и которую можно было назвать зоной первых признаков умирания.

Эти зоны, эти пояса постепенно будут расширяться, и умирание будет проникать все глубже в зеленый массив, распространяться все дальше и дальше, пока не дойдет до самого его конца.

Специалисты вступили уже в зону первых признаков умирания; здесь еще сохранялась надежда, что деревья выстоят, что они смогут стряхнуть с себя пыль, что они смогут избежать судьбы деревьев первых двух зон, что они не превратятся в пепел, но самое печальное, что надежды эти напрасны, потому что деревьям не выстоять и не избежать, потому что через какое-то время дым и пыль превратят и этот пояс в зону умирания, а в конечном итоге еще больше увеличат зону полного вымирания.

Тут еще следует сказать, что в зоне первых признаков умирания самое тяжелое впечатление производят верхушки деревьев и молодые ветви, которые отклонились в сторону, противоположную первым двум зонам, вытянулись в направлении живого зеленого массива, еще не затронутого гибельным воздействием пыли, и кажется, как будто деревья хотят сами себя вырвать и убежать в глубь зеленых лесов; но ведь убежать нельзя, земля крепко связывает и удерживает их; вот это и производит такое гнетущее впечатление, ибо рано или поздно их настигнет пыль и в состояние полного вымирания они войдут с этими своими верхушками и ветвями, устремленными в сторону зеленых лесов, и тем самым в состоянии полного вымирания останется навсегда закрепленным их отчаянный порыв, тщетная попытка спастись.

Специалисты пересекли уже пояс, отмеченный первыми признаками умирания, и, пройдя мимо деревьев, в которых немногие бы могли обнаружить эти признаки, поскольку они были так незначительны или так скрыты, что только глаз специалиста был в состоянии их заметить, дошли до того места, где росли здоровые и сильные деревья.

Специалисты шли все дальше и дальше в глубь этого зеленого леса, так как хотели подальше уйти от трех зон, оставшихся позади.

Безотчетная радость охватила специалистов при виде столь многих признаков здоровья и силы: и деревья были зеленые, и шум их был шумом здоровых деревьев, так

как шум этот создавали удары и трения друг о друга живых, а не мертвых ветвей и листьев, и слышалось пение птиц-беглянок, и много всего другого, свидетельствующего о полнокровной жизни, увидели специалисты в этой части леса, в том числе и целующуюся в густых зарослях молодую парочку.

Эти двое для своей любви тоже выбрали зеленый молодой лес; да и какая может быть любовь в тех лесах, среди пепла и пыли, сыплющейся сверху, застилающей землю и проникающей всюду, какой может быть поцелуй в мертвенном тумане, как можно смотреть друг другу в глаза сквозь пыльную мглу, как можно назвать объятием сближение обсыпанных пылью, пепельно-серых тел?

Поэтому этим двум влюбленным пришлось продираться сквозь три описанные выше зоны погибшей или погибающей зелени.

Специалисты улыбнулись, заметив эту парочку, и, чтобы не помешать им, обошли их стороной, сделав большой круг.

Нелегко было выбрать дерево, так как слишком большим был выбор; в конце концов они остановились на одном, по их мнению — самом подходящем: оно было уже не маленькое, но еще не слишком большое, оно было абсолютно здоровым, короче говоря, как раз такое, каким должно быть дерево, чтобы хорошо перенести пересадку в новую почву и в новый воздух — в сухую почву и сухой, пропыленный воздух.

Когда дерево привезли на стройку, яма для него уже была подготовлена; посадили дерево вблизи поселка, подальше от заводских высоких труб из кирпича и других труб, пониже, расширяющихся кверху, которые неустанно извергали черно-ржавую пыль; над деревом на высоких стойках водрузили, как и было задумано, крышу, которая выглядела очень красиво, потому что сделана была из сверкающего стекла.

И теперь на территории огромной стройки были две вещи, живо волнующие рабочих: птица, которая не переставала их удивлять и то доставляла радость, то заставляла тяжко и глубоко задумываться, и зеленое дерево, единственное дерево, единственная живая зелень на большой площадке стройки, можно даже сказать — в поселке, ибо дерево это было посажено ближе к жилым корпусам, нежели к фабричным стенам и трубам.

И когда дерево уже посадили, строителей стали тревожить два вопроса: выживет ли дерево и полюбит ли его птица?

Поэтому каждую свободную от работы минуту они использовали для того, чтобы подойти к дереву и

внимательно его рассмотреть, и можно сказать, что это дерево стало их храмом, ибо было в нем нечто от святости, и над ним возносился на четырех отполированных белых столбиках сверкающий яркими искрами стеклянный балдахин.

После работы строители собирались вокруг своего храма: им хотелось бы даже заглянуть в глубь дерева, чтобы узнать, насколько сильна в нем жизнь.

Поначалу в разговорах рабочих, собиравшихся у храма, слышались слова: «Принялось», «Выстоит», «Теперь уж наверняка выстоит...»

Затем: «Неизвестно, выстоит ли», «Болеет», «Переболеет и будет расти...»

Очень часто, особенно в периоды затянувшейся суши, слышалось также тарахтенье маленькой пожарной помпы, с помощью которой поливали дерево, а заодно обливали и балдахин со столбиками.

Когда вода крупными каплями обрызгивала дерево, когда она увлажняла землю, на которой оно росло, когда она стекала по белым столбикам и, как дождь, барабанила по стеклянному балдахину, заставляя стекло еще ярче искриться, строители испытывали большое удовлетворение, чтобы не сказать — счастье.

Эта простая процедура была наполнена для них особым смыслом, это был торжественный акт, вот почему и помпа с моторчиком, и обслуживающий ее пожарный представлялись чем-то более значительным, чем на самом деле, а дерево, объект их забот, становилось как бы участником некоего обряда, в котором пожарник был чуть ли не жрецом.

Легко понять, почему столь обычная процедура полнилась таким необычным смыслом, обретала столь высокий ранг; строители не только хотели верить, что вместе с водой в дерево вливается жизнь, но и в своем воображении проникали в сокровенные глубины ствола, корней и ветвей, во все их жилы и капилляры, становясь сопричастными великому таинству жизни.

Не менее сильно занимала рабочих и вторая проблема: как отнесется к дереву птица, полюбит ли его, захочет ли признать храм своим домом?

Поначалу все говорило о том, что этого не произойдет: птица держалась в стороне от дерева, как и прежде, кружила над участками еще пустой земли или над наваленными кучей столбами и бетонными плитами, а также над сваленными в беспорядке железными конструкциями; на этих участках еще пустой земли, на бетонных плитах и стальных конструкциях она и сидела; и даже тогда, когда строители, размахивая руками и

добродушно покрикивая: «На дерево, на дерево, голубушка!», пытались подогнать ее к храму, птица все равно не приближалась к нему, облетая его стороной или сверху.

Это был период, когда их не радовало даже заверение, что, переболев, дерево примется и будет расти, ибо они еще не знали, полюбит ли его птица, признает ли своим.

Кто-то сказал, что не следует пытаться силой загнать птицу на дерево, и добавил еще, что так можно у птицы отбить всякую охоту сесть на дерево, то есть добиться противоположного.

В конце концов все согласились с этим и перестали загонять птицу на дерево.

Они говорили тогда: «Пусть поступает как знает, посмотрим, что из этого выйдет»; но, работая на подъемных кранах или на стенах строящихся домов, они часто поглядывали в сторону дерева, надеясь увидеть птицу сидящей на нем.

Птица, однако, не спешила садиться на дерево, возможно, ее отпугивали блестящие столбы и сверкающая крыша.

Но уже можно было заметить, что она понемногу начинает привыкать к дереву, постепенно осваивается с деревом, и с четырьмя столбами вокруг него, и с балдахином над ним; случалось, что, пролетая над храмом, она снижала свой лет, как бы намереваясь сесть на балдахин, а когда ей приходилось пролетать мимо дерева, птица уже не описывала вокруг него большую дугу, а лишь слегка отклонялась в сторону, и несколько раз это отклонение было столь незначительным, что казалось, она того и гляди заденет крылом за белый столб или обитый серебристой жестью край крыши.

И вот в один прекрасный день, когда плавающие в воздухе между заводскими корпусами и домами поселка клубы пыли вытянулись в блестящие на солнце разноцветные полосы, которые, как пестрые ленты, связали между собой и здания цехов, и дома поселка, птица слетела с огромной стальной лапы подъемного крана и, низко паря над землей в своей особой волнообразной манере, которую строители называли «подпархиванием», взяла направление на это единственное зеленое дерево на стройке.

Она приближалась к храму по прямой линии, и, когда была уже совсем близко от него, оказавшись в последнем углублении между двумя пиками своего волнообразного полета, те, что наблюдали за ней, затаили дыхание, ибо никогда еще она не была так близко от дерева; стало ясно, что конечным пунктом этого низкого лета было

именно оно, единственное зеленое дерево на стройке.

Птица уселась на одной из верхних веток дерева, у самой верхушки, и весть об этом быстро облетела всю стройку, и приглушенный, чтобы не спугнуть птицу, крик: «Птица сидит на дереве!» — несся от здания к зданию, от крана к крану, от цеха к цеху.

А потом осторожно, стараясь это сделать как можно незаметнее, согнув ноги в коленях — чтобы шаги были тише,— строители стали сходиться к храму, где стояло дерево, которое было для них и лесом, и садом, и рощей, и полем и на котором сидела их птица, и, хотя это была одна-единственная птица, она заменяла им всех других существующих в мире птиц, всех маленьких и всех больших, тех, что порхают в ветвях, и тех, что садятся на крыши домов, и тех, что летят в небе большими, как тучи, стаями, и всех других птиц.

И вот взорам рабочих открылась удивительная и прекрасная картина: дерево в окружении четырех белоснежных столбов под сверкающим серебристым балдахином и птица, сидящая на ветке этого дерева.

Стоя на некотором расстоянии, они смотрели на нее и все не могли насмотреться, и лица их выражали большую радость и глубокое удовлетворение.

С каждым днем они испытывали все большую радость и все большее удовлетворение, и кто знает, каких размеров достигли бы их радость и удовлетворение, если бы не случилось того, что случилось: один из рабочих под прикрытием сваленных в кучу бетонных балок подкрался к самому храму, а потом, торопливо вернувшись к стоящей в отдалении толпе строителей, сказал: «Кажется мне, что дерево немножко пожелтело, а птица еще больше поблекла и отощала».

Это сообщение пало в самую сердцевину радости строителей и сразу заморозило эту радость, стерло с лиц удовлетворение и заставило захлопнуться разинутые в радостном удивлении рты.

Некоторые из рабочих медленно повторили услышанные слова, то ли с недоверием, то ли проверяя, дойдут ли они до сознания: «Дерево пожелтело, птица поблекла и вдобавок отощала».

Они приблизились к храму и остановились, боясь спугнуть птицу; потом еще немного продвинулись вперед и опять остановились, ибо им хотелось, чтобы птица сидела на ветке, сколько сама пожелает.

С этого расстояния они пытались разглядеть дерево и определить, насколько оно пожелтело; находясь еще довольно далеко от дерева, они стали потихоньку высказывать свои мнения, и это были разные мнения, так как

одни уверяли, что в зеленой окраске дерева не видно ни малейших признаков желтизны, а другие им возражали, и долгое время было неизвестно, кто же из них прав.

Даже и тогда, когда птица, посидев на ветке, сколько ей хотелось, слетела с дерева и в низком полете переместилась на бетонный столб, одиноко торчавший за свалкой железа, трудно было решить, кто же прав — те ли, которые не заметили желтого оттенка на зелени, или те, которые такой оттенок заметили.

Долго спорили они впустую и не пришли ни к какому решению, тем более что спорившие уже давно работали на стройке и давно не видели настоящей зелени, так что совсем позабыли, какого цвета бывают здоровые деревья, если бы не оказался на стройке человек, который лишь недавно приехал сюда из мест, не тронутых пылью и дымом большой стройки, то есть из мест, где сохранилась зеленая растительность; и все единодушно решили: «Пусть скажет новенький, он лучше знает, он совсем недавно видел здоровые деревья».

Новенький приблизился к дереву и внимательно осмотрел его листья, а потом повернулся к рабочим и, стоя между двумя белыми столбами, произнес: «Пожелтело». И еще добавил: «Говорю вам, это дерево начинает желтеть».

От храма они отходили медленно, притихшие, погрузившись в глубокую задумчивость, а потом вошли в полосу темного дыма, валящего клубами из низкой, расширяющейся кверху трубы, дыма, который испачкал и разорвал светлые полосы пыли, искрящиеся на солнце разными цветами, точно ленты, развешенные между зданиями, той пыли, под чьим воздействием гибла окрестная зелень, а на ее месте образовывались три зоны: полного вымирания, умирания и первых признаков умирания.

Если говорить о дыме, то наихудшим из них является не тот, что черный, жирный, а тот, что легок и обманчив, которого вроде бы и не существует и который при определенном освещении может показаться даже красивым; в обычных условиях он почти не виден — или же можно заметить только легкое сероватое облачко, или слегка голубоватое, или чуть-чуть желтоватое.

Потом строители, ступая так же медленно и торжественно и все еще погруженные в задумчивость, оказались в облаке пара, вырывающегося из всех огромных и круглых, точно гигантские бочки, отверстий построек, в которых производилось охлаждение каких-то очень горячих изделий.

Этот пар, вырываясь наружу легкими, белыми, летучи-

ми клубами, тут же смешивался с черным и тяжелым дымом и превращался в пар, тяжелый и грязный; таким оседал он на рабочих, делая темными их одежду, лица и руки, но они выбрали этот путь, так как он вел их к бетонному столбу, на который села птица после того, как слетела с дерева: они хотели хорошенько рассмотреть ее.

То, что она действительно поблекла и отощала, они заметили сразу же, никакой эксперт для этого был не нужен, никакой новенький из тех, кто еще недавно имел возможность видеть на воле разных птиц и в памяти которых не успели померкнуть краски их оперения.

В оперении этой птицы уже не было ни пурпура, ни золота, не было прежней глубокой черноты и безупречной белизны; все краски приглушила серость, ибо многолико воздействие пыли: проявляется оно и в том, что стирает все яркое, красочное, заменяя его серым цветом, который по сути своей бесцветен, о котором точнее будет сказать, что это и не цвет вовсе, а бесцветие.

Не вызывал сомнения и факт, что птица отощала: ее пышная грудка как бы съежилась и усохла.

И опять перед строителями встали две проблемы: как уберечь их лес, то есть их единственное дерево, и что сделать для того, чтобы их единственная птица, которая была для них воплощением всего царства пернатых, опять обрела свою прежнюю яркую краску, а грудка ее опять стала пышной и гордой.

Они пытались разрешить первую проблему, разрыхляя и удобряя землю под деревом и смывая с дерева пыль с помощью пожарной помпы, но оказалось, что чем чаще поливали дерево водой, тем более толстым слоем оседала на нем пыль: избыточная влага притягивала ее, как магнит, к листьям, ветвям и стволу, к тому же легкая порошкообразная пыль, оседая на влажной поверхности, превращалась в вязкую, трудно смываемую грязь.

Так что в этой борьбе двух стихий, если можно так выразиться,— воды и пыли — победила пыль: все усилия рабочих были напрасны, и вот уже не только новенькому, который недавно пришел на стройку и еще не забыл, как выглядит настоящая зелень, но и всем остальным, кто подходил к храму поближе, сразу становилось ясно, что дерево желтеет; а потом уже и приближаться не было необходимости, так как желтая окраска дерева стала заметна издалека.

Тем не менее следовало признать, что это желтое дерево выглядело очень красиво в окружении белых столбиков, под нарядным стеклянным балдахином; особенно красивым оно казалось тогда, когда окутывающее

его, как прозрачная вуаль, разноцветное облако пыли просвечивалось насквозь солнечными лучами или светом зеленых и красных сигнальных — или контрольных — огней, горящих на стройке.

Красота эта не радовала строителей, так как они хорошо знали свою пыль и понимали, что если уж она начала губить дерево, то доведет это дело до конца; и они настолько отдавали себе отчет в неотвратимости происходящего, что уже не высказывали суждений типа «Не выживет дерево» или «Засохнет дерево, ничто его не спасет», ибо такие суждения высказываются тогда, когда надеются услышать в ответ возражения типа «Может, и выживет, не засохнет, может, еще и отойдет».

Ничуть не лучше было положение с птицей, она становилась все более серой, и ни дожди, ни внезапное окатывание ее водой из засады не в силах были смыть эту серость; вдобавок птица все худела, хотя питалась совсем неплохо, так как рабочие щедро сыпали ей крошки хлеба и ничего не жалели.

Строители никак не хотели примириться с фактом, что их дерево погибает, и — к сожалению, это уже не вызывало сомнения — с тем, что их птица тоже погибает; все их усилия, вся их энергия, направленные на спасение их леса (а есть все основания назвать так это единственное дерево), не только не предотвратили гибели «зеленого массива» большой стройки, но, пожалуй, еще ускорили ее; ведь действовали они лихорадочно, непродуманно, вкладывая в свои действия излишне бурную энергию, которая не считается ни с чем, даже с тем, что вместо пользы приносит лишь вред; пример того нередкого явления, когда усилия, направленные на спасение, приводят к гибели; ведь вода, без которой, как известно, дерево не может расти, если ею злоупотреблять, пользоваться ею неумеренно, если без конца обдавать дерево тугими струями из пожарного шланга,— вода не только не поможет дереву, но и переполнит почву влагой, повредит его кору и листья и в конечном итоге погубит.

К этому и свелись попытки спасти дерево, и получилось так, что вода, вместо того чтобы противостоять воздействию пыли, помогла ей, и если поначалу велась борьба воды с пылью, закончившаяся победой пыли, то вскоре она сменилась союзом двух стихий, погубившим «зеленый массив» великой стройки.

Мало того, что в середине лета дерево стало совсем желтым; из-за того, что дерево интенсивно били сильными струями воды, его крона утратила былую пышность, и сквозь ее пустоты просвечивало небо.

Но уже ничто не могло удержать строителей, они все

чаще поливали дерево, и уже не просто поливали, а как бы хлестали его водой, как будто прежняя нежность к дереву перешла в ненависть и как будто они ставили перед собой цель не спасти свой «лес», а уничтожить его, как будто в них клокотало раздражение: пропадай, коли не хочешь жить! Пропадай, коли не помогли тебе ни рыхление почвы, ни поливка, ни крыша, которую мы снимали в дождь и опять устанавливали, чтобы защитить тебя от едкой пыли! Погибай, коли не помог тебе наш храм!

И дерево, словно послушавшись их, быстро сбрасывало листья; но даже и с немногими сохранившимися листьями оно выглядело красивым при определенном освещении, когда облако пыли расцвечивалось всеми цветами; тогда оно привлекало взгляды строителей, и в них стихало раздражение и спадала эта непонятная, словно бы озлобленная энергия, направленная на сохранение дерева; случалось также, что птица, которая к тому времени совсем ослабела и потеряла способность высоко летать, находила в себе силы, то летя над самой землей, то передвигаясь по земле, подняться до верхних веток дерева и сесть на них.

И все-таки неумолимо приближался и пришел наконец день, а точнее, тот предвечерний час, такой момент перед самым вечером, когда небольшой ветерок, что разрывал и уносил вдаль клубы черного дыма, испускаемого высокими кирпичными трубами и низко проложенными горизонтальными железными трубами с расширяющимися жерлами, всеми этими заводскими трубами, как бы играющими дымовую симфонию,— когда этот ветерок, что заполнял стройплощадку и поселок густыми волнами пыли, словно погружая их в застывшую сухую воду пепельного цвета,— когда этот ветерок, сухо шелестевший большими листами жести на свалках металлолома, стряхнул с дерева последний лист и превратил среди лета «зеленое насаждение» стройки как бы в зимнее дерево, в дерево безлистное и сухое, как бы в дерево, сделанное из железа; но оно все еще оставалось в храме, и на него падал свет красных и зеленых ламп, сообщающих рабочим, когда машины и механизмы опасны, а когда послушны и к ним можно прикасаться.

Теперь «зеленое насаждение», представленное одним-единственным засохшим деревом, и сидящая на нем одинокая понурая птица являли собой печальное зрелище, которое трудно было вынести, и строители были не в силах его вынести и стали говорить: «Этого нельзя так оставить, этого нельзя так оставить, с этим что-то надо сделать». «Что-то надо сделать с деревом» означало

одно — вырвать его и выбросить, ничего другого это не могло означать.

И вот появилась небольшая, но ловкая и сильная машина, и она вспугнула птицу, и птица, то с трудом вспархивая, то передвигаясь шагом, перебралась опять на мощную лапу подъемного крана, где она часто сиживала раньше; потом машина ухватила дерево — приблизительно в середине ствола — чем-то похожим на большую руку, выдернула его из земли и отшвырнула в сторону, а потом его убрали те, кто поддерживал чистоту на стройке с помощью других, меньших машин и разных щеток, грабель и пр.

Когда храм опустел, кто-то сказал: «В одном магазине появились в продаже искусственные деревья»; это сообщение сразу вызвало большой интерес, и люди стали повторять: «Ты говоришь, появились искусственные деревья? Где этот магазин?»

Это был большой магазин, в большом городе, сразу бросались в глаза его вывеска «Вечная природа» и другие яркие, завлекающие надписи: «Если вы хотите приобрести вечное дерево, если вы хотите украсить свою жизнь цветком, который не засохнет, не завянет и будет вечно цвести,— посетите наш магазин; если вы хотите приобрести вечнозеленую траву-мураву, не требующую никакого ухода,— посетите наш магазин».

Войдя в магазин, посетитель оказывался в небольшой, пронизанной благоуханием рощице: пульверизаторы были искусно замаскированы в кочках, поросших мхом. В ветвях деревьев сидели маленькие птицы, сделанные из металла, их клювики были раскрыты, так что создавалась иллюзия, что это поют они, а не записанные на магнитофонную пленку настоящие птицы: магнитофоны тоже были искусно замаскированы.

Рощицу украшала красивая зеленая полянка; надпись информировала, что такие полянки (3×2,5 м) можно приобрести в магазине; удобно свернутые в рулоны, они лежали на полках.

В середине поляны на поваленном стволе дерева, сделанном из пластмассы, сидела пластмассовая парочка — девушка и парень; его глаза выражали неописуемое счастье, он подался к ней, протянув и слегка приподняв руки, застыв, казалось, в ту самую минуту, когда намеревался обнять ее и прижать к сердцу; и ее глаза тоже выражали неописуемое счастье, она слегка откинулась назад, как бы уклоняясь от объятия и самым этим уклонением вызывая его, как бы запрещая и в то же время нетерпеливо ожидая сближения, как бы говоря неслышное «нет» только затем, чтобы оно прозвучало

как неслышное «да».

Далее размещался цветочный отдел, краса и гордость магазина «Вечная природа».

При виде великолепия ярких и чистых красок, заполнивших все пространство на полу, на полках и специальных полочках, при виде этого великого множества цветов, свешивающихся с жардиньерок и кашпо, оплетающих какие-то столбики, жердочки и декоративные стенки, при виде этого буйства красок, окунувшись в буйство всевозможных запахов, ибо у каждого цветка был свой, только ему свойственный запах, делегация строителей, приехавших купить дерево, совсем растерялась.

Строители охотно скупили бы все эти цветы и рощу целиком, но они могли купить только одно небольшое дерево, так как только на него были выделены деньги из директорского фонда.

Поэтому они вернулись в «рощу», вынули из нее одно дерево и, поставив его посредине магазина, стали внимательно осматривать со всех сторон; оно им сразу понравилось своей безупречной формой, его ствол ровным и аккуратным конусом сужался к верхушке, что же касается его высоты, то, по их мнению, она как раз соответствовала их храму.

Они спросили, не потеряют ли со временем листья свою яркую окраску, и их горячо заверили, что краска очень прочная, что она выдержит жару, непогоду и мороз; потом они обсудили вопрос о воздействии пыли и с помощью продавца пришли к утешительному выводу, что с этого дерева пыль очень легко устранить, ибо такое дерево обладает весьма благоприятным для данного случая качеством, а именно плотной и скользкой поверхностью, так что вся пыль с листьев и ствола будет скатываться по законам скольжения, поэтому достаточно самого легкого ветерка, чтобы сдуть ее.

Таким точно образом — по законам скольжения — с дерева будет сползать грязь, попавшая на него.

Этот последний аргумент стал решающим в вопросе о приобретении дерева, и рабочие купили искусственное дерево, погрузили его в машину и повезли на стройку.

На обратном пути они уже не столь сильно печалились, проезжая одну за другой три зоны, возникшие на месте зеленых лесов, некогда окружавших стройку, а именно — начиная с последней, так как они ехали на стройку, — зону первых признаков умирания, зону умирания и зону полного вымирания.

Теперь эти зоны не производили прежнего гнетущего впечатления, так как у них было дерево, которому ничего не страшно, дерево вечнозеленое и вообще вечное, так

что одну из двух стоящих перед ними проблем они могли считать решенной.

В этот же день дерево было доставлено в храм, а там установлено и смонтировано.

Не посажено, а установлено и смонтировано — так впервые сказали о дереве рабочие той большой стройки, как сказали бы они о стальном кране или каком-нибудь другом механизме, да и не могли они сказать иначе, разве что им пришло бы в голову пошутить или обмануть самих себя; поскольку дерево и в самом деле было установлено и смонтировано; ведь не могли же они просто воткнуть его в почву, где перед этим росло их одно-единственное, чахлое, но настоящее дерево; теперь пришлось сначала сделать небольшой бетонный цоколь и закрепить на нем устройство, напоминающее зажим в бормашине, только гораздо больше по размеру; вот в этот-то зажим вставили дерево и смонтировали его так, чтобы оно стояло прочно, не болталось и не покосилось.

Такой способ установки дерева позволяет назвать его не деревом, а памятником дереву, тому дереву, настоящему и, даже можно сказать, заслуженному, которое воплощало в себе целый лес и помогало людям воскрешать в памяти зелень тех мест, откуда они пришли на стройку; глядя на свое дерево, строители, бывало, с грустью и умилением вспоминали детские годы и пышную зелень родных лесов.

Следует признать, однако, что новое дерево чрезвычайно подходило к храму, даже больше, чем то прежнее, живое: в свете ярких огней стройки блестящая поверхность листьев искрилась зелеными отблесками, усиливая и без того яркий блеск стеклянной крыши храма.

Могло ли это искусственное дерево тронуть души людей и перенести их мысленно в родные места, в леса и поля их детских лет?

Может, и могло, может, и переносило, но при этом еще больше отдаляло их от живых лесов, заставляя осознать, как далеки они от них теперь.

Тем временем птица уже совсем потеряла способность летать и стала серым, изможденным пешеходом; однако в тот период она изредка еще предпринимала отчаянные попытки взлететь, и эти редкие взлеты давались ей с неимоверным трудом; но чаще случалось так, что, топчась на одном месте, она напрасно хлопала крыльями и пыталась хотя бы лапами оттолкнуться от земли; в такие минуты она поднимала кверху голову и издавала скрипучий хрип, как бы моля кого-то там, наверху, вернуть ей способность летать.

Все ее попытки взлететь были напрасны, крылья

птицы уже не могли загребать под себя столько воздуха, чтобы можно было на него опереться, так как теперь ее крылья стали походить на сетку, так мало в них осталось перьев.

Вот и отправлялась она в путь пешком, шатаясь из стороны в сторону, опустив голову, как бы пристально вглядываясь в пыль, покрывшую землю, асфальт и бетон.

И уже не жалость, а злость охватывала строителей, когда они смотрели на это, и они говорили со злостью и раздражением: «Ведь она же, глупая, могла улететь в лес, когда еще летала, ведь она, глупая, могла улететь со стройки, когда была сильная и такая яркая... Зачем она осталась здесь?»

Но злость, если она находит выражение в таких словах, должна неминуемо опять смениться жалостью, а жалость в свою очередь чем-то вроде уважения к этой геройской птице, к твердости ее характера.

Иногда строителей охватывало непреодолимое желание помочь своей птице; тогда они окружали птицу и ловили ее, а потом поднимались с ней на крышу дома или на верхушку подъемного крана и оттуда спускали ее вниз; но все было напрасно — птица опускалась вниз тяжело и некрасиво, силы в крыльях ей хватало лишь на то, чтобы не свалиться камнем вниз и не разбиться.

Несколько раз они сажали ее на новое дерево, но она сразу же соскакивала с него и спешила покинуть храм.

Для птицы наступила третья стадия ее жизни — теперь она только ходила по земле и уже не делала попыток взлететь, навсегда распростившись с надеждой на то, что сможет взлететь, ибо этой третьей стадией было лишенное всяких надежд хождение по пыльной земле большой стройки; в первой стадии жизни птицы ей выпало все, что отпущено птице природой,— способность летать сколько хочет, возможность садиться куда хочет и пребывать в облюбованном месте сколько хочет, бродить по земле, подпрыгивать и порхать, неограниченная способность пользоваться крыльями и лапами.

Вторая стадия означает передвижение по земле, когда еще остаются иллюзии, мечты и надежды, хождение тогда часто прерывается хлопаньем крыльев и подпрыгиванием, а это означает, что осталась еще надежда взлететь.

А теперь наступила упомянутая выше третья стадия в жизни птицы, означающая крушение всех надежд и безропотную покорность; эта стадия явилась убедительным доказательством всемогущества пыли, той пыли, что на первый взгляд так невинно выглядит и даже при

определенном удачном освещении придает стройке известное очарование, когда полосы пыли, подобно разноцветным лентам, протягиваются между стенами домов и цехов.

Вот эта столь невинно выглядевшая пыль и стала причиной того, что птица медленно, но неуклонно приближалась к четвертой стадии своей жизни, когда она могла лишь стоять на одном месте, оцепенело, бездумно, беспомощно стоять на одном месте.

Ее пытались спугнуть, чтобы она сдвинулась с места, ее брали на руки и подбрасывали вверх — ничто не помогало: птица не реагировала, когда ее пугали, а если ее брали в руки и подбрасывали вверх, она просто падала на землю, а потом поднималась и оставалась стоять неподвижно, зарывшись клювом в пыль.

Это неподвижное стояние было началом конца, и нетрудно было предвидеть, каков будет этот конец, тем более что птица пошатывалась, когда стояла.

А тут еще стали дымить две новые высокие кирпичные трубы и две дополнительные горизонтальные металлические трубы с расширяющимися выходными отверстиями, так что пыль стала сыпаться еще гуще и толще стал ее темно-серый слой, покрывающий землю; теперь пыль доходила птице до грудки, одновременно посыпая сверху ее перья более густым слоем.

Птица упала на землю, этим должно было закончиться и этим закончилось неподвижное стояние птицы, упала навзничь кверху лапами, выглядело это так, как будто птица утонула в сухой темно-серой воде, из которой торчали только лапы птицы, а точнее, торчали только потрескавшиеся, со стертыми когтями пальцы; недолго она так лежала, ее смела вместе с пылью и поглотила автоматическая мусороуборочная машина, разъезжающая по территории стройки.

И когда эта хитроумная машина поглотила птицу и она попала в большой железный барабан, где уже находилось много ненужных вещей, один из строителей опять разразился прежними наивными и ненужными сетованиями-вопросами, которые не способны были ничего изменить и на которые все равно не получить ответа: «Ведь могла же она, глупая, улететь далеко отсюда, когда здесь началась стройка с ее пылью! Зачем она осталась тут, почему не сбежала?»

Сетования его привели лишь к тому, что и он сам, и другие строители погрузились в грустные раздумья, из которых их вывело известие, что в магазине «Вечная природа» открыт отдел, в котором продаются искусственные птицы, умеющие летать и петь.

Делегация, направленная в большой город, в магазин «Вечная природа», обнаружила там богатый выбор, так что не представляло труда подобрать такую птицу, которая походила на их прежнюю и величиной, и окраской, то есть относилась к семейству дятлообразных, а может, фазановых, и в оперении ее переливались такие же яркие краски, те же пурпур и золото, глубочайшая чернь и безупречная белизна.

Автоматизация была на самом высоком уровне: птица умела расправлять и складывать крылья, а по команде с пульта управления — подниматься в воздух и летать.

Внутри птицы находились записи птичьих песен, которые могли звучать и в полете; при желании птицу можно было легко прикрепить к ветке дерева, и это обстоятельство оказалось особенно важным, так как строители непременно желали видеть эту птицу сидящей на ветке дерева в храме.

Когда через несколько дней дистанционно управляемая птица совершила полет над заводскими трубами и домами поселка, строители не смогли удержать криков восторга: «Какая красивая птица!»

И в самом деле, ярчайшие краски — пурпурная, золотая, голубая, исчерна-черная и белоснежно-белая — горели и переливались на солнце и просто идеально гармонировали с переливающимися в солнечных лучах разноцветными лентами легчайших, невесомых, едва заметных в воздухе пылинок.

Радость строителей возросла, когда птица начала петь; она возросла еще сильнее, когда птицу поместили на дереве в храме, и кончились все заботы, и на стройке был большой праздник.

ПУСТЬ УМРЕТ ГЛАДЯ СОБАКУ

Еще когда я поднимался по узкой лощине и не мог видеть ее, потому что находился по другую сторону холма, я уже догадался, что она из тех вездесущих собачонок, которые в одиночку или небольшими стаями бродят по полям и садам этой округи.

Сказал мне об этом ее тоненький визгливый лай, которым маленькие собаки пытаются убедить каждого, что они есть, что они существуют, как существуют большие собаки, люди, лошади и овцы; пребывая в постоянном страхе и срываясь на этот визгливый лай, они заявляют права на неприкосновенность своей территории и пытаются доказать, что не столь уж они безопасны.

Я не ошибся, и с верхушки холма, дающей наибольший обзор, мне оставалось только удостовериться, что масти она грязно-белой, с темной заплатой на груди, и заметить довольно длинную, по-львиному взъерошенную вокруг шеи шерсть, хвост бубликом и тонкие лапы.

С этого приподнятого пятачка земли я рассмотрел также и хозяина собачонки, который стоял за изгородью, окружающей двор, на краю пожелтевшего луга, уже осеннего, выцветшего, можно сказать, первозданно чистого в этой своей бесцветности.

Он держал на веревке невзрачную, в рыжих пятнах корову, скорее телку, судя по ее еще не отягощенному большим выменем брюху.

Вскоре я увидел, что при нем не только эта животина, но и небольшое стадо овец, которые, внезапными перебежками спускаясь по лугу, щипали выцветшую, прильнувшую к земле траву; время от времени, как я заметил, им приходилось напоминать, что в своих поисках травы они зашли не туда, и втемяшивать в их снующие вдоль самой земли головы нужный курс; а потому стоящий у изгороди мужик то так, то этак покрикивал и понукал их, овцы прекрасно понимали его и каждый раз после такого, казалось бы, ничего не значащего окрика поворачивали налево или направо или вдруг останавливались, будто он сильно дергал за какие-то невидимые удила.

Хозяин телки, овец и собаки показался мне уже немолодым человеком крепкого сложения, на нем была просторная куртка неопределенного цвета, подпоясанная

узким ремнем или шнурком, на голове — плоская линялая кепка, сидевшая на копне темных волос.

Но вот овцы опять рванули не туда, куда надо, и мужик, чтобы не упустить их, потянул за собой телку и прошел вдоль изгороди, а потом спустился по склону луга, и я потерял его из виду.

Тем временем собачонка подошла ко мне со смесью страха, любопытства и напускной угрозы, с повадкой, испокон веку присущей племени маленьких узкогрудых собак, которых природа, будто из милосердия, одарила неприметной наружностью.

Я стал, слегка наклонился и в этом как бы полупоклоне похлопал по ноге рукой и заговорил с собакой с непривычной для нее, но явно искренней мягкостью — хорошая, красивая собачка...

Я повторил это несколько раз, она сразу же поверила и, притворяясь, что дала себя уговорить, сменила лай на более дружелюбное, тихое урчанье, а потом доверчиво, хотя и с некоторой оглядкой, вроде бы даже чуть с угрозой подошла ко мне, и еще доверчивее обнюхала голенища моих резиновых сапог, и наконец холодным носом ткнулась в мою руку.

Это был переломный момент, она позволила себя погладить, и ничто уже не омрачало ей ощущения безопасности.

Я снова повторил несколько раз — хорошая, красивая собачка; при этих словах она задрожала от удовольствия всем телом, а голову склонила к земле, потому что такая похвала привела ее в восторг, но и смутила.

Я, направляясь в сторону леса по гребню жухлозеленой волны, повторил снова — хорошая, красивая собачка; и тогда, вся трепеща и извиваясь, она побежала передо мной; от стольких похвал ей неловко было тут же бросить меня, похоже было, не в ее натуре получать не отдавая; относясь ко всему честно и серьезно, она оставалась со мной, чтобы отплатить добром за добро.

Случай показал мне, что даже такая малость, как «хорошая, красивая собачка», слова, произнесенные бездумно, без всякого умысла, так, ради забавы, что вот такие немудрящие слова: «хорошая, красивая собачка», ненароком спорхнувшие с уст, — большое событие для собаки, существенное, важное, все собаки ждут его, шаля, воя на луну и тоскливо вглядываясь в небо; оно для них — тот теплый ветер, который забивает дых всей музыкой запахов, ерошит шерсть, проникает под шкуру и глубже, туда, где живут собачьи мысли и собачьи сны.

Не было никакого сомнения, что собака хотела вернуть долг, взяв надо мной опеку на моем пути в лес, что

это стало для нее делом чести.

Она шла за мной и все более удалялась от луга, хотя время от времени оглядывалась назад; да я и не уговаривал ее вернуться, потому что одиночество тягостно мне, и я был рад, что собака идет со мной.

Вот она опять посмотрела в сторону луга, посмотрела внимательно, как бы призадумалась, может, прикидывала: этот огромный взъерошенный мужик сейчас спустился по лугу вниз, покрикивает себе на овец, а меня, собаку, не видит; там он пробудет еще какое-то время, и, пока поднимется снова наверх, я успею проводить до леса этого милого человека, чтобы было добро за добро; когда мужик, ругаясь на блажных овец, одуревших от лугового простора, выберется наверх и встанет у изгороди, я окажусь тут как тут.

Мне было ясно, что честь у этой собаки на первом месте; за доброе слово она хотела вернуть мне сторицей и, угадывая, куда я иду, забегала вперед и обследовала тот или другой участок, не только узкую тропинку моего пути, но и обочины.

Петляя и кружа, она старалась обезопасить для меня, кроме дороги, по которой я шел, еще и большое пространство вокруг.

Все это время я говорил ей не только «хорошая, красивая собачка», но и много других слов: «ты мне очень нравишься, ты прекрасная собака, хорошо, что мы идем вместе».

Она притворялась, что не слышит их, что полностью поглощена своим долгом — охранять меня; но я-то знал, что мои слова доходили до нее, я узнавал это и по виляныо хвоста, и по незначительным, а все же заметным сбоям в поведении.

Иногда это была внезапная остановка, позволявшая вильнуть хвостом, иногда что-то вроде нелепого прыжка или поворота; раз или два она после таких слов спотыкалась и чуть не распластывалась на ровном месте.

Я вошел в лес, собака побежала между деревьями. Вбегающая в лес псина могла бы, если б умела, шепнуть со вздохом — начинается тяжкий труд; могла бы также, если б умела, воскликнуть — о мука любопытства, или — о сладость познания неведомого, или еще что-нибудь в этом роде.

Во всяком случае, вбегающая в лес собака переполнена чем-то таким, что слито из удовольствия и страха; так слито, что удовольствие и страх не чередуются и не сопутствуют друг другу как два отдельных переживания и одно не подчинено другому; получается так, что удовольствие одновременно является страхом, а страх удоволь-

ствием, и они составляют неразрывное двуединство.

Послышался далекий, тихий стук, который для опытного уха ничем не напоминал звуков, какие можно услышать при спиливании, рубке и повалке деревьев, или звуков, сопутствующих какой-либо иной работе в лесу, нельзя было его связать ни с бегом или поединком зверей, ни с тяжким трудом дятлов, простукивающих деревья.

Он был размеренным и походил сначала на стук палочек где-то далеко по барабану; он был монотонной музыкой, доносившейся неведомо откуда, умножающейся в лесу и ползущей по нему эхом.

Собака время от времени останавливалась, поднимала голову, настораживала уши и морщила черный кончик носа и в этой чуткой, почти воинственной позе прислушивалась к голосам и подголоскам леса, а среди них, несомненно, и к этому далекому, тихому стуку, который вдруг терял размеренность и становился то тише, то громче; потом снова размеренным, но уже более громким, и наконец разгадался как цокот конских копыт в галопе.

Не было сомнения, что собаку из всех шумов, шелестов, стуков и других голосов леса интересовал именно этот галоп, все нараставший с каждым мгновением.

Наконец среди редколесья, на границе леса с широким каменистым взгорьем стал различим мелькающий силуэт большой лошади и ездока.

Спустя миг густой лес и высокие кусты вновь поглотили коня и всадника; звук галопа доносился, чередуясь, то слева, то справа, то спереди, то сзади; свершив круговорот, он приближался и вот уже раздался совсем близко.

Я обернулся и в начале лесной просеки, в этих вечно распахнутых воротах леса увидел скачущего галопом тяжелого гнедого першерона, только что ворвавшегося в лес с покрытого мелкими камнями взгорья; а на этом першероне человека в темной куртке, с непокрытой головой и взъерошенными волосами.

Ездок уже издали показался мне похожим на хозяина собаки, на огромного мужика, который на том вспученном лугу держал на веревке рыжую телку и присматривал за овцами; когда он приблизился, я убедился, что не ошибся.

Он осадил передо мной коня, першерон, внезапно остановившись, присел на задние ноги, задрал вверх передние, и надо мной закачались его большие копыта; и тогда сквозь клубы пара от его тела и дыхания я увидел в раздувшихся от бешеного бега ноздрях горящие угольки, эти адские огоньки конской муки; но через мгновение он уже стоял на четырех ногах и бока его тяжело вздымались и опадали.

А мужик, распаленный гневом и нетерпением, сразу

же с хребта лошади, безо всякого вступления, выпалил мне — где собака?

Собачонка стояла возле толстой сосны и дрожала всем телом, потому что боялась, так боялась, что от этого страха передние лапы сложились у нее иксом, а по-львиному торчащая на шее шерсть улеглась; и от этого страха собака сделалась меньше и как бы постарела, будто из молодой, бойкой превратилась вдруг в старую, дряхлую, на пороге смерти собаку.

Я показал разгневанному мужику на собаку и сказал — вот она; он на это — украсть хотели; я улыбнулся и ответил — зачем мне собака, зачем мне эта псина; а этот багровый от гнева и всклокоченный мужик, все еще с хребта першерона — не верю, наверняка колбасой ее подманивали, потому что хотели ее украсть, знаю я приезжих.

Я снова засмеялся и сказал — она сама пошла со мной, мне было приятно с ней идти, потому что она милая, хорошая собака; я вовсе не хотел ее украсть, я вернулся бы туда, где живу, а собака домой.

Мужик на это опять — не одну собаку украли приезжие и тайком забрали с собой, уже много собак пошло с ними на поводках и поехало в корзинах.

Неожиданно мужик побагровел еще больше и поднял сжатые кулаки, что явственно свидетельствовало о нахлынувшей на него новой волне гнева; но тут же побледнел, опустил руки, разжал кулаки, что говорило о том, что охватившая его волна отпускает его.

Потом он начал трясти руками и головой, говоря этими движениями, прежде чем заговорил словами.

— Собака, собака, собака,— твердил он; а потом — может, кто думает, что, мол, собака, собачка, псина может идти, куда хочет и с кем хочет, со всяким встречным, пускай бежит в лес, пусть себе гуляет, где хочет... можно рассуждать и так, когда не знаешь всего; сказать — собачка, псина, на что мне эта псина, кому нужна такая убогая собака — так сказать легче всего, а надо бы еще знать, что этой собаке уходить от дома нельзя, она должна быть во дворе или рядом, за изгородью; сегодня, может, еще завтра, ну, может, еще несколько дней она должна быть рядом с домом, а потом пускай убирается, если хочет; так уж по-дурацки все вышло, что собаке нужно сейчас быть рядом с домом, чтобы только свистнешь, а она уже подбежала к двери — и в горницу; если бы дело было во мне или в моей бабе, которая ее любит, или в ребятишках, так и отдать бы не жалко, кабы хороший человек захотел взять ее, можно бы и отдать в хорошие руки...

Он показал рукой на собаку, которая от страха изо

всех сил прижималась к сосне, будто хотела врасти в дерево и раствориться в нем, потом соскочил с лошади, подошел к собаке, взял ее на руки и сунул под стянутую ремнем куртку; затем отвел першерона в ров с отлогими краями и снова сел на него, оттолкнувшись от муравейника на краю канавы; и вновь заговорил — речь-то о брате, о младшем брате, который перепил и приложил соседа, но не так чтобы сильно, а сосед вынул свой красивый ножичек, который получил из Америки от свояка, и этим американским ножичком прошелся по американскому пиджаку, который брату дядя прислал, и по коже у брата на спине; но это еще ничего, так себе порез, это еще ничего ножичком по коже пройтись; брату бы после этого в сторонку да домой, тогда бы все хорошо обошлось; но он не пошел, потому что не мог, то есть мог, но не мог, ну, после такого ни один мужик в деревне не отступился бы; потому что так полоснуть — это только разминка перед дракой; вот брат и хотел приложить соседа покрепче, чем в первый раз, но не успел, потому что сосед схватил полено — и брата в лоб, и брат, младший брат, повалился и с того времени лежит и не встает, и уже не встанет; доктор сказал, что не встанет и что скоро помрет; лежит себе на спине, все время на спине, и смотрит в потолок, левая рука у стены, а правая спущена с кровати, и этой руке надо что-то ворошить, и она любит копаться в собачьей шерсти, ни в какой другой, только в собачьей шерсти; я раз подсунул ему кота, потому что думал — ему все равно, да он сразу же усек подмену и говорит — что за штучки, а потом разозлился и закричал — заберите отсюда этого чертова кота и приведите собаку; поэтому собака должна быть поблизости, чтобы, когда брат улыбнется и скажет — где, где этот сукин сын, давайте его сюда,— можно было подсунуть ему под руку собаку, чтобы он мог запустить пальцы в собачью шерсть, потому что он это очень полюбил, ну что же, что же, черт подери, ему теперь может нравиться; а это ему так нравится, что, когда ему собаку не приводят сразу же и не подсовывают под правую руку, злится и кричит; разболтался я тут, а он теперь наверняка не улыбается и не говорит ласково — где этот сукин сын, хочу его потрогать, а кричит на мою бабу — где этот чертов сукин сын, подавайте сюда этого сукина сына; доктор сказал, что скоро помрет мой младший брат, может, через несколько дней, а может, и завтра или уже сегодня к вечеру; раз уж ничего не поделаешь, так пускай у него хоть хорошая смерть будет, пусть умрет гладя собаку...

После этих слов он повернул коня, стегнул его ивовым прутом, и конь сразу же взял галоп.

ПРОЩАНИЕ С ГОРОЙ

Яну Болеславу Ожугу

Они стары, они очень стары, они так стары, что стали похожи друг на друга, как два младенца; они стары, как засохшие сучья, брошенные дровосеками, как сухой валежник, о котором лесник и думать забыл и который ни на что не годится, даже на то, чтобы истопить им печь.

Сучья эти, однако же, еще не рассыпаны как попало, они еще собраны в кучку, представляющую собой человеческую фигуру, они еще в состоянии двигаться, шевелить ветвями, ну, почти совсем дерево, вернее, два дерева, которые смотрят, говорят, смеются.

Вот сейчас они сидят на длинной скамье у стены дома и смотрят на гору.

Они не разговаривают, щурят глаза, которые от этого становятся еще меньше, и все пристальнее вглядываются в гору. Гора прямо перед ними, не слишком далеко и не слишком близко, как раз на таком расстоянии, чтобы можно было разглядеть низкорослый кустарник у ее подошвы, а над ним — голое выжженное пространство, местами каменистое, безжизненное, местами поросшее травой, той травой, что в вечной жажде воды потеряла свою зеленую окраску и по цвету едва отличается от камня; еще выше выпятилась скала, сверкающая наготой; над ней — каменная стена, вся в бороздах и складках; на самом же верху — нечто совершенно неожиданное, то, чего не должно быть, если принимать во внимание упомянутую каменную стену, нечто подобное чуду, возникшее как будто не на земле, а явившееся откуда-то сверху,— лес, и не какой-нибудь паршивенький, а могучий, темный и густой лес.

Гора возносится прямо перед стариками и достаточно близко, так что можно все как следует рассмотреть и дать всему соответствующее название: кусту — куст, камню — камень, дереву — дерево.

И в то же время эта гора находится от них довольно далеко, так что все в ней, оставаясь собой, одновремен-

но изменилось и стало означать нечто совсем другое, похожее на огромную картину, а гора предстала перед ними как чей-то огромный, неподвижный лик.

А если это так, то недостаточно сказать, что эти старики, эти живые развалины, пристально вглядываются в гору; ибо если кусты, камни, пустыри, скалы и впадины предстают как один огромный лик, то можно сказать, что и гора смотрит на них.

Сейчас деревня опустела, люди ушли на поля, в лес, их нигде не видно, они растворились в работе.

Остались только эти два старика: один совсем лысый, у второго на голове сохранились остатки седых волос. И гора. Только эта троица.

Сейчас уже все остальное не имеет значения: ни люди, ни дома, ни заботы, ни животные — только эти два старика и гора.

Начав всматриваться в гору, они не перебросились ни словом, хотя до этого много и долго разговаривали; так, усевшись на скамью и отдышавшись, один из них, еще раз с облегчением вздохнув, сказал: «Хорошо, что эта лавка стоит здесь», а второй в ответ: «Ох, хорошо...»

Они принялись расхваливать лавку и долго об этом распространялись, перечисляя все ее огромные достоинства и отмечая мелкие недостатки.

— Слава богу, что стоит она у самой стены, можно опереться.

— А будь она подальше от стены — спина сразу даст о себе знать.

— Спина согнется, попробуй ее потом распрями...

— Пружинит немного, но это хорошо — сидишь, как в машине.

— А ты пробовал, знаешь, как в машине?

— Брал меня внук как-то раз.

— Пружинит, но не переломится, потому что из ясеня.

— Дуб треснет, а ясень нет.

— Вот если бы еще немного приподнять один конец.

— Лавка ровная.

— Не ровная, край немного наклонился.

— Э, что ты, ровная она.

— Нет, покосилась.

— Нет, ровная.

— Но я же чувствую.

— А я не чувствую.

— Можно ватерпасом проверить.

— Зачем ватерпас, когда я и так знаю, что ровная.

Похвалы скамье, а потом этот ожесточенный спор по поводу того, ровная она или нет, спор, который, учитывая, что его вели две человеческие развалины, два

дряхлых старика, с их ногами-сучьями, согбенными спинами, вечно ноющими поясницами, был не просто спором, а отчаянной попыткой вернуться к жизни, можно сказать — борьбой за жизнь, борьбой за то, чтобы восстановилось дыхание и пульсировала кровь в жилах; весь этот спор велся до тех пор, пока гора не захватила их, пока они не воззрились на нее в глубоком изумлении, как будто никогда ее не видели и как будто она предстала перед ними неожиданно, хотя существовала всегда, ибо гора — вещь вечная, и там, где она возносится, будет возноситься во веки веков, аминь.

Этот спор двух высохших стариков, спор, приобретший для них масштабы великой битвы за жизнь, за то, чтобы в жилах пульсировала кровь, закончился в тот момент, когда они «ухватили» гору, а она захватила их.

И тогда их смешные руки — или страшные, если представить себе этот человеческий хворост, — тогда их напряженно сжатые руки разжались, как будто кто-то посторонний, но рожденный в них самих и сидящий в них, хотя в то же время далекий, глядящий на них со стороны, сказал им: перестаньте ссориться, старички, разожмите кулаки, перестаньте бросать друг на друга грозные взгляды, ибо перед вами гора; как вы можете ссориться из-за какой-то скамейки, когда перед вами гора со всеми своими красками, с мягкими кустами и твердыми камнями, блеском обнаженных склонов и чернотой расщелин, гора с прекрасным темным лесом; берегите силы, старички, ибо дело не в скамейке, а в чем-то гораздо более важном, и думайте, думайте, может, и поймете, что это за самая важная вещь; ведь еще в состоянии двигаться ваши руки и ноги, ведь вы еще можете сгибаться и распрямляться, а уж стоит вам разойтись, тогда и кости перестают скрипеть и вы даже в состоянии самостоятельно сделать несколько шагов, так что кончайте ссориться, смотрите-ка лучше на гору...

Зудил и зудил этот настырный советчик, что сидел в них, и добился-таки своего.

Потому что после долгого молчания и разглядывания горы, после жадного впитывания ее склонов и расщелин во всем многообразии их красок Лысый взглянул на Седого добрым, ласковым взглядом и сказал:

— Помиримся.

А Седой в ответ:

— Помиримся, сосед.

И опять они уставились на гору, но теперь уже головы их неподвижны, и глаза не шарят по ее поверхности, теперь и головы, и глаза неподвижны; и если бы существовал прибор, определяющий направление взгля-

да, то он бы начертил линию, начало которой исходило бы из глубины сморщенных старческих глазниц, а конец упирался в точку на склоне горы у самого края леса, где виднелась полоска светлее деревьев, но темнее скалы, то есть в каменный выступ, которым заканчивалась скала, и за ним — чудо из чудес — шла полоса мягкой почвы и росли деревья, в каменный выступ на самой вершине скалы, веками создаваемый природой, вытесанный дождями и ветрами балкон на склоне горы, с которого так много можно увидеть.

Ступить ногой на этот балкон, выпрямиться и посмотреть вниз на крыши домов, на дороги, поля и пастбища — значит совершить восхождение на гору.

Ступить на этот выступ молодой ногой, состоящей из крепких, но не сухих, костей и упругих мышц,— это не такое уж событие, это совсем немного, ну, может быть, всего несколько слов, произнесенных односельчанами без всякого удивления, дескать, такой-то был сегодня на горе, поднялся на гору, а потом спустился вниз...

Ступить же на этот выступ ногой старой, скрюченной и немеющей, выпрямиться и увидеть далеко внизу чуть ли не полсвета, потом спуститься с горы, держа на ладони блестящие камешки, собранные на вершине горы в качестве вещественного доказательства,— это много, это очень много, это вытаращенные глаза и разинутые рты, это разведенные в изумлении руки, именно в изумлении, в безграничном изумлении, и полные недоверия слова: такой старый, а поднялся на гору, слышите, дряхлый старик, а добрался до самой вершины; а молодые думают: такой старый хрен, а сравнялся с нами, молодыми; и совсем другим будет тот остаток жизни, что пройдет со дня подъема на гору до дня смерти, и смерть будет совсем другой, и похороны будут совсем другими, непохожими на похороны тех стариков, которые перед смертью не взбирались на гору.

Ксендз с органистом будут выводить: «Requiescat in pace» [1], а люди потихоньку свое: «Он еще совсем недавно поднимался на гору».

Ксендз и органист громко: «Господи, прими его в царствие свое», а люди потихоньку, чтобы не мешать ксендзу: «Один, без посторонней помощи добрался до самой вершины».

Ксендз и органист во весь голос: «Господи, прими его душу в рай небесный», а люди друг другу на ухо: «Если бы он только продрался через кустарник и дошел до трав, еще можно было бы поверить; если бы прошел и эту

---

[1] Да упокоится в мире *(лат.)*.

невысокую траву, еще можно было бы поверить, но трудно поверить, что он взобрался на скалу, а ведь взобрался, хотя и такой старый».

«Помолимся, братие, за его душу»,— возглашает ксендз и с трудом удерживается, чтобы не добавить: за душу того, кто еще совсем недавно стоял на вершине, ибо ксендз, конечно, тоже знает, что вот этот старик незадолго до смерти продрался сквозь чащу колючего кустарника, прошел круто поднимающуюся в гору полосу низкорослых трав, затем преодолел трудный путь через расщелину, где, как в огромной корзине, скопились большие острые камни, потом самый трудный участок — голую скользкую скалу — и ступил на балкон горы.

Пройдет время, и могила осядет, земля на ней затвердеет и потрескается, но люди еще будут говорить: «Здесь лежит один такой старик, который вбил себе в голову, что взберется на гору,— и взобрался».

Пройдет еще время, и могила уже станет чуть заметным холмиком, и крест на ней совсем покосится, но еще найдутся такие, что будут помнить: под этим покосившимся крестом лежит человек, который, будучи уже глубоким стариком, покорил гору.

Могила уже перестанет быть могилой, сровняется с землей, крест упадет, и на этом месте выкопают новую могилу, и умрут люди, что были тогда на похоронах, но найдется человек, который запомнит то, что рассказывали ему теперешние обитатели кладбища, когда они еще были живы, и скажет этот человек: слышал я, что где-то здесь, где-то здесь, у ограды, под старой акацией, похоронен некий бодрый старичок, почти сто лет ему было, а он взобрался на такую крутую скалу...

Старики как по команде поднялись с лавки, выпрямились, и один из них сказал:

— Вот я встал, и у меня ничего не заболело.

— И у меня ничего не заболело,— отозвался второй.

— Ни колени.

— Ни поясница, ни спина.

— А руки? — быстро спросил один другого, как будто раньше не знал и только сейчас внезапно припомнил, что ведь есть еще и руки, в которые любит вступать боль.

После такого вопроса должны были вознестись и затрепетать, а потом задержаться высоко в светлом пространстве их четыре ладони, которые как бы стали жить своей отдельной жизнью: пальцы распрямлялись и вновь искривлялись, становясь похожими на гигантские когти, кулаки сжимались и разжимались, кожа на тыльной стороне кисти то собиралась в складки и казалась черной, то натягивалась до розового глянца, червяки вен

то прятались в теле, как прячутся в земле настоящие черви, то вылезали на поверхность и лежали на коже, как дождевые черви на смоченной теплым дождем земле.

Удивительные вещи происходили и с шишками, наросшими на суставах, но шишки эти нелегко было заметить и определить, что с ними происходило, когда руки были в движении, жили отдельной жизнью; можно лишь сказать, что шишки как бы переставали быть шишками, когда кожа собиралась в морщины, а когда она натягивалась, казались твердыми, дополнительными узлами суставов.

— Руки в порядке,— сказал один из них и улыбнулся.

— В порядке,— поспешил заверить второй.

Они опустили руки, выпрямились и встали по стойке «смирно», как солдаты перед командиром.

Потом стали прохаживаться по полоске твердой, ими же утоптанной земли у скамейки.

— У меня ничего не болит, когда я хожу,— сказал один из них.

— И у меня ничего не болит,— вторил другой.

— Я чувствую, что мог бы долго идти.

— Так бы шел и шел.

— Пока бы не дошел.

Запыхавшись, они опять сели и смотрели друг другу в глаза и улыбались; но когда они взглянули на гору, лица их стали серьезными.

И почему ты, гора, такая большая, пусть были бы на тебе колючие кусты, и сухие травы, и даже расщелина, в которую ты стряхиваешь свой мусор, пусть бы стоял и лес, но вот скала над расщелиной... если бы она была поменьше; но ты, гора, не можешь ни на метр, ни даже на сантиметр уменьшить свою скалу, да и не бывать тогда — после того, как людям в доказательство была бы представлена горсть блестящих камешков,— не бывать тогда тем разговорам, о которых мечталось, и таким похоронам, о которых мечталось, и таким словам, которые сказал бы их праправнук, когда время сровняет их могилы с землей, а так хотелось бы, чтоб он сказал их...

Оставайся, гора, такой, какая ты есть, а мы — такими, какие есть, чтобы осуществилось то, о чем мечтается; и не может быть по-другому, ни за какие сокровища не может быть по-другому, ибо должна быть гора и старость, старость и гора, и только тогда сохранится это в памяти людской; вот и хорошо, что на тебе возносится скала, а мы так стары.

Они опять посмотрели друг на друга, и улыбнулись, и уже знали, что идти надо.

Долго ждать нельзя; гора — она может ждать, ибо она вечна, как вечен бог; могут подождать и те, чьи кости

тверды и мышцы упруги, те, которым не надо говорить: не болит, хотя и болит; они могут подождать, ибо могут взобраться на гору, когда захотят; мы же ждать не можем.

И тем не менее этого нельзя сделать в какой попало день, нельзя этого сделать в обычный день, когда люди снуют по деревне, вроде бы ни к чему не приглядываются, а все видят, и чутки как кошки, и следят, все ли так, как положено, все ли на своих местах.

Да, в обычный день этого не сделаешь, когда то один, то другой проходит мимо плетня, что-то бормоча или насвистывая и глядя себе под ноги; казалось бы, он ничего не видит, кроме тропинки у себя под ногами, но это не так — ничто не укроется от его бдительного ока, даже пролетевшая бесшумно маленькая птичка, а о пустой лавке нечего и говорить, пустая же лавка означала бы, что старики куда-то подевались.

— Чего это они не сидят на лавке у дома? Может, потащились к плетню, посмотреть на поля?

— Нет их у плетня.

— Нет...

— Ну, значит, они на выгоне, где пасутся коровы.

— Нет их там.

— Должны быть.

— Нету.

— Может, они в дровяном сарае, рубят ивовые ветки.

— Не слыхать, чтобы рубили.

— Так где же они?

— Где они, где они?

И уже кто-то обшаривает взглядом узкую, обсаженную яблонями дорогу, ведущую к низкому кустарнику, опоясывающему понизу гору.

А другой прочесывает взглядом этот кустарник, высматривает, не видны ли в кустах две старые головы.

И вот уже кто-то мчится туда, преграждает им путь и кричит: это что еще за экспедиция, что это вы надумали, ишь чего захотелось старикам, а ну-ка поворачивайте обратно, ну-ка...

И значит, им придется вернуться на свою лавку, или к плетню, что отделяет сад от полей, или на выгон, или в дровяной сарай, придется вернуться в одно из этих четырех мест, ибо они уже так стары, что должны находиться только в одном из этих мест и быть на виду в любое время дня.

Так что они не могут сделать этого в любой, какой попало день, потому что их сразу же вернут, скорее всего настигнут в кустарнике, а уж наверняка обнаружат, когда они выйдут на поросший сухой травой склон, и вернут их

обратно, и старикам придется брести через деревню и слышать — вам нельзя, нельзя, нельзя, вам это не по силам, это уже не для вас; а ведь самое горькое из всего вот как раз эти ласковые, добрые слова — вам нельзя, вам не по силам, это не для вас...

Нужно выбрать такой день, когда в деревне совсем не будет людей, а такой день скоро настанет, ибо ожидается приезд епископа, а ничто так не выметает людей из домов, не сгоняет их с полей и садов, с полевых дорог и тропинок, вьющихся между домами, как приезд епископа.

Многие из них уже с самого раннего утра наденут праздничную одежду и отправятся на разукрашенную иконами и лентами дорогу при въезде в деревню, у кладбищенского забора, или на еще пышнее украшенную площадь перед костелом и там будут ожидать большой черный лимузин, в котором приедет епископ.

А за этими, самыми ранними, пойдут следующие, люди толпами повалят встречать преосвященного.

— Раньше я бы первый побежал, чтобы увидеть епископа, посмотреть на хлопцев, что поскачут встречать его, но теперь думаю — лучше пойду на гору.

— На свете много девяностолетних, которые отправились бы к костелу встречать епископа, но таких, которые в девяносто лет взобрались бы на самый верх большой горы... сколько таких, сколько, я спрашиваю?

— Мало таких.

— Есть они где-то, есть в каких-то дальних горах, так ведь о них и пишут, и говорят, всякий, кто читает газету, знает о них.

— Епископ, епископ, сколько я их перевидел, епископов.

— Я, может, с десяток.

— А я так, наверное, пятнадцать.

— Хвастаешь.

— Не веришь?

— Нет.

— Ну, пусть тринадцать или двенадцать, все равно.

— Первый раз я видел епископа, когда был мальчишкой, все пошли, всегда ведь, когда что-нибудь такое случается, вся деревня идет; и я пошел, но все были обутые, а я босиком, обувка досталась братьям, так уж получилось, что у нас в семье было две пары на троих; мы даже подрались за них, но братья были сильнее, они отпихнули меня и крикнули — ты, сопляк, можешь и босиком пойти, и так никто не смотрит на тебя.

Мать и отец погладили меня по голове и сказали — пусть они возьмут ботинки, они старше, а ты иди босиком, уйма народу валит, никто не будет смотреть на твои ноги.

Но получилось не так, как говорили братья, отец и мать; кто-то заметил, что я босиком, может, потому, что я проталкивался вперед; и я сразу же услышал — смотрите-ка, этот босиком явился встречать епископа.

Я подумал, что этой насмешкой все и кончится, что меня оставят в покое, но я ошибался, потому что опять услышал — этого нельзя допустить, надо что-то с ним сделать...

Может, будь на мне новая, хорошая одежда, меня и оставили бы в покое, но моя одежонка была драная; помню, словно это было вчера, как я разодрал ее, слезая с вяза.

Этого уже не могли перенести люди, собравшиеся на встречу епископа, наверное, они представили себе мчащуюся галопом бандерию[1] с хоругвями, представили, как она резко останавливается и выстраивается по обе стороны дороги; представили большую епископскую карету между двумя рядами лихих всадников, представили выходящего из нее епископа, и тут как раз этот оборванец попадается на глаза его преосвященству.

Ясно, что меня схватили за шиворот и оттащили назад, и опять схватили, и опять оттащили, и так передавали друг другу, пока я не оказался в самых задних рядах.

Нас было несколько таких, и всех нас оттерли назад, но мы все равно увидели епископа, обманув тех, кто был обут и хорошо одет; мы пустились бежать во всю прыть и, прежде чем нас заметили, успели забраться на березы, росшие у кладбища.

Мы спрятались в гуще ветвей, так что нас никто не увидел, а мы видели больше и лучше тех, кто был обут.

Ну, они, конечно, видели карету, всадников, видели, как епископ выходит из кареты и благословляет народ, мы же, кроме всего этого, видели еще и то, что происходило в большой белой карете, а это можно было увидеть лишь с высоты; наверное, никто, кроме нас, мальчишек, не заметил, как молодой ксендз, который тоже сидел в карете, положил в руку епископа конфеты и как преосвященный клал их себе в рот по одной, клал так незаметно, как будто вовсе и не клал, а только прикасался пальцами к губам.

А кто еще, кроме нас, сорванцов, углядел, как ксендз стал застегивать на животе епископа мелкие, как горох, пуговички, когда кони замедлили бег, только мы, сорванцы, и увидели, как он застегивал их...

---

[1] Бандерия — конный отряд, участвующий в торжественных церемониях.

— Поговорим сейчас о горе, о том, как мы пойдем туда,— сказал другой старик.

— Когда я рассказывал внуку, тому, у которого есть машина, как я первый раз увидел епископа, то внук, тот, что недавно купил себе машину, засмеялся и сказал — ничего не изменилось, дед, и сейчас все точно так же... «Как это?» — говорю я ему, внуку, тому, который недавно купил «фиат» за наличные. «А так, дед,— отвечает он и смеется,— и теперь тоже, если в деревню или в город приезжает кто-нибудь важный, тогда того, кто — не скажу: босой, сейчас любой в состоянии купить себе обувь, не скажу: в рваной одежде, потому что с одеждой сейчас тоже нет проблем,— но того, кто чем-то не соответствует торжественности момента, того тоже хватают за шиворот и оттирают в сторону или в задние ряды».

— А теперь говори, как мы будем взбираться на гору, когда вся деревня отправится смотреть на епископа.

— Сначала в деревне поднимется суматоха, все начнут собираться, но нас оставят в покое, мы скажем, что жутко разболелись ноги и поясница.

— Что будет дальше, говори...

— Мы дождемся, когда деревня угомонится, когда стихнут ржание и топот коней, на которых хлопцы поскачут к дороге, чтобы там встретить и сопровождать преосвященного.

— И тогда мы двинемся...

— Тогда нам не придется красться задами или пробираться полевыми тропками, не надо будет прятаться, потому что все отправятся встречать епископа, деревня будет пуста, мы пойдем к горе по хорошей дороге, той, что обсажена яблонями.

— Радуешься...

— О, я так рад, что от радости даже больно, вот тут, под ребром.

— А я так рад, что даже дух захватывает.

Они опять замолчали и уставились на гору, столь крепко ухватили ее взглядом, что взглядом даже заставили ее двигаться, что даже замелькала гора, быстро перемещаясь то влево, то вправо, подпрыгивала и плясала, приближалась совсем вплотную, и подкатывала им под ноги, и убегала из-под ног, как будто она была живая и как будто вселился в нее неспокойный, своенравный дух; но через минуту она возвращалась на место и замирала, только ее окраска то и дело менялась.

После долгого молчания и разглядывания горы они заговорили вновь; они пришли к решению, что до кустарника им надо добраться прежде, чем опять послышатся топот и ржание коней, означающие, что бандерия, сопро-

вождающая лимузин епископа, приближается к деревне; надо добраться до кустарника прежде, чем ударят в колокола, приветствуя преосвященного; хорошо, если бы они успели пробраться через колючие заросли боярышника и шиповника, прежде чем услышат колокольный звон.

Хорошо, если они успеют уже продраться через кустарник и выйти на открытое пространство сухих трав к тому времени, когда ударят в колокола, и пусть тогда гарцуют кони, пусть звонят колокола; ведь все будут уже смотреть на подъезжающего епископа и всадников с хоругвями, гора перестанет существовать для людей, они будут стоять к ней задом, они забудут о ней, они выбросят из памяти ее всю, целиком, со всеми ее кустами, травами, камнями...

Никому и в голову не придет взглянуть на нее, никто не заметит стариков в низкорослой траве и не вернет их домой, ибо все глаза будут устремлены на дорогу, идущую от шоссе, все будут вглядываться в клубящуюся на ней белую пыль, скрывающую лимузин и бандерию.

— Говори еще о боярышнике, не торопись пока забираться в травы, побудем немного в кустах боярышника и шиповника.

— Нас исцарапают колючие кусты.

— Исцарапают, говоришь... я и забыл, какая бывает боль от колючек боярышника и шиповника.

— Сразу выступает кровь, набухает большая капля.

— Сначала ее высасывают, а уж потом останавливают кровь.

— Мы будем идти через кусты и высасывать кровь из уколотых пальцев.

— И будет тихо, потому что еще не вернутся те, кто на лошадях поскакал встречать епископа, и епископ еще не свернет с шоссе.

— Так вот, лимузин его преосвященства едет, значит, по шоссе, а мы по узкой тропинке пробираемся через колючий кустарник, через кусты боярышника и шиповника, колючки то и дело колют пальцы то тебе, то мне, и мы то и дело вскрикиваем — ой, укололся...

— Как хорошо...

— Да, хорошо.

— Только бы приехал епископ.

— Приедет наверняка.

— Откуда ты знаешь?

— Кто-то слышал, как ксендз говорил церковному сторожу — надо засыпать ямы и выровнять дорогу у кладбища; а мальчикам, что прислуживают за обедней, сказал — осмотрите забор и прибейте доски, которые оторвались.

— Но не сказал — прибейте доски, потому что приезжает епископ.

— Он и не обязан говорить этого министрантам[1].

— А вот если бы сказал, тогда мы знали бы наверняка, что приезжает его преосвященство и что мы пойдем на гору.

Старик, который говорил о дороге и заборе, рассердился и недовольно посмотрел на второго старика, который сомневался в приезде епископа, и стал недовольно постукивать рукой по скамейке, может, он и сам сомневался; но вот он что-то вспомнил и улыбнулся, лицо его просветлело, и он сказал — коли мало тебе этого, так знай, что вчера, как стемнело, несколько баб снесли в плебанию[2] кур и индюшек.

— Ты говоришь, кур и индюшек снесли в плебанию?

— Не с молитвенниками же шли в плебанию эти женщины, шли они с корзинками, а то, что было в этих корзинках, кричало «гуль, гуль» и «кудах-тах-тах».

— Ну, значит, приедет преосвященный...

И опять что-то прервало их разговор, что-то исходящее от горы, может быть, ее переменчивость, переменчивость в неизменном, ибо гора стоит неподвижно и не меняется веками, не меняется со дня сотворения мира, и тем не менее она переменчива; и дело не в том, что меняются времена года и погода, а в том, что изменяют ее глаз и душа человека, а гора — она как река, неизменна и каждый раз другая.

— Вот ты мне сказал об индюшках и курах, и я вспомнил, что раз приехал в нашу деревню епископ, который не хотел есть птицу, вообще ни к какому мясу даже не прикоснулся, а наготовили ему уйму, все столы в плебании были заставлены, ох какой запах шел через окна и разносился по всей деревне, вся деревня пропахла тогда бульоном и жареным мясом; после встречи епископа и благословения ксендз приглашает гостя в плебанию, преосвященный идет впереди, за ним ксендз и несколько самых важных из комитета, из костельного комитета; преосвященный входит в комнату, смотрит на столы, заставленные всеми этими супами и мясом, улыбается и говорит — дайте мне лучше кислого молока и каши; что было делать, послали людей в деревню и мигом доставили и кашу, и кислое молоко; потом на деревне стало известно, что епископ с большим аппетитом ел эту кашу и пил кислое молоко; но люди

---

[1] Министрант — человек, прислуживающий ксендзу во время богослужения.

[2] Плебания — дом приходского священника.

сказали — что это за епископ, который не любит бульон и мясо и который хвалит мужицкую еду; они смеялись и говорили — чудной какой-то этот преосвященный, епископ ведь, а любит то же, что и мужик, лучше мяса для него каша с кислым молоком.

— Давай опять о кустарнике; значит, будем себе идти через заросли боярышника и шиповника и высасывать кровь из уколотых пальцев... и будем петь и покрикивать: гоп-ля, гоп-ля-ля...

— В кустах еще не будем, потому что нас еще могут услышать, ведь может же получиться так, что кто-то задержится в деревне, приболеет у него корова или лошадь, вот он и задержится при скотине, станет осматривать свою скотину, чтобы узнать, лучше ей или нет, долго будет осматривать, потому что раз ему покажется, что ей лучше, а в другой раз, что хуже, и он не сможет оторваться от своей больной коровы или больной лошади, и забудет, что собирался со всеми встречать епископа, как вдруг вспомнит — батюшки, ведь я должен идти встречать его преосвященство; аж вздрогнет, когда вспомнит об этом, и выскочит из коровника или конюшни, и побежит туда, где ожидают преосвященного.

— И может случиться, что он услышит, как мы поем, и остановится, хотя и будет спешить, а потом побежит к кустарнику; и тогда все раскроется, и он еще успеет вернуть нас в деревню и вовремя прибежать к костелу.

— А уж что потом бы делалось, после отъезда епископа; люди бы узнали, что мы пели в кустарнике, и то-то было бы смеху, за животики бы держались, по земле валялись от смеха; соловушки наши — говорили бы они нам и — ха, ха, ха; до конца нашей жизни было бы это — ха, ха, ха, и даже на наших похоронах под громкими молитвами скрывалось бы это — ха, ха, ха; люди бы вспоминали нашу экскурсию и наше веселое пение в кустарнике.

— Ну, ладно, ладно, петь мы будем только тогда, когда доберемся до расщелины в скалах; сядем тогда на камень да и затянем что-нибудь старинное...

— Ты и не представляешь, как я рад...

— «А знаешь, дед, эта твоя история с епископом не такая уж и удивительная, ну, тот твой рассказ про кашу с молоком, которую ел епископ, — говорил мне внук, когда я ему рассказал, тот самый внук, ученый, который купил себе машину за наличные, — и сейчас, — говорит, — бывают такие деятели, что, приехав в деревню, не притронутся к мясу, не возьмут в руки специально для них заготовленную палку с заостренным концом, чтобы насадить на нее кусок колбасы и поджарить ее на

специально для него разведенном костре, не подойдут даже к этому костру; и теперь, случается, приедет начальство и заявит — не буду есть мяса, дайте мне каши с молоком, и станет есть ее с большим аппетитом, и воскликнет — да здравствует простая пища! — и уедет обратно к себе в город».

— В кустарнике мы можем позволить себе только промычать вполголоса какую-нибудь старую мелодию или перекинуться парой слов, потому что надо быстро пройти кустарник и успеть добраться к подножию травянистого склона еще до того, как лимузин преосвященного свернет с шоссе и раздастся звон колоколов.

— На склон, поросший сухой травой, который видно издалека, мы ступим, когда заржут кони и раздастся колокольный звон, тогда вся деревня будет смотреть на епископа и повернется задом к горе, и нас не заметят.

Не было четкой границы между зарослями кустарника и открытым склоном, поросшим травой, не было прямой линии, разделявшей эти две зоны, граница была зубчатой и напоминала издали огромную зеленую пилу, брошенную на бурое полотнище.

Внимательно приглядевшись, можно было заметить, что встреча кустарника с травянистым участком была отнюдь не мирной и простой: вот тут растут кусты, а тут уже начинается трава; если приглядеться внимательно, можно заметить, что на границе двух зон горы происходит ожесточенная борьба; ибо кусты пытаются пробиться в стан пожухлой травы, а травы сталкивают их вниз; и все на этой границе пребывает в движении, хотя на первый взгляд здесь царит тишина и неподвижность, но за этой тишиной и неподвижностью кроются великий шум и ожесточение: не на жизнь, а на смерть бьется зелень с блеклой желтизной, сколько здесь погибших, сколько павших, сколько идущих им на смену, наступающих воинов, сколько неосуществленных надежд, сколько неиссякаемой веры...

И тот куст, на который сейчас уставились старики, не стоит на месте, а пытается пробиться на территорию, занятую поблекшей травой, он прет вперед, вверх, хотя и остается неподвижным.

Это последний и одновременно первый куст в зеленой зоне, последний, если подниматься в гору, и первый, если спускаться с горы, это тот куст, что дальше всех забрался в травы.

— Вот под этим кустом мы сядем и прислонимся к нему и станем прислушиваться, не слышно ли ржания коней и звона колоколов; сидим себе и слушаем, а кони еще не ржут, колокола еще не звонят, и это хорошо, ведь

нам надо отдохнуть, прежде чем двинемся дальше.

— Мы очень мало пробыли в кустарнике, мы еще не пели...

— Петь будем в расщелине, а самое важное сделаем тогда, когда взберемся на гору.

— Сидим себе под кустом, и вот чудится нам, будто далекий гром донесся, но это не гром, это кони скачут, вот уже слышно их ржание, и сразу же — звон колоколов: едет преосвященный...

— А мы срываемся и, крадучись, через травы...

— Пусть скачут, пусть ржут кони, пусть звонят колокола, пусть епископ готовится благословлять свою паству — мы можем спокойно идти через травы.

Склон, поросший высохшей травой, был гладким, похожим на светло-бурую бычью шкуру, распяленную на гигантской бочке; его нижнюю, зубчатую границу составляли кусты, а верхнюю — громадные валуны; плотно прижимаясь друг к другу, они образовывали как бы каменный забор с одними большими воротами посередине.

Нужно дойти до этих ворот, пока звонят колокола; хорошо, если бы звон не прекратился до тех пор, пока они не проскользнут в эти ворота, в эту огромную, настежь распахнутую дверь, ведущую в расщелину, в это громадное помещение с полом, напоминающим перевернутый небосвод, в это обиталище камней.

— Времени нам хватит, мы успеем пройти весь склон, поросший сухой травой, ибо встреча преосвященного и благословение займут много времени; вот он подъезжает, выходит, вот преосвященного ведут под руки, вот он произносит проповедь и благословляет паству, и будет еще много всякого такого, что задержит народ у костела.

— Времени нам хватит, но мы не можем позволить себе тратить его зря, разбазаривать на то, чтобы радоваться травам, гонять камешек носком ботинка, вырезать себе палку, носиться за бабочками и кузнечиками, то и дело кричать друг другу — иди сюда, посмотри... и петь тоже нельзя.

— Я знаю, что большие поляны сами собой вызывают в человеке умиление, сами собой настраивают на беззаботный лад, на больших полянах с человеком творятся странные вещи, на больших полянах забываешь обо всем и приходит охота сделать то, о чем раньше и не думал, и тогда уже ни о чем другом не можешь думать, забываешь, что ты старик, что многое видел в своей жизни, что видел кровь, смерть и мор, свадьбы, похороны и пожары, и чувствуешь лишь непреодолимое желание выстругать себе из палки дудочку и поиграть на ней, как сопливый

глупый мальчишка; поляна делает человека глупым.

— Пока мы будем на склоне, мы должны держать себя в руках и идти так, как будто на нас смотрит множество людей, чтобы было ясно, что мы понимаем, как мы стары, и знаем, что нам можно и чего нельзя, ибо на склоне мы будем на виду; на поляне ты должен быть мудрым и отдавать себе отчет в том, что ты очень стар, на поляне ты должен знать, сколько тебе лет, так как поляна открыта взгляду; играть на дудочке, кружиться и петь, вспоминая то, что было и прошло, делать то, чего не позволяет возраст, можно лишь в отгороженной от всего света небольшой расщелине; правда, она заполнена камнями, но там достаточно и ровных, вытоптанных площадок, пригодных для шалостей и озорства.

— Там хорошо, там можно сесть на камень, и отдохнуть, и хлебнуть чаю из фляги, а потом найти ровное место и там попрыгать...

— Я влезу на камень и запою: «Я за рекой, ты за рекой, как поцелуемся мы с тобой...»

— Можешь.

— Или вот это: «Девка, куда идешь, в ригу иду, где рожь, двери не запирай, там меня поджидай...»

— Можешь.

— Или крикну: «Я спрячусь, а ты ищи меня...»

— Можешь.

Они опять замолчали, но продолжали улыбаться, живо представляя себе то, что станут делать, когда пройдут каменные ворота и смогут немного побыть в расщелине среди камней, сброшенных сюда со скалы бурями; а иногда сброшенных и просто легким ветерком, таким легким, что не шевельнет и крылышка бабочки; а иногда сброшенных неизвестно чем, может, тишиной, в которой все замирает и стоит недвижимо, в которой не слышно даже жужжания мухи; и тишина может сбрасывать камни, ибо тишина тоже вихрь.

— Хотелось бы, чтоб епископ уже завтра приехал.

— Завтра не приедет.

— А когда...

— Может, послезавтра.

— Только послезавтра приедет его преосвященство...

— А мне кажется, что я уже стою на камне в расщелине и распеваю, а ты стоишь на другом камне и тоже распеваешь.

— И мы только-только выбрались из кустарника и торопимся пройти склон, поросший травой, а этот склон уже довольно крутой, кустарник — тот еще на ровной земле, он если и поднимается, то самую малость, травы же поднимаются довольно круто.

— Тут могут заболеть ноги и поясница, и дышать станет трудно.

— О, как болят ноги, о, как болит поясница, о, я задыхаюсь; и потом совсем тонким голосом: как болят ноги, сдается мне, вот-вот откажут, а поясница так совсем одеревенела; и наконец тоненько, как будто это жалуется раненая птица: ноги, ноги...

— Как бы чего не случилось...

— Пусть случится, но тогда, когда мы уже побываем на горе и спустимся вниз с криком — а мы были на самой вершине! — и когда у нас в руках уже будут блестящие камешки, и когда целую горсть этих камешков мы высыпем на ладонь тому, кто скажет — не были вы на горе.

— Ясно, что только тогда.

— Вот когда мы высыпем камешки этому неверующему, вот тогда будь что будет; тогда может быть: больно, ох как больно, лучше умереть, чем так мучиться; но это после того, как мы докажем, что были на вершине.

— Тогда пусть будет Requiescat in pace, но перед «упокоится» пусть будет восхождение на гору, и спуск вниз, и наши слова: «А вот взгляните на камешки, что у нас в руках...»

— Ты держись за меня, я тебя потащу, травы — это тебе не кустарник, травы круто поднимаются...

— Это я тебя потащу, а не ты меня, у тебя мослы никудышные.

— Неправда, у тебя хуже, ты вечно жалуешься на поясницу.

— Ты старая развалина.

— Это ты развалина, а не я.

— Ладно, давай договоримся так: будем по очереди, раз я тебя потащу, раз ты меня потащишь.

— Ладно.

— По травянистому склону нелегко идти, не то что кустарником, там тень и ровная поверхность, а в травах тяжело; но можно будет немного отдохнуть, потому что еще слышны звон колоколов и ржание коней, преосвященный только что приехал, может, он уже и вышел из лимузина, который остался стоять в тени акаций, но ведь все только начинается, так что времени достаточно и можно отдохнуть...

Они быстро перебирают ногами, топча землю под лавкой, опускают головы, и стискивают зубы, и начинают потихоньку размахивать руками, что означает, что они справились с собой, преодолели слабость и теперь взбираются вверх по травянистому склону, настойчиво устремляясь к раскрытым настежь каменным воротам, за которыми находится та ложбина, где можно отдохнуть и спеть.

Но через какое-то время опять повторяется — ох, задыхаюсь,— как будто на горе не хватает воздуха, хотя на самом деле на горе его больше, чем где бы то ни было, его тут полно, гуляет он тут по травам, как ему вздумается.

Но опять слышится — ох, нечем дышать, и в горле пересохло, и нечем плюнуть.

— А я плюнул, но слюны мало, и розовая она какая-то, а должна быть белая, как снег или как сахар.

— Не думал я, что травы окажутся такими тяжелыми.

— Поясница, моя поясница, если бы не боли в пояснице, я бы дошел до расщелины.

— Обопрись на меня...

— Как я обопрусь на тебя, когда ты сам еле ползешь...

— Обопрись, положи руку мне на плечо.

— Да ты ведь сам едва бредешь, ноги раскорячились, спина согнулась, руки повисли, ну точь-в-точь издыхающий паук, в гору ему захотелось, старому хрену, вот тебе твоя гора...

— Зато я не задыхаюсь.

— Задыхаешься, рот разинул и пыхтишь.

Холодный ветер, который запомнился им с давних времен и который они сейчас придумали, чтобы он взбодрил их,— этот ветер остудил им лица, а потом, проскользнув за ворот, выкупал и подсушил их вонючие, липкие тела.

Они сразу поняли, что это тот самый ветер, который водится в горных ложбинах и между камнями, а это означает, что каменные ворота уже недалеко.

И опять повторилось — помиримся, помиримся...

И опять старики принялись истязать ту землю, что была у них под ногами, под лавкой, опять принялись елозить по ней ногами, а это означало, что они преодолели усталость, не остановились на полпути, не вернулись в кустарник, а идут вперед, поднимаются все выше.

— Мне уже лучше.

— И мне лучше.

— «Девка, куда идешь, в ригу иду, где рожь...»

— Погоди петь, пока не доберемся до расщелины.

План был такой: пока слышится звон колоколов и ржание лошадей, кобыл — по-женски протяжное, а жеребцов — резкое, взвизгивающее,— пока слышится пение людей, встречающих епископа, они должны пройти всю поляну с начала и до конца, чтобы успеть проскользнуть в каменные ворота, пусть ноги отказываются слушаться, пусть им придется ползти на четвереньках, ругая на чем свет стоит эту не знающую жалости траву, брызгая на

нее желтой старческой слюной и высмеивая немощь и старческое бессилие друг друга...

Старики беспокойно заерзали на скамейке, собираясь с силами, их лица осветил на миг луч молодого упрямства, руки сжались в кулаки, а ноги, обутые в огромные ботинки, еще энергичнее заерзали по утрамбованной их ногами земле у стены дома.

— Надо поторапливаться, уже бьет лишь один колокол, слышишь?

— Слышу, ясное дело.

— Сторож уже перестал тянуть за свою веревку и сказал мальчишке-помощнику — ты еще немного позвони, а я пошел...

— Да, надо поторапливаться, преосвященный того и гляди направится в плебанию есть тех самых кур и индюшек, а люди разойдутся и станут смотреть во все стороны.

— И могут заметить нас прежде, чем мы доберемся до валунов.

— Епископ уже к столу топает, бандерию распустили, кони ржут то там, то тут.

— Хлопцы разъезжают теперь по всей деревне, красуются на конях, выкаблучиваются перед родителями, девками, детьми, которых собрали у школы...

— А вдруг кому-нибудь из них придет в голову помчаться к горе, продраться через кустарник и въехать на поляну, поросшую сухой травой...

— Тогда нас заставят вернуться.

Теперь они ласково посмотрели друг на друга, ибо поняли, что против них двоих — целый мир, весь мир против них, это он усадил их на скамью у дома и велел не петь, не дурачиться, не мастерить дудочки, не смеяться во весь голос, не стрелять из рогаток и ни в коем случае не покидать свою скамейку, чтобы отправиться на гору.

Они сидели рядышком, лицом к лицу, ласково улыбались друг другу и молчали, но это молчание говорило — только любовь и поддержка помогут нам выстоять против жестокого мира, который требует, чтобы мы были серьезными и чинными, чтобы мы пребывали в задумчивости и печали, не произносили лишних слов, чтобы мы все время были такими, все время... аж до гробовой доски, до слов — да упокоятся они вечным сном, аминь,— произнесенных привычной скороговоркой равнодушным ксендзом, до этого самого последнего, ничего не значащего Requiescat in pace, после чего будет лишь постукивание лопатой по свежему холмику, и ничего более; и люди разойдутся по домам к своим детям, к коровам,

свиньям и лошадям, к своему житу, пшенице и капусте, и никто не скажет — вот похоронили старика, который...— и так далее, а скажут — картофель в этом году не уродился, или — заморозки побили горох, или — корова отелилась, хорошего бычка принесла...

С каждой секундой делается тише звон оставшегося в одиночестве колокола, того и гляди, помощник сторожа бросит тянуть за свою веревку и люди перестанут петь, потому что уже прошел главный момент во встрече епископа, главный момент торжественной церемонии, и его преосвященство с достоинством направляется к парадному столу, вовсе не думая о курах и индюшках, а размышляя о высоких материях, о делах костела.

Но старики успели уже добраться до верхней кромки трав, они уже видят вечно распахнутые широкие ворота между двумя большими валунами, ведущие в ложбину среди скал, заполненную камнями.

Они успеют пройти туда до того, как смолкнет колокол и прекратится пение верующих, до того, как отзвучит последнее ржание коня, на котором гарцевал по деревне какой-нибудь молодой бахвал, что никак не мог расстаться с красочным старинным костюмом и высокой шляпой с пером.

— Ну вот, теперь мы отгорожены от мира.

— И теперь люди не видят нас.

— Сначала мы отдыхаем, сидим на теплых валунах, безжизненно свисают наши ноги, похожие на толстые старые, истлевшие канаты, и руки свисают, и голова повисла, как будто в шее уже не осталось жизни, как будто она так же лишена жизни, как толстый канат...

Не стыдись, старый гриб, что ты стар, не притворяйся, будь таким, как ты есть — дряхлым стариком, ибо тут не надо притворяться, тут нет людей; жадно хватай воздух раскрытым ртом, расстегни ворот рубахи, хрипи, охай, задыхайся, заходись кашлем, ибо здесь нет людей, одни камни, и еще маленькие птички, которые любят сидеть на скалах, и еще ящерицы и насекомые; тут никто не станет напоминать тебе, что близок твой час...

Но вот ноги начинают двигаться и постукивать пятками по камням, спина распрямляется, голова поднимается, а глаза смотрят в небо, и рот уже насвистывает какую-то старую мелодию; руки достают из кармана перочинный ножик, подарок внука, и берут рогульку, и мастерят рогатку, чтобы пострелять немного...

Не стыдись, старый гриб, что превращаешься в мальчишку, ведь здесь нет людей и никто не скажет тебе, что ты выжил из ума; не стыдись, что смастерил дудочку, что ты стоишь на плоском камне, и играешь на ней, и поешь и

притопываешь, и трещат твои кости, и сопишь ты по-страшному; не стыдись ты этого, ведь камни, птички, ящерицы и насекомые не станут сзывать друг друга, чтобы посмеяться над тобой, а потом поучать тебя; ведь не могут же они кричать — эй, птицы, ящерицы, насекомые, все сюда, глядите, потеха-то какая, старик выжил из ума и вообразил, что только начинает жить; здесь никто к тебе не подойдет, не похлопает по плечу, не скажет — ну, будет, будет, вспомни, что ты старик, сядь спокойно на свою скамейку и насыпь курам зерна.

— Нельзя нам долго развлекаться в ложбине.

— Еще немного, еще капельку, еще немного поиграю на дудочке...

— Нам ведь на скалу взбираться.

— Еще вот спою немного — и пойдем...

— Только разик стрельну из рогатки...

— Скала ведь отвесная.

— Вот только поскачу еще на палочке...

— Намучаемся мы со скалой, она ведь крутая.

— Вот только остругаю палку, чтобы стала белая, и идем.

— Со скалой справиться будет труднее, чем с травами, а ведь уж как там было тяжело...

Если издали смотреть на скалу, она кажется гладкой и ровной, как стена избы.

Если же приглядеться внимательно, то даже издалека можно заметить, что всю ее сверху вниз пересекла полоса более темная, чем сама скала.

Когда же подходишь ближе, становится ясно, что полоса эта отличается не только цветом, что это небольшая трещина на поверхности скалы.

А когда подойдешь совсем близко, видишь, что эта трещина похожа на изломанный, изогнутый желоб, а все эти изломы и изгибы создают нечто отдаленно напоминающее лестницу.

Неудобная это лестница, ибо не человеком она сделана, а являет собой творение земли, скалы и ветров; ее ступени — брошенные как попало камни, брошенные в беспорядке, на разном расстоянии друг от друга.

Подниматься по такой лестнице — а это единственный путь к вершине — не значит переставлять ноги с нижней ступеньки на верхнюю, подниматься по ней — значит передвигаться на четвереньках, заменять ноги руками и руки ногами, прижиматься к скале животом и грудью и даже помогать себе подбородком.

Но все же есть надежда подняться, ибо желоб этот короток; если бы он был длинным, пришлось бы распрощаться с надеждой, но раз он короток, значит, остается

место для надежды.

— В желобе не разглядишь человека.

— Это хорошо, нас никто не заметит.

— Его преосвященство наверняка сидит сейчас за столом, уставленным курами и индейками, теми, что бабы наносили тогда в плебанию, люди разошлись и говорят о том, как прошла встреча епископа; и еще говорят о еде, которую приготовили для него кухарки в плебании.

— А может, его преосвященство скажет — дайте мне каши и кислого молока.

— Э, такое случилось только раз и больше не повторится.

— Такой епископ попадается раз в сто, в тысячу лет.

— А что, если еще один епископ откажется от бульона и жареной индейки и попросит каши с кислым молоком...

— Не верю я, что еще раз попадется такой епископ.

— Эх ты, маловер...

— Вот начинается скала, ты иди первым, потому что ты слабее.

— Не я, а ты пойдешь первым, это у тебя меньше сил.

— Ведь я же видел, как ты не смог удержать курицу и она вырвалась у тебя из рук.

— А ты... а ты так и веток нарубить не можешь.

— А я видел, как ты нагибался, чтобы поднять кусок хлеба, что выпал у тебя из рук, как ты нагибался, нагибался и так и не смог нагнуться и пришлось тебе просить парня, который как раз проходил мимо,— подними мне хлеб.

— Нельзя нам ссориться, когда перед нами скала.

— Помиримся; давай договоримся, что на полпути, знаешь, там, где плоский камень, поменяемся местами.

— Помиримся, это ты хорошо придумал, так и сделаем, хотя сдается мне, что главнее тот, который будет подстраховывать своего товарища в верхней части желоба.

— Не станем ссориться из-за мелочей, ведь до вершины доберемся мы оба.

— Но все-таки главнее тот, который подстраховывает товарища.

— Не будем ссориться.

— Помиримся — и в путь...

— Только когда полезешь на скалу, поймешь, что травяной склон был легким для ног, хотя и казался тяжелым, что самая тяжелая для ног трава покажется легкой, когда придется иметь дело со скалой.

— Травы, травы...

— Траву не сравнишь со скалой.

— Трава была такой легкой для ног, хотя и кажется тяжелой, когда идешь по ней.

— Никак не сравнишь траву со скалой.

— Там болели ноги и спина, там человек ощущал боль в ногах и спине, а тут человека нет вовсе, есть только боль.

— Вот и получается, что не два старика, а две боли взбираются по скале, две боли добрались до плоского камня, посидели немного на нем, и вот теперь эти две боли опять взбираются на гору; и не два старика, а две боли доберутся до вершины.

— Это ты хорошо сказал, и если б я не был сейчас на скале, рассмеялся бы...

— Посмеемся на вершине.

— Боюсь, не выдержу и рассмеюсь.

— Сейчас нельзя.

— Ты и не представляешь, как хочется мне посмеяться над этими двумя болями.

— Не сейчас, не сейчас...

— А меня так и разбирает.

— Если засмеешься, можешь свалиться вниз; а ведь так хорошо у нас все складывалось — приезд преосвященного и бандерия, колокольный звон, люди, собравшиеся перед костелом; а ты вдруг начинаешь трястись от смеха, можно подумать, что тебе совсем не хочется взобраться на вершину; а ты подумай о том, что будет, когда мы доберемся до вершины, а потом спустимся с горы к людям, и карманы у нас будут набиты разноцветными камешками и клейкими шишками, что растут на тех вечнозеленых соснах; а ты тут начинаешь хохотать, как будто решил умереть, когда до вершины осталось совсем немного; не умирай, надо же принести те блестящие камешки, мелкие пахучие цветочки и клейкие шишки; не валяй дурака, не умирай, ведь все так хорошо складывается; послушай меня, живи; неужели тебе не хочется жить теперь, когда все так прекрасно складывается и ты можешь взобраться на гору; ну, не хочешь — не надо, умирай, старый болван.

Тоненький птичий смешок, вот такой — хи, хи, как звук дудочки, сотряс старое тело, и второй старик соскользнул со скамьи и упал на утоптанную землю у стены дома, странно так упал, вытянув одну руку и слегка согнув ладонь, так что она стала похожа на какой-то бесформенный пустой сосуд...

Набежавший откуда-то цыпленок заглянул в эту ладонь и даже осторожно ткнулся в нее клювом, проверяя, нет ли там случайно зерна...

СОДЕРЖАНИЕ

Юлиан Кавалец

ИЗБРАННОЕ

ИБ № 2405
Редактор *Л. Ермилова*
Художник *А. Г. Яковлев*
Художественный редактор *Г. Ю. Юрченко*
Технический редактор *Е. В. Колчина*
Корректоры *В. М. Лебедева, Н. А. Лукахина*

Сдано в набор 27.02.84. Подписано в печать 18.10.85. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Гельветика». Печать высокая. Условн. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 26,09. Тираж 100 000 экз. Заказ № 859. Цена 2 р. 90 к. Изд. № 2104

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

умага
22,68.
90 к.

ьств,

МПО
а при
жной


ЮЛИАН КАВАЛЕЦ
ИЗ-
-БРАН-
-НОЕ